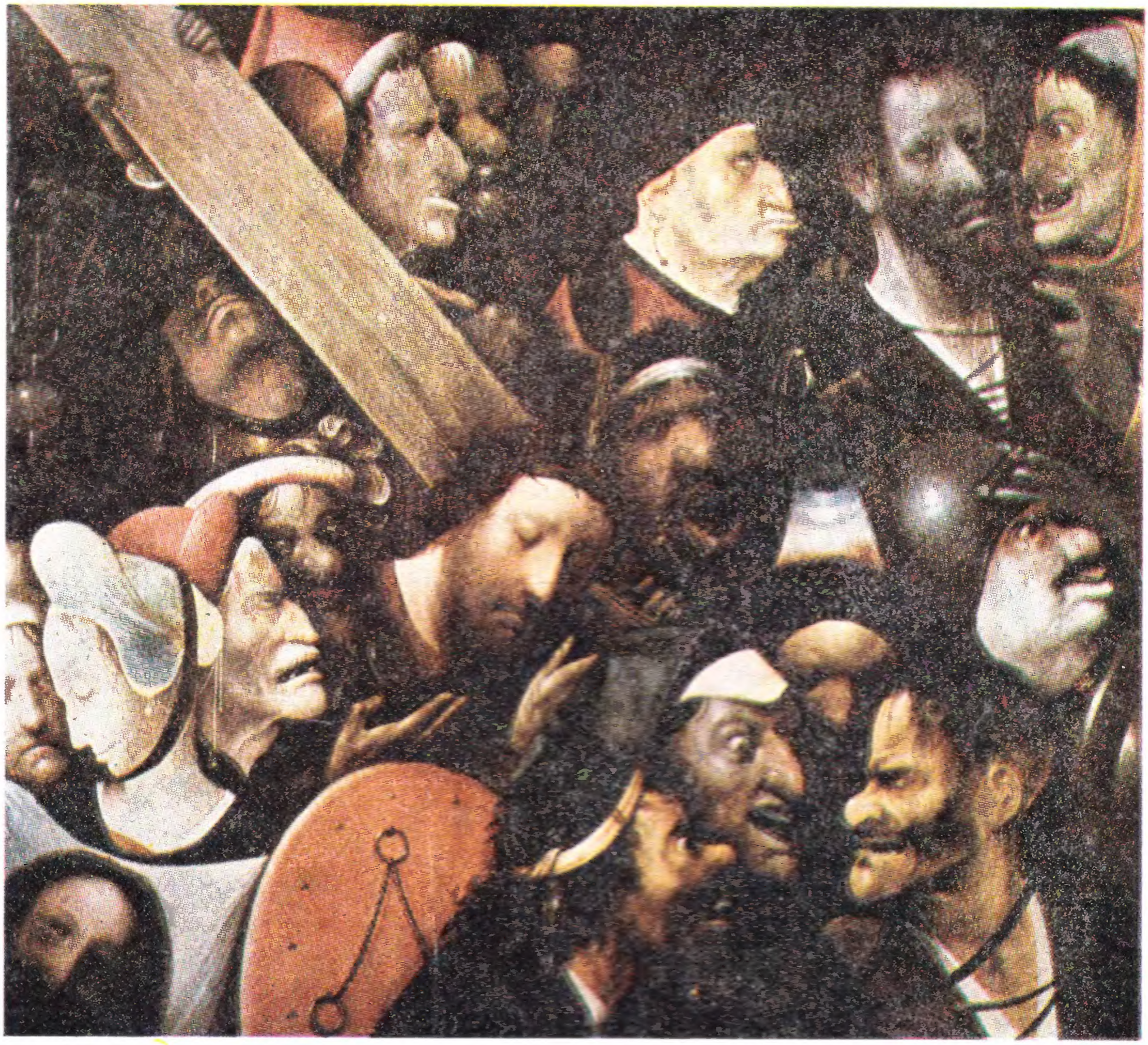
ISSN 0130—6545

1. 1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



«Христос, несущий крест».

На 1-й и 4-й страницах обложки — Фрагмент триптиха «Искушение святого Антония». Фрагмент триптиха «Сад земных наслаждений».

Цветные иллюстрации номера — работы голландского художника Хиеронимуса Босха

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)
Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

1 январь **1990**

СОДЕРЖАНИЕ

ЖОРЖИ АМАДУ — Исчезновение святой *(Роман. Перевод с португальского А. Богдановского)* 5

У. Д. СНОДГРАСС — Стихи разных лет *(Вступление А. Зверева. Перевод с английского Владимира Корнилова)* 77

ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ — Врата рая *(Повесть. Перевод с польского К. Старосельской)* 85

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями *(Новелла в 24 предложениях. Перевод с немецкого Н. Федоровой)* 127

Из классики XX века

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС — Из книги «Последние стихи» *(Перевод с английского и послесловие Александра Грибанова)* 161

Критика

Из бесед в редакции

Одиссея русского «Улисса» (Участвуют: Н. А. Анастасьев, Е. Ю. Гениева, Я. Н. Засурский, А. М. Зверев, В. В. Иванов, Н. А. Киасашвили, Нил Корнуэл, Эмили Толл, Д. М. Урнов, В. А. Чаликова, Исраэль Шамир) 172

Писатель и время

К 100-летию со дня рождения Бориса Пастернака

ОКТАВИО ПАС — О Пастернаке *(Вступление и перевод с испанского Н. Богомоловой)* 193

Заметки писателя

ВАДИМ РАБИНОВИЧ — Сокрушение надежды *(Приотворяя «Врата рая» Ежи Анджеевского)* 197

Публицистика

ЖИЛЬ ПЕРРО — Красная капелла *(Документальный роман. Перевод с французского В. Жуковой)* 202

Курьер «ИЛ» 246

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1990

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.10.89. Подписано в печать 06.02.90. Формат 70×108$^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,17.

Тираж 390.000 экз. (1-й завод: 1 — 320.000 экз.) Зак. 3953. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

ЖОРЖИ АМАДУ

Исчезновение святой

РОМАН

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

Это маленькая история об Адалжизе и Манеле, а также и об иных плодах, которые дала любовь испанца Франсиско Ромеро Перес-и-Переса к темнокожей мулатке Андрезе да Анунсиасáн, красавице Андрезе де Иансáн. В истории этой для примера и поучения повествуется о забавных и совершенно непредвиденных происшествиях, имевших место в городе Баии, — а больше такое нигде и не могло случиться. Время действия существенной роли не играет, однако полезно будет заметить, что разворачивались эти события на протяжении всего-навсего двух суток, но подготовлены были всей предшествующей жизнью моих героев — это срок немалый. Дело было в конце шестидесятых или в самом начале семидесятых годов, что-то в этом роде. Только не ищите объяснений, сказка сказывается, а не объясняется.

Задуман и объявлен был роман, носивший тогда заглавие «Война святых», лет двадцать назад, но только теперь, летом и осенью 1987, весной и летом 1988, в Париже, доверил я замысел бумаге. Мне было забавно сочинять его, а если он позабавит еще кого-нибудь из читателей, я почту себя вполне удовлетворенным.

Плавание

ПОГРУЗКА — В тот день баркас «Морской бродяга» на всех парусах влетел в Баию — в Бухту Всех Святых — в неурочное время. под вечер. «А море-то — словно синий плащ»,— шепнул, должно быть, влюбленный своей милой. Против обыкновения ветер не донес до причала голос Марии Клары, не слышен был замирающий от любовной тоски напев.

А случилось так потому, что кроме обычного своего духовитого груза — очередной партии плодов манго, кажу и абакаши — владелец баркаса Мануэл в Санто-Амаро-де-Пурификасан взял на борт деревянную статую Святой Варвары Громоносицы, славную и редкостной красотой, и чудотворной силой, а на себя — обязательство доставить ее в целости и сохранности на долгожданную, стихами и прозой воспетую, в газетах расписанную — «важнейшее событие в культурной жизни страны!» — Выставку Религиозного Искусства: яростно сопротивлявшегося викария удалось-таки уломать. Вот во исполнение этого священного долга Мануэл и отсрочил выход в рейс на целых двенадцать часов, о чем, впрочем, жалеть не пришлось: все убытки были ему возмещены. Ну, а дона Кано не попросила его об услуге. а приказала.

© 1988 by Jorge Amado

У викария полегчало на душе, когда он увидел, что господь в неизреченной милости своей дал Святой Варваре в попутчики юного, долговолосого и лохматого священника в мирском — более чем современном — платье и престарелую монахиню — бледную, тощую, в черном одеянии.

— Приглядывайте за святой! — воззвал к ним викарий.— А особенно в устье реки, там всегда и ветер сильней, и волны выше. Храни вас бог.

И вот с помощью викария, ризничего и доны Кано, под рукоплескания и молитвы самых ревностных и беспокойных прихожан приступили священник и монашка к погрузке. На шатких сходнях, однако, они сочли за благо передать путешественницу в привычные к морскому делу руки Мануэла и его жены Марии Клары, а уж они со всей почтительностью и тщанием воздрузили статую на корму. Вознесшаяся там фигура католической святой казалась античной богиней — покровительницей мореходов.

МОНАХИНЯ И ПАДРЕ — Свежий ветер наполнил горделиво раздувшиеся паруса, помчал «Морского бродягу». Мануэл, стоя у штурвала, улыбнулся преподобному и монахине: не волнуйтесь, мол, ничего святой не грозит. А Мария Клара, присев на палубу, придерживает статую, следит, чтобы ни на пядь не сдвинулась она от качки. «Будьте покойны»,— говорит она, а сама восхищенно разглядывает парчу и кружева, ленты и вышивку, которыми по случаю отъезда в столицу украсили подножие набожные старушки, искусницы-рукодельницы из общины Пречистой Девы Блаженного Успения из соседнего городка Кашоэйры. Дай им волю, они б отправили святую в путь-дорогу сплошь в серебре да золоте — чистым золотом, неподдельным серебром покрыли бы ее с головы до пят, но директор Музея наотрез отказался даже от общинного ковчежца с реликвиями — ну, противный какой директор!

Хоть шкипер Мануэл и жена его были люди надежные и словам их можно было верить, монахиня, совсем утонувшая в складках своего поношенного глухого одеяния, не переставала тревожиться за судьбу святой — и когда суденышко неслось по речной стремнине, и когда подхватили его волны залива: тревожиться-то тревожилась, но ни словечка не вымолвила, ничем тревоги своей не выдала, только все молилась, снова и снова перебирала бусинки четок, и под костлявыми ее пальцами смирял свой норов свежий ветер, обвевавший статую. Долгим и трудным показался путь монашке, и вздохнула она с облегчением, лишь когда «Бродяга» ошвартовался у причальной стенки Рампы-до-Меркадо: слава тебе, господи, все сошло гладко. Сейчас Святую Варвару вместе со всеми ее громами-молниями отвезут в Музей, где с нетерпением поджидает ее директор — брат во Христе, германский монах, всесветный эрудит и знаменитый ученый, профессор-распрофессор в белоснежной сутане: об этой самой скульптуре, о происхождении ее и авторстве сочинил он целый трактат, весьма вдохновенный, а по части выводов — даже дерзкий. И вот тогда наконец сестра Эуниция беспокоиться перестанет, переведет дух, сомкнет блаженно вежды, ощутит сладостную прохладу ветерка.

А падре был совсем на падре непохож — ох, уж эти нынешние. Как, скажите мне, признаешь в нем духовное лицо, если носит он джинсы и расстегнутую до пупа рубаху в мелкий цветочек, а в буйной волосне и намека нет на тонзуру? Хорош собой, на загляденье. Но ведь сказано было задолго до всяких таких новшеств: «Не ряса монаха делает» — и верно сказано. Небрежны были прическа и одежда юного падре, но он, хоть и не носил сутану, не пробривал себе макушку, был вовсе не хиппи, направляющийся, скажем, в колонию «Мир и любовь» в Арембепе, а самый что ни на есть священник, не-

давно рукоположенный, стезю себе избравший по призванию и сердечной склонности, усердный и законопослушный, делу своему служащий ревностно и истово. Получил он отдаленный приход, а паства его состояла из людей богобоязненных, бедных, беспощадно закабаленных теми, кто исповедует один только приснопамятный закон — кулачное право.

Ему дорога казалась еще длинней, чем сестре Эуниции,— вовсе уж нескончаемой, ибо вез он с собой несправедливость и беззаконие, и были у него веские основания предполагать, что вызвали его в столицу штата не для наград и поощрений. Приходилось ему слышать и угрозы и брань; читывал он в газетах статейки, клеймившие некоторых священнослужителей за подрывную деятельность. Появлялось в тех статейках и его имя — Абелардо Галван,— и не только появлялось, но и забрасывалось грязью: мерзавцы-журналисты подтасовывали факты, врали, клеветали, извращали. «Подлость и мерзость»,— думает он теперь. Что он знает о Патрисии? Только то, что у нее хрустальный голос, таинственная улыбка, томный взгляд. Под злобными изветами и сплетнями кое-кто хотел бы похоронить трупы, гниющие в лесной чащобе. Падре Абелардо плывет в Баию не один — с ним три трупа, он знает, кто велел убить этих людей, да и кто же этого не знает?! Знать-то знают, а проку от этого что: те, кто посылает наемных убийц-«пистолейро»,— незапятнанны и неприкосновенны, они превыше расхожих понятий о добре и зле. Это хозяева жизни: их мало, по пальцам сочтешь, они малочисленны, но неумолимы.

СКРОМНЫЕ И БЛАГОРАЗУМНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАИИ

— Да, ветер не доносит до причала любовные клятвы, любовные радости и горести, о которых обычно поет Мария Клара, но она не молчит, а, пристроившись рядом со статуей, тихонько напевает то, что в таких случаях напевать положено — псалмы да гимны в честь святых и присноблаженных. Ни священник, ни монахиня ее не слышат, зато спешат навстречу, облепляя борта, зеленые флотилии кувшинок. Синие, только что распустившиеся цветы склонили головы на мясистых стеблях, приветствуя святую. Река Парагуасу пахнет табаком и отдает на вкус сахаром: фарватер пролег между плантаций.

А при входе в просторный залив несутся к суденышку стаи рыб, пристраиваются к нему осьминоги и скаты. Над небом Баии — Бухты Всех Святых — золотом разливается солнечный свет.

Всякому известно: Баия — порт мирового значения. В безмерном ее пространстве разместились бы все остальные гавани и порты Бразилии, да еще хватило бы места для флотов и эскадр всей планеты. Ну, а что до красоты этой бухты, то нет на свете подходящего сравнения, и не родился еще поэт, который подберет нужные слова.

Целое стадо островов, один другого ярче и красивей, пасется в этом сновиденном море, а сторожит их остров Итапарика, главный над ними, самый большой остров баиянской бухты, населенный португальскими и голландскими полками, индейскими племенами, бесчисленными африканскими родами. Там, на дне морском, в царстве Айока, покоятся остовы потопленных в бою каравелл, лежат португальские дворяне, голландские адмиралы, колонисты и захватчики, вышвырнутые вон отважными бразильскими патриотами. Это — Итапарика, отец юной республики, сторожевой пес независимости, центр январских празднеств.

Благоразумие велит мне умолчать о славе Баии, дабы избежать ревности и досады: слава эта в моряцких легендах, передаваемых из уст в уста, в песнях трубадуров, в письмах и судовых журналах путешественников. Нет, не стану распространяться о славе Баии и хвалу воздавать ей не буду: скромность присуща истинному величию.

У самой кромки залива вознесся, обдуваемый ветрами с полуострова, воздвигся город Баия, полное имя которого — Салвадор-де-

Баия-де-Тодос-ос-Сантос, воспетый греками и троянцами, прозой и стихами, главная столица Африки, город на востоке планеты, на путях в обе Индии и в Китай, на карибском меридиане, город, богатый золотом и серебром, пахнущий перцем и розмарином, отливающий медью, гавань тайны, светоч разумения.

Многое еще можно было бы сказать о нем, но скромность и благоразумие затворяют мои уста. В гавань его, прославленную и воспетую, входит «Морской бродяга»: местре Мануэл — у штурвала, жена его, Мария Клара,— возле носилок со статуей, пассажирами плывут юный священник, престарелая монашка и образ Святой Варвары Громоносицы, покинувший церковь в городке Санто-Амаро-де-Пурификасан, чтобы занять подобающее ему место на Выставке Религиозного Искусства в столице штата. Еле слышно звучит голос Марии Клары, вплетаясь в порхание ласточек, в снование рыб.

НЕКТО, ИГРАЮЩИЙ НА БЕРИМБАУ [1] — А на причале, на пустом баке из-под керосина сидел в этот предвечерний час франтоватый негр в белой пиджачной паре, при бабочке, в двухцветных, глянцево блестящих башмаках и играл на беримбау, услаждая слух весьма немногочисленной публики, которую составляли уличные торговцы фруктами, беспризорные мальчишки — «капитаны песка» — и влюбленная пара. Не вилось вокруг кольцо капоэйры [2], негр играл для собственного удовольствия, и мелодия, шедшая из далекого прошлого, рассказывала об ужасах рабства.

Поглядев в сторону Морского форта, музыкант увидел хорошо знакомый ему профиль «Морского бродяги» и удивился тому, что парусник входит в гавань в первых сумерках, а не на рассвете, как обычно, когда на мачте его загоралась утренняя звезда, а голос Марии Клары будил солнце.

И закат и восход хороши для прибытия, хороши для отплытия, жизнь наша из неожиданностей соткана, в них-то вся ее прелесть, верно я говорю? Негр перестает играть, прислушивается к звуку сирены, возвещающей конец плаванью. Куда же пропал голос Марии Клары, отчего не слышится любимый напев моряков:

Я гребень, я гребень тебе подарю,
Дам небо, и море, и ночь, и зарю...

А в мощном реве сирены прорезаются ноты какого-то торжества и волнения — что за добрую весть принес шкипер Мануэл городу Баии и народу его? Пьянящий аромат спелых плодов окутывает пристань.

Умиротворенно гаснет день, величественно разливается закат, волны и рыбы довели парусник и красавицу святую у него на корме до порта приписки, до бетонного причала Рампа-до-Меркадо. Мария Клара убрала паруса, Мануэл бросил за борт камень, заменяющий якорь. «Морской бродяга» замер у стенки, а в небе, в закатном баиянском небе, точно взорвалось, запылав всеми оттенками красного — от розового до алого,— солнце.

ВЫГРУЗКА — Падре Абелардо помогает монахине подняться, оба вздыхают с облегчением и торопятся сойти на сушу. У каждого свои дела. В пути они присматривали за святой, а здесь в этом нет необходимости — вон неподалеку уже стоит дожидается ее присланный из Музея «комби».

Встретить драгоценный груз директор поручил своему доверенному помощнику, юному даровитому этнологу Эдимилсону Вазу. Сам

---

[1] Народный музыкальный инструмент. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Популярная борьба, представляющая собой атлетическую игру-танец.

он поехать не мог — на этот час назначена была пресс-конференция для журналистов пишущих и снимающих, на которой директор намеревался ознакомить их с программой открывающейся через два дня выставки. Здесь собрались корреспонденты всех имеющихся в наличии баиянских газет, а также ведущих изданий юга страны, а также обозреватель целой вереницы португальских газет по имени Фернандо Ассиз Пашеко. Когда парусник причалил, директор как раз начал распространяться о статуе, возраст которой исчислялся столетиями, об изображении Святой Варвары Громоносицы — почему Громоносицы? почему колчан ее полон молний? — «и вот, дорогие друзья, это чудо искусства, этот шедевр деревянной скульптуры всего через несколько минут озарит своим присутствием наш Музей и предстанет вашим, господа, взорам». О громах и молниях, о месте и времени, о скульпторах и резчиках давно уже ломали копья, спорили, высказывали доводы «pro» и «contra» историки и искусствоведы, все люди сведущие и образованные, а уж директор Музея, в безупречно белой своей сутане похожий на серафима, впрочем, серафима плутоватого и лукавого, и вовсе на таких делах собаку съел.

Прежде чем шкипер Мануэл, окончив швартовку, успел позаботиться о выгрузке драгоценной клади. Святая Варвара сошла со своих носилок, шагнула вперед, оправила полы своего одеяния — и, как говорится, была такова.

Чуть покачивая бедрами, прошла Святая Варвара между Мануэлом и Марией Кларой, улыбнулась им ласково как сообщникам. Мария Клара ритуальным движением свела руки у груди и сказала: «Эпаррей, Ойа!» Поравнявшись с монахиней и священником, святая учтиво кивнула старушке, а падре подмигнула.

И ушла Святая Варвара Громоносица: миновала Рампу-до-Меркадо, обогнула Подъемник Ласерды. Она заметно торопилась, ибо близка уже была ночь и минул уже час вечерней молитвы. Увидавши ее, элегантный негр склонился в поклоне, прикоснулся пальцами к земле, а потом себе ко лбу и тоже сказал: «Эпаррей!» Негр-то был человек непростой — Камафеу де Ошосси, жрец-оба грозного Шанго [1], торговал он на рынке, играл на беримбау, некогда состоял президентом афоше «Дети Ганди» [2], но даже и он не смог бы сказать, случайно ли произошла эта встреча или по особенной благодати, осеняющей «посвященных». Не зажглись еще уличные фонари, а Иансан [3] растворилась в людской толчее.

Пресс-конференция

ОЖИДАНИЕ — Дон Максимилиан фон Груден, директор Музея Священного Искусства, со всем пылом ученого археолога излагая почти без акцента результаты изысканий и штудий в бразильских и заграничных архивах, комментируя исследования и время от времени оживляя скучную материю своего предмета жаргонными словечками, то и дело поглядывал в окно. «Комби», посланный за статуей Святой Варвары, до сих пор не вернулся, и задержка эта начинала беспокоить директора.

Телевизионщики, еще в самом начале пресс-конференции, несколько раз взяв крупным планом знаменитого монаха — вот он в ок-

---

[1] Шанго — верховное божество, одно из могущественных божеств по афробразильской мифологии, повелитель огня, молний и грома.

[2] Афоше — карнавальная группа.

[3] Иансан — в афробразильской мифологии — жена Шанго, отважная воительница, сопровождавшая его в войнах, повелительница ветров и бурь, а также мертвых. В синкретизме жителей Баии соответствует католической Святой Варваре.

ружении журналистов, вот пламенно приветствует «специального представителя» португальской прессы,— собрались было уходить: время на телевидении дороже золота, счет идет на доли секунды. Дону Максимилиану пришлось пустить в ход все свое обаяние, коим бог его не обделил, приказать снова обнести гостей виски, чтобы задержать бригаду «еще на несколько минут, друзья мои, должны же вы запечатлеть прибытие статуи — она уже покинула пристань и направляется к нам».

Неправду сказал директор: никаких известий от Эдимилсона не поступало, и он знать не знал, где сейчас бесценный груз, но разве для святого дела нельзя немного прилгнуть? А тут сам бог велел: пусть в восьмичасовом выпуске новостей миллионы телезрителей по всей стране увидят его, дона Максимилиана, рядом со статуей Святой Варвары — уникальным произведением искусства, сравнимым лишь с некоторыми работами Алейжадиньо [1]. Директор совсем недавно завершил труд по изучению этого мало кому известного и совершенно не исследованного чуда, выяснил происхождение статуи, время ее создания, установил более или менее точно ее творца, и труд этот, написанный по-немецки, переведенный на португальский, должен был выйти в свет в пятницу, как раз к открытию выставки. Сигнальный экземпляр — шедевр мюнхенской полиграфии, любезно присланный издателем,— словно бы невзначай оставлен был на широком старинном столе голландской работы. Даже репортеры, бесчувственные к магии древности и музейных диковин, оценили совершенную гармонию этого просторного зала, отдали должное ценности каждого экспоната, будь то картина, скульптура, церковная утварь или мебель,— все подлинное, без подделки.

На суперобложке помещена была цветная репродукция скульптуры. Достаточно было бы просто взять книгу в руки, рассеянно перелистать ее перед телеобъективами — и наступил бы апофеоз деятельности дона Максимилиана,— признание трудов, венчание заслуг святого мужа.

Я сказал: «святого мужа»? Простите, это не так: дон Максимилиан был виднейшим этнографом, компетентнейшим археологом, крупнейшим историком искусства, почетным доктором четырех университетов и много еще чем, но вот святым он не был.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ — Дон Максимилиан выслушал вопрос бородатого португальца, полуприкрыл веками голубые глаза, улыбнулся. Воплощение скромности и мягкосердечия, лысоватый и бледный директор в незапятнанных одеждах сам казался восковой фигурой, экспонатом собственного Музея. Коварный, источающий яд вопрос намекал на излишнюю смелость, а может быть, и необоснованную скоропалительность выводов его работы, сеял в душе сомнения в правомерности основных положений. Монах простер длани, словно собираясь благословить провокатора, совсем закрыл глаза и голосом звучным и ласковым ответил:

— Еще минуту терпения, и вы, друг мой, все увидите своими глазами, которые господь для того и дал нам: лучшее доказательство моей правоты — сама статуя. Без нее все превратится в бессмысленное словопрение. Будь я подвержен греху тщеславия, то заявил бы, что выводы моего исследования были мне продиктованы лично Святой Варварой оттуда, из царствия небесного...— Тут он позволил себе издать издевательский смешок: дескать, что, съел, толстяк?

---

[1] Алейжадиньо (по-португальски — Маленький Калека) — прозвище Антонио Франсиско Лисбоа (1738—1814), выдающегося бразильского скульптора и архитектора-самоучки, создавшего, несмотря на тяжелую болезнь — проказу, ряд замечательных произведений искусства.

Истина же заключалась в том, что только теперь, выслушав этот бестактный и, смею сказать, провокационный вопрос, понял дон Максимилиан, что чуть было не попался в ловушку на глазах у всех журналистов. Он не заподозрил ничего, когда несколько дней назад к нему явился в ореоле славы «лиссабонский журналист, хорошо известный на всем Иберийском полуострове, столь же популярный в Мадриде, сколь и в Лиссабоне, автор статей по вопросам литературы и искусства, прогремевших по всей Европе, цитируемых даже парижской «Монд» и вдобавок еще превознесенный критикой поэт Фернандо Ассиз Пашеко». Антонио Селестино, отрекомендовавший своего земляка столь лестным образом, сам был человек не из последних — знаменитый критик и ведущий еженедельной субботней колонки в газете «Тарде».

В ту минуту дон Максимилиан, прельщенный перспективой увидеть такую знаменитость на пресс-конференции, не обратил внимания на кое-какие детали, убедительно — как он теперь понимал — свидетельствующие о сговоре. Но хватило одного-единственного вопроса, ловко подброшенного португальцем в ожидании статуи, как дон Максимилиан увидел всю механику интриги и понял, кто приводит ее в движение: конечно, это он, Ж. Коимбра Гоувейя, неисправимый, непримиримый вечный соперник, у которого одна радость в жизни — порочить и принижать научные достижения своего баиянского коллеги, родившегося, правда, в Баварии!

Нет, не в отпуск приехал в Бразилию великий публицист и поэт Фернандо Ассиз Пашеко, присосавшийся сейчас к шотландскому виски, и не интеллектуальное любопытство двигало им, когда он так живо интересовался происхождением и атрибуцией таинственной незнакомки с молниями и громами в колчане! Дон Максимилиан, знакомя его с бразильскими журналистами, назвал гостя «специальным представителем», чтобы поднять, так сказать, цену пресс-конференции, и почти не ошибся. Но не португальскую прессу представлял он, а проходимца Ж. Коимбру Гоувейю, который сейчас, наверно, от радости потирает руки или еще что-нибудь, раскорячившись в засаленном кресле в своем директорском кабинете в Музее Да-Пена, откуда открывается такой дивный вид на горы Синтры!

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК — Потаенные устремления, замыслы, не подлежащие огласке, привели негодяя Пашеко в Баию именно в час величайшего торжества в жизни Максимилиана фон Грудена, когда вся бразильская интеллигенция готовилась преклонить колена перед маститым ученым, победившим в вековом споре, окончательно разгадавшим бесчисленные загадки статуи. Подлец Пашеко попытался было запятнать репутацию дона Максимилиана, и тот мысленно подобрал полы своей сутаны, чтобы уберечься от ядовитой слюны завистника.

Теперь-то он понимал, почему так домогался двуличный Селестино его еще не вышедшей книги, почему так упорно просил экземплярчик, объясняя свою настырность тем, что хочет написать и опубликовать посвященную ей статью и первым отметить важнейшее событие португало-бразильской культуры. И дон Максимилиан поверил — а есть ли, спрошу я, есть ли на свете человек, который устоял бы под этой лавиной славословий? Может, и есть, но во всяком случае это не дон Максимилиан. Он же поверил и подарил лицемеру один из пяти присланных ему издателем экземпляров, и сделал на титульном листе прочувствованную дарственную надпись, не пожалев лестных эпитетов, и стал ждать статьи.

Так далек был дон Максимилиан от мысли о заговоре, что даже не вспомнил о дружеских узах, связывающих Селестино и Коимбру

Гоувейю, о том, что первый называет себя «скромным учеником» второго, а когда тот приезжает в Бразилию, чтобы шарить по церквам и монастырям, оказывает ему гостеприимство в своей роскошной квартире. За изобильным столом, где случалось сиживать и дону Максимилиану, который во имя справедливости не может не признать, что эти португальцы понимают толк в яствах и в питиях и себя не обижают, Гоувейя рассказывал о своих находках и открытиях и клялся, что они произведут подлинный переворот в этнографии. Как же не вспомнились эти застолья дону Максимилиану в ту минуту, когда он делал неумеренно лестную надпись на книге: «Тончайшему знатоку и ценителю искусства»? Теперь-то уж можно не сомневаться, что знаток и ценитель в тот же день воздушной почтой отослал книгу в Португалию, чтобы негодяй Гоувейя прочесал ее частым гребнем пристрастной критики.

И даже неделю спустя, когда вероломный Селестино представил ему обозревателя португальских газет, не вкралось подозрение в простую душу дона Максимилиана. Он принял нового знакомца с распростертыми объятиями, ибо предвкушал, как объявляют его газеты Лиссабона и Порто блистательным, крупнейшим и неоспоримым авторитетом. Да, наивность непостижимым образом уживалась в доне Максимилиане с ученостью — «он умней церковной мыши», говорил про него еще один давний недруг профессор Удо Кнофф. Понадобился источающий яд вопрос португальца, чтобы директор Музея вернулся к мерзкой действительности и увидел перед собой заговор. Он чувствовал себя боксером, который уже торжествует победу и вдруг получает прямой правый ниже пояса. А все же дон Максимилиан разогнулся и, горя желанием уничтожить соперника, без промедления и сожаления нанес ответный удар, да еще нашел в себе силы саркастически усмехнуться.

Однако он не успел насладиться замешательством растерявшегося португальца — зазвонил телефон, и директор, не тая ликования, подскочил к столу, чтобы услышать о том, что «комби» со статуей уже выехал. Вот в эту самую минуту, за день до открытия выставки, и начались все злосчастья дона Максимилиана, а продолжались они целую вечность — двое суток.

ОРАТОРИЙ — Покуда дон Максимилиан с еще не угасшей радостью кричал в трубку: «Да, Эдилмио, это я, слушаю тебя!» — одни журналисты воспользовались паузой, чтобы смыться, не дожидаясь прибытия святой, а другие — их было большинство,— чтобы вновь наполнить стаканы. Жаждущая орда устремилась к оратории, который проказник-директор превратил в бар, где хранились бутылки шотландского виски и португальского, выдержанного в дубовых бочках портвейна.

«Надо ж было до такого додуматься»,— оценил кощунственную шалость суровый и воздержанный профессор Ренато Ферраз, директор Музея Современного Искусства, наливая себе двойную порцию чистого — только два кубика льда — виски. Вот тебе и воздержанный...

Что же касается «пышного, вместительного, удивительно изящно выполненного» оратория — именно так писал о нем в своей статье «Сокровища Музея Священного Искусства» вышеупомянутый Антонио Селестино,— то он появился на свет «на узких улочках, где жили в семнадцатом веке резчики по дереву — на улице Пиолью, или в тупике Каганитас, или на пустыре Дос-Гатос, или на спуске Дос-Маршантес — в провинции Миньо, в городе Брага, где расцвело и воссияло настоящее португальское барокко». Он и теперь, стоя в директорском кабинете, не превратился в бесполезную рухлядь: толь-

ко вместо изображений святых хранит дорогие напитки, но ведь и они для очень многих — предмет самого пылкого поклонения.

Утонченный Селестино медленно, смакуя вкус и букет, потягивал портвейн. Он слышал недоуменно-едкое замечание профессора Ферраза, но неземной, бархатистый напиток не позволил ему согласиться с ним или оспорить его. Разумеется, дон Максимилиан — властолюбив, хитер, проказлив, не без придури и слишком мнит о себе и прочая и прочая, но никто не отнимет у него знаний, инициативы и авторитета.

Солнечный луч насквозь пронизывает рюмку, которую держит холеная рука Селестино, вспыхивает золотистая влага. Пламя заката охватывает церковь и монастырь, врывается в окна, жидким золотом разбрызгивается по каменным стенам; солнце рушится в сад, прямо на ветви акаций.

ПРОНЫРА — Услышав это истошное «что-о?», Гидо Герра, юный борзописец, совсем недавно вступивший на стезю журналистики, ищущий сенсаций, которые бы вывели его из провинциальной безвестности, насторожился. Дон Максимилиан, вытаращив глаза и разинув рот, слушал телефонное сообщение, но, заметив, что репортер «Диарио де Нотисиас» навострил уши, сумел привести себя в должный вид: закрыл рот, опустил веки, совладал со своей растерянностью. Журналисты поднимают бокалы за скорое прибытие Святой Варвары.

— Не понимаю... Повтори! Да успокойся же... Повтори, что ты сказал! — Голос дона Максимилиана еле слышен, взор дона Максимилиана скользит по лицам журналистов — Герра ловит каждое его слово.— Нет-нет, оставайся на месте, я немедленно выезжаю.— Директор нетерпеливо слушает, а потом властно обрывает разговор: — Жди меня, я сказал!

Он бросает трубку, снова окидывает взглядом журналистов и — хоть каждое слово дается ему с трудом — говорит спокойно и уверенно, доброжелательно и улыбчиво:

— Вынужден извиниться, господа. Я созвал вас, чтобы вместе с вами встретить несравненный образ Святой Варвары Громоносицы, который впервые покинул церковь Санто-Амаро для участия в нашей выставке. И вот я только что узнал, что произошла непредвиденная задержка, сдвинувшая сроки прибытия статуи. К сожалению, мы только завтра увидим нашу небесную гостью.— Тут улыбка его делается еще шире.

— Завтра? В котором часу? — спрашивает Леокадио Симас, и озабоченность его вполне понятна, ибо он прекрасно знает заведенные доном Максимилианом порядки: если встреча с прессой происходит вечером — подают виски, а если утром — только соки, хотя и самые разнообразные: из плодов кажу и кажа, умбу и мангабы, маракужа и гравиолы. А может, и из питанги — это уж истинный нектар.

— Точное время указать пока не могу, но непременно позвоню в редакции и сообщу.— И, повинуясь едва заметному манию руки дона Максимилиана, служитель запирает дверцу оратория, прежде чем бездонная бочка Леокадио успевает налить по новой.

— А что же случилось? Отчего задержка? — Это опять вылез настырный Герра — алчный взгляд, нос как у попугая, а чутье как у гончей. Он и к виски-то не притрагивался, тянул только соки да уж лучше бы напился в стельку.

Что случилось? Дон Максимилиан тоже очень бы хотел знать, что случилось, и чем скорей, тем лучше, но, проглотив досаду, сдержав нетерпение, подходит директор к проныре-репортеру, мозги скрипят от напряжения, подыскивая правдоподобную версию, которая удовлетворила бы шалопая. Шалопай-то он шалопай, но очень опасен: суется всюду и везде, лезет, куда не просят,— ведь это Гер-

ра раскопал крупную недостачу в кооперативе по сбыту пшеницы, раскопал, сочинил репортаж, раздул громкое дело, ославил на всю страну... Дон Максимилиан, взяв его под руку, отводит в сторонку, подальше от остальных: он еще не знает, что сказать, тянет время, шепчет проныре на ухо:

— Вот я вам скажу, а вы сейчас же и тиснете...

— Клянусь, что без вашего согласия не появится ни строчки!

Дон Максимилиан напрягает воображение, придумывая убедительную версию, но тут к нему на помощь приходит сам репортер:

— Викарий небось выставил новое требование?

Гидо Герра уже описывал в своей газете, как противился настоятель церкви Санто-Амаро тому, чтобы статуя попала на выставку, называл его «мракобесом и ретроградом». Дон Максимилиан, обрадовавшись подсказке, хватается за эту соломинку — поступок опрометчивый, как вскоре выяснится:

— Вам одному скажу, но обещайте мне, что дальше эти сведения не пойдут...

— Клянусь! Бог — свидетель.

— Ну, так вот: викарий, не удовлетворившись ни страховкой, ни нашими гарантиями, потребовал еще одну бумагу. Что ж, учитывая ценность скульптуры, он в своем праве... Ваша братия наплела о Музее и о его смиренном директоре столько небылиц, что результат не заставил себя ждать.

— Что вы, дон Максимилиан, понимаете под небылицами?

— А кто писал, что мы вернули в часовню Монте-Серрат не подлинную скульптуру кающегося Святого Петра, а копию?

— А разве это не так?

Дон Максимилиан только молча улыбается, не говоря ни «да», ни «нет». Но ненасытный Гидо Герра желает знать, какой еще документ потребовался викарию.

— Еще одно гарантийное обязательство — от Фонда исторического наследия,— с ходу, сам не зная как, придумывает директор и дружески кладет руку на плечо репортеру.— Только умоляю вас, Гидо, никому ни слова: дойдет до викария, он обидится... Это сведения не для печати, я с вами по-приятельски поделился. Помните, я рассчитываю на вас.

«Обидится»! Викарий и так недоверчив и зол, а уж если, по несчастью, невинная выдумка достигнет его слуха, в этом случае к длинному списку тех, кто желал бы скушать дона Максимилиана без соли, прибавится еще один, смертельный враг.

— Не беспокойтесь, местре. Могила,— на лице у Герры выражение благостной кротости: ну, просто ангел небесный, даром что уродлив как сатана.

В жизни еще так не торопился дон Максимилиан, а все-таки пришлось за руку попрощаться с каждым из журналистов, выразить сожаление телевизионщикам, что зря примчались со всем своим багажом. Жалко, еще бы не жалко: дон Максимилиан фон Груден рожден для того, чтобы блистать на телеэкране, а видеокамеры донесли бы его элегантную стать до миллионов. Директор как ни в чем не бывало, словно и не проник он в подлые замыслы португальского поэта, обнимает его.

— Мы еще вернемся к этому разговору, дорогой Антонио Алсада Баптиста,— как не спешит дон Максимилиан, а все же успевает кольнуть наглеца, назвав его подлинным именем: поэты у нас ужас до чего чувствительны и ранимы.— Я разрешу все ваши сомнения.

Директор, дождавшись ухода журналистов, скатывается по лестнице: господи боже, что же могло случиться? Маленький Эдимилсон, видно, вконец потерялся: ничего толком объяснить не мог, только мямлил что-то невразумительное.

Праздник

В одеждах цвета сумерек, с вечерней звездой во лбу явилась на террейро Ойа [1], и зеленой свежестью моря веяло от эбеновых грудей. Ее не ждали, но приход богини не вызвал замешательства — только громче загудели барабаны-атабаке и до земли склонились, приветствуя ее, эбомины, экеде, иаво [2]. По дороге на празднество собрала она все несправедливости, все дурные дела и несла их под мышкой. В правой руке держала богиня сноп молний.

Шкипер Мануэл, Мария Клара и жрец грозного бога Шанго Камафеу де Ошосси, выпрыгнув из такси, посторонились, давая ей дорогу, воскликнули хором: «Эпаррей, Ойа!» Согнулся в низком поклоне и водитель. Звали его Миро, был он весельчак и повеса, жил, что называется, в свое удовольствие, он-то называл себя сыном Огуна [3], но полз шепоток по Баии, что повелевает беспутной его головой Эшу [4], и не счесть было этому доказательств, примет и примеров. Хотите верьте, хотите — нет, но именно так считалось среди тех, кто превыше всего ставил веселье и праздность.

Ойа пала ниц перед матушкой Менининьей де Гантоис, матерью доброты и мудрости, царицей заводей и омутов. Безмерно могущество ее: с гор и долин летят к ней все жалобы, все пени, все мольбы сыновей ее и дочерей — народа баиянского. На ничем не украшенном троне — в кресле с подлокотниками и высокой спинкой — сидит она, сжимая в руке свой скипетр, а по обе стороны от нее — дочери, Кармен и Клеуза, это кровные ее дети, а остальные — «сыновья» и «дочери» святой — разбросаны по всему белу свету. Ойа простерлась у ног Менининьи де Гантоис, прекраснейшего воплощения богини Ошун [5].

Жрица-йалориша прикоснулась к ее лбу, взяла за голые плечи, подняла, прижала к груди, и встала Ойа во весь рост, изогнулось тело ее, вздрогнули груди, качнулись бедра — всем на загляденье, всем на вожделенье,— но от воинственного ее клича оробели самые дерзкие, и слышен был тот клич на самых далеких баиянских окраинах: на битву пришла Ойа, да будет это ведомо всем! Уперев руки в бока, приветствовала она круг «посвященных», поздоровалась с музыкантами, а потом — с самыми почтенными, с самыми почетными гостями — перед каждым остановилась, каждого обняла, прижав к груди, сердце к сердцу.

Мигел Сантана Оба Аре затянул в ее честь древнюю, из глуби времен дошедшую кантигу [6],— немного уж осталось на свете людей, знавших ее.

Танцуя перед старым жрецом, удивилась Ойа тому, что сидит он не на своем, по праву ему принадлежащем месте — рядом с «мате-

---

[1] Афрохристианские общины подчинены определенной внутренней духовной иерархии, обычно иорубско-дагомейского происхождения. Общину возглавляет жрица — «мать» или жрец — «отец» святого. Главе общины помогают в отправлении культа и в уходе за храмом т. н. дочери и сыновья святых, на которых якобы нисходит во время ритуала вызываемое божество-ориша. Ритуал сопровождается жертвоприношениями, дарами, песнями и танцами (для каждого ориша определена своя хореография танца) под звуки ударных инструментов. Каждому ориша посвящается ежегодный праздник, имеется фетиш, который его олицетворяет, и символы (предметы, а также сочетания цветов, которые указывают на связь человека с божеством).

Террейро — место, где происходит радение афробразильского культа — кандомбле или макумба.

[2] Эбомин, экеде, иаво — жрецы и жрицы, совершающие на макумбе обрядовые действия.

[3] Огун — по афробразильской мифологии — бог войны, железа, кузнечного ремесла.

[4] Эшу — в афробразильской мифологии — брат Огуна, дьяволенок, искатель приключений, покровитель путников, служит посланцем божеств.

[5] Ошун — вторая жена Шанго, сестра Йансан, богиня женской красоты, очарования и жеманства.

[6] Кантига — ритуальное песнопение.

рью святого»: туда почему-то влез один из этих недоделанных африканистов, полузнайка — учености кот наплакал, а спеси выше головы, один из тех, что с важным видом толкуют о мистицизме, парапсихологии и «негритюде», давая дурацкие ответы на вопросы олухов и тупиц.

Так почему же расселся он на скамье, предназначенной для завсегдатаев макумбы, а не в соломенном креслице, где положено сидеть гостям? «Он садится там, где трон стоит»,— попытался было объясниться оган [1], заботам которого вверено радение. Ойа не могла смириться с пробормотанным сквозь зубы извинением за то, что извинению не подлежит, взмахнула рукою, и во мгновенье ока слетел наглец с неподобающего ему места, взлетел в воздух, подброшенный неведомой силой,— Ойа насылает вихри, которые и вековые деревья вырывают с корнем и зашвыривают далеко,— взлетел, говорю, и шлепнулся оземь, получив тычок в грудь, пинок в живот да две оплеухи в придачу. Еле поднялся он на ноги, с трудом перевел дыхание, поспешил убраться восвояси вместе с оравой приведенных им зевак. Как потом оказалось, недурные деньги зарабатывал он, водя туристов на террейро.

А Ойа, вмиг превратившись из грозного шквала в легкий ветерок, ласково поглаживающий щеки детишек и стариков, со всей почтительностью проводила Мигела Сантану Оба Аре, которого еще незабвенной памяти мате Анинья объявила жрецам, туда, где и дóлжно было ему сидеть по долгу его и праву. Улыбаясь, очень довольная, «мать святого» вручила ему свой жезл, и тот взмахнул им, призывая «посвященных». Празднество пошло веселей под сдержанный смех, под беззвучные рукоплескания, ибо происшествие не осталось незамеченным для тех, кто наделен и одарен свыше даром разумения.

Но прежде чем Ойа ворвалась в круг, к ней подошла белая — красотка лет сорока, с травленными перекисью волосами, до невозможности взволнованная:

— Я — из Сан-Пауло, вот уж целую неделю ищу вас. Сестра Гразия, из лавки кабокло [2] Пажеу, велела, чтоб я у вас узнала, где мое кольцо. Сестра Гразия — ясновидящая, она вызвала дух кабокло, а тот сказал, что, как отыщу я кольцо, так все мои беды и кончатся: Марино ко мне бегом прибежит и никогда больше не бросит. Поезжай, сказали мне, в Баию, найди на кандомбле девушку с вечерней звездой во лбу, она знает, где твое кольцо. Я и приехала, обошла больше десятка террейро, нигде вас нет, вконец отчаялась, думала уж завтра возвращаться в Сан-Пауло... Но вот узнала про это кандомбле... Колечко-то у меня медное, со львиной головой...

— Кольцо твое вон у того человека в белой шляпе,— указала Ойа на Камафеу де Ошосси, который, как и подобало ему, стоял подле Мигеля Сантаны.

Пергидрольная красотка подбежала к нему:

— Сказали, колечко мое...

— У меня, сеньора, у меня. Я получил из Лагоса партию ожерелий, браслетов и колец, все распродал, только оно одно и осталось. Завтра пораньше приходите на рынок, я его вам отдам. Спросите Камафеу де Ошосси [3], вам всякий покажет, где меня найти.

— А сколько оно стоит?

— Нисколько. Это подарок Иансан. Если пожелаете, принесете ей в дар белую голубку. На пристани отпустите ее на волю.

Вздумала было Ойа вскочить на своего коня — вон, в кругу их четыре, выбирай любого, а среди гостей сидит еще и Маргарида до Богун, жена огуна Аурелио Содре,— но потом решила просто потан-

---

[1] Жрец на макумбе.

[2] Метис от брака индеанки и белого.

[3] Ошосси — бог лесов и охоты.

цевать среди «дочерей святого», на потеху и радость богине Ошала, воплотившейся в ослепительную Кармен, богам Омолу, Шанго и Ошун, Ошосси и Йеманже [1], а такой Йеманжи, принявшей на этот раз обличье Марии Клары, доселе не видывали на макумбах ни в Бразилии, ни в Анголе, ни на Кубе, ни в Бенине.

А ушла Ойа еще до конца празднества — много было у нее дел. Явилась она в город Баию, чтобы довершить начатое в январе, в четверг, в день Спасителя Бонфинского, ясно знала она свою цель и без колебаний шла к ней. А цель такая: вызволить Манелу из-под гнета и показать Адалжизе где раки зимуют. Ойа скачет на своих конях без седла и узды, но Адалжизу она и оседлает и взнуздает, она ее научит и терпимости и веселости, она откроет ей радость жизни.

Бездомный пес

ЭДИМИЛСОН ГРЕЗИТ НАЯВУ — Эдимилсон нес околесицу не только по телефону, но и теперь, стоя перед совершенно сбитым с толку и выведенным из себя доном Максимилианом. Чтобы не привлекать внимания, директор примчался в порт на своей машине, а не на служебной. Затормозил рядом с пустым «комби». «Отвечай, Эдимилсон, где статуя? Где статуя, я спрашиваю?!»

Худой, со впалыми щеками, понурившись, стоял как потерянный Эдимилсон на пустынном причале. Впрочем, потерян и растерян был и дон Максимилиан, хоть он и настойчиво требовал конкретных фактов, точных сведений — «довольно нести чепуху!» — а помощник его только руками разводил, и в тусклом свете уличных фонарей, бессильных справиться с вязкой таинственной тьмою, оба они похожи стали на марионеток. Издалека, от Ладейра-да-Монтанья, долетал смех, доносились голоса: там, в кафе и борделях, сейчас самая жизнь. Звезда зажглась над башнями Морского форта.

Эдимилсон, на грани обморока, клянется и божится, что своими глазами видел статую на корме баркаса, когда «Морской бродяга» ошвартовывался у Рампы-до-Меркадо. Солнце, правда, уже садилось, по небу, объятому закатным сиянием, метались, исчезая в море, сумеречные тени, но он все-таки узнал Святую Варвару, ибо несколько раз сопровождал дона Максимилиана в его наездах в Санто-Амаро-де-Пурификасан, исполняя обязанности помощника и шофера, и даже держал статую в руках.

— Да это была она! Голову даю на отсечение!

Что ж, значит, в голове этой не все в порядке, потому что, по словам Эдимилсона, выходило, что статуя стала расти, увеличиваться в размерах и вдруг превратилась в существо из плоти и крови — в темнокожую красавицу, одетую на баиянский манер. И существо это сошло на пирс и исчезло. Эдимилсон клялся язвами Иисуса Христа и непорочностью Девы Марии.

Но объяснить этого он не мог — не мог, и все тут, как ни напирал на него разъяренный дон Максимилиан, да и нельзя объяснить то, чему нет объяснения. Руки у Эдимилсона тряслись, со лба лил пот, его бросало то в жар, то в холод, и вообще он готов был расплакаться. Чудо господне или дьявольское наваждение, но Эдимилсон ее видел, видел! Провалиться ему на этом месте! Эдимилсон твердил одно и то же, стоял на своем и под конец поклялся спасением души покойной мамы — куда уж больше?! Но самое загадочное то, что он нисколько не удивился, увидевши такие чудеса. «Да как же это возможно?» — «Я ж вам говорю, дон Максимилиан, дьявольское наваждение».

---

[1] Омолу — божество, посылающее болезни; Йеманжá — повелительница морей, «мать вод».

Но дон Максимилиан фон Груден в дьявола не верил. Когда-то Эдимилсон признался ему доверительно, что его с детства посещают видения: с наступлением темноты деревья превращаются в безобразных старух — набросив на плечи черные шали, они бродят по саду, пророчат беду. Даже полный университетский курс не излечил Эдимилсона, даже подпольное изучение диалектического материализма, предпринятое под воздействием уволенного профессора Жозе Луиса Пены, убежденного марксиста.

ПАСТЫРЬ И ЕГО ПАСТВА — Здесь, в окрестностях Рампы-до-Меркадо, кроме Эдимилсона с его бредовыми рассказами, не нашел всполошившийся директор Музея никого, кто мог бы ему помочь, ни одной живой души, способной пролить свет на это таинственное событие. То есть все готовы были помочь, но что проку от такого, например: «Местре Мануэл и Мария Клара вместе с Камафеу де Ошосси — вы ведь, ваше высокопреподобие, знаете его? Ну, еще бы! Его сам губернатор знает! Так вот, они втроем сели в такси. За рулем был этот прощелыга Миро. Сели и уехали. А торговцы фруктами, «капитаны песка» и парочка — все, словом, кто ждал прибытия «Бродяги», те давно разошлись кто куда». Вот и все, что удалось дону Максимилиану узнать,— на рынке закрывались последние палатки. Про монахиню и падре никто вообще ничего не знал.

Это викарий сказал директору, что баркас «Морской бродяга» взял курс на Баию, что на нем помимо статуи плывут пассажирами падре и монахиня и что их попечению вверил он бесценный груз — видно, само провидение хранит статую! «Надо как можно скорее разыскать их,— сообразил дон Максимилиан,— и провидение на что-нибудь сгодится». Вдруг скульптура и сейчас находится у кого-нибудь из двоих? А если нет, то все равно дон Максимилиан узнает о происшествии из уст людей серьезных и поймет, что же на самом деле случилось после прибытия баркаса. Вот только как их отыщешь, если неизвестны ни имена их, ни фамилии, ни в каком монастыре обитает святая сестра, ни где священник обрел в столице приют?

Позвонить викарию? Спросить его обо всем этом? Но тогда придется и рассказать о пропаже: «Знаете ли, милый друг, наша бесценная статуя куда-то запропастилась...» Нет, об этом и думать нечего! Тот попросту с ума сойдет, устроит такое, что костей не соберешь. Он ведь и скульптуру-то выставить в Музее согласился с большим скрипом, ни гарантии, ни страховки опасений его не развеяли, недоверчивости не уменьшили. Он сопротивлялся изо всех сил, стоял до последнего и со скрежетом зубовным уступил только личной просьбе кардинала — просьбе, больше похожей на приказание. Однако и после этого он не успокоился и в воскресной проповеди после мессы поведал прихожанам о своем несогласии, причем те единодушно поддержали своего пастыря... Нет, звонить викарию было бы чистейшим безумием. Следует исчерпать инцидент и разыскать Святую Варвару так, чтобы история эта не дошла ни до пастыря Санто-Амаро, ни до паствы его.

Так что же, ходить из обители в обитель, ища монашку? Обратиться в курию, чтобы узнать хотя бы имя священника? Прямо броситься к кардиналу, испросить у него аудиенцию? Сообщить о пропаже в полицию? Потолковать с Маноло на предмет оповещения антикваров? Предупредить через посредство Мирабо Сампайо самых крупных коллекционеров, что, дескать, плакали их денежки, если купят скульптуру? Самому идти по следу? Да где он, этот след? С чего начинать? Мир рухнул и погреб под своими обломками дона Максимилиана фон Грудена: сияющий полдень торжества и славы сменился ночью горечи и позора.

В полном отчаянии брел высокоученый монах по пустой пристани, взывая к небесам. Увязавшийся за ним бездомный бесхозяйный пес вскоре отстал, растянулся на мостовой и, обратив морду к шумящему во тьме морю, завыл — чем еще мог он выразить свое сочувствие?

БЕСЫ — «Что за преступление я совершил, в чем грешен я перед тобой, господи, за что мне такая кара, зачем так страшно испытываешь меня? Сжалься, помилосердствуй!» Сдавленный вопль дона Максимилиана во тьме и безмолвии сливался с воем бездомного пса.

А перетрусивший ангел Эдимилсон видит цепочку огоньков — целый легион бесов тащит на плечах грехи дона Максимилиана. Вереница огоньков направляется к Монте-Серрату — там, у входа в часовню, возле чаши со святой водой встречает богомольцев Святой Петр Раскаявшийся, только никто не знает, подлинная ли это скульптура, созданная столетия назад монахом Агостиньо да Пьедаде, или копия, изготовленная по приказу директора. Никто этого не знает — даже Эдимилсон, ближайший сотрудник и доверенный помощник, ни в чем не уверен. Вьются бесы вокруг дона Максимилиана, и горбятся его плечи — тяжко бремя грехов.

Господи, грешен он, свершал грехи простительные и смертные, проявлял слабость, поддавался искушению, падал, но что значит это по сравнению со всем тем, что делал — и продолжает делать — для вящей славы божией, для царствия божьего на земле?

А особенно на этой земле, на земле Баии, где выпала ему судьба жить и трудиться, на земле, где все слито и смешано воедино, где никому не под силу отличить порок от добродетели, провести грань меж сном и явью, правдой и ложью, обыденным и невероятным. На земле Баии святые и кудесники щедрой рукою творят чудеса и волшебства, и даже этнографы марксистского толка не удивляются, увидав, как на закате превращается католическая святая в мулатку-щеголиху.

Плетка

ПОРТРЕТ АДАЛЖИЗЫ НА ФОНЕ УЛИЦЫ — Вопль потряс авениду Аве Мария до основания:

— Сию минуту домой, бесстыжая тварь! Сучонка паршивая!

Но Манела исчезла, скрылась из виду. Когда Адалжиза замахнулась для оплеухи, никого уже перед ней не было. Конечно, девчонка юркнула в растворенную днем и ночью дверь Дамианы — у той всегда все настежь, и вечно толчется народ, не дом, а притон какой-то: так и снуют, так и снуют люди. Утром ставит тесто, готовит начинку для пирожков, которые потом шустрая орава мальчишек разносит по заказчикам. Дамиана — знаменитая кулинарка, ах, как она готовит: только от одного имени слюнки текут — и не ограничивается кварталом Барбальо, клиентура ее по всему городу, а в июне, когда начинаются празднества в честь Святого Иоанна и Святого Петра, отбою нет от заказов на кашу из кукурузной муки, пироги из маниоки сладкой или же размоченной в воде и на прочую снедь. И сама она, и ее домочадцы — люди веселые и работящие, так что уподобить ее дом притону не у всякого язык повернется. Однако у Адалжизы поворачивается, она вообще выражений не выбирает. Впрочем, о притоне или о борделе имеет она самые туманные понятия, а если доводится ей повстречать гулящую девицу — непременно отвернется и сплюнет в знак возмущения и порицания. Она не какая-нибудь такая, она порядочная женщина, а у порядочных женщин есть принципы, и они ими не поступаются.

Язык у нее, конечно, подвешен здорово, и голоса она не понижает, а наоборот, надсаживается, чтобы и соседка ни словечка не пропустила:

— Клянусь пятью язвами господа нашего Иисуса Христа, что отважу этого ухажера, пусть даже и сама в гроб сойду! Господь даст мне сил отвадить мерзавца, который хочет увлечь невинное дитя на погибельную дорожку! Господь со мной, и я ничего не боюсь, и пусть этот сброд держится подальше, я им не компания, я с кем попало не знаюсь. Клянусь, что выбью дурь из девчонки, мне на это не жалко и последнее здоровье потратить!

Адалжиза вечно жаловалась на слабое здоровье, и при цветущей внешности подвержена была постоянным приступам мигрени, которые мучили ее днем и ночью, портили и без того скверный характер, доводили до бешенства. Вину за свое недомогание возлагала она на родню, на знакомых, на соседей — это уж как водится,— на мужа с племянницей — об этом и говорить нечего. Дона Адалжиза Перес Коррейя, в чьих жилах вместе с голубой кровью текла толика крови африканской — о чем она предпочитала умалчивать,— наводила страх на всю улицу.

ЗАД И ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТЕЛА — В сущности, это была никакая не улица, а всего лишь глухой тупик, «cul de sac», как выражался профессор Жоан Батиста де Лима-и-Силва, сорокалетний холостяк, живший в крайнем, самом маленьком домике. Услышав громовые раскаты адалжизиного негодования, он подошел к окну, снял очки для чтения, вперил взор в зад разгневанной соседки.

Зад того заслуживал. Во всем следует искать светлую сторону, и таковой в этом унылом тупике, где не было ни газонов, ни палисадников, ни деревьев, ни цветов, являлся зад Адалжизы — он один упорно доказывал, что божий мир все-таки прекрасен. В возвышенно-греховных видениях профессора он делал честь самой Венере или Афродите, становился достоин резца Праксителя, кисти Гойи,— под резцом я разумею не зуб, а под кистью — не длань. Как видите, Жоан Батиста тоже был склонен к преувеличениям...

Впрочем, радовало глаз профессора и все остальное — пышная, упругая грудь, длинные ноги, черные кудрявые волосы, обрамлявшие удлиненное лицо, на котором горели яростью трагические иберийские глаза. Лицо это портило только злобное выражение — вот если бы Адалжиза согнала с него брезгливо-надменно-высокомерную гримасу, рассталась бы с презрительной миной и улыбнулась, ах! — тогда красота ее покорила многие сердца и вдохновила поэтов на бессмертные строки. Вечерними часами профессор Жоан Батиста тоже подсчитывал стопы, подбирал рифмы поизысканней, но муза слетала к нему в обличье не Адалжизы, а неискушенных его возлюбленных той поры, когда он жил в захолустье штата Сержипе.

Происходя по отцовской линии — а никакой другой она не признавала — из рода Перес-и-Перес, Адалжиза участвовала в процессиях «кающихся» на святой неделе; задом, достойным кисти Гойи, не гордилась, про Венеру знала только, что у той не было рук, а про Афродиту вообще никогда не слыхала.

СУПРУГ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ — Ярость достигла наивысшей точки, когда Адалжиза узнала в водителе такси, стоявшего у въезда в тупик, мерзавца Миро, у которого еще хватило дерзости помахать ей ручкой. Рвань подзаборная! Голодранец! Наглец! Заметив, что за ней наблюдает профессор Батиста — это человек во всех отношениях почтенный, преподает в университете и в газеты пишет,— Адалжиза вежливо поздоровалась и сочла нужным объяснить причину своей несдержанности:

— Я несу свой тяжкий крест, за грехи мне доставшийся,— воспитываю чужого ребенка. Представляете ли вы, какая это ответственность, как много отнимает сил? А она меня в могилу сведет! Где это видано, чтобы девочка, которой только-только исполнилось шестнадцать...

— Дело молодое...— промямлил профессор: он не знал, в чем провинилась Манела, но подозревал, что ее застукали с парнем. Уже, значит? Но только какой же она ребенок в шестнадцать-то лет? Не ослепла ли тетушка: разве не видит, что племянница ее — настоящая женщина, обольстительная и своенравная, и все при ней — хоть сейчас в постель. Да ведь она чуть не победила на конкурсе «Мисс Что-То Там».— Следует быть терпимей...

— Я ли не терпима? Ах, профессор, вы же ничего не знаете!.. Ах, если бы я вам рассказала....

Ну а если Манела еще хранит непорочность, значит, попусту тратит время: противозачаточные пилюли во всех аптеках, и рецепта не надо. Нынешние девицы залететь не боятся и пускаются во все тяжкие, словно боятся недополучить свое, неймется им. И пример Адалжизы никого вдохновить и вразумить не может.

Все уже миллион раз слышали, что до замужества у нее не было ухажеров, что Данило первым был и единственным остался, что к венцу он повел невесту, сохранившую и чистоту и невинность. Ну, насчет невинности — дело темное, а в чистоту никто не поверит: нет таких моральных устоев, которые не поколебались бы за год, прошедший от помолвки до свадьбы, и жениху кое-что, хоть и немногое, перепадает, без поцелуев и обнимания в темных углах не обходится. Но до чего же повезло все-таки Данило Коррейе, скромному и усердному делопроизводителю нотариальной конторы Вильсона Гимараэнса Виэйры, закатившейся футбольной звезде, неизменному партнеру профессора по шашкам и триктраку, как счастлив супруг, получивший в исключительное владение и величественный зад, и все прочие прелести добродетельной и верной Адалжизы!

Профессор Жоан Батиста жестоко ошибался, ибо не ведал, до каких пределов простирается эта самая добродетель. Исключительным правом собственности на тело Адалжизы обладал совсем даже не Данило Коррейя, а господь наш Иисус Христос.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА — Заявляю во всеуслышание и торжественно обещаю, что вскорости на эту жгучую тему мы еще поговорим, еще вернемся к вопросу о чрезмерной стыдливости Адалжизы и о супружеском ложе, подчиненном суровым догматам. Вы еще узнаете о еженедельном контроле за интимной жизнью Адалжизы, который осуществляется в церкви Сантана каждое воскресенье, перед десятичасовой мессой и причастием. Я еще познакомлю вас с ее духовником и исповедником, преподобным отцом Хосе Антонио Эрнандесом, аскетом по духу и фалангистом по политическим убеждениям, с этим испанцем, распределяющим места на жаровнях преисподней, с этим миссионером — «клянусь телом Христовым, не было у меня миссии трудней, чем в Бразилии!» — охранителем чистоты и нравственности, блюстителем морали. В приличествующих случаю подробностях будет поведано и о невзгодах и горестях делопроизводителя Данило Коррейи, павшего жертвой жениного целомудрия.

Но прежде я намерен представить вам Манелу, которая лишь на мгновение промелькнула перед вашими глазами и тотчас исчезла в растворенной двери толстой Дамианы, откуда так вкусно пахло перемешанными с кокосовым молоком и лимонной цедрой пряностями — ванилью, корицей, орехами, имбирем.

И знаете вы про Манелу лишь то, что пронеслось в воспаленном мозгу профессора Батисты: за какую вину собралась карать ее Адалжиза? девица она еще или уже отведала запретного плода? избрали

ее Мисс Что-то Такое или нет? Все эти неясности следует прояснить, тем более что на предшествующих страницах уже сообщалось о том, что именно для освобождения Манелы из-под теткиного гнета появилась в городе Баия грозная богиня Ойа Иансан с колчаном, полным молний, через плечо, жаба, не боящаяся мертвых, ориша, от воинственного клича которой начинаются извержения вулканов. Ну, так кто ж такая эта самая Манела?

Нет-нет, все правильно: Манела, а не Мануэла — все переспрашивают, думая, что ослышались или что в тексте опечатка. Манела — имя, полученное в память прапрабабки-итальянки, легендарная и роковая красота которой перешла в семейные предания. Из-за нее — из-за первой в роду Манелы,— презрев эдикт, дрались на дуэли два пылких и глупых подполковника; из-за нее покончил с собой тогдашний губернатор провинции; из-за нее некий падре, без пяти минут епископ, отрекся от сана, отказался от митры, посоха, лиловой сутаны и поддался плотскому искушению.

А тех, кого заинтересует история долгой и бурной жизни Манелы Белини и кто захочет узнать поточней имена и даты, чины и должности, я отсылаю к соответствующей главе «Материалов к истории провинции Баия», сочинения профессора Луиса Энрике Диаса Тавареса, где вышеприведенные факты вкупе со многими другими засвидетельствованы документами: и триумфы примадонны на оперной сцене перед неистовствующей от восторга публикой, и смертельный поединок на шпагах, когда оскорбление, пятнавшее честь Белини, смывалось кровью — хватило, впрочем, нескольких капель,— и все сплетни по поводу самоубийства губернатора, и беззаконная связь с неудавшимся епископом, связь, положившая начало баиянской ветви рода и традиции имени... Увлекательнейшее чтение — не судите по заглавию.

Видный историк Луис Энрике Диас Таварес был двойником беллетриста Луиса Энрике — Луиса Энрике «tout court» [1], как говорил его коллега и душевный друг Жоан Батиста де Лима-и-Силва. Беллетрист воспользовался услугами ученого и сделал из предания о падре-расстриге изящную плутовскую новеллу. Право, не знаю, которому из Луисов отдать пальму первенства. Прочитайте их творения и решите сами.

Эуфразио Белини до Эспирито Санто, потомок расстриги, в кругу приятелей за кружкой пива и непринужденной беседой любил вспоминать о приключении своего прадеда — «неприступная итальянка, друзья мои, волосы так и вьются под ветром, какая женщина!..» Она родила дочь и нарекла ее тоже Манелой.

ПРОЦЕССИЯ — Манела не принимала участия в выносе плащаницы в Страстную пятницу. Ее место было в другом шествии, в иной процессии, свершавшейся в четверг, в честь Спасителя Бонфинского или, иначе говоря, в честь Ошала, на крупнейшем в Баии и единственном в мире торжестве. Она не каялась и не сокрушалась, не кутала в черную мантилью, не выпевала под зловещие трещотки слова литании — это пусть тетушка Адалжиза, бия себя в грудь, выкрикивает: «Mea culpa!» [2] Манела сияла от радости и веселья и одета была в ослепительной белизны наряд баиянских женщин. Покачиваясь всем телом, чтобы сохранить равновесие, несла она на голове кувшин с настоянной на душистых травах водой — ею омоют полы в храме,— шла, пританцовывая и напевая, не в силах противиться музыке, которую исторгали электротрио.

В этом году Манела впервые заняла свое место в процессии — всякому понятно, втайне от тетки,— а для этого пришлось отменить урок английского в Летнем американском институте. Именно, имен-

---

[1] Просто *(франц.)*.

[2] Моя вина! *(лат.)*

но: не сорвать, не промотать, а отменить, ибо вся группа еще накануне сообщила преподавателю Бобу Барнету о своем единодушном решении на занятия не ходить, чтобы поспеть на празднество. Юный Боб, очень интересовавшийся баиянскими обычаями, мало того что согласился отменить урок, но и попросил взять его с собой. На торжестве богатая его натура раскрылась во всем блеске — он до упаду отплясывал самбу, до отказа накачивался пивом. Наверно, это про таких, как он, говорят: свой в доску.

Манела переоделась у другой своей тетки — Жилдеты. Когда Долорес и Эуфразио погибли в автокатастрофе — возвращались на рассвете со свадьбы в Фейре-де-Сантана, и Эуфразио не успел увернуться от вылетевшего лоб в лоб фургона, груженного ящиками пива,— Адалжиза взяла к себе их старшую дочь, Манелу, а Жилдета — младшую, Мариэту. Она вдова с тремя детьми, просила отдать ей обеих девочек. Адалжиза не согласилась: у сестры Долорес такие же права, как и у сестры Эуфразио; она выполнит свой родственный долг. Бог не дал ей своих детей, и она посвятит всю жизнь тому, чтобы воспитать из Манелы порядочную женщину, женщину с твердыми жизненными принципами, женщину, подобную себе.

Относительно будущего, уготованного Мариэте, она предпочитала не распространяться, ибо ничего хорошего не ждала от ее новых родственников, чьи взгляды казались ей предосудительными,— и Адалжиза не упускала случая их осудить. Жилдета была вдовой владельца павильончика на рынке и учительницей младших классов, важной дамой себя не считала, но обладала золотым сердцем. Заслуживает внимания и опрос общественного мнения, сводившийся к лаконичной формуле: Мариэта выиграла сто тысяч по трамвайному билету — в этом сходились все друзья и знакомые.

Празднество началось на паперти церкви Пречистой Девы Непорочно Зачавшей — у храма Иеманжи, куда Манела пришла с утра пораньше вместе с тетушкой Жилдетой, сестрою Мариэтой и кузиной Виолетой. Там уже собрались десятки баиянок. Какие там десятки? Сотни, сотни женщин стояли на ведущих ко храму ступенях, и каждая была в ритуальном одеянии — широченная юбка верхняя, семь накрахмаленных юбок нижних, кружевная вышитая блуза, сандалии-босоножки без каблука, на шее — ожерелья, на запястьях — серебряные браслеты с разноцветными каменьями: у каждого святого — свой цвет. На обвязанной тюрбаном голове — кувшин с водой. Матери и дочери святых — представительницы всех африканских племен: наго, жеже, ижеша, ангола, конго — Манела, пожалуй, была краше всех — от всеобщего оживления, от царившего на площади веселья распустилась она, как бутон. С грузовиков гремели, созывая народ, барабаны, но тут зазвучало электротрио и все пустились в пляс.

От церкви Приснодевы Непорочно Зачавшей, что неподалеку от Подъемника Ласерды, до собора Спасителя Бонфинского на Святом Холме километров десять: чуть длинней или чуть короче покажется путь — зависит от рвения участников шествия и от количества выпитой кашасы [1]. Тысячи людей, людское безбрежное море. Машины, грузовики, повозки, ослики, убранные гирляндами из цветов и листьев, везут бочки с душистой водой про запас — а вдруг не хватит? Идут целыми семьями, шагают карнавальные группы-афоше и музыканты с аккордеонами, гитарами, кавакиньо, барабанами, беримбау, любимые в Баии композиторы и певцы — Тиан-Шофер, Ручеек, Шоколад, Паулиньо Камафеу, звучат голоса Жеронимо и Мораэса Морейры. В щегольском белом костюме шагает по мостовой седоголовый Бататинья. Ему пожимают руку, его обнимают, к нему протискиваются из толпы, чтобы поздороваться. Вот подскочила какая-то блондинка —

[1] Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

американка? итальянка? из Сан-Пауло? — чмокнула старика в черную симпатичную щечку.

Бедные и богатые перемешались в этом шествии, жмутся и давятся в этой процессии. В Баии, городе-метисе, живут люди всех цветов кожи — от угольно-черного до сливочно-белого, а между двумя этими полюсами — бесконечное разнообразие оттенков. Тут едва ли не весь город: поди-ка сыщи такого, кто не молился бы Спасителю Бонфинскому, не поклонялся бы всеведущему Ошала.

Здесь и командующий округом, и командир военно-морской базы, и начальник ВВС, и председатель Законодательного собрания, и председатель Верховного суда, и председатель Палаты депутатов, и банкиры, и владельцы гигантских плантаций какао, и высшие чиновники, и сенаторы, и депутаты. Некоторые едут в черных лимузинах, а некоторые — и среди них губернатор, префект, «табачный король» Марио Португал — идут пешком, в самой гуще народных масс. Здесь и легион демагогов, собирающихся выставить свои кандидатуры на ближайших выборах: уж они-то, чтобы заручиться голосами будущих избирателей, одолеют десять километров на своих двоих, не поскупятся на улыбки, на объятия, на похлопывания по плечу.

Колышется людское море под звуки священных гимнов, ритуальных песнопений, разухабистых карнавальных самб. Чем ближе к цели, тем многолюдней становится толпа: вливаются в нее ручейки из улиц и переулков, пустеет рынок Святого Иоакима, бегут опоздавшие с паромов и катеров, выпрыгивают из баркасов и рыбачьих шаланд. И когда голова процессии достигает подножия холма, взвивается к небесам всем знакомый, всеми любимый голос Каэтано Велозо, и в наступившей тишине звучит гимн в честь Спасителя Бонфинского.

А когда процессия вползает на отлогий склон, начинают греметь атабаке, славя грозного Ошала. Люди движутся ко храму, закрытому по распоряжению курии. Раньше мыли всю церковь и молились богу Ошала у Иисусова алтаря — может, когда-нибудь и опять так будет. А сейчас баиянки заполняют церковный дворик и паперть, начинают обряд омовения.

Наделенный чудотворной силой, Спаситель Бонфинский прибыл к нам из Португалии еще в колониальные времена — видно, спас терпящего бедствие мореплавателя, и тот дал ему обет. А Ошала принес на окровавленной спине раб-африканец. Оба витают теперь над процессией, оба живут в сердце баиянца, оба плещутся в воде для омовения, сливаясь воедино, превращаясь в одно божество — бразильское божество.

ДВЕ ТЕТУШКИ — Этот четверг — день Спасителя Бонфинского — стал решающим в жизни Манелы. Все приспело, все совпало, все пришлось одно к одному: процессия, счастливый день, заполненный пением и танцами, наряды баиянских женщин, площадь, разукрашенная флажками из шелковой бумаги и ветками кокосовых пальм, обряд омовения, священный ритуал и застолье, застолье вместе с сестрой и двоюродными братьями, когда пальмовое масло так и текло по подбородку, и ледяное пиво, и огненная кашаса, и запах гвоздики и корицы от каждого блюда, танцы на улице, звуки электрогитар, разноцветные лампочки вдоль фасада церкви, и Миро, Миро, который вел ее за руку в густой толпе. Манела чувствовала себя так легко, что, казалось, еще немного — и она ласточкой вспорхнет в воздух, взлетит над веселой праздничной сумятицей.

Еще утром к церкви Приснодевы Непорочно Зачавшей пришла самая обыкновенная, ничем не примечательная, бедная девочка да к тому ж еще довольно несчастная — задавленная чужой волей, привыкшая вечно держать оборону, боязливая, лживая, унылая, покорная, притворяющаяся. «Да, тетя», «Хорошо, тетя», «Иду, тетя». Манела со-

гласилась участвовать в процессии, потому что Жилдета поставила перед ней ультиматум:

— Если завтра рано утром не явишься к церкви, я сама приду за тобой, и пусть только попробует эта дрянь не отпустить тебя из дому — быть ее роже битой, ты меня знаешь! Да что ж это творится?! Спеси — на трех императриц, а кто она есть на самом деле? С чего она так задирает нос? Дерьмо такое... Этот Данило — порядочный рохля, если уживается с такой женой! — Жилдета воинственно уперла руки в боки.— Мне бы давно следовало потолковать с этой ломакой по-свойски: она распускает про меня мерзкие сплетни, обзывает горлопанкой и скандалисткой. Ну, ничего, когда-нибудь она за все ответит.

У благодушной и мягкосердечной тетушки Жилдеты угрозы обычно дальше слов не шли, и обиды она прощала легко. Однако бывали все-таки случаи, когда она впадала в ярость по-настоящему и становилась неузнаваемой, и на что угодно способной, и весьма опасной.

Разве не так с ней было в кабинете важного чиновника по народному образованию, когда правительство в целях экономии попыталось отменить школьные обеды? «Попрошу вас не кричать!» — сказал чиновник, и больше ему уже ничего сказать не пришлось: он потерял лицо и удрал из собственного своего кабинета, дабы избежать оскорбления действием. Коренастая, крепко сбитая Жилдета, обуянная боевым задором, произнося страшные обвинения, шла на него во имя бедных детей, занося для неотвратимого удара зонтик. Перепуганные секретарши и прочая канцелярская шваль попытались было задержать ее и урезонить, но Жилдета расшвыряла их как котят и, не внимая призывам остановиться и одуматься, прорвалась сквозь целую анфиладу служебных помещений в святая святых — особый покой, где чиновник отдыхал от трудов праведных. Потом в газетах появилась ее фотография и заметка о злокозненном замысле Управления отменить школьные обеды, дотоле сохранявшемся в строжайшей тайне. Заметка вызвала такую волну возмущения, что возникла реальная угроза забастовок и манифестаций, благодаря которой первоначальное решение было отменено, а Жилдета не потеряла место. Более того, вместо очень крупных неприятностей она удостоилась лестных слов от самого губернатора, который давно искал подходящего случая отделаться от начальника Управления, в чьей политической лояльности уверен не был. Его сделали творцом злосчастной идеи насчет обедов и бросили на растерзание общественному мнению.

Да, Жилдета удостоилась лестных слов от губернатора и на какое-то время прославилась: в своей речи в Законодательном собрании штата бестрепетный депутат от оппозиции Ньютон Маседо Кампос упомянул об инциденте и, превознеся Жилдету, назвал ее «пламенной патриоткой, воплощением гражданского самосознания, по-рыцарски благородной защитницей детей и вождем многострадального сословия учителей». Ее даже хотели ввести в состав руководства профсоюза, но она отказалась: похвалы ей нравились, но ни вождем, ни воплощением самосознания она не была рождена.

Итак, Манела превратила свою слабость в силу и, воспользовавшись тем, что Адалжиза с мужем отправились на поминальную мессу по супруге одного из сослуживцев Данило, рано утром постучалась в дверь Жилдеты. В руках она для отвода глаз держала учебник английского и тетрадки. Расчет был такой: тетушка думает, что она пошла на урок и вернется к обеду; она покинет процессию, чтобы успеть переодеться, схватить книжки, вскочить в автобус и в срок поспеть домой. И вот Манела, пугаясь собственной отваги, одолевая внутреннюю дрожь, надела накрахмаленные нижние юбки, юбку верхнюю, а сверху, прямо на голое тело,— о, если бы видела это Адалжиза! — кружевную баиянскую блузу.

Сказать, что Манела не раскаялась в содеянном, а пришла от него в восторг,— значит ничего не сказать. Безнадежно опаздывая, домой

вернулся совсем другой человек: Манела истинная, Манела, вновь обретшая свое естество, Манела распрямившаяся, а не та съежившаяся в ожидании неминуемой трепки девочка, в которую она превратилась после гибели родителей. Под трепкой я разумею и кару божью, ибо от всевидящего господнего ока ничто не укроется и за все придется в день Страшного суда держать ответ, и методы, которыми воспитывала и растила свою племянницу Адалжиза — проведав о проступке, она моментально поднимала крик. Добро бы только крик: поднималась, а потом и опускалась плетка.

Манела попала в дом к Данило и Адалжизе, когда ей исполнилось тринадцать лет,— не так уж мало, по мнению тетки, считавшей, что родители воспитали ее исключительно скверно. Девочка-подросток, своевольная и упрямая, привыкла якшаться бог знает с кем, вместе с одноклассницами сбегать с уроков в кино, смотреть по телевизору детские передачи, в которых, кроме названия, ничего детского нет, привыкла к танцулькам и вечеринкам. Безответственные родители даже на кандомбле ее водили.

Но Адалжиза быстро ее укротила: отныне все было по точному расписанию — нечего попусту по улицам шляться, на праздник или в кино только вместе со взрослыми. О террейро пришлось забыть навсегда — все эти языческие радения наводили на Адалжизу ужас. Я бы даже сказал: «священный ужас». Итак, тетушка племяннице дала укорот, она ее привела в чувство, приструнила, карая за малейшую провинность без пощады и снисхождения. Она исполняла свой долг приемной матери — когда-нибудь Манела сама ей «спасибо» скажет.

ПОЛДЕНЬ — «Эше э ба ба!» Ритуальным жестом вскинув ладони к груди, Манела приветствовала появление во дворе церкви Ошолуфана старца Ошала, низко склонилась перед тетушкой Жилдетой, которая, вздрогнув всем телом, закрыла глаза, и Ошолуфан вселился в нее. Опираясь на швабру, как на посох, в танце дошла она до места, отведенного «посвященным»: старый и хромой, но наконец-то освобожденный из заточения, где пребывал он без вины и без суда, Ошала радуется воле. И в ту минуту, когда он появился на площади, церковные колокола возвестили полдень.

А ведь в полдень Манела рассчитывала вернуться домой к обеду — вернуться, как подобает школьнице, в юбке и блузке, упрятав груди в лифчик, зажав под мышкой папку с учебниками и тетрадками,— она же была на занятиях в Летнем институте. «Здравствуй, тетя Адалжиза, хороша ли была месса?»

Забыла, забыла! Или вспомнить не захотела, а теперь зазвонили колокола, и можно уже ничего не вспоминать, и никуда не торопиться, потому что все равно в половине первого дядя Данило сядет за стол, и тетя Адалжиза подаст ему обед. Когда Манела опаздывает, тарелка остывшего супа ждет ее на кухне — вовремя надо являться, вперед будет наука. Но сегодня Адалжизе не до того: она и сама-то еле прикоснулась к бифштексу с фасолью, ибо от изумления и возмущения первый же кусок стал у нее поперек горла. В висках сразу заломило, во рту появился привкус горечи, язык отнялся. Адалжиза глядела и глазам своим не верила — и лучше бы ей ослепнуть.

ВОДЫ ОШАЛА — «Задом наперед только краб ходит»,— авторитетно заявила накануне Жилдета, весьма склонная к поговоркам, пословицам и афоризмам. Тонко подмеченной особенностью крабьей походки и кончилась ее гневная речь против Адалжизы: она успокоилась, уселась между племянницами, принялась перебирать волосы своей дочери Виолеты, примостившейся у ее ног. Затем всем им была поведана легенда о водах Ошала — если угодно, я вам ее перескажу. Может, при этом и была у Жилдеты тайная мысль, но она ее вслух не

высказала. Итак, она понизила голос и поведала нижеследующее — ну, может, где-нибудь переврал я словечко-другое:

— Слышала я от своей чернокожей бабушки, а ей когда-то старики рассказывали, что в один прекрасный день решил Ошала обойти все свои владения и царства трех сыновей своих — Шанго, Ошосси и Огуна — и узнать, как живется людям, восстановить справедливость, покарать зло. Чтобы не узнали его, надел он нищенские лохмотья и пустился в путь-дорогу. Однако прошел немного: очень скоро его как бродягу схватили, засадили в тюрьму да еще и избили. И вот за решеткой, в одиночестве и в грязи, провел он долгие годы.

Но однажды проходил мимо ужасной той каталажки Ошосси и узнал он в арестанте отца, которого уже считал мертвым. Ну, конечно, мигом освободили Ошала, вывели из тюрьмы, а перед тем как с почетом водворить во дворец, с песнями и танцами принесли женщины воды, настоянной на душистых травах, омыли его тело, а самые красивые согревали потом ложе Ошала, сердце его и прочие члены.

«Вот теперь на собственной своей шкуре,— молвил тогда Ошала,— понял я, как живется людям в моем царстве и в царствах троих моих сыновей: здесь, и там, и повсюду правят сила и произвол, всем велено молчать и повиноваться, а доказательства тому — у меня на спине. А вода, которая гасит пламя и врачует язвы, погасит и страх и деспотизм, а жизнь народа изменится к лучшему. И в том клянусь я своим царским словом». Вот какую историю о водах Ошала передают из уст в уста: она перелетела через море и к нам, в баиянскую нашу столицу. Ведь очень многие из тех, кто идет в шествии и несет в горшках и кувшинах благовонную воду, чтобы вымыть полы во храме, не знают, откуда повелся такой обычай. А вы теперь знаете и расскажете об этом детям своим и внукам: история хороша и поучительна.

Замолчала Жилдета, улыбнулась племянницам и дочери. Потом взяла Манелу за руку, прижала ее к своей груди, расцеловала в обе щеки, погладила по кудрявым волосам.

Всякий с первого взгляда заметит, что Ошала не удалось изменить жизнь людей к лучшему. И все-таки я считаю, ни одно слово против насилия и тирании даром не пропадает: всякий, кто это слово услышит, может побороть страх и начать борьбу. Вот почему Манела в тот час, когда ей полагалось уже быть дома, еще ходила дорогами Ошала во дворе храма Спасителя Бонфинского.

ЭКЕДЕ — Когда зазвонили колокола, не на шутку встревоженная Манела решила прибегнуть к Спасителю Бонфинскому, для которого, как известно, ничего невозможного нет. Над ризницей целый этаж отведен под благодарственные подношения тех, кто имел случай убедиться в чудотворной его силе.

И в ту самую минуту, когда взмолилась к нему Манела,— «Пощади, господи!» — бессознательным, от далеких предков унаследованным движением начала она обряд экеде — младших жриц, которым поручено заботиться об ориша: сняла стягивавший талию пояс, чтобы этой незапятнанной тканью отереть пот с лица Жилдеты,— приказ отдал, уперев сжатые кулаки в бока, сам Ошала.

Манела ясно сознавала тяжесть свершенного преступления и степень своей вины — ох, велика, велика, больше, наверно, и не бывает. Теперь надо придумать правдоподобное объяснение, измыслить что-нибудь такое, что удержало бы карающую десницу Адалжизы и заткнуло бы ей рот,— иные слова хлещут побольней оплеухи. Обмануть недоверчивую и подозрительную тетку было трудно, и все же иногда удавалось Манеле провести ее и избежать нотаций, брани и плетки. Не то что она от рождения была лживой девочкой, но в минуты страха и унижения ничего другого не оставалось. Беда-то в том, что порой ей никакая увертка не приходила в голову, и тогда оставалось лишь признавать вину и просить прощения: «Прости меня, тетечка, не буду

больше, никогда больше не буду, господом нашим клянусь и спасением маминой души, никогда!» Признание вины от кары не спасало, в лучшем случае чуть-чуть ее смягчало — так стоило ли виниться?

И вот Манела отерла пот с лица Жилдеты и бездумно, словно исполняя чей-то приказ,— а не Ошала ли шепотом произнес тот приказ? — пустилась в пляс рядом с теткой, празднуя свое посвящение, радуясь вновь обретенной свободе, окончанию одиночества и подлости. В голове у нее помутилось, по рукам и по ногам побежали мурашки, колени задрожали, хотела выпрямиться — не смогла, изогнулась всем телом. Как во сне бывает, чувствовала она, что стала другой, что парит в воздухе, что не надо ей придумывать объяснений и уверток, не надо врать, ибо никакого преступления, проступка, ошибки не совершала и ни в чем не грешна. Не в чем ей виниться, не за что просить прощения и наказывать ее тоже не за что. Как рабыня, получившая вольную, танцевала Манела перед хозяином Святого Холма, перед грозным Ошала, а стоявшие вокруг баиянки хлопали в такт. Где научилась Манела этим движениям, где подсмотрела эти па? Проворна и легка была она, ибо восстала против неволи и сбросила с плеч тяжкое бремя страха и вины.

Ошолуфан, Ошала-старец, главный над всеми богами, подошел к ней, обнял, надолго прижал к себе, покуда дрожь не прошла по его телу, не отозвалась в теле Манелы. А потом она отступила на шаг, крикнула во все горло, во всеуслышание: «Эпаррей!» И баиянки, склоняясь перед нею до земли, повторили: «Эпаррей!»

Иансан исчезла так же неожиданно, как и появилась. Исчезла, унося с собой, чтобы зарыть в лесной чащобе весь набор мерзостей — малодушие и покорность, притворство и позор, страх перед угрозами, бранью, затрещинами и оплеухами, перед жестким ремешком, висящим на стенке. Унесла она и то, что было гаже всего остального — мольбу о прощении. Ойа вытерла лицо Манелы, пригладила растрепавшиеся кудри.

На смену страху, овладевшему ею, когда колокола прозвонили полдень, пришло чувство беззаботной, ничем не омраченной радости — Манела, отринув ярмо и кнут, возродилась к жизни. Вот докуда докатились в тот четверг воды Ошала. Угасили они адский огонь.

COUP DE FOUDRE [1] — В тот четверг, в день Спасителя Бонфинского, под ослепляющим и обжигающим январским солнцем Манела узнала Миро.

«Настоящий coup de foudre»,— сказал бы об этом событии дорогой сосед, высокоученый профессор Жоан Батиста де Лима-и-Силва, знаток французского языка и литературы. Выражение «любовь с первого взгляда» справедливо только по отношению к Манеле, ибо, если верить Миро, он-то уже давно положил на нее глаз и только ждал удобного случая, чтобы объясниться.

Ликующая Манела оказалась у самой церковной ограды, кропя душистой водой восторженную толпу — «дочери» святых как раз вопрощались в богов, и по двору в трансе бродили шестнадцать Ошала, десять Ошолуфанов, семь Ошагиньясов,— и вдруг услышала: кто-то зовет ее, настойчиво повторяет ее имя:

— Манела! Манела! Глянь-ка сюда!

Манела поглядела в ту сторону, откуда доносился голос, и увидела этого парня — он был прижат к прутьям ограды и смотрел на нее молящими глазами. Черное лицо расплывалось в широчайшей улыбке, обнажавшей белоснежные зубы, а ноги его, хоть он и был вплотную притиснут к ограде, выделывали па самбы. Манела вылила последние капли из своего кувшина на его курчавую голову, причесанную по последней моде, завезенной из Америки «черными пантерами», акти-

[1] Удар молнии *(франц.)*.

зистами движения «black power» [1],— борцами против расизма. Манела не помнила, видела ли она его раньше, да и какое это теперь имело значение?

Миро протянул ей руку и сказал:

— Пойдем.

ЛАСТОЧКА В ПОЛЕТЕ — Словно вырвавшаяся на волю ласточка, которая бьет крыльями, готовясь взмыть в воздух и открыть для себя весь мир, Манела заливалась смехом, чувствуя, как переполняют ее блаженная легкость и свобода, беспричинная радость бытия, счастливое безумие, как вселяется в душу единственное желание — жить.

На церковной площади и на прилегающих к подножию холма улицах меж тем начинался карнавал — полтора месяца праздности и веселья, полтора месяца беспрерывного праздника — человек ведь, согласитесь, не железный, чтобы целый год сносить нищету и угнетение, пить немеряную и горькую чашу страдания? А умение веселиться да еще в обстоятельствах, столь мало располагающих к веселью,— это уж редкая особенность нашего народа, она дарована нам Спасителем Бонфинским и Ошала; из них двоих родился Бог Бразилии, и родился, разумеется, в Баии.

Проходили карнавальные группы, школы самбы, афоше. «Дети Ганди» впервые в этом году показывали на улице свое мастерство, и гулкое эхо электрогитар долетало до самого горизонта — грязного, заболоченного, гниющего. Сновали в толпе «капитаны песка», продавая ленты, ладанки, медальончики, раскрашенные фигурки святых, разнообразные талисманы и амулеты. Поспевала вслед за процессией возбужденная и говорливая орава туристов.

На лотках источали неземное благоухание разные яства: акараже, абара, мокека, крабы, жареная рыба. В палатках и павильончиках, до отказа набитых шумными посетителями, продавали каруру, ватапу, эфо и прочие всевозможные блюда — и ледяное пиво, и кашасу с лимонным соком и сахаром. Исполинские корзины с фруктами — одних только бананов одиннадцать видов, а манго? а «бычье сердце», сапоти, кажа, кажу, питанги, жамбо, а груды арбузов, а кучи ананасов? Все это надлежит съесть без промедления, а то испортится, но зеленщики не сбавляют цен, хотя торговля идет бойко, как никогда,— покупатели сметают все подряд.

А в домах, сданных внаем понаехавшим на праздник туристам, гремят маленькие оркестры — гитара, аккордеон, флейта, кавакиньо, пандейро-погремушки,— чтобы поднять дух оробевших хозяев. Кружатся пары, и среди них немало стариков и старушек, ни в чем не уступающих молодым. Что ж, танцы заглушат тоску по доброму старому времени... Но конечно, самое веселье — на свежем воздухе, на улице, где электротрио наяривают самбы, фревò [2], карнавальные марши. Недаром же сказал один бродячий менестрель: «А вослед за этим трио только мертвый не пойдет...» Кто своими глазами не видел, тому смысла нет рассказывать об этом бале без начала и конца, о непрекращающемся танцевальном марафоне.

Манела вместе с ватагой молодежи — с сестрами родной и двоюродной, кузенами, их приятелями, подружками, приятелями подружек и подружками приятелей — веселилась без устали. В тот день она была вне конкуренции, никто не мог ее затмить или хотя бы сравниться с нею. Словно тяжко, чуть ли не смертельно больной человек, который чудом выздоровел, она хотела теперь получить все, на что имела право. Под чарующие звуки джаз-группы «Мастаки из Перипери» отплясывала она прямо на улице вместе с народом — правильней будет сказать — с простонародьем: так принято именовать самую неимущую

---

[1] «Власть черных» *(англ.)*.

[2] Массовый карнавальный танец.

часть баиянских граждан — самбу и румбу, фокстрот, болеро и твист, и даже аргентинское танго, ибо кавалер ее был совершенно непредсказуем. Там — глоток пива, тут — рюмку ликера, где-нибудь еще — коктейль, и становилась все веселей, все беззаботней. Вот, оказывается, что значит жить.

ОСВЯЩЕННАЯ СВЕЧА — В павильончике «Морская царица» сидела Жилдета во главе обильного стола, за которым оживленно и бессвязно кипела беседа,— она ела и пила, хохотала вместе со своими сыновьями, дочкой и племянницами, опекала влюбленных. А ушла еще до наступления сумерек — ей, пятидесятилетней вдовице, слушать рок-группу было неуместно да и не под силу.

Ушла Жилдета, поручив дочку и племянниц заботам своих сыновей — Алваро, студента-медика, с самыми серьезными намерениями ухаживавшего за своей сокурсницей, и бесшабашного красавца Дионизио, торговавшего на рынке Модело, неугомонного юбочника, вечно окруженного выводком девиц. В этот вечер внимание его оспаривали две сестры-близнецы — одна крашеная блондинка, вторая — темноволосая,— а он, выражаясь морским языком, решил, очевидно, затралить обеих. Двойняшки? Тем лучше. Кроме сыновей Жилдеты от Манелы ни на шаг не отходил и Миро.

Наслаждаясь лангустом, Жилдета искоса поглядывала на племянницу и оставалась очень довольна: Манела не говорила, что ей пора домой, не ерзала на стуле, никуда не спешила. Еще утром она поминутно смотрела на часы, сидела как на иголках, а после церемонии совершенно успокоилась.

Тревога ее сменилась необычайным оживлением: она говорила без умолку, хохотала по всякому поводу или без повода, была раскована и вольна и не отнимала из рук Миро своей руки, а уж Миро в тот вечер был само остроумие, сама предупредительность, сама нежность. «Может быть, моя племянница выбросила лозунг «Независимость или смерть»?» — спрашивала себя тетушка Жилдета, которая, будучи, как известно, учительницей начальных классов, любила исторические аналогии. Поднявшись из-за стола, она спросила Манелу на ухо:

— Не хочешь пойти со мной? Вместе будем отвечать перед Адалжизой.

— Нет, спасибо, тетя, не стоит. Я еще побуду, вернусь с девочками. Не беспокойтесь, все будет о'кей.

Жилдета всмотрелась в ее лицо и за безудержным оживлением, за жаром праздника и влюбленности различила впервые проявившийся характер и бесповоротно принятое решение — да, несомненно, Манела провозгласила независимость. Ну, как бы там ни было, тетушка ее в беде не оставит, в трудную минуту не бросит, вмешается, если надо будет. «Веселитесь, дети мои!» — напутствовала она молодежь, взяла швабру, кувшин и отправилась на автобусную остановку.

Когда языческий обряд был окончен, двери храма открылись, и добрые католики, еще так недавно неистовствовавшие на радении, благоговейно крестились у чудотворного образа Спасителя Бонфинского, шептали «Отче наш», став на колени. Туристы, давя друг друга в тесной ризнице, прорывались в «Музей Чудес», спрашивали, можно ли фотографировать, и тотчас принимались за дело. Святоши продавали свечи, члены общины собирали пожертвования. Пожилой темнокожий падре с седым курчавым венчиком вокруг тонзуры подошел к дверям, окинул взором ликующую церковную площадь. Он еще застал времена, когда мыть разрешалось весь собор, и, ей-богу, не было в этом ничего кощунственного или святотатственного. И зачем понадобилось кому-то из церковных иерархов запрещать такую трогательную и умилительную церемонию — народ моет и чистит господень дом? Негритянский обряд? Ну и что ж с того? Покажите мне баиянца, в жи-

лах которого не текла бы африканская кровь. Нет такого. Ну, скажем, почти нет, но исключения крайне редки.

Жилдета зашла в храм, купила освященную свечу, зажгла ее. Осенила себя крестным знамением и поставила свечу в один из бесчисленных канделябров у главного алтаря. Потом преклонила колени перед изображением господа нашего, Спасителя Бонфинского, помолилась, поднялась и пошла дальше, не позабыв ни швабры, ни опустевшего кувшина.

ВЛЮБЛЕННЫЕ — Когда Миро схватил Манелу за руку и повел, потащил в «Морскую царицу», где, благодаря связям Дионизио, ждал их накрытый стол, там уже сидели ее кузены — Алваро со своей невестой и вертопрах Дионизио с двойняшками, которых он обхаживал умело, увлеченно и успешно. Увидев Манелу, он вскричал, перекрывая гвалт и гомон:

— Эй, Миро, ты даешь! Так вот кто твоя девушка? Манела?

— Ты что, другую знаешь? — не без вызова ответствовал Миро.

Дионизио, заметив на лице кузины легкое недоумение, поспешил объяснить:

— Этот ветрогон сказал, что сейчас приведет свою девушку, а я и не знал, что вы знакомы.

Сидели тесно — стол был явно маловат для стольких гостей. Манела поглядела Миро прямо в глаза, словно требуя, чтобы тот объяснил свою дерзость, но тот сначала принялся заказывать: Манеле — мокеку из сири и кашасу с соком маракужа, себе — мокеку из ската и кашасу с соком лимонным. И только потом, глядя на нее так нежно, так покорно, что Манела, покраснев, опустила глаза,— на ослепительном солнце румянец, заливший ей щеки, был совсем не заметен, но я все равно не возьму на себя смелость опустить столь важную подробность — сказал:

— Разве ты не помнишь? Я с тобой познакомился года четыре назад, на кандомбле старого Гантоиса, на празднике Ошосси, ты была там с папой и мамой — они тогда еще живы были... Как будто вчера это было. Ты славная такая была девчушка. Я потом тебя как-то потерял из виду, но не забывал все это время. Потом только узнал, что ты — сестра Мариэты и кузина моего закадычного дружка. Ну, сказал я себе тогда, кончен бал, больше уж она от меня никуда не скроется.

«Этот малый от скромности не умрет»,— подумала Манела, а сама пошутила, спросив Миро,— и шутливый ее вопрос то, что свыше предначертано, изменить, разумеется, не мог:

— А может, я-то тебя знать не хочу?

— А почему бы тебе не хотеть? У меня в подружках, слава богу, недостатка нет, можешь мне поверить — сами на шею вешаются. Мне ты нужна. Я ж тебе сказал: я тебя не забыл и вон сколько времени искал. Ты меня приворожила.

Он рассмеялся от души, уверенно и доверчиво, а следом засмеялась Манела, а потом, сам не зная чему,— Дионизио, а за ним — сестры-близнецы. Это был самый настоящий «fou-rire» [1], как объяснил бы, случись он там, профессор Жоан Батиста. Дионизио, заливаясь хохотом, незаметно показывал Манеле и Миро на двойняшек-соперниц: он еще не решил окончательно, с которою из них завершить сегодня празднество. Может, и с обеими — чтобы удержаться на гребне волны, волны свального греха, за который так горячо и прочувствованно ратуют представители аппетитно разлагающегося среднего класса. Успокоившись наконец, Дионизио сказал:

— Дураки вы оба. Нет, это не мой случай. Мне такая любовь и даром не нужна.

---

[1] «Неудержимый смех» *(франц.)*.

С этой минуты Манела и Миро больше не расставались. Взявшись за руки, бродили они по площади, завязали друг другу на запястье ленты Спасителя Бонфинского — по три узелка на каждой ленте, каждый узелок — загаданное желание. Миро купил еще соломенную шляпу с широкими полями и бумажный веер. Так распрыгались они под звуки рок-групп, что и не заметили, как стало темнеть. Сумерки застигли их, когда они, прильнув щекой к щеке, танцевали медленный жалобный блюз. «Какая романтическая пара!» — сказали про них журналист Джованни Гимараэнс и его жена Жаси.

Дона Жаси угощала гостей изысканными ликерами — лучшим творением монахинь-кармелиток; Джованни вел с друзьями беседы о политике — «да перестаньте, эти солдафоны слишком тупоумны, чтобы править страной, часы диктатуры сочтены...» Ему возражал доктор Зителман Олива: «Простите, местре Джованни, но что-то плохо верится. К сожалению, эти бесноватые пришли надолго. К величайшему сожалению»,— повторил он здраво, трезво и печально.

Во исполнение обета чета Гимараэнсов каждый год, в январе, снимала дом на Святом Холме и устраивала торжества в честь чудотворца. «Обещаю тебе, Спаситель, что если забеременею...» Ну вот, дона Жаси и забеременела, и родила чудную девочку, получившую при крещении звучное славянское имя Людмила.

«Во исполнение обета»? Да разве Джованни не коммунист да еще из самых убежденных? Ну и что? Чем одно мешает другому? А кто это тут собрался проверять меня на идеологическую выдержанность? Убирайтесь отсюда к чертовой матери, живо! В этой книге, заключающей в себе целую вселенную, идеологическим дозорам не место!

ПОЦЕЛУЙ — За медленным томным блюзом последовал бешеный рок, за роком — свинг, за свингом — самба, а потом, под рукоплескания зрителей, пришел черед танго. Миро танцевал как бог, Манела была ему под стать: пара настоящих виртуозов, разве что слишком много чувства вкладывали они в свой танец. «Как прекрасно, что в этом мире, который все сильней захлестывается низким материализмом и себялюбием, еще остается чувство»,— растроганно заметила дона Аута Роза, обращаясь к бельгийскому профессору-философу Мишелю Лувену, католическому священнику, иностранной знаменитости, почетному гостю. Знаменитость, будучи хорошо воспитанной, вежливо согласилась, хотя и не смогла скрыть некоторого нетерпения,— профессору хотелось бы оказаться посреди пляшущей толпы на мостовой и принять личное участие в народном баиянском празднестве. Бельгиец любил народные праздники, обожал Баию, был священником вполне современным и просвещенным и не врагом материализма, но идеологическим его противником.

В длинном списке запретов, составленном тетушкой Адалжизой, танцы — удивительная поблажка! — не значились: оттого, быть может, что Адалжиза сама любила танцевать и делала это с непритворным удовольствием и несравненным изяществом. Надо ли говорить, что на званых вечерах в Испанском клубе или на вечеринках у знакомых единственным ее кавалером был законный супруг?

В девичестве, еще до знакомства с Данило, она заняла первое место на конкурсе пасодобля, где партнером ее был шустрый Дмевал Шавес, в ту пору служивший в издательстве. Адалжиза и теперь еще надевала иногда золотую с аметистами брошь — приз, учрежденный торговым домом Морейра, почтенной антикварной фирмой. Вручая эту брошь победительнице, Маноло Морейра в краткой, но вдохновенной речи уподобил Адалжизу Терпсихоре, назвал ее «баиянской музой танца». Вот по этой самой причине на днях рождения, на крестинах и именинах, на свадьбах и на балах в Испанском клубе Манеле дозволялось танцевать — разумеется, не выходя из рамок приличия.

Но о каких рамках можно было говорить теперь, в четверг, в день Спасителя Бонфинского, в отсутствие строгой тетки, после стольких стаканов пива, стольких коктейлей, не считая монастырских ликеров и того, что слаще и хмельней любой мальвазии,— непрекращающегося объяснения в любви? И когда вдруг погас свет — то ли пробки перегорели, то ли какой-то озорник их вывернул, поди-ка теперь узнай! — Миро поцеловал Манелу в губы и скользнул ладонью по ее груди.

ДЕРЗКАЯ ДЕВЧОНКА — В десятом часу появилась Манела на авениде Аве Мария. Тетушка поджидала ее в дверях. Рохля-Данило ушел из дому, чтобы не присутствовать при этой встрече, переложил на хрупкие женины плечи и заботу, и ответственность. А она, Адалжиза, несла свой крест, хоть и чувствовала, что силы ее на исходе,— сердце колотилось, во рту было горько, голова раскалывалась.

Манела и словечка не успела вымолвить — «не вздумай врать, сучонка ты подзаборная, мне все известно!» А следом две оплеухи — по одной на каждую щеку, на виду у соседей. Рука у Адалжизы тяжелая.

С тем Манела и вошла в дом. Две звонкие пощечины и целый залп оскорблений. Тут тебе и потакание низменным инстинктам, и развратная натура, и распутный нрав, и пристрастие к дикарским радениям. Не ограничившись этим, потревожила Адалжиза и тень Эуфразио, уж который год мирно почиющего в сырой земле,— «вся в папочку! Пьянь черномазая! Алкоголик, погубивший мою бедную сестру!» О происхождении, привычках и причудах бедной сестры сказано не было ничего, но зато уж африканской крови покойного Эуфразио досталось сполна, ибо это под его растленным влиянием сбивается Манела с пути истинного и погрязает в гибельной трясине греха и порока.

Должно быть, запамятовала Адалжиза, как мощно проявилось в ее сестре негритянское начало. Кастильская кровь, струившаяся в жилах Долорес, не сделала из нее белой, не заставила всем сердцем воспринять законы и обычаи порядочных людей. Адалжиза как пошла по католическим стопам отца, дона Франсиско Ромеро Перес-и-Переса, прозванного в признание его заслуг в деле волокитства и блудодейства Пако-Жеребец, так ни на пядь и не отклонилась от правил испанской колонии и догматов святой нашей матери-церкви. А вторая дочка, Долорес, удалась в плебейскую породу матери, Андрезы да Анунсиасан, прозванной Андрезой де Иансан в честь грозной богини громов и молний, и, хоть и была благочестива на мессе, весела в гостях у соотечественников отца, не пренебрегала ни уличным празднеством, ни карнавальной суматохой, ни своими обязанностями на кандомбле. На волшбе в «Белом Доме» выбрила она себе голову, став любимой «дочерью святой».

Африканская кровь сказалась и в дочерях Долорес: у обеих смуглая кожа отливала медью, потому что Эуфразио, несмотря на неугомонную бабушку-латинянку и фамилию Белини, был очень темным мулатом, истым бразильцем со смешанной кровью — итальянской, португальской и негритянской. Недаром и звали его Эуфразио Белини Алвес до Эспирито-Санто. «Сколько белых, молодых людей из хороших семей,— восклицала Адалжиза,— так нет: выбрала себе в мужья чернокожего, который горазд только бренчать на гитаре!»

И вот, когда тетушка принялась поносить последними словами Эуфразио, когда она обозвала его пьяницей и убийцей,— только тогда Манела вдруг открыла рот, подала голос и пресекла этот поток брани:

— Про меня можете говорить все что угодно: вы — моя тетка, я живу у вас в доме. Это ваше право. Но имя моего отца трепать не смейте — он умер и не может защититься.

Это было так неожиданно, так непривычно, так дерзко, что Адалжиза осеклась на полуслове. Как она сразу не заметила, что с племянницей ее творится что-то небывалое — молчит, безмолвно сносит оплеухи, не плачет и не просит прощения? Куда делась прежняя Манела, покорная и боязливая, в три ручья ревущая, на коленях вымаливающая пощады? «Не бейте меня, тетечка, клянусь вам, не буду больше, ой, не буду, клянусь вам спасением души!» Сначала молчала как каменная, а когда все-таки разверзла уста, сказанула такое, что онемела Адалжиза. Что же случилось, отчего это она так осмелела, где набралась подобной дерзости? Что произошло? Что происходит?

— Ну, погоди у меня, неблагодарная тварь! Ты у меня язычок-то быстро прикусишь!

И с этими словами Адалжиза ринулась в комнату, сорвала со стены плетку.

ТЕЛЕВИЗОР — Адалжиза имела обыкновение не выключать радио целый божий день. Боясь пропустить что-нибудь интересное, она не расставалась с транзистором, перенося его с места на место: из ванной — на туалетный столик в спальне, со столика — на кухню, где стряпала, из кухни — в гостиную, где шила. Замолкал приемник только под вечер, когда Адалжиза садилась смотреть очередную серию какого-нибудь телеромана. Обычно к ней присоединялся муж, а потом, сделав уроки, и Манела.

А телевизор — штука благородная и дорогая — использовался не так усердно и бездумно, как приемничек на батарейках,— носить его с собой и смотреть передачи, управляясь, например, по хозяйству, было нельзя. Но зато вечером он доказывал свою ценность, показывая телероманы, фильмы, прямые репортажи о важнейших событиях. Данило предпочитал спортивные передачи — истинной его страстью был футбол: некогда он играл за «Ипирангу» и до сих пор остался верен своему первому и единственному клубу. Туда он пришел мальчишкой, там стал знаменитым и прославленным центральным нападающим. В свое время он отверг мильонные контракты с «Баией» и «Витторией»: наотрез отказался сменить цвета своего клуба и защищал их до тех пор, пока из-за серьезной травмы не пришлось навсегда распроститься с зеленым полем.

Было у него и еще одно пристрастие — выпуски новостей, особенно тот, который передавали в час дня: не вставая из-за обеденного стола, Данило узнавал обо всем, что творится в Баии, в Бразилии и в мире. Адалжиза новости смотрела без большой охоты, исключение делала только для демонстрации мод и для коронованных особ — монархов Испании, Великобритании, Монако. Особенно умиляла ее английская королевская семья. «Какая душечка!» — восклицала она по адресу Елизаветы Второй.

Но в тот день, включив телевизор, чтобы Данило посмотрел часовой выпуск, Адалжиза едва не хлопнулась в обморок, ибо увидела на экране свою племянницу Манелу, участвующую в обряде омовения. Мерзкая девчонка вылила остатки душистой воды на курчавую голову какого-то проходимца: спустя несколько дней проходимец этот оказался шофером такси, поджидавшим Манелу на углу и оглашавшим всю Аве Марию немилосердным завыванием клаксона. Как хорошо, что Адалжиза успела опуститься на стул! Данило закричал: «Гляди, Дада, это ж наша Манела!» Он еще обрадовался, несчастный! «Боже, боже мой!» — еле слышно произнесла Дада и взялась за сердце, а не то оно неминуемо разорвалось бы.

Прямой репортаж с вершины Святого Холма начался с крупного плана Манелы — она стояла у церковной ограды с кувшином в руке — ах, кто увидит, тот уж не забудет. Потом показали, как губернатор и префект приветственно машут толпе, а потом пошла стреми-

тельная череда кадров, и некоторые были очень удачны: вот этот, например, где баиянки на церковном дворе танцуют в честь Ошала. Адалжиза узнала Жилдету, увлекавшую за собой Виолету, Мариэту и Манелу. Ну, ладно, тетушка и ее дочка — непременные участницы этих бесовских игрищ и радений, но им, видно, мало показалось одной беззащитной сиротки Мариэты — решили и вторую приобщить к своим мерзостям. Ах, подлые! тайком, украдкой совратили Манелу, вонзили Адалжизе нож в спину!

Камера еще раз выделила из толпы пляшущих Манелу — показала ее во всем бесстыдстве, во всей непристойности — бедра так и ходят, на лице — пот и распутство, ноги выписывают дьявольские кренделя. Однако репортер, расточавший бесчисленные комплименты баиянским женщинам вообще и Манеле в частности, увидел ее совсем не такой: он обращал внимание телезрителей на ослепительную белизну одеяния, он называл все эти ожерелья и браслеты подлинными произведениями искусства, а для Адалжизы это было всего лишь варварские и дикарские побрякушки. Репортер — циничный, самоуверенный сатир, прячущий похотливую ухмылку в бороде а la Че Гевара, модной среди оппозиционно настроенных рок-юношей,— сообщал, что «бессилен должным образом описать светло-шоколадную красу Манелы» и призывал на помощь вдохновение Годофредо Фильо и творческое воображение Карлоса Капинама. Тем не менее репортер и сам подыскал кое-какие слова, сообщив, что «ослеплен расцветающей прелестью Манелы, чуть надменным выражением ее лица, красотой этой великолепной представительницы бразильской расы, этой девушкой, так истово выполнявшей обязанности «дочери святой» на шествии в честь Ошала». С каким наслаждением Адалжиза надавала бы оплеух этому говоруну, если бы он возник перед нею въяве, а не на экране. Но на экране безудержно хохотала Манела — в нее точно бес вселился! — на экране делали ритуальные шаги ноги Манелы, мелькала в низком вырезе блузы полуобнаженная грудь. Подумать только: показывать такое да еще в дневном выпуске новостей, который смотрят сотни тысяч людей по всей стране! Какой позор! Какой стыд!

«Ай да Манела!» — сказал Данило, польщенный вполне, на его взгляд, заслуженными похвалами красоте Манелы, сказал — и осекся под взглядом Адалжизы, полным такой ярости и муки, что простодушный супруг мигом понял свой непростительный промах и ужаснулся, осознав преступную подоплеку происшествия: Манела пошла на празднество по своей воле, не спросив разрешения Дада, не получив ее согласия и — это уж ни в какие ворота не лезло — по приглашению тетушки Жилдеты. А он-то, дурень, вздумал еще восторгаться! Дядя, называется!

«Великолепная представительница, расцветающая прелесть, чуть надменное выражение лица!..» Адалжиза видела на экране лицо, мокрое от пота, вульгарное, развратное — вот, слово найдено! — какое и должно быть у этой притворщицы, предательницы, лицемерки, вруньи, предающейся отвратительным таинствам волшбы. Адалжиза, сраженная из-за угла, с предсмертным хрипом выключила телевизор. А Данило отложил салфетку и, не дожидаясь кофе, убрался подобру-поздорову из дому.

От нестерпимой мигрени разламывалась голова, в горле стоял ком, подташнивало, мутило, немоглось. Адалжиза возвела угасающие глаза к изображению сердца Христова: «Господи, спаси меня, выведи из столбняка! Даруй мне силы обратить грешницу, вернуть заблудшую овцу в стадо твое!»

УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ — Заявить, что в родительском доме Манеле никогда не попадало, было бы ложью, искажением фактов, данью дурной традиции, которая ныне осуждена выдающи-

мися мужами, пишущими Историю — большую Историю, с заглавной буквы. Но пишут-то они сообразно вкусам и интересам власть имущих и потому стараются, чтобы собранные ими факты не оскорбили чувств диктаторов. «Нет-нет,— объясняют они,— речь идет не об искажении Истории, а об очищении ее от событий и персонажей, которые пятнали столь необходимую ей идеологическую чистоту.

Так вот, время от времени Манела в наказание за какую-нибудь крупную шкоду, для памяти и науки, получала от папы или мамы шлепок по мягкому месту. Один раз было то, что принято определять неблагозвучным понятием «выволочка», но Манела ее более чем заслуживала. Ей тогда исполнилось двенадцать лет, и она училась в гимназии Мануэла Девото.

В один прекрасный день Эуфразио вызвали к директору, где ему и всем прочим родителям было сообщено о том, что Манеле и ее однокласснкам грозит исключение за весьма серьезный проступок, имевший место накануне. Одним только родителям ведомо было, каких трудов стоило устроить детей на бесплатное обучение: так, например, место для Манелы было выбито с помощью могучей руки Вильсона Линса, писателя и видного политика.

Итак, накануне все сорок учеников — двадцать два мальчика, восемнадцать девочек,— разозлившись на преподавателя основ морали и права, который из чистой вредности поставил сорок единиц, вылили изрядную порцию пальмового масла в классный журнал, а то, что еще оставалось в бутылке — на сиденье стула, где покоил свой костлявый зад деспот и самодур. Учитель — тощий отставной армейский майор, придира и зануда — припер директора к стенке. Ну, разумеется, угроза исключения так угрозой и осталась, ибо невозможно выгнать из школы целый класс. Тем не менее Эуфразио этого дела так не оставил и дочь-преступницу выпорол.

И эта-то вот счастливая жизнь с любящими и доверяющими родителями, жизнь, в которой не было ни страха, ни лжи, неузнаваемо изменилась после гибели Долорес и Эуфразио в автокатастрофе. Манела стала жить у Адалжизы, наступила эра брани и кары. Особенно тяжким был первый год, когда Манеле еще хватало силы духа оказывать сопротивление тетке. А потом она сменила тактику: начала притворяться, и врать, и действовать исподтишка.

Да, эра брани и кары наступила и продолжалась: выслушивать ругань и сносить затрещины стало делом привычным — унизительной и мучительной неизбежностью. Духовник Адалжизы падре Хосе Антонио научил свою духовную дочь избегать слова «наказание» — мать не наказывает, но исправляет и вразумляет. Она так и говорила: «Манела заслуживала взыскания, я и взыскала с нее, исполняя свой долг, ибо воспитываю ее в почитании господних заветов и делаю из нее порядочную женщину».

На Данило Манеле жаловаться не приходилось: он ни разу пальцем ее не тронул, ни разу не обозвал «дрянью», «неблагодарной тварью» или как-нибудь похуже Вначале он еще пытался защищать племянницу от гнева Адалжизы, но вскоре бросил это дело — не в силах оказался перечить своей неукротимой Дада, такой нервной, такой болезненной, подверженной таким жестоким мигреням,— хотя в глубине души наверняка осуждал методы воспитания, которыми действовавала его набожная, честная и яростная супруга.

Данило, наделенный от природы веселым и покладистым нравом, обучал Манелу тонкостям игры в шашки и в триктрак, карточным фокусам и раскладыванию пасьянса, что, как известно, требует и терпения и сообразительности. Терпение и сообразительность пригодились Манеле для того, чтобы выстоять и победить, подчиняться, не покоряясь, выполнять, глумясь над ними, предписания, которым подчинена была вся ее жизнь, определен каждый ее шаг. Поведение

ее было точно и строго регламентировано, и всякой вине соответствовала своя кара.

Уложение о наказаниях было таким пространным и детальным, что ни один палач не нашел бы в нем изъяна. Отменить кино, запереть в комнате, когда по телевизору очередная серия, не пустить в гости к подружке или к Жилдете, оставить без сладкого, заставить вслух молиться по четкам — таковы были самые ходовые меры воздействия. Применялись также: простой выговор, головомойка, трепка за уши, битье по щекам, а на случай совершения греха не простительного, а смертного имелось средство более эффективное, древнее и наводящее ужас — плетка. Список смертных грехов был Адалжизой расширен по сравнению с катехизисом, так что праздно висеть на стене плетке доводилось редко. Ее подарил падре Хосе Антонио, узнав, что любимейшая из его прихожанок решила взять на воспитание сиротку-племянницу: «Примите ее, дочь моя, она вам пригодится, смело пускайте ее в ход и помните, что исправление порока — дело святое, и господь с вас за это не взыщет, ведь это во имя его. Еще в Священном писании сказано: тот, кто карает со всей твердостью, свершает милосердное деяние».

Не следует терять время и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня: на следующий же день после похорон Долорес и Эуфразио, когда Манела, еще опухшая от слез, вернулась из гимназии, Адалжиза изложила ей свое кредо, прочла символ веры. «Давай условимся сразу, чтоб ты потом не говорила, что, мол, не знала. Если будешь почтительна и послушна, если будешь хорошо учиться, вести себя достойно и скромно, бояться божьего гнева и не огорчать дядю и тетю, тебя ждет награда».

Какая именно — осталось тайной, но зато о том, чего нельзя, Манела узнала сразу и навсегда. Нельзя было: попадать в дурные компании, ходить в кино, на праздники, на танцы, а также смотреть телевизор без взрослых; попусту болтаться по улицам; дружить с мальчиками; влюбляться, а также позволять, чтобы в тебя влюблялись. О кандомбле и прочих мерзостях забыть и думать: именно там улавливает сатана в свои тенета души христиан.

Тетку, сестру отца, навещать можно, но не чаще одного раза в неделю, а хорошо бы и пореже. Если же по сестре соскучилась, пусть Мариэта приходит в дом Адалжизы и Данило — они ведь ей тоже родные. Долго наставляла тетушка свою приемную дочь, и голос ее звучал то проникновенно и ласково, то злобно и угрожающе, ибо заводилась Адалжиза моментально.

«Цель оправдывает средства», как учил еще Гитлер, а за ним и многие другие отцы нации, гениальные вожди народов. «Я сделаю из тебя настоящую сеньору, чего бы мне это ни стоило»,— и в заключение своего монолога Адалжиза указала Манеле на плеть, висевшую между гравированным изображением Пречистой Девы и пожелтевшей фотографией, запечатлевшей счастливые лица Адалжизы и Данило в день свадьбы. Если будет нужно, она, тетка, принявшая на себя долг матери, без колебаний и пагубной жалости пустит плетку в ход. «Это для ее же блага, когда-нибудь она мне сама «спасибо» скажет».

ПОЧТИ МИСС

— А довелось испытать Манеле, как больно бьет плеть, как долго не заживают рубцы от нее, спустя год после этого первого и решающего разговора. До той поры она считала ее скорее символом устрашения, чем орудием пытки.

За этот год она достигла значительных успехов в обдуривании тетки, в запудривании ей мозгов, в вешании ей на уши лапши: научилась усыплять ее бдительность, запутывать в паутину лжи. А для вящего успеха создала нечто вроде заговора, в который умудрилась вовлечь одноклассниц и даже соседей, удрученных тем, в какой не-

мыслимой строгости держит Адалжиза свою беззащитную жертву. «Даже бандитам в каталажке вольготней живется! — возмущалась ближайшая соседка Дамиана, обитавшая за стеной и волей-неволей слышавшая жалобные вопли, и звонкие оплеухи, и мольбы о прощении,— это не женщина, а змея подколодная, у нее сердца нет!»

Успев привыкнуть к покаяниям Манелы, ибо та каялась в содеянном, хоть и знала, что все равно не избегнет кары — «кое-что хорошее в ней есть, она, например, не врет мне»,— Адалжиза в течение нескольких месяцев верила в те разнообразнейшие легенды, которые сочиняла Манела в оправдание своих отлучек, задержек и опозданий. «Я, тетя, сегодня провожала Телму в Португальский госпиталь, у нее там отец лежит, у него, бедненького, рак, говорят, ему уже недолго осталось». Адалжиза с живостью подхватывала волнующую тему: «Что ты говоришь? Рак? А метастазы есть?» Операции и больницы, болезни и похороны тешили ей душу. В баснях Манелы всегда была крупица истины, ну а в случае необходимости ее до самого дома провожала соучастница обмана, готовая подтвердить честным словом самое несусветное вранье.

Но не зря ведь сказано: «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить». Вранье громоздилось на вранье, ширилось и разрасталось, а потом стало повторяться — тут-то Адалжиза и почуяла, что ее водят за нос. Она прикинулась доверчивой дурочкой, а сама тем временем подвергла тщательной проверке все оправдания, извинения и отлучки Манелы. В самом скором времени обман был раскрыт, а обычная доза наказаний удвоена, поскольку теперь требовалось покарать и за ложь, которая, как известно, является одним из семи смертных грехов.

О конкурсе «Мисс Весна» Адалжиза узнала совсем случайно, но, слава богу, вовремя и успела принять должные меры во избежание худшего. Услышав о нем, она остолбенела и несколько минут ничего не могла понять. Потом поняла, очнулась и ринулась в бой.

Дело было так. Ее постоянная клиентка, некая дона Норма Мартинс, богатая дама, представительница самых что ни на есть сливок общества — а при этом еще сведущий врач-гинеколог и очень милая женщина,— заказала Адалжизе шляпу для торжества по случаю бракосочетания дочери доктора Жорже Калмона. Из-за этой свадьбы Адалжиза света божьего не видела, работала день и ночь, чтобы смастерить за неделю шесть великолепных и наимоднейших шляп.

Пока дона Норма примеряла этот шедевр — искусственные цветы и маленькая вуалетка,— модистка и заказчица судачила о том о сем. Дона Норма, не упускавшая случая поговорить о своем сыне-гимназисте, обнаружившем необыкновенное музыкальное дарование, сказала между прочим:

— Кстати, мой Ренатинью говорит, что голосовать будет только за вашу дочь.

— Дочь? — удивилась Адалжиза, но тут же поняла.— Ах, вы о Манеле! Приемная дочь, это моя племянница. Я воспитываю ее с тех пор, как погибла сестра. Так ваш сын знаком с Манелой?

— Да не только знаком! Я ж вам говорю, он от нее без ума и организовал в ее поддержку целую кампанию. У нее единственная соперница, не помню, как ее зовут, она снималась в фильме д'Аверсы...

«Вот несуразица какая, наверно, ошибка или недоразумение»,— подумала бедная Адалжиза, а вслух произнесла:

— Кампанию в поддержку Манелы? Вы не путаете, дона Норма? Какую кампанию?

— Так ведь объявлен конкурс «Мисс Весна», разве ваша девочка не входит в число претенденток? Она — кандидатка от газеты Ариовалдо, ну, воскресная газета — там чудные статьи, жалко только, что ее быстро прикроют; уж больно она щиплет правительство,—

дона Норма рассмеялась, припомнив что-то забавное из газеты Ариовалдо.

Ноги у Адалжизы вдруг сделались ватные, в висках застучало, пришлось взяться за спинку стула, стоявшего перед трюмо. Она вымученно улыбнулась и еле выдавила:

— Ну, как же, как же... Конкурс красоты.

К счастью, заказчица отправилась за деньгами, чтобы оплатить материал и работу,— сумма получилась изрядная, но шляпка стоила того.

— Замечательно, дона Адалжиза, вы настоящая художница. Желаю вам, чтобы Манела одержала победу. Ренатиньо говорит, что она самая красивая. Поздравляю.

Адалжиза еще нашла в себе силы поблагодарить за доброе слово. Потом она пулей понеслась к другой клиентке, доне Айдил Кокейжо, все всегда про всех знавшей. Обо всех этих бесстыжих конкурсах красоты и фестивалях народной музыки никто не был осведомлен лучше доны Айдил и ее мужа, единого во многих-многих лицах: он и праведный судья, и юрист-теоретик, и профессор права, и обозреватель в газете, и увенчанный премиями композитор, и гитарист, и пианист, и певец, вдохновитель и организатор бесчисленных начинаний, и президент черт его знает скольких обществ.

В самое яблочко. Даже не потребовалось как-то объяснять свой интерес: чуть только заговорили о конкурсе, дона Айдил дала подробнейший и восторженный отчет, снабдив его остроумными комментариями. Конкурсы «Мисс Весна» проводятся ежегодно, в сентябре; претендентки представляют ту или иную газету, а некоторые торговые и промышленные фирмы покрывают организационные расходы и участвуют в прибылях. Жюри, состоящее из одних знаменитостей, выносит свой вердикт. Каждая участница должна показаться в национальном баиянском наряде, в вечернем туалете и в бикини.

«В бикини?» Дону Айдил позабавил ужас модистки: «Не будьте ханжой, Адалжиза: глухой купальник теперь уже никто не носит». Финал состоится через два дня, в театре Вила-Велья, дона Айдил непременно пойдет полюбоваться этими девочками. Если Адалжиза хочет, она берется устроить билеты ей и мужу.

О том, какую газету будет представлять Манела, и о том, где будет разыгрываться непристойное действо, Адалжиза спрашивать не стала — ей это было известно от падре Хосе Антонио. Еженедельник распространяет русскую заразу, отравляет умы и души ядом красной пропаганды. Падре отказывался понимать преступное безразличие властей — куда они смотрят? почему немедля не закроют подрывной листок? Возглавляет мерзостную газетенку некий злонамеренный писака, кое-кто считает его крупным писателем, а на самом деле он похабник и крамольник, за что уже бывал арестован. Подписывается он «Ариовалдо Матос».

А на сцене театра Вила-Велья ставятся самые отвратительные, самые скандальные пьесы, глумящиеся над религией, над моралью и добропорядочностью. Там устраиваются «шоу» с песнями протеста, там выступают безыдейные и пошлые юмористы, там проводятся балы, больше смахивающие на негритянские радения, на вакханалии. Там пригревают всю интеллигентскую сволочь вроде Глаубера Роши или Жоана Убалдо Рибейро[1] — безродных бродяг, заклятых врагов строя, порядка и священных предначертаний господнего завета.

Адалжиза вернулась домой вне себя: Манела стремительно катится в пропасть греха, увязает в трясине порока, на этом свете ее ждут тюремные нары, а на том — пламя геенны.

---

[1] Глаубер Роша (1938—1988) — бразильский кинорежиссер; Жоан Убалдо Рибейро — современный бразильский писатель, автор повести «Сержант Жетулио», опубликованной в «ИЛ» (1988, № 9).

При ее появлении племянница поднялась, робко улыбнулась и просящим голоском сказала:

— Знаете, тетя Адалжиза, в воскресенье...

«Знаю, знаю. Знаю, что будет в воскресенье.— И Адалжиза сняла со стенки плеть.— Мне бы еще только знать, не опоздала ли я, успею ли предотвратить падение?»

В ту пору Манеле было пятнадцать лет, и уже полтора года минуло со дня гибели родителей — полтора года кабалы и неволи. Тогда произошло ее первое знакомство с плеткой. Тетушка не ведала ни жалости, ни снисхождения: она отделала ее на славу, живого места не осталось, разве что лицо поберегла. А когда наконец выбилась из сил, заперла несостоявшуюся «Мисс Весну» в комнате, посадила ее на хлеб и воду с вечера пятницы до ночи воскресенья. Пусть поразмыслит и раскается.

А в понедельник, понуро вернувшись из гимназии, избитая так, что сидеть не могла, опухшая от слез Манела узнала, что Марилда Алвес, представлявшая газету «Эстадо де Баия», единогласно избрана победительницей конкурса «Мисс Весна».

ПЛЕТКА — Первый удар пришелся на поясницу, просек кожу. Но нестерпимей боли было выплюнутое теткой оскорбление:

— Сука!

Адалжиза снова занесла плеть, которой за эти два года скучать не приходилось, но опустить ее не успела — племянница вдруг шагнула вперед и проговорила не очень громко, но веско и значительно:

— Хватит. Бросьте эту штуку, если хотите, чтоб я вас хоть немного уважала.

— Сука! Проклятая!

Плеть свистнула в воздухе, но удар не вышел: проклятая сука, звезда празднества в честь Спасителя Бонфинского, безгрешная телом, чистая духом, правой рукой перехватила запястье Адалжизы, а левой разжала ее пальцы, вырвала плетку и отшвырнула в сторону. Выпучив от изумления глаза, онемев и оцепенев, воззрилась тетка на племянницу, словно взору ее предстал сам сатана. Должно быть, пришел конец света.

— Не смейте меня бить. С этим покончено навсегда. Если хотите, чтобы я жила здесь и слушалась вас.

Судорога прошла по всему телу Адалжизы, она закрыла ладонями налившееся кровью лицо, пена показалась в углах рта, глаза закрылись, словно настал ее смертный час. Брякнулась на пол.

Тело ее конвульсивно задергалось, руки-ноги заходили ходуном, изо рта побежала слюна. Словно обуянная бесами, тетушка Адалжиза забилась головой об пол.

Крестный путь

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — Доктор Калишто Пассос, удобно развалившись в вертящемся кресле, прервал взволнованного директора изящно-повелительным манием руки.

— Еще одна! Если так и дальше пойдет, в церквах Баии скоро не останется ни одной мало-мальски ценной скульптуры! Известно ли вам, дон Максимилиан, сколько совершено за последние три месяца краж? Шестнадцать, друг мой! Не четырнадцать, нет! И не пятнадцать! Шестнадцать!

И улыбнулся, упиваясь самим звучанием своего голоса. Он был записным оратором еще со студенческой скамьи, а потом развил дар красноречия, защищая в суде интересы могущественных банков и корпораций. Дорожка ему была укатана. «Калишто Пассос поставил

свой талант на службу правосудию»,— захлебывалась от восторга пресса по случаю назначения нового начальника полиции. Комиссар Паррейринья — он стоит у стола Калишто Пассоса — восхищен своим шефом и сопровождает каждое слово одобрительным кивком: в его глазах мудрость доктора Пассоса безмерна, это второй Руи Барбоза[1]. Дон Максимилиан фон Груден, напротив, склонен считать его воплощенной бездарностью.

Доктор Пассос перегнулся через стол к монаху, доверительно понизил голос:

— А кто виновен? Мы все знаем кто. На воре шапка горит. Но как быть, если под шапкой — тонзура? А?

«Олух ты безмозглый, дурак набитый,— проносится в голове у дона Максимилиана, лишившегося от отчаяния остатков великодушия,— что несешь-то, кретин? Зачем пересказываешь идиотические домыслы о том, что «изображения святых, таинственно исчезнувшие из провинциальных церквей и часовен, украдены и проданы из-под полы самими священниками». Приходы-то бедные, некоторые — просто нищие, денег не хватает на самое необходимое, а тут в ризницах стоят, место занимают, старые священные деревяшки. Как же их не продать?

Однако дон Максимилиан проглатывает свое негодование и отдающую желчью слюну.

ОТСТУПЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЕ ДИЛЕТАНТСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ДОНА МАКСИМИЛИАНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДАЖИ — НЕ ПРОДАЖИ, А ОБМЕНА — ИЗОБРАЖЕНИЙ СВЯТЫХ И ПРОЧИХ ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТА

— По поручению крупных антикваров или на свой страх и риск рыщут в поисках товара по захолустью ушлые плутоватые молодцы, неутомимо переходя из городка в городок, из местечка в местечко, из одного имения в другое. Возвращаются с туго набитыми чемоданами — там и бесценные сокровища, и полная ерунда.

Попадается им — и довольно часто попадается — нечто из ряда вон выходящее, истинное произведение искусства, продав которое, может безбедно жить до конца дней своих оборотистый бродяга, сподобившийся господней милости.

И вот, посланные божественным провидением, которое не может бесчувственно взирать на бедственное положение пастырей господнего стада, прозябающих в нищете, появляются они в глухих приходах и платят — платят на месте, наличными. Платят, по правде говоря, мало: торгуются, плутуют, сквалыжничают, а если обстоятельства благоприятствуют, норовят украсть и смыться. И тем не менее добро пожаловать! ибо на деньги, вырученные от продажи этих никому не нужных раритетов, можно пополнить церковную кружку, где давно уже нет ни одного обола, покрыть дефицит жертвований.

И вот с одобрения и помощью прихожан покупают священники новенькие гипсовые статуи святых, покрытых еще липнущей к пальцам краской — синей на мантиях, красной — на митрах и тиарах, взамен источенных жучком изображений, которые в добрый час удалось — нет, не продать, святыню не продают! — а обменять на толику денег. А алтари только выигрывают от такого обновления — «совсем другое дело,— говорят прихожане,— не налюбуешься». И тогда уплачиваются долги, вновь вершатся богоугодные дела, призреваются страждущие и есть что подать Христа ради нищим, и обильней становится скудная трапеза падре или викария, а также его кумы-экономки с детишками. А кума эта, во дни юности вводившая во искушение всю общину, и сейчас еще хранит на постаревшем лице и

[1] Руи Каэтано Барбоза (1849—1923) — бразильский государственный и политический деятель, юрист, историк, публицист.

расплывшемся теле следы порочной, зазывной, с пути истинного сбивающей красоты.

Такие ныне времена, так свирепствует инфляция, что и на чистейшей стезе священнослужения приходится вертеться и ловчить, ибо иначе никак не накормишь бедняков, а многоголовое стадо господне станет крошечной отарой. Пусть там, в столицах, князья церкви пышут гневом и расточают угрозы, толкуют о святотатстве и нечести, клеймят позором и стращают законом, запрещая продавать родовое церковное имущество. Да что они понимают, эти иерархи, хватающие объедки с кардинальского стола, что они знают, эти вкушающие все радости жизни монсеньоры, о той жестокой нужде, в которой пребывают заброшенные в сертаны священники, питающиеся едва ли не святым духом?! Сытый голодного не разумеет.

О, если бы не природная скромность, дон Максимилиан, пожалуй, всерьез озадачил бы доктора Пассоса, сообщив ему, что с точки зрения сохранения культурных ценностей вся эта кощунственная купля-продажа спасает приобретенные за бесценок или просто украденные раритеты от порчи и неминуемой гибели в чуланах церквей и монастырей. Переходя из рук в руки — и всякий раз повышаясь в цене,— они в конце концов обретают должное попечение и приют в частных собраниях или в музеях.

Ересь, скажете? Называли уже, называли дона Максимилиана и еретиком, и вероотступником, и святотатцем, а падре Хосе Антонио Эрнандес пошел и дальше, обвинив нашего директора в неверии и анархизме, сказав, что это — вопиющий пример того, каким не подобает быть священнослужителю, что он по-настоящему опасен, ибо рамена его облечены в белую сутану ордена бенедиктинцев, и что в наше смутное время всеобщего одичания, упадка морали и нравственности, когда сатана наряду с прочими своими кознями измыслил и «теологию освобождения», враги веры и ниспровергатели христианской доктрины, подобно волкам, рядящиеся в овечью шкуру, надели облачение пастырей.

ХОХОТ — Дон Максимилиан, призвав на помощь всю свою выдержку,— а она, видит бог, не входила в число его добродетелей — выжидает удобный момент, чтобы остановить поток язвительного красноречия и вернуть начальника полиции к делу. Еще в самом начале аудиенции с приличествующим случаю жаром и во всех подробностях сказано было и о серьезности происшествия, и о необходимости принять срочные меры к розыску похищенной скульптуры и аресту злоумышленников. Особо была подчеркнута просьба хранить дело в совершеннейшем секрете — дон Максимилиан ни на миг не забывал о викарии из Санто-Амаро: боже, что только устроит он, узнав об исчезновении святой!

Засим директор повел речь о ценности скульптуры — о номинальной ее стоимости и о той, которая не в деньгах выражается. Подлинное сокровище! Национальное достояние! Произведение искусства, созданное не позднее середины восемнадцатого века, то есть современница гениальных творений Алейжадиньо, которые одни только и могут превзойти ее, да и то вряд ли. Примите в расчет, что это — единственное изображение не просто Святой Варвары, но Святой Варвары Громоносицы и атрибутом ее является не всем привычная пальмовая ветвь, а пучок молний. Стоимость ее не представляется возможным оценить даже приблизительно: любой музей в Европе или в США не глядя отвалил бы за нее сколько скажут.

Засим директор обратил внимание начальника полиции на то, что выставка имеет быть открыта через два дня, а уж после вернисажа стоимость статуи возрастет многократно. Дон Максимилиан, разумеется, намекал на свою книгу, которая как раз в эти дни должна была выйти в свет — об этом рискованном исследовании давно уже трубили

газеты; начальник полиции вежливо — ах, лицемер!— подтвердил, что слышал самые заинтересованные отзывы.

Слышал или не слышал, дело не в том, а в том дело, что этот болтун все никак не мог осознать масштаба происшествия: для него похищение статуи было одним из очень многих краж такого рода, зарегистрированных на территории штата Баия. Зря дон Максимилиан время тратил, попусту расходовал красноречие. Так и не удалось ему втолковать Пассосу, что речь идет не о пустяковой краже еще одной изъеденной жучком скульптуры.

Уставившись взглядом снулой рыбы в голубые глаза дона Максимилиана, доктор Калишто Пассос говорит со смешком:

— Подобные случаи правильней квалифицировать не как кражу... По крайней мере, красться во тьме и взламывать замки вору не приходилось...

Он упирается обеими руками в столешницу, искоса взглядывает на Паррейринью, который вне себя от восторга — «во дает, начальник, во котелок варит!»

— Скульптура попросту сменила хозяина. За примером далеко ходить не надо: несколько дней назад две статуи святых, украденные в Ларанжейрасе, были обнаружены на складе некоей компании, на улице Индепенденсии. Их привез из Сержипе и продал здесь...— он на мгновение замолкает для вящего эффекта,— родственник тамошнего священника...

— Позвольте, доктор, я ведь вам сказал...

Но доктор Пассос не дает себя перебить, он сам кого хочешь перебьет:

— Вы мне вот что скажите, дорогой дон Максимилиан: викарий из Санто-Амаро вам хорошо известен? Говорите откровенно и без стеснения, нас никто не слышит,— Паррейринья с безразличным видом смотрит в окно.— Как вы считаете, ему можно доверять или...

Дон Максимилиан фон Груден, давно уже достигнув крайней степени волнения, прилагал нечеловеческие усилия, чтобы не вывалиться на улицу, оглашая воздух нечленораздельными воплями. Но теперь, услышав доверительный вопрос начальника управления общественной безопасности по штату Баия, он разражается таким взрывом хохота, что слышно, наверно, в сопредельных землях.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ — Встреча с полковником Раулем Антонио Паррейрасом, по крайней мере, хоть что-то дала: дон Максимилиан нашел постамент статуи и немедля отвез его в музей.

По просьбе полковника солдаты береговой охраны отбуксировали «Морского бродягу» к тому причалу, где швартовались военные суда. Полковник, связавшись с дежурным офицером морской базы, в два счета решил судьбу «транспортного средства, использованного при похищении», а кроме того, послал агента пошарить в окрестностях Рампы-до-Меркадо.

— Владельцы непременно объявятся, коль скоро их лоханка теперь у флотских. Мы их выслушаем и поспрошаем как полагается. Я не сомневаюсь, что они — соучастники, если не главные действующие лица. Все разъяснится очень скоро.

Речь шла о шкипере Мануэле и его жене Марии Кларе. Без проволочек отправили полицейского с приказом задержать супругов — федеральная полиция размещалась на территории порта, в перестроенном пакгаузе, в двух шагах от места предполагаемого похищения. Однако сержант вернулся ни с чем: сойдя на берег, указанные лица сели в такси и отбыли в неизвестном направлении. Сведения эти были получены от припозднившегося лоточника.

Дон Максимилиан выходит из мрака безнадежности, в который повергли его нелепые словопрения с Калишто Пассосом. Полковник хоть

внимательно выслушал директора, выказал непритворный интерес и, кажется, понял всю важность дела. Он был в штатском и перед началом беседы ножницами и пилочкой холил свои ногти — вовсе не такое уж страшилище этот полковник, как все про него говорят.

Он радушно встретил высокоученого монаха, он не удивился его настойчивой просьбе сохранить все дело в тайне — «будьте покойны, никому ни слова, мы привыкли работать без шума: иначе с преступностью и терроризмом не совладать». Он не спешил. Он произвел на дона Максимилиана весьма благоприятное впечатление: говорил просто, сжато, убедительно, без риторики, как уважающий себя профессионал.

— Федеральная полиция внимательно изучила все эти ограбления церквей, мы подняли документы и дела за последние двадцать лет. По моему мнению, мы столкнулись с великолепно организованной мафией. Раньше такие кражи носили эпизодический характер.

Если начальник управления общественной безопасности любил слушать собственный голос, то начальнику полиции нравилось блистать осведомленностью:

— Эпоха дилетантов миновала, одиночки-любители больше не разъезжают по всему штату, как некогда, забираясь даже в Сержипе и Алагоа, чтобы обчистить монастырь или часовню. Раньше эти художники-налетчики зарабатывали на кражах больше, чем на своих картинах и скульптурах. А сейчас они купаются в золоте, могут запросить любые деньги, живут как набобы, и им нет никакой необходимости воровать. Жалко, что меня не учили живописи... Но их преступная деятельность тайной не осталась — достаточно прочесть любую статью о Карибе или Дженнере Аугусто, а «джип» Марио Краво стал попросту легендарным. Украденные ими статуи попали в руки коллекционеров, украшают теперь особняки богачей.

Прежде чем аккуратно спрятать в ящик стола пилочку и ножницы, он отрезает кончик сигары, долго раскуривает ее, выпустив облачко дыма, вдыхает его аромат, а потом, откинувшись на спинку кресла, нажимает кнопку звонка. Не угодно ли дону Максимилиану промочить горло холодным пивом — ужасная сегодня жара! Он наполняет стаканы и лишь после этого продолжает:

— А сейчас ситуация куда более серьезная: перед нами группа злоумышленников, которая не желает считаться с последствиями своих преступных деяний. Обратите внимание, дон Максимилиан: скульптуры, представляющие истинную ценность, исчезают бесследно. Почему? Потому что их переправляют за границу. Нам удавалось находить подтверждение этому в Португалии, в Испании, в Швейцарии и во Франции. Существует международный канал, по которому антиквариат уходит за кордон. Ну, да вы наверняка знаете об этом. Я нисколько не сомневаюсь, что и к исчезновению вашей знаменитой святой тоже приложила руку мафия. Нам надлежит действовать очень оперативно, чтобы не дать и этой бесценной скульптуре уйти за границу.

Дону Максимилиану давным-давно уже осточертели россказни об этом таинственном канале: совсем еще недавно двое его коллег, два несносных болтуна, две знаменитости рассказывали ему такое, от чего волосы вставали дыбом. Но вот сегодня ему впервые пришлось услышать от высокопоставленного лица подтверждение тому, что опасная международная банда существует взаправду. Беда в том, что в фондах Музея Священного Искусства найдутся экспонаты происхождения темного, чтобы не сказать подозрительного,— дон Максимилиан предпочитает не знать, какими путями попали они в монастырь Святой Терезы. Полноте, дон Максимилиан, так ли вы и не знаете?

Последние слова полковника просто-напросто добивают его. Неужели Громоносица окажется за границей?

— Вы и вправду считаете, что есть опасность?..

— Такими вещами не шутят. Впрочем, переправить статую преступники еще не успели, прошло слишком мало времени. Думаю, что она где-то припрятана. Мы должны отыскать ее в течение суток. Я сейчас же прикажу взять под наблюдение аэропорты, автовокзалы и шоссе. Размеры статуи нам известны, мы будем досматривать любой подозрительный багаж. Положитесь на меня, дон Максимилиан: я буду держать вас в курсе происходящего.

Он поднимается, чтобы проводить директора, и уже у дверей делает последнее сообщение, от которого и вовсе можно спятить:

— А известно ли вам, куда идут деньги, вырученные за украденные статуи? Нет? На подрывную деятельность, на финансирование терроизма, на разжигание «герриль и», их получают коммунисты и эти... «падре-арбузы» — снаружи зеленые, а внутри красные. Вы удивлены? Я мог бы вам рассказать об этом более подробно и привести конкретные примеры, но следствие пока не закончено.

Он кладет тяжелую руку на хрупкое плечо монаха:

— Я Америки не открою, если скажу вам, что очень многие падре заодно с коммунистами. Для меня и для для всех, кто отвечает за порядок в стране, за национальную безопасность, они еще хуже, чем сами коммунисты. Они не просто враги, они — изменники.— Он повторил веско, с нажимом:— Изменники! Но мы покончим с ними и с коммунистами, со всей этой шайкой. Мы найдем на них управу.

В довершение к тревоге и беспокойству, денно и нощно снедающим дона Максимилиана, теперь присоединился сосущий холод внизу живота: куда девалась сердечность, с которой полковник начинал беседу? Теперь в его голосе звучат остережение и угроза — значит, правильно называли его полицейским страшилищем. Чуть сжимая железными пальцами плечо директора, Раул Антонио Паррейрас — ох, на многих это имя наводит ужас! — раздельно, чуть не по слогам, произносит, глядя ему прямо в глаза:

— Я все про вас знаю, ваше высокопреподобие, абсолютно все. И то, что вы хоть и не поддерживаете наше героическое правительство, но и против него не выступаете и что стараетесь держаться от политики подальше, знаю, что не плетете заговоров против славной революции 64-го года, спасшей Бразилию от коммунизма. Если и дальше так будет, никто нас не обеспокоит. Это я вам обещаю. Не якшайтесь со смутьянами — мой вам совет.

Голос становится мягче, слабеет стальная хватка на плече у дона Максимилиана, губы и глаза улыбаются — зверюга-полковник вновь любезен и обходителен.

— Благодарю, что выбрали время посетить меня. Было очень приятно познакомиться с вами лично.— Он протягивает дону Максимилиану руку.— Будьте здоровы. В самое ближайшее время я сообщу вам новости, и, надеюсь, они вас обрадуют. Рассчитывайте на меня.

Он приказывает агенту проводить оглушенного посетителя и донести до машины постамент Святой Варвары. «Ох уж эти интеллигенты, дерьмо собачье...» — и полковник, сплюнув, растирает плевок подошвой.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО — А начался в этот вечер крестный путь дона Максимилиана с аудиенции у монсеньора Рудольфа Клюка, исполнявшего должность помощника архиепископа Баиянского. Беседа, больше походившая на поединок, велась по-немецки — на родном языке сражающихся.

Отправив Эдимилсона в Музей, совершенно убитый дон Максимилиан двинулся на Кампо-Гранде, во дворец кардинала-архиепископа, чтобы немедля сообщить его высокопреосвященству о происшествии и решить, что надлежит предпринять в первую очередь, попросить совета, поддержки и помощи. Кардинал всегда выказывал живей-

ший интерес к выставке, и его вмешательство было совершенно необходимо.

Однако на Кампо-Гранде директору сказали, что кардинал вместе с ректором университета улетел в столицу, чтобы попробовать если не отменить, то хотя бы смягчить наказание, готовое обрушиться на головы студентов, посмевших устроить забастовку и демонстрацию протеста.

Делать было нечего. Дон Максимилиан позвонил монсеньору Клюку, второму лицу в архиепископии, и попросил срочно принять его по чрезвычайно важному делу. «Что ж, приходите, если это и впрямь не терпит отсрочки»,— ответил тот.

Он, как и дон Максимилиан, был немцем, но на этом всякое сходство между ними кончалось: они представляли друг другу полную противоположность — лед и пламень, соль и сахар, небо и земля. Директор Музея был высок, худощав, бледен, элегантен, трепетен и деликатен; епископ — приземист, коренаст, полнокровен, толстокож и неряшлив. Они едва выносили друг друга, а когда приходилось изредка общаться, были необыкновенно церемонны и любезны.

Поговаривали, что Рудольф Клюк получил назначение в Баию, чтобы было кем и чем уравновесить новоизбранного кардинала Баии, примаса Бразилии, известного своими симпатиями к прогрессивным позициям, которые занимала значительная часть духовенства — так называемая «Церковь бедняков» — в том, что касалось проблем социальных и политических. В вопросах же вероучения кардинал примыкал к консерваторам и отстаивал традицию. Случай не столь уж редкий среди священнослужителей, зажатых между нищетой народа и тайнами доктрины, между аграрной реформой и мессой на латыни. Но довольно! хватит метафизики, ей не место на этих пирронических, извините за выражение, страницах [1].

Много еще чего говорили — в том числе и весьма неприятного,— но дон Рудольф пропускал все это мимо ушей и продолжал свой подвиг: писал статьи, давал интервью, наставлял и поучал, читал проповеди с амвона и по радио, не пренебрегая этим самым массовым из всех средств массовой информации. Из окна своей кельи в бывшем монастыре урсулинок глядел он на раскинувшуюся перед ним панораму Баии — не Баии, а Салвадора. Красивый город, спору нет, но живут в нем полукровки-идолопоклонники, которые, не ведая об иерархии рас и культур, о превосходстве расы арийской и культуре западной, глумятся над законом и Священным писанием и на ложе греховной любви смешивают воедино разную кровь и разных богов.

Но надлежит немедля отделить зерна от плевел, агнцев от козлищ, добро от зла, следует провести границы, установить пределы. Жаль только, что приходится таить про себя великолепный пример — не поймут дона Рудольфа, превратно его истолкуют, ибо со дня окончания великой войны, со дня поражения воцарился на земле хаос. Нет, нельзя пока еще заявить во всеуслышание, что совершенство мира нашло себе прибежище в Южной Африке.

ЕПИСКОПСКИЙ ПЕРСТЕНЬ — Итак, беседа шла по-немецки, что придавало ей тон особенно неприятный и тягостный. Выслушав подробнейшее сообщение дона Максимилиана, Рудольф Клюк заметил по поводу галлюцинаций Эдимилсона:

— Вот видите, смешанные браки приводят к психической неуравновешанности и к слабоумию. Этот ваш помощник, уж простите меня, дон Максимилиан,— настоящий кретин.

Директор Музея стерпел это, ибо не хотел ввязываться в свару с высокопоставленным лицом, дабы не усиливать неприязни, которую

[1] Древнегреческий философ Пиррон, основатель скептицизма, учил, что человеческие суждения о вещах произвольны, а потому следует воздерживаться от каких-либо суждений вообще и пребывать в состоянии атараксии и апатии.

издавна питал к нему дон Рудольф — он не прощал ему независимости суждений и острого языка. Создавшаяся ситуация требовала смирения и голубиной кротости. Доктор Максимилиан поник головой.

Не желая упустить столь редкий случай, епископ потер руки, прищурился и заговорил медленно, с расстановкой, по каплям цедя яд:

— Мне говорили об этом вашем... как его бишь «сонме музейных ангелов»! Да-да, именно так!

Дон Максимилиан собрал всю свою волю в кулак, сгорбился в кресле, а не знающий пощады епископ продолжал:

— Я поначалу решил, что речь идет о деревянных или каменных изваяниях, но потом понял свою ошибку. Ангелы — это ваши сотрудники. Если б они по крайней мере хоть что-нибудь смыслили в своем деле и не были такими олухами!..

Не поднимая головы — ничего, сеньор епископ, придет час расплаты! — дон Максимилиан сказал:

— У нас еще будет случай поговорить о моих сотрудниках, ваше преосвященство, и я берусь объяснить вам, по каким критериям их взяли на службу. Кстати, это делал не я, а ректор. Но сейчас мне хотелось бы вернуться к таинственному исчезновению Святой Варвары.

Это возымело действие: епископ был зол и злоречив, но необыкновенно ревностно оберегал от любых посягательств как церковную доктрину, так и храмовое имущество. Он протянул руку — на пальце сверкнул епископский перстень — и коснулся согбенного плеча своего собеседника:

— Вы правы. Это очень серьезное дело. Давайте обсудим.

Насчет спутников Святой Варвары — падре и монахини — епископ просил дона Максимилиана не беспокоиться и действовать так, словно их и в помине не было; пусть пропажей статуи занимается полиция, а церковные власти тем временем выслушают отчет свидетелей.

— Падре прибыл в столицу по моему вызову и завтра утром должен явиться ко мне. Да вы, наверно, тоже слышали про него — это падре Абелардо Галван, викарий Пиасавы, близ Конкисты. Знаете, что он устроил? Во главе целой вооруженной толпы захватил земли полковника Жоаозиньо Косты! Мы до сих пор расхлебываем заваренную им кашу. Вот поэтому его лучше держать как можно дальше от полиции. Установить, кто была эта монахиня, труда не составит. Предоставьте их мне.

Он дал дону Максимилиану совет теперь же, не теряя ни минуты, связаться с начальником управления безопасности и с начальником федеральной полиции. Совет этот весьма напоминал приказ. Рудольф Клюк сам позвонил обоим и договорился о встрече, особо подчеркнув строжайшую секретность всего дела: просочатся слухи — беды не оберешься. Представляете, что нам устроит Фонд исторического наследия? Дон Максимилиан представлял, но сильней всяких фондов пугал его викарий из Санто-Амаро.

Тут пришел черед испугаться его преосвященству. Он прекрасно знал, что это за непочтительный, неотесанный, невоспитанный грубиян. Крепкий орешек. Некоторое время тому назад его пытались мягко убедить в необходимости освободить храмовой праздник от элементов варварства, от фетишей и африканских обрядов. И что же? Нарвались на решительный отказ. Не только решительный, но и дерзкий. Он заявил, что праздник в честь Приснодевы устраивает народ, значит, народу и решать.

Разумеется, утаить от него происшествие невозможно, но хорошо бы потянуть время, вдруг удастся избежать его ярости.

— Отложим на завтра, может быть, дело разрешится само собой...

Впервые в жизни интересы дона Максимилиана совпали с устремлениями дона Рудольфа: вот какой ужас внушал обоим настоятель церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан.

Епископ закруглял разговор — приближался час, назначенный начальником управления, директору Музея пора было ехать.

— Скажите, что мы очень обеспокоены и подчеркните секретность и срочность дела,— напутствовал его епископ.

Прирожденный дипломат, дон Максимилиан окончил беседу так:

— Завтра я буду иметь честь преподнести вашему преосвященству экземпляр моего труда. Выход книги приурочен к открытию выставки. Это плод многолетних исследований и размышлений, думаю, что в ней наконец будет закрыт вопрос о Святой Варваре Громоносице.— И добавил скромно:— Это триумф не мой, но Церкви.

Дон Рудольф ответил, что уже наслышан и о книге и о ее огромном значении, поблагодарил за подарок — «не забудьте надписать» — и благословил его. На указательном пальце блеснул перстень — знак сана, должности и степени священства.

НОСИЛКИ — Первый этаж бывшего монастыря Святой Терезы, ныне превращенного в Музей Священного Искусства при Баиянском университете, был ярко освещен, когда его директор, дон Максимилиан фон Груден, затормозил во дворике и с помощью привратника вытащил с заднего сиденья носилки.

В самом Музее под руководством архитектора Жилберта Шавеса два сотрудника, два смуглокожих юноши, два ангела — злобное измышление твердолобого толстокожего пруссака Рудольфа Клюка — размещали в залах экспонаты, обычно хранившиеся в запасниках. Дон Максимилиан приветствовал Шавеса, осведомился, в добром ли здравии пребывает его жена, дона Сония, и начал обход своих владений. Дойдя до места, уготованного Святой Варваре, он остановился, чувствуя на себе внимательные взгляды архитектора и своих помощников.

— Сейчас будем ставить, местре? Где статуя?

— Нет, не сейчас. Послезавтра, за несколько часов до открытия. Иначе сюда сразу же набьется прорва народу, нам не дадут работать.— И чтобы пресечь возможные возражения, добавил: — Есть немало людей, которых мы не впустить не можем, так что уж лучше вообще ее не выставлять пока.— Он вымученно улыбнулся.— Святая Варвара в надежном месте.

— А где она? В церкви?

— Нет, не в церкви. Далеко отсюда. В полной безопасности.

В сопровождении троих помощников он двинулся дальше. Экспозиция была уже почти развернута. Дон Максимилиан похвалил троицу за хорошую работу, тут же внес некоторые изменения: передвинул распятие, поменял местами две дарохранительницы, велел унести ковчежец в малый зал.

— Да, совсем забыл! — спохватился один из «ангелов».— Три раза звонил викарий из Санто-Амаро. Сначала спросил, причалил ли парусник. Я ответил, что причалил и что вы отправились на пристань за статуей. Потом он звонил еще дважды, справлялся, не вернулись ли вы. Просил немедля связаться с ним, как только приедете.

— Поздно, уже первый час.

— Он просил позвонить, когда бы вы ни вернулись.

Воспользуемся заминкой и сообщим читателю, что викарий носил имя Теофило Лопес де Сантана, что весь приход называл его «падре Тео», а экономка и домоправительница — Тетео, в хорошие минуты, конечно.

Дон Максимилиан прощается с архитектором и помощниками, остается один посреди своих сокровищ, медленно бродит по экспозиции, подолгу разглядывая каждый предмет. Да, это нечто! Такого множества уникальных произведений искусства Бразилия еще не видала. На почетном месте — статуи, изваянные Агостиньо да Пьедаде и Агостиньо де Жезусом, и исполненный трагической красоты Христос на кресте работы Шагаса. Может быть, только в штате Минас-

Жераис, благодаря наследию Алейжадиньо, удалось бы собрать нечто подобное. Глаза дона Максимилиана увлажняются: ведь все это — результаты его трудов, разысканий и штудий, плоды его любви. Но тут взгляд монаха падает на постамент, предназначенный Святой Варваре Громоносице, и сердце его сжимается.

Кто бы мог подумать, что долгожданная Выставка обернется неизданным провалом, беспримерным поражением, ознаменует собой катастрофу, гибель карьеры, конец жизни?! Нет, о самоубийстве дон Максимилиан не думал, но с поста директора, конечно, придется уйти и окончательно затвориться от мира в монастыре Сан-Бенто.

Жирофле

Очень многое насчет того, как проводила время Иансан, явившись в славный город Баию, так тайной и останется; никогда мы не узнаем, где она спала, с кем шутила нежную шутку, на чью грудь склоняла голову в час отдохновения и целительного сна. Не знаем же мы этого вовсе не потому, что деяния сии покрыты мраком — напротив, слишком уж резок их свет для наших глаз, которые в один прекрасный день закроются навеки.

А праздной болтовни, слухов и сплетен, досужих вымыслов и вздора в избытке на террейро и в университетах, в спальнях и культурных центрах, на рынках и ярмарках. На чужой роток, как известно, не накинешь платок, но болтать, только чтобы болтать,— занятие недостойное.

Взять, к примеру, приключение, пережитое или выдуманное фотографом Бруно Фурером. Ведь его же — приключение, а не Бруно — разнесли по всему белу свету, пересказали в стихах и прозе, присочинив всякой чепухи. Нет, ничего плохого о мастерстве и таланте этого высокого профессионала я сказать не хочу, да и не могу: работы его всем известны. Прошу заметить одну лишь, от всеобщего внимания ускользнувшую деталь: Фурер всецело посвятил себя творчеству художника Карибе (его настоящее имя Эктор Жулио Париде де Бернабо сделало бы честь венецианскому маркизу или же владельцу кабаре в Буэнос-Айресе), десятилетиями снимает только его работы, всячески их пропагандирует и во имя святой этой цели исколесил все пять континентов, забираясь в дали немыслимые, повидал и безлюдье Патагонии, и ленинградскую зиму,— разумеется, за счет владетельного герцога нашей живописи.

В ту первую ночь, когда богиня явилась в наш город,— дело было около полуночи — Бруно, держа под мышкой набитую фотографиями и диапозитивами папку, с двумя неразлучными камерами на шее пришел к местре Карибе, чтобы вручить ему заказанный лондонским «маршаном» материал — сорок пять репродукций его последних работ и росписи в Игуатеми. Бруно был при последнем издыхании, он работал не покладая рук, ибо сроки поджимали: британец улетал назавтра утренним самолетом.

Однако хозяев дома не было: Карибе и его жена Нэнси отправились на ужин к банкиру Виктору Градену, супруга которого, Грейс, окончила очередную серию своей керамики — мало того что миллионерша, но еще и художница истинного дарования! — и перед обжигом желала показать ее компетентнейшему ценителю. Бруно ждать не мог и, зная беспечное обыкновение хозяев оставлять двери открытыми — они в воров не верили,— вошел в дом.

А дом этот, помещавшийся на улице Боа-Виста-де-Бротас, больше напоминал музей — столько и такого там всего было. Здесь, конечно, не место перечислять произведения искусства, являющиеся собственностью художника, но чтобы дать вам представление о полноте его коллекции, о некоторых я хотя бы упомяну.

Греческая кариатида, выменянная у собирателя из Сан-Пауло Жоана Агрипино Дории на три акварели и одну картину маслом, принадлежащих кисти хозяина дома; гранитная статуя Святого Георгия из Хорватии — эти монументальные работы стоят в мастерской. А в столовой на стенах висят три обетных приношения, написанные не позднее середины прошлого века, и иконы — русская, македонская и болгарская,— последняя принадлежит кисти знаменитого богомаза Христо Захарьева, помечена 1824 годом и изображает в бело-зелено-золотистых тонах Святого Георгия и Святого Димитрия. Каким образом оказались эти почитаемые и строго-настрого запрещенные к вывозу православные святые в баиянском квартале Бротас? Вопрос этот повиснет в воздухе: не стану я толковать сейчас о плутовстве, о заговоре, фальсификациях и подлогах, о подкупах и контрабанде, язык не поворачивается. Как заявил не так давно начальник полиции,— а он слов на ветер не бросает,— живописец Карибе с лихвой наделен и изворотливостью, и опытом.

Столь же неисповедимыми путями попал сюда и пышный оратор-рий, который Карибе выудил в Португалии в загородном особняке, где проживала прабабушка баиянского политика Мануэла Кастро. Карибе разливался соловьем и, сумев-таки сладкими речами улестить старушку, беспокоившуюся только о том, не оскорбят ли тонкий вкус правнука вольные картины, сдал ораторий в багаж, «чтобы вручить выдающемуся правнуку скромный сувенир от его португальской родни». А потом, сраженный очередным приступом беспамятства —амнезии, выражаясь по-научному,— совсем забыл о своем намерении, так что Кастро и по сию пору не подозревает о существовании оратория. Впрочем, Карибе компенсировал свою забывчивость красочными и подробными рассказами о неведомых Кастро заморских родственниках — милых и гостеприимных аристократах.

Вольные картины ничей вкус не оскорбили: изнутри ораторий был расписан сценами из жизни Марии Египетской в духе средневековой безыскусности — «naïv» [1],— поправил профессор Жоан Батиста на праздничном обеде по случаю дня рождения юной Нэнси. Что правда, то правда: картины забавные, вольные и весьма откровенные. Изображали они превращение хорошенькой и совершенно голой блудницы, без всякой аллегорической недосказанности предающейся пороку, в старую грымзу, закутанную с ног до головы в грубое глухое одеяние, с жаром и рыданиями кающуюся в содеянных грехах.

Для того чтобы роспись всегда была на виду, Карибе ничего в оратории не ставил и дверцы его держал открытыми.

Однако вернемся к Бруно. Он включил хрустальную люстру, чтобы выложить на стол репродукции и слайды, и вдруг заметил в нише оратория изображение святой, а точнее — резную деревянную статую, и статуя эта была само совершенство. Карибе зачем-то поставил ее в ораторий, не заботясь о том, что соблазнительные похождения египтянки видны теперь не во всей полноте. Где и как он раздобыл статую? В антикварных магазинах такое чудо не выставлялось, а еще накануне ее в доме не было.

Бруно подошел поближе, и восхищение его усилилось. Он не был специалистом, но достаточно разбирался в редкостях, постоянно имел дело с коллекционерами, чуть ли не ежедневно фотографируя статуи, ковчежцы, прочую церковную утварь, чтобы оценить шедевр по достоинству. «Феноменально!» — воскликнул бы Бруно, вместив в это слово переполнявшие его чувства, если бы знал его, но поскольку не знал, ограничился восторженной сентенцией: «Твою мать!»

Ему продолжало казаться, что где-то он эту скульптуру видел. Но где же, где? Уже в машине, по дороге домой, его вдруг осенило: да

---

[1] Примитива *(франц.)*.

ведь это знаменитейшая Громоносица из церкви Санто-Амаро! Какого ж дьявола попала она в гостиную Карибе?!

Приехавши домой, он разбудил Гардению, поведал ей обо всем и спросил, что она думает по этому поводу. «От Карибе всего жди,— высказалась та.— Разве ты не помнишь, как он украл полотно Дженнера из конторы Мирабо, украл почти открыто, чуть ли не у всех на глазах, когда там было полно посетителей? С Карибе станется». Однако вынести Святую Варвару Громоносицу из алтаря — это даже для него, пожалуй, чересчур.

Несколько часов спустя, уже под утро, Пержентино по кличке «Пятиклассник» перелез через ограду, пересек сад и проник в мастерскую Карибе. Он желал овладеть несметными сокровищами художника. Во время последней отсидки среди прочих сведений, имевших целью повысить интеллектуальный уровень заключенных, он узнал от очеркиста Клаудио Вейга, а узнав, нимало не усомнился, что в ателье художника Карибе, в сундуке из Гоа лежат фантастические богатства. Пержентино очень тщеславился тем, что он — не какая-нибудь серая и темная личность: он доучился до пятого класса гимназии и не получил среднего образования потому только, что отец умер и надо было кормить семью. Однако отсиживать часы «от» и «до», платить налоги и делать что велят Пержентино не пожелал. Как видим, он был не только грамотеем, но и индивидуалистом.

Завороженный историей о пещере Аладдина, он, на свою беду, пропустил мимо ушей слова профессора Вейги: Карибе — один из двенадцати баиянских оба [1] — Оба Она Шокун — и на кандомбле место его по правую руку от матушки Стелы де Ошосси, «матери святой».

Привыкнув по профессиональной необходимости обходиться без света, он тотчас заметил, что на деревянной скамье спит чернокожая красавица в чем мать родила. Пержентино бесшумно приблизился: «Картинка!» Она была хороша как богиня, но он не узнал в ней Ойа Иансан — ему и в голову такое не могло прийти. Чуть подрагивали в такт дыханию непокорно торчавшие груди, а бедра, не умещавшиеся на вполне просторной скамье, служившей ей ложем, могли бы вогнать в столбняк любого смертного. Пержентино не стал исключением и застыл: никогда ему не приходилось видеть такого изобилия.

Пержентино-Пятиклассник под наплывом новых ощущений позабыл и сундук из Гоа, и сокровища, торопливо расстегнул джинсы и изготовился к действию, резонно полагая, что вряд ли натурщица, которая привыкла позировать голой, станет отбиваться и поднимет шум из-за такой малости. Во всем прочем Пержентино надеялся на себя, ибо мужские его качества высоко ценились среди белокожих и смуглых обитательниц квартала Бротас.

Но не успел он прикоснуться к спящей, не успел ощутить жаркую ласку уст и лона, как в это самое мгновение гранитный Святой Георгий пришпорил своего белого коня и, сопровождаемый огнедышащим драконом, ринулся на него, уставив копье, собираясь пронзить то, что составляло утеху и гордость Пержентино.

Налетчик, опять же по профессиональной необходимости проворный как кошка, метнулся к двери и скатился по лестнице. Святой Георгий поскакал следом, не оставляя намерения оскопить святотатца. Пятиклассник, окутанный пламенем, которое изрыгал дракон, вопя и призывая на помощь, едва не спятив от ужаса, пролетел сад, выскочил на улицу и мчался не останавливаясь до самого полицейского участка, куда и ворвался с повинной. Его сочли мертвецки пьяным, а поскольку он был человек в полиции известный, инспектор велел поставить его под холодный душ для вытрезвления.

Что же касается фотографа Бруно Фурера, который весь следующий день болтал на каждом углу о своем открытии, то его задержали

---

[1] Жрец в афробразильском культе.

и по распоряжению комиссара Паррейриньи доставили в отдел, ведавший грабежами и кражами. Однако Бруно был парень тертый и ни в чем не сознался, резонно утверждая, что, если история эта у всех на устах, он тут ни при чем. Ах, твердил он, для него величайшим счастьем было бы увидеть Святую Варвару — у Карибе ли или где угодно еще — и сфотографировать ее. «Пожалуйста, господин комиссар, как разыщете, не откажите в любезности мне звякнуть, я со своей «лейкой» буду тут как тут».

А бродячий певец Карлос Кунья, наслушавшись россказней и небылиц, присел на скамеечку в саду Баиянской Академии Литературы и обозначил всю эту кутерьму иностранным словом «жирофле». А кто захочет узнать, почему, пусть спросит отгадку у самого поэта.

Помолвка и свадьба

ОБЕЩАННОЕ — СВЯТО — Любезный читатель, должно быть, помнит, что я обещал приподнять таинственную завесу, окутывавшую супружество Адалжизы, и описать, в какие строгие рамки ввела религия пыл Данило Коррейи, сорокалетнего делопроизводителя, а в прошлом — надежды баиянского футбола: не сегодня завтра его пригласят в сборную страны,— предрекали спортивные обозреватели того славного времени.

Что ж, пришла минута выполнить обещание, уплатить долг, пока управление безопасности, федеральная полиция и агенты архиепископа рыщут по следам пропажи, отрабатывая разнообразные версии и отыскивая ниточку, дернув за которую, можно будет размотать преступный клубок и найти Святую Варвару Громоносицу. Смогут ли наши проницательные и неутомимые сыщики раскрыть преступление, упрятать злоумышленников за решетку и спасти дона Максимилиана фон Грудена от вечного заточения в его келье?

Дон Максимилиан в четырех стенах не выживет: он рожден для просторов ученой беседы, дружеской болтовни, для общения с себе подобными, для ехидной полемики, для научных собраний, для вечеринок, для сплетен и злословия. Одним словом, для блестящей светской жизни. Недаром ведь так часто встречается его имя в колонке светской хроники газеты «Тарде», обозревательница которой диктует моду, предписывает вкусы, в общем, вращает землю.

Скоро, скоро будут известны результаты — надеюсь, положительные — сыска и дознания, подтвердится какая-либо из версий или все сразу, но пока ничего определенного не обнаружено, на хвост похитителям не сели и святую не нашли, воспользуемся этой передышкой и посплетничаем немножко, поговорим о любви и любовниках, о горестях и радостях, о томлении и ликовании. Будет у нас мелодрама с «хеппи-эндом».

МЕЧТАТЕЛЬ — Почистив на ночь зубы, натянув синие в желтую полосочку пижамные брюки, Данило появляется в спальне. Мохнатая грудь его открыта. Лежащая в постели Адалжиза, подоткнувшись со всех сторон простыней, закрывает глаза.

Беспутные подружки Данило, растянувшись, бывало, рядом с ним на мягком матрасе, набитом обезьяньей шерстью, говорили, поглаживая густую поросль у него на груди: «Прямо как бархат... Чуть прикоснусь — и я готова». Но Адалжиза редко прикасается к мужниной груди, а уж что такое «готова» она не понимает, ибо подобные слова порядочной женщине не то что произносить, а и знать зазорно.

Данило, положив очки на ночной столик, поставив шлепанцы носок к носку, укладывается Прежде чем погасить ночник, он приподнимает одеяло и с вожделением новобрачного оглядывает зад Адалжизы, тщетно скрываемый панталонами,— да-да, именно этой безна-

дежно устарелой, давно вышедшей из моды частью туалета, которую ныне днем с огнем не сыщешь в фешенебельных магазинах. Склонясь над женой, Данило обращается к ней с обычной просьбой и нарывается на столь же обычный отказ:

— Нет. Сегодня — нет. Я уже помолилась.

Данило еще предпринимает робкие попытки прижаться, притулиться, обнять Адалжизу, но та отстраняется и переворачивается на живот, оберегая свои прелести от кощунственных посягательств.

— Ты, если уж не молишься на ночь, хоть бы перекрестился! Безбожник!

Она резко отталкивает руку Данило:

— Не трогай меня! Маньяк!

А во сне — к сожалению, лишь во сне — Данило овладевает ею так, как ему хочется. Длится эта пытка уже девятнадцать лет.

РОХЛЯ — Девятнадцать лет, как они женаты, да годик накиньте на помолвку, да еще несколько месяцев ухаживанья — вот вам и полные два десятилетия. Данило Коррейя, видный мужчина, по натуре добряк, характера ровного и приветливого, которого друзья продолжают звать Принцем теперь уже не за изысканные финты и филигранные передачи, а за природное красноречие и элегантность, вынужден пить и шляться по бабам, применяя эти испытанные средства во исцеление своего недуга.

Так почему же такое дружелюбное и душевное существо, как он, оказалось намертво пришитым к юбке этой сварливой и вздорной дьяволицы? Почему, спрашиваете? Да потому! Адалжиза, разменявшая четвертый десяток, при всей отвратности своего характера остается весьма и весьма привлекательной дамой — лакомый кусочек! Когда она, достав из шкафа, надевает праздничный наряд и идет к десятичасовой мессе, или в гости к своим высокопоставленным клиенткам, или на обед к школьному приятелю Данило — миллионеру Артуру Сампайо, или на бал в Испанский клуб, все встречные мужчины провожают ее алчными взглядами: бедра ее качаются в прихотливом и вольном ритме, как корабли под ветром. «Даст же господь такое!» — размышляет профессор Луис Батиста, слушая, как клянет Адалжиза все человечество и обещает сломить рог непокорной племяннице.

Данило гулял усердней, чем пил. Не было человека, который в шутку ли или всерьез, с похвалой или с укоризной — а большинство с неприкрытой завистью — не дивился бы тому, как аккуратно — не реже двух раз в неделю — отправляется Данило к жрицам любви, проводя вечера в домах терпимости, в последних притонах, чудом еще уцелевших на баиянских улицах, в борделях, неумолимо клонящихся к упадку.

Профессор Жоан Батиста, его сосед и партнер по шашкам и триктраку, тоже отдавал дань природе и имел обыкновение обмениваться с Данило впечатлениями о внешности, нраве, дарованиях и достоинствах девиц, которых оба знали и ценили. Но ни разу не осмелился он задать вопрос, вечно вертевшийся у него на языке: чем объяснить, что в бордели ходит человек, имеющий у себя дома, в полном своем распоряжении, женщину такого класса, как дона Адалжиза? Что за зопиющая нелепость? Будь он, Жоан Батиста де Лима-и-Силва, женат на ней, уж он бы не стал тратить деньги на потаскушек, а получал бы в супружеской постели и рядовой обед, и изысканную трапезу, и легкую закуску, и дежурное блюдо, и фирменное кушанье, и десерт. Ах, дона Адалжиза — непокорная грудь, роскошные бедра! что за женщина! пир плоти, repas exquis [1].

Он не спрашивал и ничего наверное не знал, но само развитие событий указало ему, по каким причинам ударился в разгул его ред-

---

[1] Изысканное угощение *(франц.)*.

костный сосед. «Редкостный сосед»,— таково было единодушное мнение всей авениды Аве Мария.

Дамиана — та просто считала Данило святым, достойным быть причисленным к лику, ибо только святой, по ее мнению, мог столько времени терпеть такую злющую, на весь свет обиженную бабу, как Адалжиза,— «я бы на его месте давно бы послала такую жену куда подальше». Алина — соседка слева — находила такое объяснение странностям Данило: сам господь наложил на него, бедненького, эту епитимью во искупление какого-то греха. Ну, а супруг Алины, сержант военной полиции Деолиндо, рьяный поборник мужских прав, называл Данило слюнтяем, рохлей, сурово порицая его непомерную уступчивость и терпимость. «Он у нее под каблуком, она им вертит как хочет, веревки из него вьет и чихает на все с присвистом. Попалась бы она мне, я бы ее живо привел в должный вид: гаркнул бы да навесил слева-справа, враз стала бы как шелковая. Бабам никакой потачки нельзя давать: сунь палец, они всю руку норовят отхватить».

Сержант был мужчина суровый, зычноголосый и собой нехороший. Алина, слушая его речи, со всем соглашалась и кротко кивала, а в душе посмеивалась, ибо знала, что суровость его и мужественность — это так, видимость одна, и не найти во всем квартале такого рогоносца.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ — По просьбе влиятельных героев моей истории — профессора Жоана Батисты де Лима-и-Силвы, журналиста Леокадио Симаса, горемычного Принца Данило — а также многих иных граждан, имена которых я, разумеется, огласке не предам, словом, всех усердных посетителей и желанных гостей обреченных на вымирание борделей, не побежденных, но вытесненных новомодными мотелями с высокой пропускной способностью, и массажными заведениями,— я прошу почтить минутой молчания светлую память этих центров общения и досуга, где некогда процветало милое моему сердцу искусство разврата.

Через баиянские дома терпимости прошли одно за другим целые поколения мужчин богатых, бедных и скромного достатка, представители всех профессий, носители всех идеологий, наставники и школяры, мастера искусств и мастеровые, банкиры и бандиты, клерикалы и клерки, торговцы и продавцы, князья церкви и скромные ее служители, помещики и депутаты, крупные политические деятели и мелкая муниципальная сошка, военные в больших чинах и рядовые, врачи просто и врачи зубные, ветеринары, фармацевты, инженеры, прошли аристократия, духовенство и третье сословие. Эти учреждения несли в народ начала демократии и азы культуры, прививали вкус к знаниям и добропорядочности и, несомненно, заслужили толику благодарности со стороны Исторического и Художественного фондов. Вспомним, смахнув слезу умиления, бордель Жозетт Ла Рукин, помесь притона с литературным салоном, где во время оно царил славившийся изысканностью своей рифмовки сонетист Браулио де Абреу.

Под матерински взыскательными взорами хозяек выходили в залу девицы, угощали клиентов сластями, ликерами из бананов или питанги, какао, роз и фиалок, в тиши обителей изготовленными и очищенными через бумажные фильтры сестрами-монахинями. На душистых простынях изобретательно, искусно и добросовестно разыгрывалась бесконечная гамма ласк, которые готовили и вели к высшей точке наслаждения, где жизнь уже почти неотличима от смерти.

Многие приходили, чтобы здесь, в тишине и покое, в жарких объятиях получить то, на что не смогли претендовать из-за предрассудков ханжеской морали у себя дома. Они покидали бордель успокоенные, примиренные с действительностью, вновь обретшие радость

бытия. Восстанавливалась гармония брачных союзов, незыблем становился семейный очаг, укреплялся институт семьи, являющийся, как известно, основой христианского западного общества... ну, ладно, ладно.

Непомерную цену платим мы за ложно понятый прогресс, оборачивающийся вандализмом, насилием, разрушением. Мы путаем понятия «рост» и «развитие». Человек, обреченный на одиночество мотеля или «кабинета массажа», утрачивает радость жизни.

А ведь еще совсем недавно в борделях специалистки высочайшей квалификации, наши соотечественницы и иностранки — о, романтические француженки, о, таинственные полячки! — эти жрицы сладострастия, как писали некогда в плохих романах, щедро потакая любым прихотям, правили стародавнее ремесло.

Нет, даже пустив в ход французский язык, самим богом созданный для эротических таинств и постельных забав, профессор Жоан Батиста, испытанный поклонник борделей, все равно не согласится принять мотели и массажи — эти прилавки, за которыми общество потребления торгует сексом тоскливым и порочным, где нет места ни монастырским ликерам, ни романсам, ни беседам, ни поэзии. Ах, невозвратные времена!

ИГРОК — Хотя плодовитый и льстивый Силвио Ламенья, ведущий колонки «High Society» в «Диарио де Нотисиас», не жалел слов, описывая «бракосочетание прекрасной Адалжизы, точно сошедшей со страниц Лорки, истинного украшения нашего общества, нежно любимой дочери нашего подписчика дона Франсиско Ромеро Перес-и-Переса, пользующегося заслуженной известностью виднейшего представителя иберийской колонии, с популярнейшим спортсменом, Принцем Данило Коррейей, стяжавшим себе громкую славу на футбольном поле...», но церемония прошла более чем скромно. Не было даже торжественного венчания в церкви. Не позволяли средства.

Пако-Жеребец стремительно разорялся. Карточные проигрыши смели бакалейные лавки, сожрали акции Экономического банка и Банка Баии, уничтожили ценные бумаги и облигации. К тому же началась засуха и бескормица выкосила чуть не весь скот. Пришлось за сущие гроши продать имение «Каталония», купленное когда-то бездумно, поспешно и из чистейшего бахвальства: уж больно хотелось Пако, сидя за картами в Английском клубе, чувствовать себя плантатором-помещиком, на равных с «королем какао» Раймундо Са Баррето, с латифундистом Алмиром Леалом и с прочими землевладельцами — сильными мира сего. Сам-то он крайне редко наведывался на свою фазенду, затерянную где-то в глуши сертанов, и пригодилась она по-настоящему лишь однажды: там провели свой медовый месяц Долорес и Эуфразио.

Долорес, младшая дочка, вышла замуж рано, на два года раньше Адалжизы, когда дела семьи были более или менее благополучны. Новобрачных венчал сам епископ Аракажу, старинный друг Пересов, случившийся в то время в Баии. Орган и женский хор исполнили марш Мендельсона. Центральный неф был увит гирляндами живых цветов; три ангелоподобных девочки и три херувима-мальчика открывали шествие, устилая путь невесты лепестками флердоранжа; дамы из лучших фамилий несли длиннейший шлейф ее украшенного кружевами платья из белого органди. Отец вел ее под руку; всхлипывала мать, обручальные кольца были из самого чистого золота и самого новейшего фасона. У церкви толпились и толкались зеваки. Несмотря на то, что свадьба была задумана и исполнена в страшной спешке, дона Эсперенса Трухильо успела управиться с подвенечным

нарядом к сроку, чему никто не удивился: все знали ее обязательность.

Объяснялась же спешка очень просто: Долорес была на третьем месяце. Эуфразио был малый не промах и еще до помолвки лишил Долорес невинности, найдя для этого очень подходящее место за Маяком: в те времена семейство Пересов проживало еще в собственном доме, на берегу моря.

Потом этот дом тоже был продан за долги, и от всего богатства осталось у Пако только лавчонка старьевщика в квартале Агуа-дос-Менинос, куда он вложил деньги, чтобы помочь своему юному и предприимчивому земляку Хавьеру Гарсии. Тот рьяно взялся за дело, и дело пошло.

Хавьер карт в руки не брал, терпеть не мог ни казино, ни кабаре, ни баров, ни борделей и был так бережлив, что дважды в день спускался и поднимался по Ладейре-де-Агуа-Бруска, чтобы не тратиться на фуникулер. Семь лет назад он приехал из Тенерифе с пустым карманом и с тех пор разбогател, благодаря не столько строжайшей экономии, сколько удивительной ловкости, с которой он разорял своего партнера и компаньона. Хавьер, в отличие от Пако, был не игрок, а жулик.

ПРОПОВЕДЬ — А Адалжиза венчалась дома, а не в кафедральном соборе, и никакой помпы не было, но все же все приличия соблюсти удалось. Не такая уж нищая получилась свадьба.

Ломился стол от разнообразнейших яств, и выпить было что — и испанские коньяки, и мансанилья, и херес. За здоровье молодых пили шампанское: свидетели на регистрации брака, Амелия и Бенито Фернандесы, помимо ценного свадебного подарка — великолепного сервиза — привезли еще и полдюжины шипучего. Что это еще за «шипучее»? Так позволительно называть некую подделку из штата Рио-Гранде-до-Сул, а «vin blanc mousseux»[1], импортированное из Франции, извольте писать и произносить так, как велит профессор Жоан Батиста де Лима-и-Силва: «шампань». И кстати, можно будет избежать неразберихи, проистекающей от растущей дороговизны и ухудшающегося вкуса.

Церемония началась позже, чем того требуют правила хорошего тона,— в пять часов. Дело было в субботу, на дворе стоял май. Сначала — венчание, коим руководил падре Гаспар Садок, а потом — регистрация брака, осуществленная судьей Жозе Алвесом Рибейро. Такого столпотворения, как два года назад на свадьбе Долорес, конечно, не было, но все-таки гостей набралось порядочно: Пако-Жеребца ценили не только за деньги, которых у него, впрочем, уже не было, но и за иные качества. Квартирка на улице Грасе оказалась даже тесновата: приглашенные разбрелись по комнатам, торчали в спальне, шушукались на кухне о том, как Пако пустил по ветру свое состояние. «Карты и разорение — неразлучная пара»,— гремел в воскресной проповеди красноречивый падре Барбоза в изящной церкви Витория и лучшей иллюстрации этого тезиса подобрать бы не смог.

Воздушное тюлевое платье в стиле Ренессанса было придумано, скроено и сшито самой Марией Зилдой, а подарено — четою Котрим, посаженными матерью и отцом невесты; фата и флердоранж свидетельствовали о непорочной чистоте Адалжизы, которая, не в пример младшей сестре, действительно была чиста и непорочна и принесла к алтарю совершенно нетронутое целомудрие. Ягодка была не надклевана — случай в наше время редкий, заслуживающий особого упоминания.

---

[1] Белое игристое вино *(франц.)*.

Адалжиза утерла слезу, когда священник вспомнил о матери невесты, о добросердечной Андрезе, и о ее наставнице и доброй фее, доне Эсперансе Трухильо, «которые упокоились в лоне Авраамовом и благословляют свою дочь и воспитанницу в счастливый день бракосочетания». Падре Гаспар Садок не знал себе равных в свадебных церемониях.

БУКЕТ НЕВЕСТЫ — По мнению жениха, проповедь несколько затянулась. С немой укоризной взирал Данило и на поэтического судью, который так долго воспевал «ослепительную, роскошную, истинно бразильскую красоту Адалжизы, рожденную в том тигле, где сплавляется воедино кровь многих рас...», что эта речь была больше похожа на объяснение в любви и всерьез озадачила жениха: поэты не заслуживают доверия. Данило переминался с ноги на ногу, чему было и более прозаическое объяснение: нестерпимо жали новые лакированные туфли, и он не чаял, когда же можно будет наконец скинуть их, когда можно будет остаться вдвоем с Адалжизой, на берегу моря, на Морро-до-Сан-Пауло, в загородном доме, который предоставил в распоряжение молодых богатый промышленник и старинный приятель тестя Фернандо Алмейда.

Но вот, слава богу, речи кончились и началась канитель поздравлений: поцелуи, объятия, пожелания счастья, двусмысленные шуточки — и так без конца. Данило целовался, обнимался, улыбался, благодарил, но мысли его были далеко.

Впрочем, почему же далеко? Близко были его мысли, ибо совсем рядом с ним во всей непорочности своей стояла Адалжиза. Теперь, после благословения и подписи судьи в брачном свидетельстве, он имел на эту непорочность все права, и главное право — покончить с ней как можно скорей. Услышал господь его молитву.

Адалжиза, принимая поздравления, выслушивая лукавые смешки подружек и завистливые шуточки, порхала по комнате от гостя к гостю. Данило стало вконец невтерпеж, а еще надо было сняться на память об этом счастливом дне, да не один раз: вот новобрачные рука об руку; вот они меняются кольцами; вот их первый поцелуй. Последняя мизансцена чуть не доконала его.

Адалжиза бросила свой букет в толпу всполошившихся девиц на выданье: есть такая примета — кто поймает его, в том же году выйдет замуж.

ДЕВУШКА СТРОГИХ ПРАВИЛ — Несколько ранее устами профессора Жоана Батисты высказывалось мнение о том, что за год от помолвки до свадьбы кое-какие потачки и вольности допускает даже самая стыдливая и высоконравственная девица. Однако нет правил без исключений: ровно год прошел от предложения до свадьбы, но Адалжиза пришла к импровизированному алтарю девственницей и, более того,— непорочной девственницей: столь редки были потачки, столь немногочисленны вольности.

И вовсе не потому, что обстоятельства не благоприятствовали: возможностей для легкого блуда было сколько угодно. Два часа в день, с восьми до десяти, жених и невеста проводили наедине, обсуждая последние фильмы, радиоспектакли, шлягеры, певцов и певиц — Адалжиза с ума сходила по Анжеле Марии. Данило предпочитал Далву де Оливейра, и оба восторгались Элизет Кардозо — вспоминая перипетии футбольных сражений, в которых некогда блистал Данило, строя планы на будущее. Пако-Жеребец уходил туда, где ждали его крапленые колоды, подпольные казино, игорные притоны, он уходил, а жених приходил, и в дверях они вежливо здоровались и обменивались парой ничего не значащих любезностей. Андреза, побыв с нареченными несколько минут, потом оставляла их: дел по хозяйству у нее было множество.

Жених и невеста сидели рядышком на диване, или, взявшись за руки, бродили по городу, любовались полной луной, стоявшей над морем, с холма, где некогда была резиденция иезуитов — на Ладейре-де-Санто-Антонио-де-Барра, или шли к теннисным кортам, или к яхт-клубу,— все это места, просто созданные для влюбленных и издавна облюбованные ими. В непроглядной тьме или в лунном сиянии Данило, вдали от нескромных глаз, совершенно спокойно мог бы совратить Адалжизу, если бы она, конечно, согласилась. Но она не соглашалась.

Что? До свадьбы? Никогда! Легче умереть! Пример прыткой Долорес старшую сестру не вдохновлял. И в этом аспекте, и во многих других сестры представляли друг другу полную противоположность. Долорес залетела в шестнадцать лет, а венчалась уже с Перивалдо во чреве, но малышу недолго пришлось носить это красивое имя, полученное при крещении: восьми месяцев от роду он умер от дизентерии.

Адалжиза, с детства отличавшаяся заносчивостью и самоуверенностью, теперь, на двадцать втором году жизни, огородила себя непроницаемой стеной принципов, полученных в наследство от крестной, доньи Эсперансы Трухильо, непреклонной вдовицы. Принципы эти предписывали Адалжизе стиль и манеру поведения: донья Эсперанса воспитала ее как настоящую сеньору. Дада стояла насмерть; фанфары сексуальной революции звучали впустую, а о противозачаточных пилюлях она и понятия не имела. «Девушка строгих правил»,— говорили про нее кумушки.

ПОТАЧКИ И ВОЛЬНОСТИ — Да, жениховство Данило было на редкость платоническим: отношения его с невестой были чистейшие, а притязания — скромнейшие. Будь на месте его невесты другая, он, красавец и знаменитость, идол болельщиков, кумир женщин, не стал бы терять время даром и уж как-нибудь да нашел бы способ удовлетворить снедавшую его страсть, но с Дада — при том, что виделись они ежедневно,— дело не шло дальше поцелуев: чем ближе был час расставания, тем продолжительней и горячей они становились. Прощальное же лобзание было точь-в-точь как в кино. Целоваться Адалжиза любила.

Иногда в редкие минуты допускалась такая вольность, как тисканье или лапанье, но ни разу не разрешили Данило засунуть руку в вырез платья или под рубашку, а уж под лифчик — и думать нечего было. Иногда случалось провести ладонью по бедру — тоже поверх юбки, и только однажды удалось ему залезть невесте под юбку. В тот день, когда он осмелился на подобную дерзость и скорее угадал, чем почувствовал по-настоящему вожделенные контуры, Данило разрядился тут же, не сходя с места, не успев даже добежать до дома или до ближайшей своей приятельницы. В них он недостатка не знал: Данило был весьма популярен в веселых домах Масиэла и Гамелейры.

По пальцам можно пересчитать, сколько раз за этот год — год напора и задавленного желания — доводилось Данило совершить с Адалжизой нечто более существенное. Почувствовав прикосновение чего-то твердого и нетерпеливо подрагивавшего, Адалжиза вздрагивала и резко отодвигалась. Никогда не позволяла она рискованных контактов, боязливо держала в руке грозное орудие Данило, так толком и не оценив его калибра, длины и объема. Ее удивляла оставшаяся на ладони капелька: если потереть, похоже на клей.

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ — Незавидное, скажу вам, дело — расписывать ограничения и запреты, повествовать о том, что должно было бы свершиться, да не свершилось, рассказывать о ве-

дах унылых и разочаровывающих, скучно это, угнетает это и обескураживает. Но летописцу не пристало искажать истину, скрывать уродливые и грустные грани бытия, а главное — обманывать читателя, наплетя ему, например, с три короба о победе Данило, тогда как бедный малый брел по тернистой тропе (или по безводной пустыне), терпел голод и жажду, посаженный, можно сказать, на хлеб и воду. Очень мало было хлеба и еще меньше воды...

Адалжиза расслаблялась, утрачивала бдительность, снимала караулы только во время танцев — на семейном каком-нибудь торжестве на «matiné»[1] в Галисийском центре, на «soiré»[2] в Испанском клубе. Опьяненная медленной романтической музыкой, завороженная ритмом, она не противилась, когда Данило, слегка нарушая правила приличия, прижимался к ней плотнее, обхватывал теснее, а только томно улыбалась, полуприкрыв глаза. Уж очень она любила танцевать. Однако не каждый же день случаются вечеринки и вечера, крестины и именины. Всякому известно: хорошенького — понемножку...

Приняв в расчет все эти горести Данило, о коих я против воли рассказал, читатель без труда сообразит, в каком состоянии духа и плоти пришел он ко дню свадьбы. Чаша его терпения была переполнена, он жаждал и алкал и сдерживался из самых последних сил. Ничего, утешал он себя, скоро настанет день, когда исполнятся все его желания, даже самые безумные и невероятные, скоро он отыграется за все, и все себе возместит, и устроит пир на весь мир.

Но заблуждается тот, кто подумает, дойдя до этого места моего нескладного, но честного повествования, будто страдалец Данило не испытывал к Адалжизе ничего, кроме вожделения, что чувства его ограничивались лишь любострастием и похотью. Подобное умозаключение — скороспелое и узколобое — может лишь опорочить истинные чувства Данило. А он любил Адалжизу глубокой, неподдельной любовью, любил всем сердцем.

Конечно, его пленили изящество, красота Адалжизы, совершенство ее тела, наповал сразили ее точеные ноги, ее крутые бедра, ее осиная талия, ее высокая грудь, ее смоляные локоны.

Конечно, его не оставили равнодушным многосторонние дарования невесты: она очень вкусно готовила, играла на рояле, шила и вышивала, не говоря уж о том, какие дивные выходили из-под ее рук шляпки. Нравился ему и характер Адалжизы — цельный, неуступчивый, алмазной твердости. Но сильнейшее впечатление производили на Данило ее моральные качества и первое из них — ее несокрушимая добродетель. Эта черта возвышалась над всеми прочими бесчисленными достоинствами. Данило гордился неприступностью Адалжизы, умеренностью ее ласк, отпором, который она давала его притязаниям, скудостью вольностей, ничтожеством потачек.

Вот какие бывают в нашей жизни неразрешимые противоречия — их и утаить нельзя, и обсуждать нечего. Каким бы необъяснимо нелепым ни казалось нам диалектическое противоречие, это неотъемлемая часть нашей жизни. Данило, гордясь и восхищаясь целомудрием невесты, глубоко страдал от последствий этого самого целомудрия, но, не будь этого противоречия, он не любил бы ее так преданно и горячо и не выдержал бы годичного искуса. А как иначе объяснить их девятнадцатилетнее супружество?

ВРЕМЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ — О девятнадцатилетнем супружестве пока умолчим, воспользуемся тем, что молодые сломя голову несутся в Валенсу, там сядут на катер и доберутся до Морро-до-Сан-Пауло, где и будет проходить их медовый месяц,— и прервем на время рассказ об их..— даже не знаю, как назвать?..— об их пламенной и чистой любви.

---

[1] Здесь: собрание гостей после полудня *(франц.)*.

[2] Вечеринка *(франц.)*.

История, которую я тщусь изложить на этих страницах, довольно запутанного свойства, занимает много места и в пространстве и во времени, и потому надо как следует напрячь мозги, дабы не запутаться, не расшибить себе лоб на крутом повороте сюжета, не сбиться с пути на развилке, приготовленной лукавыми бесами.

Так что подождите малость. Скоро я опять возьмусь за историю о бывшей футбольной звезде и модистке и в лучших традициях жизненной правды и реализма расскажу о том, как прошла их первая брачная ночь и медовый месяц, и тогда обретет смысл такое запутанное словосочетание, как «пламенная и чистая любовь». Повествовать — мало, надо еще при этом соблюсти пропорции и меру, чтобы получилось то, что надо. Всякому эпизоду — свой черед, для каждого героя — свой тон. Если кто-нибудь полагает, что это просто, пусть сам попробует.

Сейчас пришло время уделить внимание другим фронтам, вернуться к отложенному, снова вывести на сцену других, не менее значительных персонажей. Вот, к примеру, дон Максимилиан фон Груден,— ведь он почти не сомкнул глаз этой тревожной ночью. Справедливо ли так и держать его в неведении, не сообщить ему никаких новостей? Обнадеживающих, конечно, и отрадных, раз ему так хочется.

Ну а если кому-нибудь не терпится узнать, как же протекала брачная ночь Данило и Адалжизы, если кто жаждет сведений из этой волнующей сферы бытия, то вольному воля: пусть он перелистнет десяток страниц и получит детальнейшее, без умолчаний и недомолвок, описание того, как именно распрощалась девица со своим девичеством. Вовсе не обязательно читать всю книжку целиком.

Телефонные разговоры

ГАЗЕТНАЯ ШУМИХА ИЛИ СЛАВА И ДЕРЬМО — Дон Максимилиан фон Груден, даже если ложился спать далеко за полночь, засидевшись над книгами или в кругу друзей, вставал всегда очень рано, когда в пролетарском квартале, примыкавшем к монастырю, пели петухи.

Стоя с зубной щеткой у окна, директор Музея глядел, бывало, как оживает улица, как торопливо шагают на службу невыспавшиеся, хмурые мужчины, как с утра уже усталые женщины принимаются за свои домашние дела, которых все равно не переделаешь. Жизнь эта, убогая, неинтересная, серая, разительно отличалась от его собственной, и дону Максимилиану даже в голову не приходило пожалеть своих соседей, проникнуться к ним состраданием: он просто их не замечал. Нет, он их презирал вовсе не за то, что они бедны — он и сам Крезом не был,— а за то, что они слишком заурядны и их заботы, труды и досуги не имеют ничего общего с его возвышенно-интеллектуальными радостями и печалями. Однако в это утро — был четверг, и с момента исчезновения Святой Варвары прошло ровно двенадцать часов — дон Максимилиан, не сомкнув ночью глаз, почувствовал свое кровное родство с соседями. Ему, пожалуй, еще хуже, он попал в безвыходную ситуацию. Впрочем, один выход все же оставался: узенькая дверца, за которой — отставка и всеобщее презрение.

Прежде чем стать на молитву, дон Максимилиан имел обыкновение просматривать утренние газеты, которые Нелито, его «бой», еще один из его ангелочков — херувим на посылках, черный как сажа негритенок — аккуратной стопочкой складывал у двери. Вот и в этот четверг директор Музея по установившейся привычке и природной любознательности принялся просматривать прессу, усевшись в черное кожаное кресло, так эффектно оттенявшее его белую сутану.

На первой же странице первой газеты — это была «Тарде» — он увидел собственное свое улыбающееся изображение: Вава, превосходный фотограф и добрый приятель, выбрав удачный ракурс и подходящий момент, щелкнул директора, когда тот перелистывал книгу о таинственной скульптуре. Очень хорошо вышел на снимке дон Максимилиан! Надо будет послать Вава экземпляр бразильского издания с теплой надписью. Директор снова посмотрел на свою фотографию: очень, очень хорошо, и улыбка такая скромная и умная. Красиво! Зачем скрывать?

«Завтра состоится открытие Выставки. Знаменитая статуя Святой Варвары уже прибыла в Баию!» — этот жирно напечатанный заголовок отсылал читателя на третью страницу, где был помещен репортаж о пресс-конференции. Три колонки в верхней части листа: умело поданная и совершенно исчерпывающая информация — это дело рук репортера Жозе Аугусто Берберта, матерого, хоть и молодого годами, журналиста. Он пришел в «Тарде» совсем мальчишкой. Очень способный парень, хотя и отлучен от церкви: покойный кардинал да Силва еще в тридцатые годы предал анафеме юриста Эпаминондаса Берберта де Кастро, отлучил от церкви его и весь род его до седьмого колена. Но это уже другая история... Из нее получилась бы прелестная новелла...

Репортер покинул пресс-конференцию еще до звонка Эдимилсона и подробнейшим образом повествовал о том, как она протекала, какие вопросы были заданы, особо отмечал присутствие португальского поэта, специального корреспондента «Жорнала», посланного «для освещения двух крупных событий — открытия Выставки и выхода книги». Он называл ее по-португальски и по-немецки, пускал такие вот словесные шутихи: «первоклассная полиграфия, великолепное, роскошно иллюстрированное издание». А в части содержания ссылался на просвещенное мнение Антонио Селестино: «Основополагающий труд, монументальное исследование».

Далее газета обещала в ближайшую субботу поместить статью ведущего критика об этой книге, еще не появившейся на прилавках книжных магазинов, но уже превознесенной до небес, и сообщала, что называться рецензия будет «Труд жизни дона Максимилиана».

Репортаж был украшен еще одной фотографией — директор Музея беседует с лиссабонцем. Какой все-таки молодчина этот Вава! Не забыть бы послать ему экземпляр!

Сердце дона Максимилиана успокоилось, дух поднялся, на устах появилась улыбка. В тишине, нарушаемой только пением двух канареек, он признал себя неправым. Несправедлив он был по отношению к Селестино, зря он подозревал интригу и заговор, понапрасну кипел от гнева и выпускал отравленные стрелы сарказма — ведь честный португалец, вполне достойный прочувствованной дарственной надписи, сидел за машинкой, сочиняя статью во славу его, дона Максимилиана! «Труд жизни!» Как верно, как тонко подмечено! Лучи славы вызолотили сутану.

И к поэту Пашеко он был несправедлив. Теперь, видя на фотографии приветливо-почтительное выражение его лица, директор осознал, что столь возмутивший его вопрос задан был вовсе не по указке заморского соперника Коимбры Гоувейи и не таил в себе гнусной подоплеки. Все это была игра воображения, химера и мнимость... Ах, как превосходно складывалось бы все, если бы не это несчастье со статуей! Разве можно утешаться сообщением — к сожалению, ложным — о прибытии Святой Варвары в Музей?! Берберт якобы самолично присутствовал при этом — жаль, что в репортерском своем рвении он иногда выдает вымыслы за факты. И все-таки репортаж поднял дону Максимилиану настроение и искра надежды согрела ему душу: а вдруг полиция, служба безопасности или курия уже разга-

дали загадку, отыскали скульптуру, схватили воров — если были, конечно, воры? А вдруг?.. Все может быть.

Ах! На первой странице «Диарио де Нотисиас» поджидала его пренеприятнейшая неожиданность — еще одна фотография. И как они ее раздобыли, мерзавцы?! Как умудрились снять его на причале — руки растопырены, лицо перекошено, а на заднем плане — «комби» и Эдимилсон. На всю полосу шапка: «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЗНАМЕНИТОЙ СТАТУИ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ ГРОМОНОСИЦЫ». Под фотографией подпись: «Директор Музея узнает о том, что самая знаменитая статуя в Бразилии похищена». Половину страницы занимал репортаж об этом прискорбном происшествии, подписанный Гидо Герра, хотя дон Максимилиан и без подписи узнал бы автора — кто еще мог знать о вздорных требованиях викария из Санто-Амаро? Репортаж дословно пересказывал беседы, которые велись в полиции, в управлении безопасности и в курии, и повествовал о том, как дон Максимилиан вернулся в Музей с пустыми носилками. Сенсация! Гидо всех обставил, всех общтопал. Лучи славы? Зловонные потеки дерьма на белоснежной сутане.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК — Утренняя молитва была коротка. Благочестивые размышления директора прервал крик:

— Дон Максимилиан, это вас! Из федеральной полиции!

Оскар Мафра, выпускник университета, проходящий стажировку в Музее, был немало удивлен тем, как его директор, обычно величавый и сдержанный, опрометью кинулся к телефону, путаясь в полах сутаны. Наконец-то! Накануне полковник твердо обещал вскорости порадовать его добрыми вестями: вот он и выполняет свое обещание, а похвальная быстрота лишний раз свидетельствует, в каких надежных руках столичная служба правопорядка. Дон Максимилиан ожидал услышать нечто такое, от чего будничный четверг станет истинным воскресеньем — воскресением из мертвых. Слава тебе господи! Наконец-то! Директор скатился по лестнице, влетел в кабинет, схватил трубку:

— Да! Слушаю!

— Минуту, с вами будет говорить полковник Раул Антонио.

Потом прозвучал грубый голос неизвестного полицейского: «Возьмите трубку, господин полковник», а еще минуту спустя загремел и сам господин полковник, который даже не счел нужным поздороваться:

— Потрудитесь объяснить, почему вы не сообщили о том, что вместе со статуей на баркасе находился падре Абелардо Галван?! Почему вы скрыли от следствия такое важное обстоятельство? А? Отвечайте!

— Важное обстоятельство? Но я...

— Что «я»?

— Но я полагал, что коль скоро речь идет о священнослужителе...

— Вам полагается не полагать, а оказывать следствию всемерное содействие! Вы утаили от нас факт пребывания падре Галвана на судне! Почему? С какой целью?

— Да никакой цели у меня не было. Как я мог подумать, что священник...

— Этот ваш священник — ключевая фигура преступления, если не главарь банды.

— Позвольте, как же это? Главарь... Ключевая фигура... Господи помилуй...

— Только не вздумайте утверждать, будто вы не знаете, кто такой этот Абелардо Галван!

— Но я правда не знаю, полковник. Впервые слышу это имя.— На самом-то деле дон Максимилиан вчера слышал, как епископ Клюк

с подозрением и осуждением отзывался о Галване.— Я знал только, что статую сопровождали священник и монахиня...

— И не сказали нам об этом ни слова! Послушайте, я не привык повторять: не финтите, ничего не выйдет!

— Я...

— Не забудьте, мы знаем о вас все! — Полковник, как и накануне, отчеканил по слогам: — Аб-со-лют-но все!

И шваркнул трубку не попрощавшись. Дон Максимилиан так спешил услышать добрую весть, что даже забыл присесть. Теперь он мешком опустился в вертящееся кресло, поник, закрыл лицо руками. Пятикурсник Мафра, увидев своего наставника в столь бедственном положении, забеспокоился и отважился на робкий вопрос:

— Вам нехорошо, дон Максимилиан?

Монаха тронуло это участие, он чуть-чуть подобрался в кресле, попытался выдавить улыбку — из этого, впрочем, ничего не вышло.

— Нет, Оскар, все в порядке. Благодарю тебя. Ступай, займись своими делами, мне надо побыть одному. Только сначала дай мне, пожалуйста, воды.

Он достал из кармана овальную коробочку — на эмалевой крышке изображена «Троица» Андрея Рублева, из коробочки — пилюлю, помогающую держать в порядке блуждающий нерв, а потом, подержав ее на ладони и приняв в расчет ситуацию,— вторую. Что говорил ему епископ про этого Галвана? Да ничего хорошего. Потому и посоветовано было даже не упоминать, что он был на баркасе. Значит, и про монашку ни слова. Бесполезный совет дал ему монсеньор Клюк: федеральная полиция знает все!

ЗВОНКИ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ — Снова зазвонил телефон, но дон Максимилиан велел сказать, что его нет: вышел, а когда вернется, не сказал. Междугородный разговор с Санто-Амаро пришлось вести Оскару. Судя по его растерянным ответам, викарий был в совершеннейшем бешенстве:

— Да нет же, ваше преподобие, почему брехня? Он правда ушел... Нет, это не он приказал мне так отвечать... Его нет. Что сказать? — Глаза его полезли из орбит.— Нет, этого я передать ему не смогу...

Положив трубку, он с запинкой произнес:

— Викарий...

— Да не сто́ит, Оскар. Я отлично представляю себе, что он сказал.

Третий звонок был из управления безопасности. Доктор Калишто Пассос, не в пример полковнику, был сама любезность, и голос у него был совершенно вазелиновый:

— Добрый день. Добрый день, дон Максимилиан...— И после чуть затянувшегося обмена приветствиями Пассос приступил наконец к делу: — Звоню вам, как обещал, чтобы сообщить новости. Нашу маленькую задачку мы пока не решили, но действуем, действуем! Мы напали на след. Это нечто сенсационное... Хотелось бы потолковать об этом с вами.

Дон Максимилиан благодарил и расшаркивался, предоставил себя в полное распоряжение собеседнику — ей-богу, лучше иметь дело с идиотом, чем с палачом. Вопрос Пассоса его уже не удивил.

— Вам, несомненно, известно, что на паруснике, доставившем в Баию... э-э... интересующий нас предмет, находился и некто Абелардо Галван?

— Сегодня утром мне об этом сообщили.

— Вы с ним знакомы?

— Лично — нет. Я впервые услышал это имя час назад,— и, желая споспешествовать следствию, добавил: — На том же баркасе приплыла к нам какая-то монахиня.

— Да-да, это нам известно...— Голос в трубке отдалился. «Очевидно, Пассос ищет, где у него записано имя монашки»,— сообразил директор. Слышалось бормотание: «Куда я ее девал? А! Вот она!» — Ее зовут Мария Эуниция, из обители Кающихся. Ее допросят сегодня же. Дел за ней никаких нет, мы проверили. А вот за падре Галваном кое-какие грешки водятся — он опасный агитатор...— Начальник управления, видимо, сообразил, что говорит лишнее, и осекся.

Дон Максимилиан при всем своем в поговорку вошедшем любопытстве не стал выспрашивать, за что именно агитирует падре Галван и в каких предосудительных деяниях он замечен. Епископ толковал что-то о захвате земель... Да-да, захват помещичьих земель, агитация среди арендаторов, подрывная деятельность. Господи Боже, в какую клоаку попал дон Максимилиан, с каким сбродом приходится иметь дело!.. Звучный голос доктора Пассоса вернул его к действительности:

— Ну, об этом мы поговорим при личном свидании. Через некоторое время, когда будут обобщены первые результаты, я попрошу вас оказать нам честь и побывать у нас. Может быть, даже и сегодня.

— Располагайте мной, доктор Пассос, располагайте мною всецело. Хочу только напомнить: дело весьма спешное — вернисаж назначен на завтра, перенести открытие нельзя. Надо во что бы то ни стало вернуть...

— Предмет,— подхватил начальник управления.— Думаю, успеем. Подтверждение моей версии сильно облегчит нашу задачу. Вчера я вам ее изложил...

— Да...

— Особый вид кражи, помните? Так вот: подтверждается. Злоумышленники... всегда рядом с... предметом.

Он ждал, очевидно, одобрения и восторгов, но на другом конце провода молчали, и тогда он с беспокойством спросил:

— Алло, вы слушаете?

— Слушаю, слушаю. С большим интересом. Не уверен только, что правильно ухватил вашу мысль. Вы говорили о...

— Злоумышленниках. Обратите внимание: этот падре Галван — настоятель церкви в сертанах. Маленький, глухой приход. Он едет в столицу штата через Санто-Амаро, то есть делает огромный крюк, и оказывается на одном паруснике с... предметом. Вам не кажется это странным? Санто-Амаро, Санто-Амаро-де-Пурификасан...

— Ну и что? Я не совсем понимаю...

— Разве не из Санто-Амаро пропала старинная дарохранительница чистого золота? Пропала, а потом появилась среди подарков, предназначенных папе. Помните? Тогда имя викария было у всех на устах.

НОВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЗОЛОТОЙ ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦЕ

— В моем анархическом рассказе, исполосованном уходами и приходами, появлениями и исчезновениями героев, внезапными «flash-backs» [1], переполненном самыми разнообразными повествовательными планами и вообще «pleine des longeurs» [2], как сказал бы профессор Луис Батиста, если бы удосужился прочесть его и вынести о нем свое суждение, в очередной раз и, боюсь, не в последний приходит черед отступлению. Я желаю удовлетворить болезненное любопытство тех, кто помирает от нетерпения, мечтая узнать, какую же это историю с дарохранительницей упомянул доктор Пассос. Дарохранительница чистого золота, изрядного веса и тонкой работы исчезла из церкви Санто-Амаро, а появилась в числе прочих даров, пред-

---

[1] Кинематографический термин, обозначающий эпизод, который произошел до времени основного действия.

[2] «Довольно затянутый» *(франц.)*.

назначенных Верховному Понтифику: кто-то из князей церкви отправлялся в Ватикан.

Надо отдать должное дону Максимилиану: он попытался было внести ясность в этот вопрос, но доктор Пассос не дал ему договорить, распрощался и повесил трубку. Может быть, доля истины и содержалась в этой басне, но все детали были перевраны. Начать с того, что принадлежала дарохранительница не церкви Санто-Амаро, а совсем другой, а падре Теофило Лопес де Сантана, неистовый викарий Тео, хотя и заслуживает порицания за дурные манеры, свирепый нрав и невоздержанность на язык, не имеет никакого касательства к таинственному перемещению священного сосуда с берегов Парагуасу на берега Тибра. Совсем наоборот: он зубами держится за имущество своего прихода и жизнь положит за его неприкосновенную сохранность. Однако попробуйте-ка втолковать это начальнику службы безопасности, обладателю истины в последней инстанции. Для объяснения серии краж он разработал блистательно-простую теорию, зиждущуюся на ежедневной практике, и сам считал ее просто гениальной, в чем соглашался с ним и комиссар Паррейринья.

— «Cherchez le prêtre»![1] — кричал Пассос, услышав о том, что пропал новый предмет церковной утвари. Он прибегал к французским речениям не реже профессора Батисты, но с произношением дело обстояло значительно хуже.

Дон Максимилиан злословия не чурался, и противникам от него доставалось изрядно. Так что, если кто-то все-таки желает услышать всю историю до конца и во всех подробностях — где именно расположена была церковь, в честь какого святого выстроена, сколько весила дарохранительница в унциях, и сколько долларов потянула бы, и сколько веков ей было от роду, и как звали викария того храма, которому она принадлежала, и каково было имя того преосвященства, который преподнес папе столь прекрасный, ценный и благочестивый дар,— так вот, кто хочет узнать все это и еще многое-многое другое, пусть обращается к директору Музея Священного Искусства при Баиянском университете, ибо я эти чистые страницы ни хулой, ни глумлением, ни клеветой не оскверню.

А вероятней всего, что вся история эта от начала до конца есть гнусное измышление заклятых врагов западной цивилизации, людей без чести и совести, не гнушающихся никакими средствами для достижения своих чудовищных и гибельных целей. «Собака лает, ветер носит»,— скажем мы и заверим читателя, что поднятая газетами волна разоблачений, вся эта шумиха и свистопляска, инсинуации и намеки, весь этот ор и вой, стихший разом как по команде — а может, так оно и было? — и толки праздношатающихся, и эпиграмма Ловиса Аморима, и стихотворный фельетон виршеплета Эдилена Матоса — суть ложь и провокация. И слава богу, что вовремя подоспела наша цензура и положила конец этой интриге, ибо это была самая настоящая интрига, в чем готов, если надо будет, и присягнуть. Пожалуй, даже не интрига, а заговор, ставящий целью ниспровержение существующего строя.

Присяга, конечно, присягой, но голову на отсечение не дам: есть заметное отличие между этими понятиями. Даже во имя святого дела пересаливать не следует, не надо: можно и без головы остаться.

ПРОЧИЕ ЗВОНКИ — Их было без счета, и перечислять все — значит попусту тратить время и переводить бумагу. Больше и чаще всего звонили из редакций газет, с телевидения и радио — шла охота за информацией. Секретари, редакторы и репортеры желали поговорить с самим доном Максимилианом или с каким-либо еще сотрудником Музея, лучше всего, конечно, с Эдимилсоном — живым очевид-

---

[1] «Ищите пастыря!» *(франц.)*

цем происшествия. Телефон не умолкал все утро. «Словно трубы Страшного суда»,— подумал белокурый стажер, но произносить это при директоре поостерегся: тот был явно не расположен к шуточкам такого рода. Ну, а Эдимилсон просто испарился — взял отпуск и как в воду канул. «Я его, педераста паршивого, на дне моря разыщу»,— рычал в трубку Наполеон Сабойа, корреспондент «Эстадо де Сан-Паулo», терзая слух и вкус бедного Мафры. Бумага не вытерпит всего того, что он наслушался в этот день.

Репортаж Гидо Герры смело уподоблю землетрясению с эпицентром в Баии — толчки были ощутимы и на Юге нашей страны, и на Северо-Востоке. Журналисты, которые до той поры и не слыхивали про Святую Варвару Громоносицу, бросились по следу с каталогами под мышкой, горя желанием порадовать подписчиков полноценной информацией, во-первых, а во-вторых, раскрыть дерзкое преступление, совершенное на причале Рампы-де-Меркадо чуть ли не у всех на глазах. В Сан-Пауло, в Рио-де-Жанейро, в Ресифе второпях интервьюировали самых крупных специалистов — Пьетро Барди и его жену, архитектора Лину Бо, бывшую директрису Музея Современного Искусства, Жоакина Кардозо, Ренато Соэйро, Жоакина Фалкана, Алоизио Магальяэнса, Маркос Винисиуса Виласу — я называю только самых-самых.

Но никому — ни одному баиянскому журналисту, включая и Жозе Аугусто Берберта, считавшегося его другом,— не удалось поймать дона Максимилиана фон Грудена, хотя именно он был вожделеннейшей добычей для всех бразильских газет «au grand complet» [1]. Он был необходим и как директор Музея, куда прибыла — должна была прибыть! — знаменитая скульптура, и как автор нашумевшей книги о ней. Где бы раздобыть экземплярчик? Было известно, что газета «Тарде» изъяла книгу у Антонио Селестино и засадила за нее Круза Риоса, аса журналистики, чтобы тот сочинил передовицу,— дело это требует компетентности и ума. Дон Максимилиан, как и Эдимилсон, пропал бесследно. Мафра заплетающимся языком твердил по телефону одно и то же: «Директор ушел рано, сразу после мессы, куда — неизвестно, когда вернется — не знаю» — и поспешно бросал трубку, чтобы не слушать брани.

Тут же раздавалась новая трель — в Музей звонили со всей страны. Позвонил из Рио даже бразильский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Эдвин Мак-Доуэлл. Любопытно отметить, что американец, в отличие от своих бразильских коллег, знал и о существовании статуи, и о ее ценности. Но и с ним не пожелал иметь дела непреклонный дон Максимилиан — когда Святая Варвара будет водворена на свой постамент, добро пожаловать, а сейчас — извините. Отравленный желчью подозрений, из-за угла зарезанный директор только вздыхал: «Господи боже! за что мне такие муки и «Нью-Йорк таймс» вдобавок?»

Говорить он стал лишь с ректором университета, который вместе с кардиналом находился в столице, но уже собирался вылететь в Баию, как только состоится встреча с министром... нет-нет, не просвещения и культуры, а с военным министром: только он мог решить судьбу студентов. Добиться этой встречи было ох как нелегко, ректор отменить ее не мог и потому, встревоженный сообщениями из газет и по радио, позвонил по телефону.

Разговор был долгий и тягостный. На людях ректор и дон Максимилиан демонстрировали сердечнейшие отношения, обменивались лестными отзывами и комплиментами и выказывали взаимное уважение, однако терпеть друг друга не могли. Ректора, человека практического склада и простых понятий, раздражали, беспокоили и угнетали бесконечные выдумки и фантазии монаха. А тот в свою

---

[1] «В полном составе» *(франц.)*.

очередь жаловался на скаредность ректора, постоянно урезавшего и без того скудный бюджет Музея.

Итак, дон Максимилиан рассказал то немногое, что было ему известно, не утаил всей серьезности случившегося. Ответ не заставил себя ждать:

— «Серьезности»? Да это трагедия! Трагедия с самыми непредвиденными последствиями для Музея и для университета!

Он напомнил собеседнику о его прямой ответственности: «Ведь это вы всеми правдами и неправдами добивались статуи, вот теперь извольте действовать столь же энергично, чтобы разыскать ее. Иначе и Музей и университет станут объектами самой пристрастной критики, мишенями самых бессовестных инсинуаций, а Музей ваш, как вам, должно быть, известно, и без того пользуется сомнительной славой... поговаривают, что многие его экспонаты добыты в обход закона, что вместо оригиналов в храмы возвращаются копии...» Тут была помянута история Святого Петра Кающегося...

— Недаром викарий из Кашоэйры был против... — припомнил ректор.

— Какой еще Кашоэйры? — окрысился дон Максимилиан.— Из Санто-Амаро!

— Да не все ли равно: Кашоэйра, Санто-Амаро?! Однако вы все же настояли на своем...

В таком вот тоне и духе протекал их разговор. Монах отвел трубку от уха: ясно, чего добивается ректор,— хочет вынудить его подать в отставку, если к вернисажу статуи не окажется на месте. Сказать ему, что отставка — вопрос решенный? Нет, пока незачем радовать его прежде времени... Вновь обретя дар речи, он спросил только: не следует ли перенести открытие выставки?

— Не вижу оснований. Выставляется ведь не одна Святая Варвара, есть еще кое-какие экспонаты, найдется что посмотреть. И потом: нет статуи, но есть ваше сочинение о ней. Одно заменяет другое, не так ли? — И этот болезненный укол дон Максимилиан снес молча.— Завтра, в назначенный час, торжественное открытие. Министр подтвердил, что будет.— На этот раз имелся в виду министр просвещения: у военного найдутся дела поважнее.

За краткий срок, протекший от разговора по телефону с доктором Пассосом до выхода дона Максимилиана во дворец архиепископа, трижды звонил словно с цепи сорвавшийся настоятель церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан, жаждавший крови, насылавший, по испанскому выражению, чуму на директора. Вот видите, после стольких галлицизмов пошли у нас в ход и испанизмы, оборони господь! Не от чего оборонять: викарий изрыгал хулу на простонародном баиянском наречии, сыпал отборной баиянской бранью, доведенной до совершенства плеядой матерщинников от Грегорио де Матоса до Жамеса Амадо: если надо кому сказать правду в глаза, нет ее лучше.

ОСАДА — Телефон — это еще полбеды. Сильно сомневаясь в правдивости ответов Мафры, журналисты нагрянули в Музей и стали лагерем во дворике монастыря Святой Терезы, как раз напротив входа в церковь. Двери были заперты: «В связи с подготовкой экспозиции доступ посетителей прекращен». Самый отчаянный из репортеров попытался было проникнуть в Музей через окно, но, перелезая через забор, не удержал равновесия и грянулся оземь. Дон Максимилиан возликовал, узнав об этом происшествии: какая-никакая, а радость.

А в коридорах управлений полиции и общественной безопасности тоже толпились ветераны и новобранцы журналистики. Доктор Пассос, желая потрафить им и поддержать свою славу человека сердечного и понимающего, пообещал принять их позже, когда будут новости. «Важная информация может появиться и под утро, запаси-

тесь терпением на благо общества»,— сказал он в краткой речи и улыбнулся как фокусник, который вот-вот достанет из цилиндра зайца. При словах «важная информация» комиссар Паррейриньа воздел указательный палец.

Полковник же Раул Антонио велел агенту выгнать пишущую братию вон: сообщать нечего и нечего отвлекать людей от дела, пусть убираются. Журналисты и убрались из бывшего портового пакгауза, но далеко не ушли, крутились поблизости — разбили бивак на рынке, где пересказывали друг другу устаревшие новости: «Морского бродягу» ночью отбуксировали к стоянке военных судов; Марию Клару и шкипера Мануэла под утро арестовали — сплетничали, выслушивали от Камафеу де Ошосси невероятные истории насчет блондинки из Сан-Пауло и нигерийского колечка, закусывали и выпивали в палатках и павильончиках.

Подобная обеспокоенность средств массовой информации наводила на мысль, что исчезновение Святой Варвары Громоносицы — важное, важнейшее событие в стране за последние дни. Припомните-ка: все, о чем повествуется в этой хронике, лишенной блеска, но зато донельзя правдивой, происходило в самые тяжкие годы военной диктатуры, беспощадного гнета цензуры. Действительность была скрыта, страна засекречена. Газеты, радио и телевидение не знали, что писать, говорить и показывать; ничего, кроме безоговорочного восхваления правительства и правителей, не допускалось; категорически запрещалась любая информация, которая не то что рассказывала, а хотя бы туманно намекала на тюрьмы, пытки, политические убийства, попрание гражданских свобод, запреты книг и спектаклей, забастовки, митинги протеста, манифестации, демонстрации и попытки вооруженного сопротивления. Ничего этого не было и быть не могло в счастливой стране под эгидой генералов и полковников — такое впечатление возникало, когда человек разворачивал газеты. Некоторые из них заполняли пустоты, оставшиеся после цензурных ножниц, кулинарными рецептами: «Эстадо де Сан-Пауло», например, поместила прямо на первой полосе рецепт приготовления кисанде — малоизвестного баиянского кушанья — или поэмами, балладами, одами, сонетами классических поэтов, песнями «Лузиад». Читатели понимали намек и в смятении пытались отгадать, что же происходит в стране.

Не позволено было порицать Франко и Салазара, а также победоносных генералов, которые с примерной твердостью и вопиющей безграмотностью правили Аргентиной, Парагваем, Уругваем, Чили, Боливией. Ни в печати, ни с трибуны критика коллег наших вояк не допускалась. В Законодательном Собрании страны депутат Франсиско Пинто назвал Пиночета тираном — он тут же лишился мандата и угодил в тюрьму. Два французских священника, осмелившихся с амвона защищать бесправных на землях Амазонки, моментально были осуждены и посажены.

Стоит напомнить тем, кто позабыл: государство наше стояло на трех китах — на цензуре, насилии и коррупции. Было время позора и страха, время переполненных тюрем, мучителей и мучеников, вранья о «бразильском чуде», время египетской работы и неслыханного казнокрадства, время показухи. Кое-кто и сейчас еще по этому времени тоскует.

Всем известно, что добрые дела и счастливые неожиданности, нормальная жизнь и веселье низко котируются в редакциях наших газет, а чем крупней катастрофа, тем лучше информация. Бразильская пресса пребывала в удушливом маразме, и исчезновение Святой Варвары Громоносицы было для нее сущей манной небесной. Одни хроникеры уверовали, что это — дело рук бандитов, специализирующихся на храмах и часовнях; другие не отрицали причастности священников и епископов. Причастности или соучастия в преступлении.

Флорисвалдо Матос, заведующий корпунктом газеты «Жорнал до

Бразил» и увенчанный лаврами поэт — боже всемогущий! сколько же поэтов обитает на благословенной земле Баии! — отчаявшись добиться дона Максимилиана по телефону, смекнул, что ключ к отгадке этой тайны должен находиться в руках высокоученого монаха: через день-два Святая Варвара будет внесена в фонды Музея и займет там достойное место, а в алтаре церкви Санто-Амаро появится искусно сделанная и раскрашенная гипсовая подделка.

БЕГСТВО — Размещением экспонатов занимался, как я уже говорил, архитектор Жилберт Шавес, к которому вскоре присоединился его коллега Лев Смарчевский. Дон Максимилиан, как всегда требовательный, но против обыкновения немногословный, ни разу не засмеявшийся, не рассыпавший блестки своего остроумия, что было весьма непривычно для всех его сотрудников и друзей, давал общие указания. Когда Лев вскользь упомянул о статье в «Диарио де Нотисиас», директор ограничился одним словом: «Безответственность». Больше на эту тему не говорили, и только пустые носилки напоминали об исчезновении Святой Варвары.

В ту минуту, когда директор, сняв с витрины великолепную золотую чашу, инкрустированную драгоценными камнями,— скорей всего, славянского происхождения — стал вглядываться в это чудо, из директорского кабинета, где он нес бессменную вахту у телефона, прибежал Оскар Мафра:

— Дон Максимилиан, звонит падре Соарес.— Так звали секретаря епископа Клюка.— Его преосвященство просит вас немедля прибыть к нему. Немедля! — Мафра точно передал требовательную интонацию Соареса: «Передайте, чтобы поторопился, епископ ждет его».

Отведя штору, директор окинул взглядом патио, заполненное репортерами и фотографами. Как же выбраться наружу? Дон Максимилиан и не поворачиваясь понял, что работа в зале приостановилась, и сказал:

— Продолжайте, пожалуйста. Поторопитесь, еще много дела. Завтра к полудню все должно быть готово.

Он снова осторожно взглянул в окно, потом наконец повернулся и подошел к Смарчевскому:

— Лев, это ваша машина — там, на той стороне, возле конторы Роке?

— Моя, дон Максимилиан. Она в вашем распоряжении.

— Спасибо, Лев, мне и вправду она понадобится. Слушайте меня внимательно: через пять минут двери Музея откроются, журналистов пригласят поглядеть, как идет подготовка к вернисажу. Когда же они освободят выход и начнут подниматься по лестнице, вы, Лев, тихо выйдете отсюда — только не торопитесь! — и в машину. Включите зажигание и ждите. Я пройду через церковь. Как только сяду — газуйте!

Сказано — сделано. Все удалось как нельзя лучше. Нелито отпер двери в Музей. Оскар Мафра пригласил репортеров войти. Те, удивленные и торжествующие,— еще бы! монах сдает позиции! — сгрудились в дверях, потом побежали вверх по лестнице. Навстречу им попался Лев Смарчевский. «Прекрасная выставка»,— сказал он, а вопрос о доне Максимилиане пропустил мимо ушей. Зажужжали телекамеры.

Выскользнув в полуотворенную дверь церкви, дон Максимилиан скорым шагом устремился через опустевший двор. Но в эту минуту журналист, подошедший к окну, чтобы выбросить окурок, заметил его и поднял тревогу. Позабыв о приличиях, подобающих его летам и сану, директор подобрал полы сутаны и пустился бежать. Выскочил на улицу, юркнул в машину. Лев, рванув с места, помчался по Ладейре-да-Прегиса.

ПОДОЗРЕНИЕ — Пробило одиннадцать, и в редакции газет странными путями стали поступать первые слухи о том, что падре Абелардо Галван замешан в похищении статуи. Кто-то звонил главным редакторам или ответственным секретарям и, не называясь, говорил, что служба безопасности и полиция напали на след, который вывел розыск на Галвана. Он — подозреваемый номер один. Будьте наготове, следовал совет, вскоре последуют более полные и свежие данные. Забавная деталь: звонили, как легко было установлено, не из полиции, но слухи эти не были опровергнуты ни на Ларго-да-Пьедаде, ни в бывшем пакгаузе.

С этого момента исчезновение Святой Варвары Громоносицы стало событием по-настоящему сенсационным, из ряда вон выходящим, чрезвычайным. Соучастие падре Галвана в преступлении позволяло перебросить мостик от кражи к распрям безземельных крестьян с латифундистами. Пошла речь о захватах имений, об ответных мерах — стрельбе, трупах крестьян и о деятельности — священной или преступной, смотря кто о ней говорил — «Церкви бедняков».

Имя священника из Пиасавы давно уже мелькало на страницах газет. Не раз за последние несколько месяцев газеты печатали огромные «шапки»: УЧЕНИК ДОНА ЭЛДЕРА, ПАДРЕ АБЕЛАРДО ОСНОВЫВАЕТ ОБЩИНУ. ПАДРЕ — ОРГАНИЗАТОР ЗАХВАТА ФАЗЕНДЫ «САНТА ЭЛИОДОРА» —-ВЛАДЕЛЕЦ ОБВИНЯЕТ ЕГО В ПОДЖОГЕ.

Маленькая, скандальная газетенка, выходившая от случая к случаю, привлекла читателей таким заголовком: ПАДРЕ ГАЛВАН — НАШ ДОМОРОЩЕННЫЙ РАСПУТИН. В подзаголовке стояло имя Патрисии.

В четверг утром

БУДЬ ЧТО БУДЕТ — В четверг утром события пошли одно за другим, смешиваясь и переплетаясь, наступая друг другу на пятки, хотя на первый взгляд не имели между собой ничего общего. Сюжет моей истории, и без того запутанный, превратился в настоящий лабиринт.

К уже известным героям присоединилось множество новых: среди них и наши соотечественники, и иностранцы, а кое-кто избрал своей специальностью темные, а то и мокрые дела. И все они толкутся среди достойных людей и отпихивают локтями знаменитостей. Это еще не считая истинного отребья — о нем я и говорить-то не желаю.

Очень стало трудно распутать этот клубок, свести концы с концами, так что буду рассказывать, как бог на душу положит: что выльется из-под пера, то и ладно. Как знать, может, и к лучшему, что я перескакиваю из настоящего в прошлое и обратно, что один эпизод происходит, скажем, тут, а другой — черт знает где? Может, из всей этой неразберихи и путаницы проглянет верная дорога, которая и выведет нас к финалу?

Ну, а не выведет, я от всего вышесказанного отопрусь: я — не я, и лошадь не моя. Что с меня взять?

ДВОЙНИКИ — В четверг утром, когда падре Абелардо Галван в мирской одежде, но в целлулоидном воротничке и нагруднике, указывавших на его принадлежность к клиру, подходил к воротам архиепископского дворца, навстречу ему попалась высокая, статная, горделиво несшая себя негритянка в ярком национальном наряде. Поравнявшись с ним, она улыбнулась ему.

Падре же, хоть он и взглянул на нее мельком, показалось лицо ее знакомым, только не вспомнить было откуда. Он даже обернулся ей вслед, но негритянка уже исчезла в густой толпе, вечно бурля-

ней на Праса-да-Се. Абелардо так глубоко задумался, пытаясь припомнить, где он мог ее видеть или кого она ему напоминает, что даже не обратил внимания на выкрики мальчишки-газетчика:

— Исчезновение святой из храма! Покупайте! Покупайте!

Несмотря на то, что день, час и минуты были указаны заранее в падре предупредили, чтоб не опаздывал — «ровно в половине одиннадцатого»,— епископ Клюк заставил его добрых полчаса томиться в приемной. Семинарист, встретивший его, пошел доложить и до сих пор не вернулся. Жалея, что не купил газету,— можно было бы хоть время убить — падре Абелардо перенесся мыслями в сертаны[1] Пиасавы. Если бы не долетавшие с площади звуки — музыка, выкрики торговцев, предлагающих свой товар,— он оказался бы в том пустынном и диком краю, въяве увидел бы перед собой пальмовые рощи, крошечный городок, неприкаянных людей.

Стенные часы сипло пробили одиннадцать. Должно быть, в это самое время Патрисия, пролетев галопом вдоль берега обмелевшей от засухи реки, у церковной ограды перевела коня на мелкую рысь, а у лачуги индеанки Милы спешилась. Перекинула поводья через луку седла, разнуздала коня, пустила его попастись в тени.

Падре Абелардо, стоя в дверях церкви, провожает глазами каждое движение амазонки, каждый ее шаг: вместо рейтуз на ней выцветшие джинсы, на ногах не сапоги со шпорами, а теннисные туфли на каучуке. В памяти его всплывает воспоминание детства: в дверях корраля — бабушка, китаянка, коровы. Ничего общего, а ощущение то же — ощущение полноты жизни. Он испытывает его всякий раз — ах, редко, редко это случается! — когда Патрисия приезжает к родителям. Но теперь — или ему это кажется? — она гостит на фазенде чаще и дольше. Падре Абелардо ходит по острию бритвы и держит на закорках вселенную.

Не стал бы он сейчас вспоминать Патрисию и размышлять, часто она появляется в Пиасаве или нет, если бы не внезапное озарение: негритянка, встретившаяся ему у дворца — да где же он ее видел?! — угольно-черная негритянка похожа на Патрисию. Вылитая Патрисия! В тишине епископской приемной сходство их стало увеличиваться с каждой секундой. Да чем же они похожи? Да всем! Манерой держаться, походкой, чертами лица. Ростом, статью, потаенным огнем и даже улыбкой — одновременно доверчивой и уклончивой. И еще чем-то неуловимым. Он видел негритянку всего одно мгновение, но разглядел ее всю, запомнил навсегда.

Они с Патрисией были похожи как близнецы — близнецы, у которых разное происхождение, разные корни, разный язык. И сходство это вдруг напомнило ему, где и когда видел он негритянку. Вчера вечером, на причале Рампы-до-Меркадо, едва он сошел на берег. Только вчера она была мулаткой и одета по-баиянски... Прошла мимо и подмигнула ему. Все то же: рост, изящество, поступь, улыбка! И что-то еще... Что же? Тогда он не сообразил — очень уж был озабочен срочным вызовом к епископу Клюку,— но сейчас понимает, что и мулатка неотличима от Патрисии. Близнецы? Двойники? Так сколько же их? две? три? Что это с ним творится? Наваждение? Помрачение рассудка? Может, он спятил? Так или иначе, но мучимый тревожными предчувствиями попик из Пиасавы покинул тело и душу Абелардо Галвана. И вовремя: перед посетителем, меряя его взглядом с ног до головы, сложив руки на объемистом животе, стоял секретарь епископа падре Соарес и гнусаво сообщал, что его преосвященство просит гостя к себе.

ЕПИСКОП У ОКНА — Пройдя в кабинет, где епископ принимал посетителей и чинил суд и расправу, падре Абелардо увидел, что тот

---

[1] Сертаны — внутренние засушливые районы Бразилии.

стоит у открытого окна, выходящего на площадь, как на котурнах — дон Рудольф, будучи невелик ростом, любил обувь на высоких каблуках,— в епископской скуфейке на макушке и в весьма воинственной позе. Галвану всегда казалось, что епископу очень пошла бы военная форма: впрочем, на плечах у него он видел не многозвездные погоны победоносного генерала, а лычки какого-нибудь унтера — хрипуна и бурбона. Он приблизился и, чтобы обратить на себя внимание, кашлянул.

Дон Рудольф не внял. Не обратил внимания ни на кашель, ни на звук шагов — продолжал вглядываться куда-то; бархатная портьера оберегала его от любопытства прохожих. Внимание его привлекла статуя негритянки, стоявшая прямо посреди Праса-да-Се в блеске предполуденных лучей. Она была довольно далеко, но епископ совершенно отчетливо видел, что глаза ее горят, пылают, словно раскаленные угли, сверкают, как зарницы или вспышки выстрелов. Не было сомнений: негритянка смеялась — нагло смеялась над ним. Подобные нелепости огорчить епископа не могли, но зато вселяли беспокойство и сбивали с толку.

И вдруг негритянка исчезла. Дон Рудольф глядел на нее не моргая, ни на мгновение не сводил с нее пристального взгляда, а она тем не менее исчезла. Не сдвинулась с места, не растаяла в воздухе, не испарилась, а просто перестала быть. Постамент опустел.

Дон Рудольф перевел взгляд на какого-то оборванца, пялившегося на окна дворца: пастушьи сандалии-альпаргаты, широкополая шляпа, закрывающая лицо, и, несмотря на зной, плащ-дождевик, застегнутый доверху. Потеряв к нему интерес, епископ отошел от окна — сначала медленно, а потом, все тверже ступая, двинулся к письменному столу. Прежде чем усесться, налил воды, отпил два глотка, вытер платком мокрое от пота лицо и шею, спрятал платок, не скрывая досады,— будь прокляты эти тропики, эта липкая влажная жара и этот недостойный пастырь, торчащий перед ним. Затылок у него ломило. Чело было отуманено.

РАТЬ ХРИСТОВА — КАКАЯ ИМЕННО? — Падре Абелардо на сердечный или хотя бы любезный прием не особенно-то и рассчитывал, ибо знал отношение епископа к проблемам, всколыхнувшим прихожан Пиасавы,— к отзвуку тех распрей, которые разделили бразильское духовенство на два враждующих лагеря. Однако и того, что последовало, он тоже предвидеть не мог. Думал: начнется язвительный, но интеллектуальный спор со ссылками на Священное писание, на Второй Ватиканский собор, на последние труды по теологии, а его вместо этого посадили на скамью подсудимых и заставили слушать обвинительное заключение. Права на защиту он был почти лишен. Монсеньор Клюк обрывал его всякий раз, когда Абелардо пытался восстановить истину.

Лицемерие не входило в число пороков епископа: он не любил скрывать свои мысли и маскировать неприязнь. Так, усевшись наконец в кресло, он вместо приветствия лишь сухо кивнул священнику. Не прижал его к груди в братском объятии, не протянул руку, не дал поцеловать перстень — он был вояка, а не дипломат. Показал на стул и тотчас наставил на него, точно боевое копье, указательный палец:

— Вижу, вы не извлекли никаких уроков из нашей последней встречи, не сделали для себя никаких выводов. По-прежнему пренебрегаете священническим облачением.

— И вывод сделал, и урок извлек, и, повинуясь приказу вашего преосвященства, одет как «clergyman»[1].

---

[1] Священник *(англ.)*.

В этой вежливой фразе, сопровождаемой почтительным поклоном, епископу почудилась издевка.

— В сутане! В сутане надо ходить — сказал я вам ясно и понятно. В следующий раз потрудитесь являться ко мне в подобающем виде. Вам что — неловко в ней? тяжело? она вам сковывает движения?

Ну, положим, не очень-то ясно и понятно звучал в устах епископа португальский язык: гортанный тевтонский выговор делал упреки еще более обидными, еще непререкаемей — приказы. Между епископом Клюком — первым помощником архиепископа Баиянского, кардинала-примаса Бразилии — и никому неведомым пастырем крошечного прихода, затерянным в сертанском захолустье, стояла в боевом порядке Христова рать. Вот только одно ли это было воинство? Может быть, две противоборствующие, враждебные армии готовились к сражению?

Для дона Рудольфа этого вопроса не было вовсе: воинство Христово, возведя свои редуты на всех пяти континентах, выполняло вот уж которое столетие свою миссию — поддерживало господствующие классы в их праве на собственность. Пороки, падре Галван, следует исправлять только милосердием. Для того и существует оно — милосердие, одна из трех канонических добродетелей. Церковь, падре Галван,— это опора порядка, а не зачинщица смуты. Действуйте милосердием!

А падре Абелардо, напротив, считал, что эта Церковь, построенная на слепом повиновении, служащая на благо богатых и сильных, им — все блага мирские, беднякам — надежда на загробное воздаяние, самим существованием своим отрицает Христову заповедь и не служит ни справедливости, ни страждущим. Подлинное господне воинство набирает своих солдат в городских трущобах и в нищих деревнях третьего мира, исповедует другую веру. Оно должно поддерживать непокорство, сопротивление, борьбу.

Лицом к лицу стояли две эти армии, и хотя смертельные враги носили одинаковый мундир — неизменную сутану,— невозможно не заметить между ними различий, нельзя не свершить выбор между старым и новым. Их рознь движет общество вперед, и движение это неостановимо. И довольно об этом — я ведь всего-навсего хотел в немногих словах дать вам представление о том, что за спор вели епископ Клюк и падре из богом забытой Пиасавы, а вовсе не ввязываться в богословский диспут. Его преосвященство нашел определение ереси:

— Вы — охлократ[1], падре. В наши дни нет более вредного заблуждения, чем попытка внедрить охлократию в Церковь. А вы именно этим и занимаетесь.

Епископ был истинный кладезь премудрости, падре Абелардо — охлократ и, впервые слыша это слово, не знал, что оно значит. Он желал, чтобы уважались права арендаторов и поссейро[2], а для себя — права голоса: в семинарии он был из самых усердных и старательных, ему прочили блестящую будущность и кардинальскую шапку. Но когда он с уже привычным пылом гаушо[3] стал декламировать Святого Амвросия: «Земля дана всем, а не только богатым, а добро, которое ты присвоил, дано всем для общего блага...» — дон Рудольф прервал его на полуслове, захлопнул Библию, подумав по-латыни: Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo" [4].

УЛЬТИМАТУМ — Владелец имения «Санта Элиодора» Жоаозиньо Коста настоятельно просил курию, чтобы падре Абелардо Галван

---

[1] Сторонник правления «черни».

[2] Владелец земли без юридического права пользования.

[3] Житель или уроженец штата Рио-Гранде-до-Сул.

[4] «Воздайте кесарю кесарево, а богу — богово» *(лат.)*.

был немедленно лишен прихода и отозван. Епископ Клюк эту просьбу отклонил, ибо знал, что кардинал никогда на это не пойдет.

По его, кардинала, мнению, такие конфликты, как в Пиасаве,— да в ней ли одной? — проистекали от крайней, вопиющей и оскорбительной нищеты, и пастырь не может закрывать на них глаза. Он обязан действовать осторожно, наверняка, но оставаться безучастным права не имеет. Так говорил он дону Рудольфу, прося вызвать в курию падре Абелардо и «подрезать ему крылышки, но шею не сворачивать».

Епископ пообещал положить предел подрывной деятельности Галвана — именно так аттестовал ее фазендейро. Дело было за столом — на торжественном обеде по случаю конфирмации младшей дочери помещика, Марлен. Епископ назвал действия падре Галвана «неосторожными, неуместными, несвоевременными», а Жоаозиньо Коста мимоходом упомянул о предосудительной связи падре с некой особой, дочерью налогового инспектора. Девица эта — без сомнения, легкого поведения — приезжает в Пиасаву чуть ли не ежедневно якобы повидаться с родителями, ошивается на фазенде, заходит к арендаторам, если, конечно, не пребывает с нашим святым отцом в церкви, за закрытыми дверьми. Всякому понятно, чем они там занимаются.

Итак, после охлократии и латинского изречения настал черед ультиматума:

— Слушайте меня внимательно, падре Галван, и потом не говорите, что я вас не предупреждал.

Смысл ультиматума сводился к следующему: если Абелардо желает по-прежнему служить господу в Пиасаве, он должен перестать упоминать его имя всуе; должен раз и навсегда прекратить подрывную деятельность — «да-да, подрывную!» — здесь, наедине с падре, епископ мог не церемониться и не смягчать определения, явственно попахивающую марксизмом, что совершенно не вяжется с саном священнослужителя; должен посвятить себя спасению душ, а не предводительствовать головорезами. Господь и архиепископия Баиянская вверили его пастырскому попечению приход Пиасавы — от него одного зависит, останется он там или нет. Отныне за ним будут присматривать — и внимательно. Пусть спасает души, исправляет нравы, творит милосердные дела.

Епископ говорил веско, горячо и убежденно: он не советовал, а приказывал. Потом помолчал немного и добавил:

— А кроме того, настоятельно рекомендую вам проявлять побольше осмотрительности в отношениях с женщинами. Вы ведете себя вызывающе.

— Что? В отношениях с женщинами? Кого вы имеете в виду? Я хочу знать!

— Не важно, кого я имею в виду. Вас об этом не спрашиваю и вам отвечать не собираюсь. Подождите,— сказал он, увидев, что падре встает со стула,— есть еще один вопрос.— Выполнив свой долг и исчерпав самую взрывоопасную тему — «крылышки подрезаны, шея еще не свернута»,— епископ заговорил более миролюбиво:
— Скажите, известно ли вам что-нибудь о статуе Святой Варвары Громоносицы? Ведь вы с ней прибыли сюда на одном судне...

Ответить Абелардо не успел. В дверях, постучавшись, возник падре Соарес. Он размахивал каким-то листком.

ОБВИНЕНИЕ — Секретарь положил этот листок перед епископом и стал у стола, сложив руки на животе. Дон Рудольф вскинул на него глаза:

— Он у аппарата?

— Еще нет.

— Соедините.

Пока падре Соарес, вернувшись в свой закуток, сообщал по телефону: «Его преосвященство сейчас будет говорить», дон Рудольф, сняв трубку, ждал. Недолго.

— Да, полковник, здравствуйте,— в голосе его звучала легкая тревога, а сам он даже чуть приподнялся из почтения к собеседнику.— Чем обязан?..— Послушал, строго нахмурился.— Важное и срочное? Слушаю, слушаю.— И тут же перебил: — Да, я в курсе дела. Это я посоветовал разыскать его. Вы помните, я просил вас о встрече? — Он улыбнулся в предвкушении доброй вести, но улыбка тут же погасла.— Как вы сказали?.. Разумеется, знаю.— Он взглянул на Абелардо.— Минутку, полковник, плохо слышно, я перейду к другому телефону.

Он встал и направился в комнату секретаря, по дороге бросив посетителю: «Подождите, я скоро вернусь». Однако вернулся не скоро, телефонный разговор явно затянулся. Повинуясь знаку епископа, секретарь плотно закрыл дверь в кабинет. Падре Галван, оставшись в одиночестве, погрузился в размышления. «Да, у тех, кто владеет землей,— длинная рука, тяжелая рука...»

Он невольно вздрогнул, увидев перед собой взбешенного епископа. Тот снова заговорил о Святой Варваре, но теперь это был уже, пожалуй, не вопрос, а ошеломляющее обвинение — голос дона Рудольфа дрожал и срывался.

— Зачем вам понадобилась статуя? — И, не давая падре времени хотя бы изумиться, забросал его вопросами: — Куда вы девали изображение Святой Варвары Громоносицы, которое вам поручено было оберегать в пути? Где вы ее спрятали? Зачем похитили? Назовите сообщников! Падре Галван, вы зашли слишком далеко.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ ПАТРИСИИ ПРИ ДНЕВНОМ ОСВЕЩЕНИИ — Если благосклонный читатель возьмет на себя труд вернуться к началу нашего повествования, он припомнит: падре Абелардо знал о Патрисии только то, что у нее хрустальный голос, таинственная улыбка, томный взгляд. Да и ему, читателю моему, вряд ли известно больше. Потороплюсь исправить свое нелепое и совершенно непростительное упущение и даже пытаться не стану извиняться и оправдываться: подобную небрежность ничем оправдать нельзя, если, конечно, не лгать, и не выкручиваться, и не прибегать ни к каким уловкам.

Патрисия галопом промчалась по приемной архиепископского дворца, спрыгнула с коня у церкви в Пиасаве. Картина эта явилась алчному и хмельному взору Абелардо. Это благодаря ему, падре Галвану, замелькало имя Патрисии на страницах газет — и не в том разделе, где театральные рецензии разделывали под орех последние премьеры.

Ну, кажется, все: больше никак и нигде я Патрисию не упоминал, ничего про нее не рассказывал. Разве что кое-какие определения: «красивая», «изящная», «горделиво»,— вполне заслуженные, конечно, но ведь они носят весьма общий характер и не дают представления о ее облике — ни внешнем, ни моральном.

Высокая или маленькая? Худенькая или, что называется, в теле? Грудь какая? А бедра? Смешлива или серьезна? Даже с цветом кожи полная неясность. В этой женщине смешалась кровь белой, черной и красной рас, и кожа у нее скорее темная. Теперь вот, слава богу, представилась нам, хоть и с опозданием, возможность показать Патрисию при свете дня, когда только что развеялась утренняя дымка и еще не вспыхнули ослепительные юпитеры, под которые явится она нарядная, причесанная, подкрашенная.

Все-таки кожу Патрисии правильней было бы назвать смуглой, а не темной. Удовлетворимся этим определением. Волосы длинные, черные, гладкие, блестящие. Лицо удлиненное, восточного склада — на-

верняка сказалась кровь какой-нибудь патагонской прабабушки — высокие скулы, миндалевидные, простите за банальность, глаза. Да, вот так: глаза прорезаны чуть вкось, а цвет у них ярко-голубой, аквамариновый цвет. Падре Абелардо, считая, что глядят эти глаза томно, попал пальцем в небо, поскольку слабо был знаком с предметом, виной чему — обет безбрачия. Во избежание недоразумений, читатель, поскорей обзаведитесь невестой. Если бы падре разбирался в таких делах чуточку больше, он заметил бы, что это не томность, а нечто совсем иное, и присуще это нечто всей Патрисии, разлито во всем ее теле, а особенно ярко выражено в упруго колеблющихся грудях, соски которых, казалось, готовы прорвать тончайший батист, и в горделиво качающихся бедрах, чуть-чуть прикрытых мини-юбкой. Бедра эти были вполне негритянского вида, хвала господу!

Патрисия обучалась французской словесности и, не бросая университет, поступила в театральную школу, директором которой был очаровательный человек — Нелсон Араужо, драматург и романист. Это он обнаружил в ней дарование, изменил ей имя и предсказал успех: «Ты рождена для огней рампы!»

Она дебютировала два года назад, получив роль в детской пьесе, и с тех пор уже не останавливалась. Чего только она не перепробовала за эти два года: детский театр, мюзиклы, драмы, комедии, ревю, пьесы драматургов наших и иностранных. Хватала все, что предлагали: привередничать не приходилось — сценическое искусство в городе развито было слабо, и выбор был невелик. Снялась она, благодаря протекции Нилды Спенсер, и в кино, где получила крохотную рольку в фильме Нелсона Перейры дос Сантоса, экранизировавшего роман из баиянской жизни. «Она вытянула сцену,— писал король рецензентов Валтер де Сильвейра,— а будь эта сцена подлиннéй, спасла бы и всю картину».

Вместе с университетскими приятелями, так же, как она, не принимавшими военную диктатуру, Патрисия организовала театр «Арена де Баия», который прожил недолгую, но бурную жизнь,— в один прекрасный день на сцену вломилась полиция, затолкала всю труппу в фургон и повезла прямо в каталажку. Девушек отпустили несколько часов спустя, юношей — ночью. Объяснялся арест неуемным стремлением студентов поставить запрещенную цензурой пьесу: они продолжали репетировать и не снимали с фасада театра дерзкую афишу, возвещавшую о премьере. Агенты сорвали афишу, разодрали ее на мелкие кусочки, а молодые люди, проявившие героизм, удостоились досье в управлении безопасности, где им пригрозили большими неприятностями.

Патрисия часто бывала во «Французском Союзе», читала там Элюара: «Liberté j'écris ton nom» [1] и мечтала о стипендии для ученья в Париже — и о падре Абелардо. Ей попеременно снилось и то и другое, а иногда удавалось объединить Париж и падре: она представляла, как они, взявшись за руки, спускаются под легким снежком по Бульмишу, а вокруг — шальные обитатели Латинского квартала — «des tourtereaux» [2], как сказал бы профессор Батиста. Да, кстати, куда он исчез? Где он? Почему ушел со сцены такой симпатичный персонаж? Он, между прочим, был знаком с Патрисией, числил себя среди ее поклонников, хвалил ее безупречное произношение, ее шарм и талант актрисы. «Когда-нибудь она сыграет Федру!» — предрекал он.

(Окончание следует)

---

[1] «Свобода, я имя твое пишу...» *(франц.)*

[2] «Голубки» *(франц.)*

У. Д. СНОДГРАСС

Стихи разных лет

■

Перевод с английского
ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА

Уильям Снодграсс печатается редко: за тридцать с лишним лет литературной деятельности — всего несколько сборников и отдельных циклов, опубликованных в периодике, да книга переводов из Кристиана Моргенштерна, немецкого поэта начала нашего века. «Избранное» Снодграсса, появившееся в 1987 году, фактически оказалось почти полным собранием всего им написанного. Перед нами тот нечастый случай, когда у поэта действительно не бывает необязательных стихотворений и даже случайных строк.

Он и начал поздно, в середине 50-х годов. За плечами Снодграсса была война, полтора года на флоте. Об этом сложно догадаться, читая его ранние стихи. Там нет поэзии текущей истории — только личное, интимно пережитое. Снодграсс издал эти стихи книжкой, озаглавив ее «Игла в сердце». Ирландская поговорка утверждает, что иглой в сердце остается для отца дочь, когда она единственный ребенок. Брак Снодграсса распался, свою дочь он видел лишь от случая к случаю, а его поэзия становилась чем-то вроде послания ей: исповедью, покаянием, наставлением.

Книга вышла в 1959 году, Снодграссу было тридцать три — возраст не для дебютанта. Тем удивительнее, с каким энтузиазмом встретили этот сборник, удостоившийся Пулицеровской премии, высшей литературной награды в США. Джон Берримен, тогдашний бесспорный авторитет, писал, что Снодграсс — истинная надежда американской поэзии. Роберт Лоуэлл, у которого Снодграсс после войны учился в университете Айовы, предрек ему будущее первого поэта своего поколения. А сам Снодграсс замолчал, и надолго. Следующий его сборник «После опыта» вышел лишь восемь лет спустя.

Впоследствии Снодграсс признался в интервью, что был просто подавлен своим успехом, не считая его заслуженным. Тут дело не только в авторской скромности. «Игла в сердце» — книга, привлекавшая лирической насыщенностью, и строгостью формы, и богатством поэтического языка, не принесла полного удовлетворения поэту, оттого что она слишком органично вписывалась в преобладавшую тогда тональность, была слишком предугадуемой по своим главным мотивам.

Для американской поэзии то было время сплошных исповеданий; определилось целое исповедальное направление во главе с теми же Беррименом и Лоуэллом. После холодной бесстрастности и какого-то возведенного в принцип объективизма, господствовавшего на протяжении десятилетий, когда все индивидуальное старательно изгонялось, чтобы достичь абсолютной непредвзятости поэтического свидетельства, подобный автобиографизм стал естественной ответной реакцией. Он помогал вернуть в поэзию неподдельность переживаний, неповторимость человеческого опыта.

Но он стал и своего рода модой, обязательным знаком причастности к новейшему веянию. И вот парадокс: чем полнее раскрывался перед читателем сокровенный мир поэта, тем труднее оказывалось уверовать, что эти чувства на самом деле нелитературны, а эти потрясения действительно были фактом биографии. Потому что сама воссоздаваемая хроника душевной жизни заключала в себе уж очень много типового,

© by W. D. Snodgrass, 1987

заранее известного, характеризующего не столько личность, сколько знакомую ситуацию противостояния одинокого художника самодовольному и равнодушному «молчаливому большинству», среди которого он принужден обитать.

То, что было открытием в лоуэлловских «Страницах жизни» и потом у Берримена в «Песнях-фантазиях», на глазах становилось в лучшем случае безотказно работающим литературным приемом, а то и попросту штампом. Снодграсс это заметил раньше многих. Уже в год своего триумфа, отвечая интервьюеру журнала «Партизен ревью», он говорил, что поэзия иссякнет, как только поэта перестанет тревожить главный вопрос: «Действительно ли я выразил то, что думаю?» И пояснял, что «единственная реальность, которую мы способны по-настоящему постичь,— это мы сами, такие, как есть, хотим мы того или нет; а понять себя возможно, лишь проникнув во все взаимоотношения, связывающие нас с миром, который вокруг».

Собственно, все его последующее творчество — это как раз попытка подобного проникновения в окружающий мир с его многосложными связями, которые формируют личность.

Суть не в том, как такая установка сказалась на тематике Снодграсса, хотя, читая «Избранное», перемены чувствуешь и тут, особенно в стихах последнего десятилетия. Несколько лет назад создан цикл «Бункер фюрера», серия воображаемых монологов лиц из ближайшего окружения Гитлера, которые в майские дни 1945 года сводят счеты с жизнью, не оправдавшей их ожиданий. Для давних почитателей Снодграсса этот цикл, вероятно, явился неожиданностью — едва ли предполагалось, что поэт, всегда чуждавшийся публицистики, прибегнет к такой графической резкости образов, создавая картины исступленного безумия, ставшего расплатой за злодеяния. Кажется, впервые выявилось, что для Снодграсса война — не просто факт, зафиксированный хроникой нашего века, а частица собственного опыта. И быть может, даже самое главное из всего, что выпало испытать.

Впрочем, это, конечно, поэзия, говорящая не столько о войне и фашизме, сколько философски обобщенная, касающаяся тех чудовищных деформаций, которым фашизм подвергает само человеческое естество, вытравляя в нем все, кроме воспаленной ненависти и фанатичной одержимости идеей, пусть потерпевшей банкротство и преступной изначально. Страшные ритуальные жертвоприношения, о которых мы читаем в монологе Магды Геббельс,— это для нее самой нечто наподобие вызова судьбе и жеста непримиренности, но существеннее субъективных резонов та логика, которая движет представителями нацистской элиты в их последние часы, их представление о достойном финале, их органическая неспособность признать ложность собственных принципов, хотя катастрофа стала очевидной.

XX век явил множество примеров, во что способна превратить человека маниакальная догма, которая растворяет его в себе без остатка, подавив любые нравственные непреложности и замещая собой первичные основы людских отношений. Вот об этом и написал Снодграсс, предпослав своему циклу эпиграф из речи Геббельса: «Даже если мы проиграем эту войну, мы ее все равно выиграем, потому что наш дух проникнет в сознание наших врагов». Никому не дано знать, действительно ли нацистские главари уходили из жизни с этой верой. Но более чем достаточно свидетельств, что для нее были свои основания.

К таким свидетельствам Снодграсс внимателен, как мало кто в современной американской поэзии. Видимо, это и делает его творчество таким злободневным при всей его несколько подчеркнутой архаичности. Приверженность актуальному стала отличительным качеством поэзии Снодграсса лишь в последние годы и выражена все-таки не столько тематикой, сколько характером восприятия — природы, человека, универсума. Актуальность неподдельна, но она не на поверхности.

Как раз по первому впечатлению Снодграсс очень далек от злобы дня. Это чувствуется даже в его творческой консервативности. Он по-прежнему сохраняет верность правильному рифмованному стиху, часто прибегает к парафразам из классиков от Джона Донна до Роберта Фроста, не боится реминисценций, как и упреков во вторичности. Его влечет вышедшее из моды, но оставшееся для самого поэта прекрасным — оттого стихотворение «Раздача имущества» обладает для Снодграсса принципиальным значением, хотя может показаться всего лишь ироничной картинкой нравов.

В этой чуть вызывающей старомодности понятий о бытии, которое для Снодграсса всегда сохраняет в себе и смысл, и правду, и закон, каким бы хаотичным мельте-

вением ни выглядели невзрачные будни,— его кровное родство с традицией. Конкретно — с той, которая почитает поэзию неспешным серьезным размышлением над жизнью, всегда питавшим англоязычную медитативную лирику с ее сюжетами, не притязающими на оригинальность, с ее вниманием к обыденному, невыразительному, небоскому, но за своей ординарностью скрывающему некую согласованность начал, некую норму, противостоящую суетности и безмыслию, цинизму и апатии. «Конечно, мир обязан быть разумным»,— это сказано Снодграссом с долей иронии и вряд ли в наш век может быть сказано иначе. Но ирония не уничтожает исходной посылки.

Часто пишут, что Снодграсс — поэт, имеющий смелость идти против течения. В каком-то смысле это действительно так: ни самоценной сложности, ни страсти к эксперименту. Стихи Снодграсса кажутся простыми, его метафоры — прозрачными, как, например, образ сада в стихотворении «Старые яблони». Но эта прозрачность — итог тщательной работы, когда взвешен и точен любой оттенок. А простота — только напоминание о неисчерпаемой сложности коллизий, над которыми Снодграсс заставляет думать своего читателя, раз за разом обнаруживающего, что, описывая старый сад или университетский поселок, автор на самом деле побудил размышлять о том, для чего мы существуем на земле.

А. ЗВЕРЕВ

Магда Геббельс

30 апреля 1945 года
после того, как доктор Хаазе
сделал ее детям уколы морфия,
Магда дала каждому ребенку
цианистого калия из ложечки.

Такой укол для малышей —
Как для солдат в аду траншей,
Где честной гибели страшней
Спасенья подлый страх.
А эта ложка для питья,
Она тогда нужна, дитя,
Когда кошмарней небытья
Быть у врага в руках.

Свернувшись крохотным клубком,
Заснешь ты безмятежным сном,
С опасностями незнаком,
Не для тебя они.
Теперь ты можешь отдохнуть,
Не потревоженный ничуть,
Как спал в мою уткнувшись грудь,
Так сызнова засни.

Ты видишь: острая игла
В шприц все, что надо, набрала,
Не покориться силам зла
Тебе поможет врач.
Как нянька, я в тиши ночной
Страдала за тебя душой.
Мой мальчик, ты уже большой,
Не бойся и не плачь.

Мощь в ампуле заключена,
По жилам потечет она,
Чтобы в объятьях сладких сна
Ты стал непобедим.

И этот крохотный укол
Позволит встать наперекор
Твоей судьбе и дать отпор
    Сомнениям любым.

Таблетку в ложке раздавлю
И волю детскую твою
Я закалю и укреплю,
    Чтоб жадность, ложь и грех
Тебе не предъявили счет.
По жилам зелье потечет,
От подлости убережет,
    От компромиссов всех.

В той сыворотке сила есть,
Ты все сумеешь с нею снесть
И совесть сохранишь и честь,
    И веру сохранишь.
Отведай снадобье. Ты с ним
Останешься неколебим,
Кристально чист и мной любим,
    Мой мальчик, мой малыш.

Ты ротик сжал, скорей раскрой!
Вот это ложка, птенчик мой,
С твоей последнею едой.
    И это не каприз.
Ты должен выпить и понять,
Что лишь твои отец и мать
Вождя сумели не предать,
    Когда все отреклись.

Когда безумствовал испуг
И все преобразилось вдруг
И недругом стал прежний друг,
    Изменой обуян,
А вождь со шлюхой заперся,
Сквозь дверь сказав: к нему нельзя...
И я рыдала, голося,
    Но принял он циан.

Мой милый, шире рот раскрой,
Все звуки отомрут с тобой
И глас вождя средь гробовой
    Услышишь тишины.
Чтоб сделать первый в жизни вздох,
Ты получил от нас шлепок...
Но «Аз воздам» — сказал нам Бог,
    И мы обречены.

Ты слушало меня, дитя,
Как наша нация — вождя.
Он твердым был, ее ведя
    На муки и на смерть.
Ты станешь чище образца,
Фронтовика и храбреца,
В снегах который до конца
    Сумел все претерпеть.

Не думай о своей судьбе
И о непройденной тропе,
Ты словно памятник себе,
    Ты весь восторг, порыв,
Ты словно в горельефе фриз,
Где в братстве храбрецы сошлись,
Которых вождь наш поднял ввысь,
    Бессмертьем одарив.

Руки кормящей не укусишь,
Не испугаешься, не струсишь,
Отступничества не допустишь,
    Мой мальчик, никогда.
В своей постельке, как в святыне,
Непобедимее твердыни
Ты будешь, и тебе отныне
    Не причинят вреда.

1977

Раздача имущества

То длинное платье для бала —
Она не была на балах —
Подруга на собственный страх
Себе забирает, бедняжка,—
Где наша, мол, не пропадала!..

Мы складываем на места
Все ложки и вилки без цели,
Как акции, что прогорели.
В комоде ночная рубашка,
Как девственница чиста.

Что делать с вещами — неясно.
Ведь нет среди нас бедняков,
Охочих до этих обнов.
Без страсти, потери, невзгоды,
Как бальные туфли в атласном

Футляре она улеглась,
К Создателю их мы отправим.
Ведь жизнь мы транжирить не вправе,
Пускай она вышла из моды,
Но все же прекрасна для нас.

1970

Любовники запускают змея

Что наши любовники? Змея
    Пустили они в небеса.
Лохмотьями пламенея,
    Он в синеву поднялся.

Он бьется, точно мустанг,
    Как на крючке — сом,
От них уносится так,
    Что следом бегут бегом.

Рубахи рвут для хвоста,
Чтобы летел ровнее.
Вихляет змей, высота
Не привлекает змея.

Тряпичного мотылька
Неужто крах неминуем?
Рассыплется наверняка?
А вдруг взмоет вновь с поцелуем?

Он дергает, словно скат,
Что из глубин извлечен,
Синее небо рад
Обследовать нынче он.

А может, змей словно зонд
Их сердечной погоды
И верит: им повезет
Среди горького года.

Ведь в воздухе — как на грех! —
Столько любви и злости.
Упреки на ветках всех
Остры, все равно что кости.

Смешно? Но увы и ах —
Можно одним утешаться,
Что на таких пустяках
Дано любви удержаться.

1967

Университет на холме

Вверх по почтенным аллеям между древних деревьев
Шествуют отпрыски нуворишей; часы
С Башни им благословенье льют:
«Мы разлюбили вас и ваш дом,
Мы больше играть вам не будем».
Мой дом как раз стоит напротив
На другом холме среди садов, лугов;
Олени подходят к самым дверям,
Но ты их даже ясным утром не увидишь.
Белые птицы повисли между холмами,
Над домами и грязной землей,
Воспаряют высоко, снижаются низко,
Словно снег, сеющийся на городишко,
Словно капельки в стеклянном шаре.
Но в это утро, за мирным пейзажем,
За птицами, за домами бедных,
За рынком с лавками, за мертвым каналом, за всхолмьем,

Врывается Завтра в Сегодня:
Беспорядки в Алжире, в Алабаме, на Кипре;
Карги-империи пребывают в упадке,
Молчаливый Китай растет, как улика.
Что в это утро скажу молодежи?
Что спасенье в разуме и в грамматике?
Но белая молодежь к мятежу не склонна,

Хотя и ворчит, но так обленилась,
Что квакеры бы заматерились. Всегда,
Господи, всегда она несет
Свою божественность без труда.
На своем холме, на своей высоте
Говорит: «С холма путь только вниз,
А наша цель — оставаться на месте».
Конечно, мир обязан быть разумным;

Часы глядят, как в мир идет беда,
Но ничего не скажут никогда.

1959

Старые яблони

Стоят в саду, как работяги, траченные жизнью,
Как пьяные легионеры, что, шатаясь,
Честь отдают. И каждая на свой манер
Качается. Их форма еле пригнана, морщит,
Топорщится. Тут — нет руки,
Там — дождь и гниль разъели сердцевину.
Те — слишком высоки, а эти — толсты. Все что-то слишком,
Как у людей от верстаков, станков,
Столов, мешков или утрат.
Изведав всласть истории и непогоды,
Они росли среди камней, навстречу вихрям и болезням,
Так долго, что меняться поздно.

Я мог бы их бульдозером снести,
Декоративных саженцев натыкать.
Тут был бы модный пригород; как руки
Джазиста, поднялись бы деревца
С прямыми идеальными стволами —
Мечта изготовителя реклам.
Мы б завладели парком, где деревья
Все на один пошиб. Они бы
Неотличимы были,
Как сыновья чинуш.

Сухие ветки надо
Подрезать, а еще замазать дыры,
Где начинает гнить. И хорошо бы
Найти дупло, где обитают белки,
И услыхать новошотландскую сову.
Весной деревья хороши. А пчелы
Жужжат, как молодые мысли. Лепестки
Как снег усеют землю; воздух сочен;
Никто сюда не явится без дела,
Никто без исповеди не уйдет отсюда.
Всю осень ветки тяжелы от яблок;
Они висят здесь красные, как свечи,
И ожидают снега.

Поедем нынче в злачные места,
В мадьярскую пивную, в польский клуб,
В «Элладу» есть новорожденного барашка
И пить вино и посылать танцорам,
Что режут пляски, словно мясники,
И пляски сохраняют древность формы.

Вдруг встретим там знакомую торговку
Каштанами, ее беззубый рот
Пятнадцатью наречьями плюется.
Она вращается посередине зала
И медленно и смачно матерится.
Мы будем хлопать, топать, сатанеть
И освистаем танец живота.

Тупые, пьяные, вернемся на заре
И в серой мгле увидим наш цветущий
Сад; его корявые стволы поддерживают ветки,
Как старики из Фив или старейшины Колона,
Трясут седыми гривами и шепчут,
Мол, скоро каждого из нас
Уволокут под землю,
Которая, корежа нас, тащила вверх.
Мы выросли не теми, кем желали.
И не увидеть никому из нас
Осуществления своей мечты.
О, как мы далеки от идеала,
Однако нам хотелось выжить.

1977

■

ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ

Врата рая

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Сколь могуче и всеобъемлюще было религиозное воодушевление, свидетельствует удивительный крестовый поход детей, который незадолго до смерти Иннокентия III (1213) всколыхнул всю юго-восточную Францию и даже некоторые немецкие области. Один пастушонок объявил, будто духи небесные возвестили ему, что святой гроб может быть освобожден лишь невинными и малолетними. Мальчики и девочки в возрасте от восьми до шестнадцати лет покидали родные места, собирались толпами и устремлялись к берегам моря. Много их погибло от истощения и лишений, многие стали добычей алчных торговцев, которые заманивали к себе детей, а потом продавали в рабство.

Фридрих Шлоссер. «Всемирная история»

На время всеобщей исповеди прекращены были всякие песнопения, и вот уже третий день всеобщей исповеди близился к концу, а они все шли по безбрежным лесам вандомского края, шли тесно сбитой толпой, и ни пенье не нарушало молчания, ни звон колокольчиков, только монотонное шарканье двух с лишним тысяч ног слышалось, да порой поскрипыванье телег, которые замыкали поход детей, везя тех, кто обессилел от истощения или не мог дальше идти на немилосердно израненных ногах, дорога посреди старой пущи, казалось, не имела ни начала, ни конца, на исходе была уже пятая неделя с того предвечернего часа, когда Жак из Клуа, прозванный Жаком Найденышем, а в последнее время иногда называемый Жаком Прекрасным, покинул свой одинокий шалаш над пастбищами, принадлежащими деревне Клуа, и сказал четырнадцати деревенским пастухам и пастушкам: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, во искупление зла, в бездушном ослеплении содеянного рыцарями, герцогами и королями, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием в руках нечестивых турок пребывающий город Иерусалим, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, их было четырнадцать, отправившихся в путь той весенней ночью, под звон колоколов и плач покидаемых матерей, но теперь, когда они углубились в лес и уже три дня как продолжалась всеобщая исповедь, очищающая ото всяческих грехов и проступков, было их много больше тысячи, далекое солнце равнодушно горело за пределами царства тени, влаги и тишины, отдаленным своим сверканьем сгущая черноту могучих стволов и сучков, листвы и веток, на заре, когда свет, еще слабый и робкий, начинал медленно возноситься над царством зелени и безмолвия, ранние

птахи подымали крик в лесной чащобе, верещали они и после наступления сумерек, а ночами, когда дети шли, чтобы не прерывалось время исповеди, ночами, наполненными монотонным шарканьем двух с лишним тысяч босых ног, из темноты к ним неслось жалобное уханье филинов и беззвучно колыхались в темноте черные кресты, образа и хоругви, сейчас близился к концу третий день всеобщей исповеди, старый человек, который три дня исповедовал детей, был большим и грузным мужчиной в бурой рясе монаха-минорита, пока длилась всеобщая исповедь, не Жак, а он шел впереди, шел медленно, поступью очень усталого человека, неуклюже припечатывая землю тяжелыми отекшими ступнями, дети поочередно, начиная с самых младших, подходили к нему и, шагая рядом, признавались в своих мелких, еще невинных грехах, старый человек думал: если юность не спасет этот мир от гибели, ничто больше не сумеет его спасти, потому-то все надежды и чаяния я возложил на этих детей, стремящихся к цели, которая недостижима ни для них, ни для меня и вообще ни для кого на свете, Боже, пребудь с этими невинными детьми, я, не чуждый никакого греха, я, изведавший в полной мере всяческие заблуждения, я, которому, несмотря на монашеское облачение, и дряблую кожу, и увядшие губы, и стопы, являющие собой оскорбление радости и гармонии, равно знакомы дно темных бездн и призрачный блеск неисполнимых желаний, я... великий и всемогущий Боже, не допусти, прошу, чтоб когда-нибудь сбылось то, что привиделось мне в ужасном сне той ночью, когда я возжелал служить этим невинным детям, я увидел во сне мертвую, спаленную солнцем пустыню, взгляни,— послышался рядом бесстрастный голос,— вот Иерусалим жаждущих и алчущих, перед тобой высятся священные стены и башни, ты видишь райские врата, ибо врата рая воистину существуют лишь на мертвой, спаленной солнцем земле пустыни, лжешь,— ответил я,— пустыня — это только пустыня, пустыня — это могила жаждущих и алчущих,— возразил тот же самый бесстрастный голос,— в пустыне высятся священные стены и башни Иерусалима, на ее мертвой, спаленной солнцем земле открываются перед жаждущими и алчущими гигантские врата рая, помню, я хотел еще раз сказать: лжешь, пустыня — это только пустыня, но внезапно понял, что незримого голоса подле меня уже нет, зато увидел двух юных отроков, одиноко бредущих пустыней, Боже,— подумал я,— неужто среди многих тысяч лишь они уцелели, Боже, сделай, чтобы не было так, и, едва я это подумал, старший, который вел за руку младшего, споткнулся и упал, иди,— сказал он, из последних сил поднимая голову,— я немножко отдохну, скоро начнет светать, я видел его руки, глубоко зарывшиеся в сухой песок, и темноволосую голову, борющуюся с последней, смертельной усталостью, иди,— повторил он,— пока еще темно, но сейчас рассветет и ты увидишь Иерусалим, тогда младший, светловолосый и хрупкий, спросил: а ты со мной не пойдешь?, иди,— сказал старший, и я видел, что голова его бессильно падает, губами он уже касался песка,— иди вперед, прямо вперед, уже начинает светать, сейчас ты увидишь стены и башни Иерусалима, иди, я отдохну немного и тебя догоню, тогда младший зашагал послушно вперед, и по тому, как он шел, я сразу понял, что мальчик слеп, Боже,— подумал я,— пробуди меня от этого сна, я все еще не видел лица слепого, он шел один средь мертвой, спаленной солнцем пустыни, неловкими руками ощупывая пустоту, словно искал в ней опору, а другой, мертвеющими уже губами касаясь песка, еще успел сказать: светает, я вижу громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который не знаю откуда исходит, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сиянья, разливающегося в воздухе и в небе над ними, Боже, не допусти, чтоб когда-нибудь сбылся этот ужасный сон, я уже и проснулся, и еще был во власти сна, когда маленький светловолосый слепец, продолжая идти

вперед и касаясь руками пустого воздуха так, точно настоящих касался стен, обратил ко мне лицо, и тогда, нет, не тогда, а сразу после той мучительной ночи, когда, обремененный всеми грехами и горячей, чем когда-либо, жаждущий искупленья грехов, я вышел навстречу крестовому походу детей и сказал: милые мои дети, избранные Богом для обновления несчастного рода человеческого, раз уж вы стремитесь к столь высокой цели, очиститесь от своих невинных грехов, да настанет для вас в преддверье далекого пути час всеобщей исповеди, вот тогда я увидел перед собой лицо одинокого слепца средь мертвой, спаленной солнцем пустыни, и, не допусти этого, великий всемогущий Боже, то было лицо Жака из Клуа, а сейчас близился к концу третий день всеобщей исповеди, последними исповедовались дети из Клуа, которые шли во главе похода, среди них был Жак, был Алексей Мелиссен, единственный не из Клуа родом, была Бланш — дочь колесника, был Робер — сын мельника, была Мод — дочка кузнеца, Жак думал: слыша каждое слово, которое он произносил, лежа возле меня в темноте, я впервые увидел громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который исходил не знаю откуда, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сиянья, разливавшегося в воздухе и в небе над ними, идущий рядом с Жаком Алексей Мелиссен думал: я люблю тебя, хотя не знаю, рождена ли моя любовь только мной и тобой или ее пробудил из небытия тот, кого уже больше нет, узы ли, связующие нас с тобой, эта любовь или отблеск иной любви, той, что первое свое слово успела вымолвить только раз, а затем канула в холод и шум смертоносных вод, чтоб уже никогда не претвориться в тело и слово, не знаю, откуда взялась моя к тебе любовь, но где б ни почерпнула она свое начало, откуда бы ни пришло наваждение, я никогда не перестану тебя любить, ибо если я существую, то лишь затем, чтобы, нелюбимый сам, всей душой и плотью своей утверждать потребность в любви, Бланш думала: скорей бы уж наступила ночь, ночью он подсйдет ко мне, когда всех вокруг сморит тяжелый сон, скажет негромко: пойдем, и я встану и пойду за ним, мы будем идти крадучись, чтоб никого нениароком не разбудить, пока наконец не окажемся в таком месте, где вокруг будет пусто и мы будем совсем одни, мы разденемся молча, так как ни мне, ни ему не нужны слова, я знаю, о чем он думает, и он знает, о чем думаю я, он войдет в меня стремительно и грубо, наслаждение соединит наши тела, мы ж, наслаждаясь, будем думать в телесном слиянии: я, что не он дарит мне блаженство, он, что не мне его предназначает, Робер думал: скоро стемнеет, ночь будет холодной и на землю ляжет роса, если до наступления темноты мы не дойдем до какой-нибудь деревни, придется ночевать под открытым небом, в лесу, ночь будет холодной и Мод продрогнет, если б она любила меня, я бы теплом своего тела ее согревал, она могла бы спать безмятежно в моих объятиях, любовью заглушить можно даже голод, Мод думала: добрый, милосердный Боже, Господи Иисусе, к чьему далекому гробу я иду, прости мне, добрый, милосердный Боже, что к твоему гробу я иду не затем, чтобы вызволить его из рук нечестивых турок, не любовь к тебе заставила меня бросить мать и отца, не любовь к тебе повелевает идти к твоему далекому гробу, нет, иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела, а чуть позже, шагая рядом со старым исповедником, Мод говорила: вечером, перед сном, я всегда читала «Отче наш», господню молитву, которой меня научила мать, но сейчас, с той поры как я покинула Клуа и иду вместе со всеми остальными детьми из Клуа и с другими детьми из разных других селений и городков, сейчас каждый день, перед тем как заснуть, кроме «Отче наш», молитвы, которой меня научила мать, я читаю еще одну, и это уже только моя молитва, это, отец, молитва тяжкого моего греха, других, равно тяжких грехов я не помню и потому могу

говорить об одном, самом тяжком моем грехе, молитвой этой, повторяемой вслед за обычной, ежевечерней, я не стремлюсь умалить свой грех, так как не в силах от него отказаться, и о милосердии не прошу, так как могла бы просить о милосердии лишь если бы знала, что найду силы отказаться от своего греха, от своей слабости, от своих греховных желаний, и все же ежевечерне перед тем, как заснуть, я повторяю эту молитву, молитву моего греха, и, лежа в темноте, говорю, но не вслух, а в мыслях: добрый, милосердный Боже, Господи Иисусе, к чьему далекому гробу я иду, прости мне, добрый и милосердный Боже, что к твоему гробу я иду не затем, чтобы вызволить его из рук нечестивых турок, не любовь к тебе заставила меня бросить мать и отца, не любовь к тебе повелевает идти к твоему далекому гробу, нет, иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела, губы, руки, глаза, она во мне, моя любовь, она — это я и я,— она, это она, занимающая все мои мысли, живущая в каждой частице моего тела любовь, заставила меня покинуть родительский дом, бросить, не сказав прощального слова, отца и мать, прости, добрый и милосердный Боже, что к твоему далекому гробу я иду не из любви к тебе, а связанная и переполненная иной любовью, Мод шла, опустив глаза, приноравливая свои мелкие шажки к шагам исповедника, тот шел медленно и тяжело, будто старался всякий раз, ставя на землю босые отекшие стопы, как можно крепче прильнуть к земле, ступал словно бы неуверенно и, лишь когда подошва касалась земли, исполнялся силы, позволившей ему вновь оторвать от земли ногу, Мод подумала: он стар и устал, она шла, опустив глаза, и видела босые стопы человека, которому собиралась поверить свой грех, а еще видела свои руки, неподвижно скрещенные на груди, и белизну своего платья, неторопливо плывущего вперед, по белому скользили тени безмолвной и недвижимой пущи, Мод шла в мелькании этих теней, словно попавшись в сеть, сотканную из тени и света, но даже опутанная этой сетью, продолжала идти вместе с ней, еще Мод видела свои маленькие ноги, невольно старающиеся приноровиться к усталости человека, рядом с которым она шла, готовясь признаться в своем тяжелейшем грехе, однако, хотя поблизости не было никого на расстоянии вытянутой руки, Мод чувствовала, что, подобно тому, как тени пущи и блики незримого солнца опутывают и сковывают холодную белизну ее платья, тело ее опутывает и сковывает безмолвная, невидимая толпа, она знала, что прямо за ней, идущей во главе шествия, средь теней пущи и бликов незримого солнца покачиваются черные кресты, хоругви и многоцветные образа, а под ними плывет, как могучее дыханье, плотное скопище светлых и темных детских голов, слышала за спиной монотонное шарканье двух с лишним тысяч босых ног, несмотря на усталость шагающих упорно вперед, и, хотя шла, не подымая глаз, многое видела в своем добровольном плену и многое слышала в тишине, наполнившей предвечерний час, она видела удлиненные тени тех, кто шел прямо за ней, каждую тень отличало что-то свое, и Мод могла назвать их по именам, вот тень нарядного и богатого платья Бланш, вот зыбкая тень пурпурного плаща на плечах у Алексея Мелиссена, чуть подальше стройная тень Робера, лишь минуту спустя Мод различила между этих теней легкую тень Жака, она почувствовала, как сильно забилось у нее сердце, подумала: прости, добрый и милосердный Боже, что к твоему далекому гробу я иду не из любви к тебе, а связанная и переполненная иной любовью, исповедник спросил: ты засыпаешь, дитя мое, после этой молитвы? да, отец,— сказала она,— после этой молитвы я засыпаю, она думала: изо всех часов дня и ночи особенно он любил предвечерний час, шалаш, который он построил себе на краю пущи, возвышался над лугами, так что, стоя перед ним, он мог видеть все пастбище целиком, иногда мне ужасно хотелось увидеть наше пастбище его глазами, по-

тому что его глаза чисты, не знаю, с чем лучше всего сравнить их чистоту, просто они — чисты, когда на изумрудную долину начинали ложиться первые тени, а небо наливалось багрянцем и тишиной, в траве стрекотали цикады и птицы перекликались перед сном в густом дубняке, я, не умея увидеть всего этого его глазами, видела своими: он стоял перед шалашом на холме, уперев руку в бедро, солнечный свет, заливавший его, медленно меркнул, но он терпеливо ждал, покуда последний луч не погаснет у ног, и, когда последний луч у его ног угасал, подносил ко рту ладони и посылал вперед, в бескрайний простор и тишину, гортанный клич — продолжая идти, потупясь, Мод оживляла бесплотную тень движением его ладоней, подносимых ко рту, а молчание тени наполняла гортанным кличем, торжественно воспаряющим в небо над изумрудной долиной, устланной первыми тенями ночи,— при этом звуке со всех концов пастбища срывались пастухи и, похоже крича своими еще детскими голосами, принимались сгонять в кучу разбредшихся по лугу коров, день заканчивался, все возвращались в деревню, все уходили, только он оставался в своем шалаше, а когда однажды вечером спустился вниз... тень, которая по-прежнему сопутствовала Мод своим молчанием, потому что Мод шла, упорно не подымая глаз, тень, подобно ей опутанная сетью, сотканной из теней пущи и бликов незримого солнца, вдруг налилась почти ощутимой телесностью: он хрупок и невысок, ненамного выше меня, всегда в короткой, до колен, полотняной тунике, оставляющей открытыми ноги и шею, у него каштановые с золотистым отливом волосы, слегка вьющиеся над высоким лбом, я люблю его улыбку, которая не улыбка даже, а как бы робкое ее обещанье, его улыбка открывает передо мной царство небесное, душою и телом своим он открывает царство небесное, я всегда могла молиться ему, как небесам... когда тень, сопутствовавшая Мод, вдруг налилась почти ощутимой телесностью, она увидела его: он был бледен той чистой и вдохновенной бледностью, которая кажется отражением особого внутреннего света, побледневший, он сходил с холма, который возвышался над пастбищем на краю леса, потом она увидела его пастухов среди, онемевших от изумления, столь странным было его среди появление них, тогда он впервые сказал: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы дети христианские не оставили милостью своей и милосердием в руках нечестивых турок пребывающий город Иерусалим... исповедник сказал: мне кажется, дитя мое, что и сейчас, когда тебе предстоит открыть душу Богу, ты больше думаешь о своей любви, нежели о том, что говоришь с Всевышним, тень Жака внезапно изменила очертанья, он поднял голову,— подумала Мод,— и посмотрел на небо, я никогда не увижу неба его глазами, никогда не узнаю, что́ он своими глазами видит, и сказала тихо: да, отец, это правда, сейчас, когда мне предстоит открыть душу Богу, я все равно больше думаю о своей любви, нежели о том, что должна открыть душу Богу, ты любишь свой грех? я люблю Жака из Клуа, отец, а он? я люблю его, отец, и потому не умею читать его мысли, сколько я себя помню, он рос вместе со мной и сестрой в доме моего отца, но, должно быть, всегда, сколько себя помню, я любила его, так как никогда не умела читать его мысли, я не знаю, что он думает, мне неведомы его мысли, но я знаю, что он никогда не полюбит меня иначе, чем названую сестру, в тот день, когда он наконец вышел из шалаша, а до того три дня оттуда не выходил и не откликался, сколько мы его ни звали и ни упрашивали, так вот, в тот вечер, когда он вышел из шалаша и спустился к нам и сказал: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, во искупление зла, в бездушном ослеплении содеянного рыцарями, герцогами и королями, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием в руках нечестивых турок пребывающий город Иерусалим, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут

сотворить деянья, и, когда потом, среди мертвой тишины, он сказал: сжальтесь над Святой Землей и одиноким Гробом Господним, я поняла, что он никогда меня не полюбит, потому что Бог призвал его к великим делам и он им отдал свое сердце, значит, ты так и не призналась ему в своей любви? когда я одна, отец, я могу вести с ним долгие, откровенные и даже дерзкие разговоры, нахожу для него наипрекраснейшие слова, но подле него мужество меня покидает, и все мысли и чувства, которые я мечтаю ему открыть, замирают во мне в тревожном молчанье, я никогда не говорила ему, что его люблю, и никогда не скажу, так как поняла, что Бог призвал его к великим делам, более важным, чем моя любовь, моя любовь принадлежит только мне, это только моя любовь, а он, избранный Богом для достиженья великих целей, принадлежит всем детям, которые послушались его зова и последовали за ним либо последуют завтра, Бог словами Жака и через него возвестил нам всем, что нужно делать, и в ту же ночь мы отправились в путь, чтобы вызволить город Иерусалим из рук нечестивых турок, мы уходили ночью под звон колоколов и плач матерей, в распахнутых настежь хлевах надрывно мычали коровы, потому что, пригнав с пастбища, мы забыли на ночь их подоить, и тогда, когда у нас, покидающих отчий дом, собравшихся вокруг Жака и готовых пуститься в далекий путь, полный тайн и неизвестных опасностей, в далекий путь, в неведомом конце которого вырастали будто во сне громадные стены и ворота Иерусалима перед самой одинокой из всех, какие только есть на земле, могилой, осквернённой насилием, заточенной в неволю, тогда, отец, когда у нас бешено колотились сердца, потому что только так, учащенным и взволнованным биеньем сердец, мы могли говорить о неведомом дальнем пути, открывшемся перед нами в ту нежданную ночь, тогда, среди тьмы, звона колоколов, плача наших матерей и рева изнемогающих от избытка молока коров Жак велел нам разойтись по домам, чтоб в последний раз выдоить порученных нашим заботам коров, лишь после этой последней дойки мы отправились в путь, и в ту ночь я впервые воззвала к доброте и милосердию Иисуса, моля простить меня за то, что я покинула родительский дом, мать и отца не из любви к Нему, а связанная и переполненная иной любовью, Мод продолжала идти, потупясь, и ей показалось, что босым и отекшим стопам идущего рядом старого человека все трудней и трудней ступать по земле, что, соприкасаясь с землей, они задерживаются на ней дольше, чем прежде, словно это приносит необходимое им облегченье, старый человек заговорил, и его голос тоже показался ей очень усталым: дитя мое, бедное заблудшее дитя, ты веришь, что вам, неискушенным, не имеющим иного оружия, кроме вашей невинной юности, удастся совершить то, чего за последние годы совершить не сумели сильнейшие мира сего, рыцари, герцоги и короли? веришь, что вы в самом деле сумеете вызволить поруганный Гроб Господень из рук неверных? верю, отец,— сказала она, не повышая голоса, но с безмятежной уверенностью,— я верю, что Жак приведет нас в далекий Иерусалим и в один прекрасный день, не знаю, когда он настанет, может быть, через месяц, а может быть, через год, но непременно настанет, день, когда перед нами Иерусалим распахнет врата и мы войдем в них, чтобы уже навсегда спасти от насилья, освободить из неволи неверных Гроб Господень, я верю, отец, что такой день настанет, хотя не знаю, через месяц это будет или через год, старый человек приостановился на мгновение, подумал: сделай так, милосердный Боже, чтобы никогда не сбылся мой ужасный сон, он стар и устал,— подумала Мод,— вряд ли ему хватит сил вместе с нами дойти до Иерусалима, только мы вслед за Жаком в один прекрасный день вступим в его врата, а теперь он должен меня благословить, не оставит же он меня с моей любовью, как со смертным грехом, не любовь моя — грех, а то, что только ей я могу служить, ей, а не той, высшей, люб-

ви, которой служит Жак, если старик благословит меня и простит мой грех, я останусь со своей любовью, но не во грехе, она почувствовала себя очищенной этой минутой прощения, минутой, которая еще не наступила, но вот-вот должна была наступить, и подумала, вдруг охваченная страшным волнением: когда придет долгожданный день и перед нами распахнутся врата Иерусалима, распахнутся легко и беззвучно, потому что будет нас тысяча тысяч, и все колокола будут звонить, тогда, едва мы приблизимся ко Гробу Господню, навечно избавленному от насилия и неволи, он подойдет ко мне, возьмет мою руку в свою и скажет: тебе, дорогая Мод, я обязан тем, что дети из Клуа выслушали меня и пошли за мной, ты первая поверила мне и встала рядом, ты все время была со мной, и сейчас, когда наконец свершилось то, к чему меня призвал Господь, я могу сказать тебе, Мод: я тебя люблю, я всегда тебя любил, Мод, вначале я любил тебя как сестру, но давно уже люблю как мужчина женщину, я люблю тебя, Мод, люблю только тебя, милая, светик мой, ласточка моя, глаза Мод налились слезами, и она уже не видела ни босых отекших ступней исповедника, ни бесшумно плывущих рядом отблесков и теней, ни даже собственных ног и скорее почувствовала, чем заметила, движение большой и тяжелой руки, начертавшей над ее головой знак креста, отпускаю тебе, дитя мое, твои грехи,— усталым голосом произнес он,— и не требую покаянья, ибо кажется мне, если я хоть что-нибудь смыслю в людских делах, что твоя любовь и без того тяжкий крест, да сжалится над тобой всемогущий Бог и да позволит он, чтобы Христос, ко гробу которого ты идешь, занял главное место в твоей душе, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, Мод, по-прежнему с глазами, полными слез, наклонилась, чтобы поцеловать руку старого человека, большую натруженную руку, покрытую огрубелой, шершавой и жесткой кожей, целуя эту огрубелую, шершавую и жесткую руку, она подумала: сейчас он уйдет, и я останусь наедине со своей любовью, исповедник, уже чужой и далекий, продолжал идти вперед, с трудом переставляя босые ноги, а она стояла на месте одна, уже оторвавшаяся от этого человека, но еще не замешавшаяся в толпу теней, которые постепенно становились живыми людьми, она подумала: он возьмет меня за руку, и тотчас, уже не видя теней, но чувствуя себя окруженной живыми телами, подумала: этого никогда не случится, он никогда меня не полюбит, она увидела, что мимо ровным, спокойным шагом проходит Робер, увидела его сильные руки и короткие темные волосы, он весь был воплощенье надежности, уверенности и покоя, я никогда не полюблю его,— подумала Мод едва ли не с сожаленьем, и тут ей вспомнился недавний вечер, когда она тщетно упрашивала Жака прийти в Клуа, потому что той ночью в деревне должны были играть свадьбу ее сестры Агнессы, они стояли у шалаша, на лугу перекликались сгоняющие с пастбища коров пастухи, в глубине леса закуковала кукушка, я тихо сказала: я думала, ты хоть немного любишь меня, он сказал, улыбнувшись: я тебя люблю, снизу донесся голос Робера, Мод! крикнул он, тебя зовет Робер,— сказал Жак, я воскликнула: ох, Жак, почему ты не такой, как все? он смотрел на меня, словно не понимая, что я хочу сказать, ты всегда такой задумчивый и далекий,— сказала я,— ты не любишь людей? люблю,— ответил он, но ты сторонишься их, почему? он уже не смотрел на меня, смотрел куда-то вбок, потом сказал: не знаю, тебе не скучно всегда одному? — спросила я, он едва заметно покачал головой, и грустно тебе не бывает? иногда,— сказал он, все еще глядя вбок, опять Робер крикнул: Мод! он ждет тебя,— сказал Жак, тогда я подумала: он никогда меня не полюбит, и, испугавшись, что расплачусь, повернулась и бросилась бежать, Робер ждал на краю пастбища, я пробежала мимо него и остановилась лишь, когда он меня догнал и схватил за руку, мы шли молча, не глядя друг на друга, Робер сказал: Мод, я хотела вырвать руку, но он

только крепче ее сжал, я люблю тебя, Мод,— сказал он,— и никогда не перестану любить, он шел ровным шагом, сильный, сосредоточенный, от него веяло спокойствием, и в том, что он говорил, были уверенность и покой, у него была теплая сильная рука, рядом с ним я могла б ничего не бояться, я сказала шепотом, чтобы своими словами не так больно ранить его: я не могу тебя любить, Робер, он помолчал, потом сказал: знаю, но я тебя люблю и буду ждать до тех пор, пока и ты меня не полюбишь, тогда я остановилась с колючей льдинкой в сердце, нет,— воскликнула я,— я никогда не перестану его любить, уже последних коров согнали с луга, голоса пастухов отдалялись, мы были одни в тишине и пустоте, он не мог не почувствовать, что моя рука дрожит, идем,— сказал он,— холодает, и вот теперь он шел впереди, обогнав ее на какие-нибудь пять-шесть шагов, она видела его ладную фигуру, излучающую покой и надежность, видела его обнаженные руки и короткие темные волосы, он шел своим обычным, спокойным и ровным шагом, не ощущая усталости, потому что настороженное внимание, владевшее им, вытеснило усталость, он шел рядом со старым исповедником, и перед ними не было никого, только лесная просека, ставшая их общим путем, лесная просека, поросшая травой и стиснутая громадными стенами леса, лишь теперь, когда впервые после ухода из Клуа он оказался во главе похода и никто не заслонял от него дороги, которую им предстояло пройти, ему отчетливо представилась длинная вереница дней и ночей в их равнодушном течении, и едва успев об этом подумать, он понял, что дни и ночи, которыми будет отмеряться их нескончаемый путь, не принесут унылого смирения, напротив, в жару, когда над ними, лишенными даже клочка тени, будет пылать небо, в удушливую жару, под проливным дождем и в грозу, бушующую над беззащитным пространством, под неутишным дождем и при прочих напастях, каких можно ждать от земли и неба этих дней и ночей, дни и ночи эти в своем бесчисленном множестве будут преследовать их и мучить, лишь изредка одаряя снисходительной благосклонностью, чтобы после кратких часов покоя и облегчения вновь бросить на произвол стихий, Робер подумал о Мод, об ее нежных ступнях и ладонях, они не беспомощны,— подумал он,— но и не так уж сильны и не привычны к трудам, он подумал об ее девичьих плечах, выглядевших и слишком нежными и слишком слабыми, чтобы можно было оставить их без защиты во власти зноя, ливней и гроз, и опять подумал о маленьких девичьих ступнях Мод, шагающих по камням и пескам, по бесплодной и твердой, выжженной жарким солнцем земле, и потом только, решительно отогнав эти мысли, заговорил вслух: мой отец, Филип из Клуа,— мельник, мельница наша старая, прочная и очень красивая, во всей округе другой такой не сыскать, мой прадед был мельником, мой дед был мельником, отец мельник, и я тоже должен был стать мельником, мне уже пятнадцать лет, и я у отца единственный сын, старшие братья поумирали, я всегда думал, что до конца жизни буду молоть на своей мельнице зерно и когда-нибудь, через много лет, мое место займет мой сын, но наступил день, когда я вынужден был покинуть отца, хотя он стар и нуждается в помощи, не хотелось мне быть плохим сыном, но пришлось им стать из любви к девушке по имени Мод, дочке кузнеца Симона из Клуа, я поступил так, как поступил, отец, иначе я поступить не мог, потому что больше всего на свете люблю Мод, я люблю ее, хотя она меня не любит, она хрупкая и нежная, у нее маленькие, нежные ступни, уже сейчас, хотя мы всего лишь пятую неделю в пути, я вижу в ее глазах усталость, кто бы оберегал ее от непосильных трудов, кто бы о ней заботился, если б меня не было рядом? я не мог поступить иначе, поверь, и, не желая того, вынужден был своим уходом причинить страшную боль родному отцу, я понял тогда, что любви обязательно сопутствует страдание, не любить нельзя, но, если любишь, любовь расщепляется

на любовь и страдание, последний раз я видел отца в ту ночь, когда мы покидали родную деревню, он ни в чем не упрекал меня, не пытался удерживать силой, просто стоял, сгорбившись, понурив голову, в дверях нашей мельницы, я стоял от него в двух шагах, мы ни о чем не говорили, но он уже все знал, в нашей церкви звонили все колокола, мы долго стояли рядом, так близко, что мне казалось, я слышу биение его старого и усталого сердца, внезапно он поднял голову, положил руку мне на плечо и сказал не громко, хотя и не очень тихо: Робер, только одно это слово сказал, но я понял, что одним этим словом он хотел мне сказать все, и я снял его руку со своего плеча, поцеловал ее и сказал: я должен идти, отец, и ушел в ночь, в темноту, наполненную звоном колоколов, которые так звонят у нас только на похоронах и на свадьбах, а теперь звонили, не знаю, к свадьбе или к похоронам, звонили, потому что в нашей деревне случилось что-то такое, чего прежде никогда не случалось там, да и нигде на свете, наверно, тоже, и чего я, хоть и подчинился этому из любви к Мод, понять не мог, думаю, отец, в ту ночь, когда мы покидали свою родную деревню, и свои дома, и своих матерей и отцов, никто из нас этого не понимал, кроме, быть может, одной только Мод, мы не понимали, что приключилось с Жаком, почему он три дня не выходил из своего шалаша, и ни с кем из нас не хотел говорить, и никого не впускал в шалаш, он всегда немного отличался от нас, был не просто самый красивый из мальчиков, но и вообще не такой, как все, мой отец говорил, это оттого, что он сирота, и хотя он с пеленок рос среди нас, кем были его родители, никто не знал, еще жив старый ключарь, который нашел его пятнадцать лет назад в корзинке на церковной паперти, его тогда окрестили и нарекли Жаком, потому что как раз был день святого Иакова, кузнец Симон, отец Мод, взял его к себе, и у них он рос, сколько я себя помню, Жак всегда отличался от нас, его называли Жаком Найденышем, он никогда не любил общих забав, предпочитал одиночество, а если играл с нами, то так, будто был и среди нас, и одновременно где-то еще, но все равно мы любили его, потому что он был очень красив, и улыбался застенчивой, но чарующей улыбкой, и, когда говорил, мягким и мелодичным звучанием своего голоса завораживал всех, нельзя было его не любить, год как он был старшим над пастухами из Клуа, но с каждым днем все меньше времени проводил с нами, перестал вместе со всеми возвращаться на ночь в деревню, построил себе шалаш на опушке леса, высоко над нашими прекрасными пастбищами, и в этом шалаше ночевал, но ложился, должно быть, поздно, потому что многие из нас часто видели, как уже за полночь перед его шалашом горел одинокий костер, даже недавно, когда вся деревня гуляла на свадьбе Агнессы, старшей сестры Мод, Жак к нам не пришел, вот почему мы ничего не могли понять, когда он, после того, как три дня никого не хотел видеть и ни с кем не хотел говорить, вдруг вечером вышел из своего добровольного заточения, мы увидели его таким, каким привыкли видеть всегда, когда с заходом солнца наступало время сгонять с луга коров, он стоял перед шалашом, распрямив плечи, уперев руку в бедро, солнечный свет, заливавший его, медленно меркнул, а он ждал, покуда последний луч не погаснет у ног, но если обычно в эту минуту подносил ко рту ладони, чтобы исторгнуть из себя гортанный клич, знак, что нам пора сгонять с луга коров, в тот вечер он не поднес ладоней ко рту и мы не услышали его голоса, он стал неторопливо спускаться по отлогому склону к нам, стоящим внизу, хорошо помню, что он был бледен как полотно, я знал: что-то произойдет, но не представлял, что́ может произойти, мы забыли, что пора сгонять с луга коров, стояли молча, и так продолжалось долго, мы очень долго его ждали, потому что чем ближе он подходил, тем медленней шел и тем бледней становился, казалось, вся кровь отхлынула у него от лица, наконец, в гробовой тишине, он подошел и

встал среди нас, мы уже поняли: он хочет что-то сказать, и обступили его, не помню, чтоб когда-либо раньше мне доводилось слышать такую же тишину, какая была тогда, и в тишине этой, не глядя на нас, он заговорил, ты уже наверно знаешь, отец, что́ он тогда сказал, его слова до сих пор живут в нас и с нами рядом, мы знаем их наизусть, мы могли бы их повторить, разбуди любого из нас посреди глубочайшего сна, но, хотя мы знаем эти слова наизусть, не уверен, что понимаем их, они выше нашего понимания, эти слова, тогда же, когда он произносил их среди нас и для нас, четырнадцати пастухов и пастушек из Клуа, мы понимали еще меньше, чем понимаем сейчас, когда они превратились в простирающийся перед нами путь и в далекую цель, которая недоступна была воображению, но все же стала для нас целью, и теперь представляется нашим взорам воротами и стенами чужого города, под чужим небом в чужом краю, тогда, бледный, не глядя на нас, обступивших его, он говорил об искуплении зла, в бездушном ослеплении содеянного рыцарями, герцогами и королями, и призывал нас, поскольку никто, кроме нас, не слышал его, не оставить милостью своей и милосердием пребывающий в руках нечестивых турок город Иерусалим, да еще сказал, что Господь всемогущий нас избрал, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, и, сказав все это, непонятное и непостижимое, умолк; а потом очень тихо, голосом, в котором была уже только усталость и мольба, проговорил: сжальтесь над Святой Землей и одиноким Гробом Господним, когда же все это было сказано и снова настала тишина, сродни той, какая была, когда он подошел и встал среди нас, я подумал, отец, и готов поклясться, что о том же подумали остальные, я подумал: бедный, несчастный Жак, он помешался в своем затворничестве, его убила гордыня, будь моя власть, я дал бы отсечь себе руку, лишь бы не допустить того, что произошло, я понимал, что второй раз Жак свой призыв не повторит, ибо подвигнуться на такое можно только однажды и либо победу одержать, либо потерпеть непоправимое пораженье, я понимал, что Жак потерпел поражение и через минуту мы в молчании разойдемся, оставив его в плену безумья и одиночества, я уже хотел было подойти к нему и сказать: я провожу тебя до шалаша, ты болен, тебе надо лечь, как вдруг почувствовал прикосновение легкой руки к своему плечу, это была Мод, которая все время стояла у меня за спиной, теперь движеньем руки она заставила меня обернуться к ней, но сама, не глядя в мою сторону, будто вовсе не замечая, прошла мимо, подошла к Жаку, остановилась и замерла молча, я хотел крикнуть: не делай этого, Мод, но не успел открыть рта, как она повернулась к нам, взяла руку Жака в свою и, с таким же бледным, как у него, но более прекрасным, чем когда-либо прежде, лицом, которое в ту минуту было подобно лику святой, с глазами, наполненными светом, яркое сияние которого казалось воистину неземным, заговорила, я не помню ни единого слова из того, что она сказала, думаю, и она сама, и Жак, и все остальные тоже этих слов не помнят, никто никогда их не повторял, однако же именно они, забытые всеми и даже ею самой, привели нас на эту дорогу, они, эти забытые ныне слова, оказались подобны брошенному в воду камню, который, исчезая сам в глубине, оставляет на поверхности расходящиеся круги, это Мод совершила чудо, которое не сумел совершить Жак: подойдя к нему и заговорив, она спасла безумца от поражения и превратила его безумие в назначение, слабость — в силу, сейчас этого уже никто не помнит, а я помню, так как пережил за несколько минут больше, чем за всю предыдущую жизнь, и, если можно заглядывать в будущее, увидел в тот миг, что́ нас ждет впереди потом, хотя во мне были только мрак и отчаяние, ни крупицы надежды и веры, только отчаяние и мрак, ибо в тот час и моя любовь к Мод была лишь отчаянием и мраком, потом, когда

Мод кончила говорить, я подошел и встал рядом с ними, рядом с Жаком и Мод, и нас уже стало трое, а спустя еще минуту, которая пролетела быстрее самых быстротечных минут, рядом с нами стояли все, одни позже рассказывали, что увидели в тот момент гигантскую молнию, прочертившую в безоблачном небе огненный след, иные же почувствовали, что земля содрогнулась у них под ногами, уже смеркалось, когда мы с пением возвращались в Клуа, Жак шел впереди, я шел рядом с Мод, и по-прежнему во мне были только мрак и отчаянье, я еще не сказал тебе, отец, что Мод, которую я люблю, любит Жака, но ее любовь безответна, потом, когда мы с пением приблизились к первым домам, на землю внезапно спустилась ночь и в нашей церкви зазвонили колокола, Робер умолк, а поскольку старый человек в бурой рясе не отозвался ни словом, дальше они шли в молчании, старый человек, тяжело припечатывающий землю своими большими, распухшими ступнями, и подле него Робер, спокойный и сосредоточенный, сдержанный в движеньях, будто нарочно берегущий силы, чтобы телу и разуму легче было справляться с грядущими обязанностями и трудами Робер подумал: через час стемнеет, ночь будет холодной и на землю ляжет роса, если до наступления темноты мы не дойдем до какой-нибудь деревни, придется ночевать в лесу, ночь будет холодной и Мод продрогнет, если б она любила меня, я бы теплом своего тела ее согревал, она могла бы безмятежно спать в моих объятьях, любовью можно заглушить даже голод, сын мой,— сказал старый человек и умолк, точно растерял нужные слова, и опять они шли молча, неожиданно для самого себя Робер подумал: я б не сумел сейчас говорить так, как говорил тогда, сейчас я бы мог сказать и больше и меньше, это было в ту дивную предвесеннюю лунную ночь, когда вся деревня гуляла на свадьбе Агнессы, сестры Мод, просторная поляна вблизи нашей мельницы с трудом вмещала танцующих, несколько бродячих музыкантов подыгрывали им на лютнях и тамбуринах, но Мод не хотела танцевать, она все еще обманывала себя надеждой, что Жак придет, мы стояли поодаль в тени молодого тернового деревца, и я говорил: будь я богат, я собрал бы множество прославленных рыцарей и захватил для тебя неприступный замок, у тебя были бы самые прекрасные наряды и драгоценности, а труверы слагали бы песни во славу твоей красы и доброты, вдруг я заметил, что ее лицо оживилось, сердце мое забилось сильней, но в ту же секунду я понял свою ошибку: Мод смотрела не на меня, она смотрела на подростка, который протискивался между танцующих и хрупким своим сложеньем и светлыми волосами напоминал Жака, однако стоило ему повернуть в нашу сторону голову, сходство с Жаком пропало, у Мод померкли глаза, погодя она тихо сказала: я не добрая, я хотел возразить, но тут Бланш, шедшая мимо своим вызывающим танцующим шагом, внезапно остановилась, вероятно заметив нас, хотя мы стояли в тени терновника, о, это вы,— воскликнула она своим низким гортанным голосом,— почему не танцуете? и подошла, разрумянившаяся, знающая цену своей красоте, пошли потанцуем,— сказала она мне, но я промолчал, и она рассмеялась: не хочешь? эх ты, тютя, все знают, что она без памяти влюблена в Жака, а ты таскаешься за нею, как тень, если б ты был мужчиной, я мужчина,— сказал я,— и поэтому тебя не ударю, она опять рассмеялась и сказала, оборотившись к Мод: знаешь, глупая клуша, что я сейчас сделаю? охота меня взяла на твоего красавчика Жака, а уж коли меня разберет охота, я своего добьюсь, желаю хорошо повеселиться, Мод, сын мой,— сказал исповедник,— я настолько старше тебя, что ты б мог быть моим сыном, если не внуком, слушая тебя, я думал: дай мне, Боже, достаточно силы и мудрости и достаточно веры, любви и надежды, чтобы помочь этому мальчику, отец мой,— тихо проговорил Робер,— я хочу верить, что мы дойдем до далекого Иерусалима, так как хочу быть сильным, сын мой,— сказал

старый человек,— твоя вера... и умолк, потому что подумал: несчастья, страдания, чувство потерянности вызывают желание верить, из этих же отравленных источников рождается сама вера, не дай, Господи, чтоб когда-нибудь сбылся мой ужасный сон и чтобы мертвая, спаленная солнцем пустыня стала концом пути этих детей: тех, что еще не пробудились для жизни и потому невинны, и тех, что уже изведали первые горести, вера,— сказал он,— великие может творить дела, может горы сдвигать, знаю,— сказал Робер,— поэтому и хочу верить, что когда-нибудь мы войдем в ворота Иерусалима, тут исповедник забормотал привычные слова прощения, после чего, повернувшись к рядом идущему всем своим большим грузным телом, поднял натруженную ладонь для благословенья, и, когда чертил над головой мальчика знак креста, взгляды их на мгновение встретились, он, верно, много страдал,— подумал Робер, ему еще много страдать,— подумал старик, Робер остановился, а тот продолжал идти вперед, сгорбленный, одинокий, теперь ты,— услышал Робер за спиной голос Алексея Мелиссена, и его обогнала Бланш, она шла к исповеднику неторопливым, нарочито вызывающим шагом и здесь, на этой лесной дороге, казалась чужой и особенно, намеренно вызывающей, на ней было платье из тяжелого светло-зеленого шелка, густо затканное золотой нитью, поверх платья пурпурный расширяющийся книзу блио без рукавов, рябь теней и солнечных пятен трепетала на пурпуре ее верхней одежды и на свободно ниспадающих на пурпурную ткань волосах, это богатство тканей и красок не сковывало ее движений, она держалась непринужденно, словно рождена была в роскоши, и вместе с тем вызывающе, так как это было у нее в крови, приближаясь к одиноко идущему теперь уже всего лишь на шаг впереди человеку, Бланш думала: хочу, чтобы поскорей наступила ночь, я его ненавижу, но не тогда, когда он со мной это делает, потому что он делает это лучше, чем все другие, с кем я спала, он входит в меня стремительно, но потом остается долго, ровно столько, сколько нужно мне и ему, он молчит, и я знаю: входя в меня, он думает не обо мне и не меня хотелось бы ему обнимать, но ведь и я, когда он входит в меня, да и потом, все время, тоже думаю не о нем, мы оба это знаем и потому можем быть вместе так долго, а затем ненавидеть друг друга, однако, когда наступает ночь, снова, сорвав с себя одежды, соединяться без взаимной любви, зато связанные и порабощенные общей любовью, слушаю тебя, дитя мое,— сказал старый человек, Бланш внимательно оглядела его большие отекшие ступни, затем, отступив немного, пробежала взглядом по грубому жесткому сукну его бурой рясы, он шел, не глядя на нее, засунув в рукава рясы кисти рук и слегка склонив голову, о чем рассказывать этому старому хрену? — подумала Бланш,— он стар, грязен и смердит, как душной козел, она увидела себя бегущей по пастбищу, залитому лунным светом, вот о чем я ему расскажу,— усмехнулась недобро, но продолжала молчать, видя себя бегущей по пастбищу, он преградил ей путь, когда она подбегала к березовой роще, вырос перед ней так неожиданно, что, не будь неподалеку привязан к дереву рослый белый скакун, которого она заметила чуть погодя, Бланш бы подумала, что видит сон или на нее нашло наваждение, никогда прежде он ей не встречался, правда, поняв, что это не сон и не наваждение, она мгновенно вновь обрела уверенность в себе, незнакомец был темноволос и широкоплеч, крепкого сложенья, с угрюмым смуглым лицом, одежда его состояла из короткой серебристой туники, облегающих ноговиц из зеленого полотна и кожаных полусапожек, у пояса висел короткий меч, он прогнал тебя,— услышала Бланш и, защищая свою раненную любовь, невольно воскликнула: нет! потом, уже спокойно, спросила: откуда ты знаешь? он усмехнулся презрительно и своим низким, чуть хрипловатым голосом повторил: он тебя прогнал, она не могла удержаться, чтоб не спросить: ты знаешь девушку, с кото-

рой он спит? он не ответил, беззастенчиво ее разглядывая, она красивей меня? — спросила Бланш, а поскольку он продолжал молчать, сказала, глядя прямо в его темные хмурые глаза: сможешь сделать так, чтобы я перестала о нем думать? тогда он взял ее за руку, сжал пальцы так крепко, что она коротко вскрикнула, и потянул ее за собой в тень, она увидела расстеленный на траве пурпурный плащ, раздевайся,— сказал он, она знала, что сделает это, и все же спросила: кто ты такой? раздевайся,— повторил он, я лежала нагая на пурпурном плаще, никогда прежде мне не случалось лежать на ткани, столь приятной на ощупь, я слышала, что он раздевается, но спокойно, неторопливо, слышала шуршанье сбрасываемых наземь одежд, глаза мои были открыты, и, когда он ступил босыми ногами на плащ и встал надо мной, я увидела его во всей его наготе, тогда я еще не знала, что и тело свое, и свою мужскую силу он жаждет подарить не мне, стоя надо мной, обнаженный, он сказал: он тебя прогнал, еще никогда в жизни я так не желала Жака, как в ту минуту, я сказала: сделай, чтоб я не думала о нем, и тогда он в меня вошел, а когда, уже после всего, лежал рядом, подложив руку под голову, спросил: ты о нем думала? я ответила: да, я думала о нем, и я думал о нем,— сказал он,— знаешь, кто у него в шалаше? я промолчала, и он погодя немного сказал: господин мой и покровитель, граф Людовик, владелец всей этой земли, граф Шартрский и Блуаский, после чего, без единого слова, закрыв глаза, обнял меня и снова в меня вошел, дитя мое,— сказал старый человек,— кроме молчания, тебе нечем поделиться со мной? Бланш выпрямилась и нарочно сменила шаг, поплыла в такт неслышимой музыке: я не просила тебя, старик, выслушивать мои признанья, значит, ты хочешь уйти, не исповедавшись и не получив прощения? она беззаботно рассмеялась, сказала: я это сделаю, тебя не спросясь, и, обернувшись на миг, увидела медленно, почти незаметно для глаза движущуюся толпу, тысячу светлых и темных голов, одна подле другой, белизну девичьих платьев и мальчишечьих домотканых холщовых туник, а над ними черные кресты, хоругви и разноцветные образа, было тихо и только где-то далеко, в невидимых задних рядах, коротко, на высокой ноте звякнул, от неосторожного, видно, движения, колокольчик, Бланш вдруг показалось, будто все, что она в эту минуту видит, ей только снится, и достаточно поднять руку или вздохнуть поглубже, чтобы пробудиться в ином мире, но не успела она этого сделать, как увидела Алексея, он стоял в двух шагах от нее, и его лицо было таким же тревожно-угрюмым, каким она привыкла видеть его еще ближе и неизменно над собой склоненным, когда сама она, широко раскрытыми глазами глядя в это лицо, столь же знакомое, сколь и чужое, покорно отдавалась его грубой и порывистой мужской силе, Бланш остановилась и замерла, он сжал ее пальцы и сказал: почему ты не исповедуешься? пусти,— сказала она, он еще сильней сжал ее пальцы, пусти,— повторила она,— я не хочу исповедоваться, но все же, подчинившись ему, попятилась и опять в какое-то мгновенье увидела поверх темноволосой головы Алексея недвижные черные кресты, хоругви и образа, а над ними тучу желтых пылинок, трепещущих между тенями пущи и пробивающимися сквозь деревья отблесками заходящего солнца, иди к нему,— сказал Алексей таким же, приглушенным и хрипловатым, голосом, каким говорил: раздевайся; пусти,— повторила она, и тогда он сказал: убью, как собаку, если не исповедуешься и не получишь прощенья, лги, но будь такая, как все, и вот она опять оказалась рядом со стариком, который смердел, точно душной козел, и медленно, задумчиво и смиренно припечатывал большими отекшими ступнями землю, увлажненную предвечерней росой, он знает обо мне все,— подумала Бланш,— он смердит, точно душной козел, и знает обо мне все, прости, отец,— она чувствовала, что голос ее как никогда чист,— прости меня за резкость и высокомерие, мой голос,— думала она,

пенье, моя грудь несказанно красива, ни у одной другой девушки не увидеть такой, я умею любить и принимать в себя мужчину так, что ни одна другая девушка в этом не сравнится со мной, прости, отец, что я так вела себя, но, очутившись рядом с тобой, я растерялась, мне стало страшно, что не столько в своих придется признаваться грехах, сколько говорить о прегрешениях других людей, не спрашивай у меня, отец, имена этих людей, я знаю, что сама обязана их тебе назвать, мой жених и будущий супруг, если всемогущий Бог дозволит нам обоим когда-нибудь предстать перед гробом Господа нашего Иисуса Христа, мой будущий супруг и повелитель, граф Шартрский и Блуаский, граф Алексей Мелиссен Вандомский, минуту назад подбодрил меня и рассеял сомнения, убедив, что нельзя скрывать то, о чем известно мне и что прежде всего должно быть открыто тебе, отец, а если ты посчитаешь нужным, то и всему свету, так вот, отец, я обязана сказать тебе, и это правда, клянусь, это правда, спасеньем души клянусь, что тот, кто считает себя посланником божьим и таковым же видится идущим за ним невинным детям, клянусь, что человек, зовущийся Жаком из Клуа, говори о себе, дитя мое,— сказал старый человек, отец, я одна знаю, что Жак давно уже лишился невинности, ни чистым, ни невинным его нельзя назвать, он не такой, каким хочет казаться и каким кажется, ночи его развратны, это ночи греховных плотских утех, дочь моя,— опять сказал старый человек, я говорю правду, клянусь, отец, что я говорю правду, недавно, когда вся наша деревня гуляла на свадьбе Агнессы, сестры Мод, поздней ночью я побежала к Жаку в шалаш уговорить его прийти на гулянье, я окликнула его, подойдя к шалашу, потом, решив, что он спит, окликнула снова, и тогда он вышел из шалаша в чем мать родила, у него хватило бесстыдства показать мне свою ничем не прикрытую наготу, замолчи,— сказал вполголоса исповедник, а в его шалаше, я отлично видела, на его убогой постели лежала Мод, которая строит из себя невинную девочку, замолчи! — на этот раз голос старого человека, хотя и по-прежнему приглушенный, прозвучал так твердо, что Бланш прикусила язык, она подумала: старый вонючий козел знает обо мне все, почему ты велишь мне молчать? — спросила она,— не хочешь выслушать мою исповедь? не хочу слушать твое вранье,— ответил он, с чего ты решил, что это вранье? я знаю, что́ ты обо мне думаешь, ты думаешь, я лживая, суетная и распутная, но сейчас я скажу тебе чистую правду: если бы Жак меня полюбил, ни лживой, ни суетной, ни распутной я б не была, исповедник помолчал немного, потом сказал: нет таких людей, которые бы с первого своего и до последнего шага умудрялись быть только и безнадежно плохими, бывает, что человек, утратив последние иллюзии и надежды, умерщвляет в себе человека, можно, мгновенно уничтожить в себе человека и остаться живым, но чтобы убить в себе потребность в любви и потребность в надежде, нужны долгие трудные годы, ведь утопающий хватается даже за воздух, даже за воду, и потому, если человек еще не окончательно себя умертвил и в нем, в темной пучине зла, теплится хотя бы крохотный огонек тоски по добру и потребности в добре, он склоняется над этим слабеньким огоньком, дабы в час одиночества согреть себя надеждой и уверовать: то, что сегодня бессильно и хрупко, может со временем вспыхнуть и воссиять, возможно, я ошибаюсь, несчастная дочь моя, но, боюсь, если б Жак когда-нибудь тебя полюбил, не ты б перестала быть лживой, суетной и распутной, а он бы стал суетен, распутен и лжив, Бланш усмехнулась: ты считаешь, я настолько сильна? я думаю, ты очень несчастна, ошибаешься, отец, я вовсе не чувствую себя несчастной, посмотри на меня, разве такой у несчастных вид? не взглянув на нее, исповедник сказал: человек, который заблудился в чужой, незнакомой местности и понимает, что заблудился, начинает искать правильный путь, у того же, кто, заблудившись, знать не знает, что потерял верное направленье, впереди нет ни-

чего, верное направленье!— воскликнула Бланш,— скажи мне, что́ это, верное направленье, где оно, верное направленье? не знаю,— подумал старый человек и сказал: Бог, тогда она подумала: скорей бы уж наступила ночь, он подойдет, когда я буду лежать, притворяясь спящей, а всех вокруг уже сморит сон, скажет негромко: пойдем, и я встану и пойду за ним, мы будем идти крадучись, чтобы никого нечаянным не разбудить, пока наконец не окажемся в таком месте, где вокруг будет пусто и мы будем совсем одни, он расстелет на земле свой пурпурный плащ, мы разденемся молча, так как ни мне, ни ему не нужны слова, я знаю, о чем он думает, и он знает, о чем думаю я, он войдет в меня стремительно и грубо, наслаждение соединит наши тела, мы ж, наслаждаясь, будем думать в телесном слиянии: я, что не он дарит мне блаженство, он, что не мне его предназначает, клянусь, отец,— сказала Бланш,— я бы стала совсем другой, если б Жак захотел меня полюбить, ни лживой, ни суетной, ни распутной больше бы не была, вытравила бы из себя лживость и суетность, и всякое непотребство, все, что во мне есть дурного, вытравила бы, если б только Жак меня полюбил, потому что я люблю Жака и в своей любви к нему тоже могу поклясться, я люблю его, потому что он чист и невинен, он лучше меня, другого такого нету на свете, но люблю я его и потому еще, что он недоступен, все, что я говорила о нем, неправда, я солгала, что тогда, в ту ночь, Мод была у него в шалаше, никого у него в шалаше не было и обнаженным он оттуда не выходил, я хотела ему отдаться, но он не захотел, потому что невинен и чист, он недоступен, порой я сама уж не знаю, чего хочу больше и что подогревает мою любовь: страстная жажда его тела и его ласк или скованность его недоступностью, неволя, в которую толкнуло меня собственное мое естество, или что-то еще, что ускользает от моего разумения и сильней моего естества, я рабыня, рабство мое у меня в крови, внезапно Бланш уловила какое-то волнение в движущейся за ее спиной толпе, услышала звук, похожий на вздох удивления, а может быть, облегчения, вырвавшийся разом из тысячи уст, подумала: они прогонят меня, если мне не будет дано отпущение грехов, и тут, подняв в смятенье глаза, увидела впереди и вокруг необъятное небо, по всему горизонту затягивающееся тяжелыми темными тучами, под небесным сводом, неожиданно вырвавшаяся из плена недвижных стен пущи, широко раскинулась плоская равнина, придавленная грозной тенью тяжелых туч, Бланш увидела короткую торопливую вспышку молнии, пронзившей застылую громаду туч, а внизу зеленые озерца и одинокие деревья, ее окатило волной воздуха, и он показался ей легче и вольнее, чем воздух, которым она дышала до сих пор, дорога сбегала вниз, туда, где посреди плоской равнины неподвижно зеленели зеленые озерца и из серой и неподвижной земли вырастали одинокие деревья, опять нетерпеливая молния вклинилась между клубящихся облаков, черная воронья стая, сорвавшись с крайних деревьев на опушке леса, черной тучею низко, над самой землей, летела к зеленым озерцам, где-то в далекой дали прокатился далекий гром, Бланш снова заговорила, на этот раз еще торопливее: я солгала, сказав, что Алексей Мелиссен мой будущий супруг и повелитель, он не жених мне и не возлюбленный, он мне все равно что брат, которого у меня никогда не было, а я ему все равно что сестра, которой он тоже никогда не имел, так как был совсем еще мал, когда в городе, который называется Византия, погибли на великой войне его отец и мать, а его самого, круглого сироту, увез с собой во Францию граф Людовик и многие годы, вплоть до недавней своей кончины, осыпáл милостями, и, не имея собственных детей, сделал единственным наследником, с Алексеем Мелиссеном мы повстречались однажды возле ручья, который течет неподалеку от нашей деревни, я собирала молоденькие калужницы, чтобы свить

венок на алтарь святого Иакова, в нашу церковь, он ехал на белом, невероятно красивом коне, потом я от него узнала, что в далекой Андалузии рождаются такие кони, он был богато одет, но задумчив и грустен, он спросил у меня дорогу в Шартр, а потом спросил, не хочу ли я поехать с ним и при нем остаться, я сказала тогда, что не могу этого сделать, так как сердце мое занято другим, в ответ он посмотрел на меня долгим взглядом и затем сказал: мое сердце тоже не свободно, как же я могу с тобой поехать и при тебе остаться? на что он ответил: мы будем с тобой как брат с сестрой и сестра с братом, я, как сестру, буду тебя уважать и ограждать от напастей и бед, а ты, как сестра брату, скрасишь мне мое одиночество, я богат, все эти земли до самого небосклона и дальше принадлежат мне, ты поселишься в неприступном замке, у тебя будут собственные покои и собственная прислуга, ты получишь столько нарядов и драгоценностей, сколько пожелаешь, и если тебе такая жизнь покажется никчемной, грошовым камешком, вставленным в дорогую оправу,— не бойся, у нас обоих найдется множество разных дел, не будучи стеснены в средствах, мы станем щедрой рукою сеять вокруг добро, делать все, чтобы облегчать людские страданья, отвращая несчастья, нужду и телесные муки, самоотверженностью своей смягчая жестокость природы, а сверх того, дабы и память великого рыцаря, каким был покойный граф Людовик, в грядущих столетьях увековечить и Всевышнему оказать нашу любовь и благодарность, поклянемся торжественно, что в славном нашем городе Шартре завершим постройку собора, под стены которого, уже сейчас горделиво возносящиеся над домами и площадями, восемь лет назад заложил краеугольный камень граф Людовик, подумай,— сказал он после того, как я выслушала его в молчанье,— поразмысли, сестра моя, надо всем этим, не хочу, чтобы ты принимала решение второпях, не подумав, я вернусь сюда через три дня и тогда ты мне скажешь: да или нет, и с этими словами уехал, а я,— Бланш почувствовала слезы на глазах, а во всем теле упоительно сладостное бессилье, тяжелые тучи на небосклоне взбирались все выше и все бо́льшие пространства неба заволакивали густеющей тьмой, опять вспыхнула молния, прямая, как горящая стрела в полете, и опять глухо заворчал в утробе черных туч гром,— а я, когда он уехал, три дня и три ночи провела в раздумьях, плакала и молилась, то чувствовала себя счастливой, то несчастной, решалась и не могла решиться, пока наконец не настал последний, третий день, и я, поцеловав руки родителям, чуть свет поспешила к ручью, на то самое место, где мне впервые встретился Алексей Мелиссен, едва добежав туда, я увидела катившую по дороге роскошную золотую карету, запряженную шестеркой белых лошадей, и рядом Алексея Мелиссена на вороном скакуне, с его плеч ниспадал пурпурный плащ, когда он ко мне подъехал, я заметила, что лицо его, как и при первой нашей встрече, задумчиво и печально, но в то же время излучает необычный свет, вот мой брат,— подумала я и с той же минуты стала ему сестрой, а он мне — нежнейшим заботливым братом, поэтому и сейчас, когда он решил на долгие месяцы отказаться от жизни в довольстве и покое, чтобы принять участие в крестовом походе в далекий Иерусалим для освобождения Гроба Господня из-под власти поганых турок, в этот многотрудный путь я отправилась вместе с ним: ведь мы, и он, и я, оба порабощенные безответной любовью, поклялись, что всегда и в любую минуту, в доле и недоле, в роскоши и нищете, во здравии и болезни, в славе и унижении будем мыслью и поступками друг друга поддерживать и друг другу помогать, он, будучи мне братом, и я, будучи ему сестрой, весенняя буря стремительно приближалась, черные тяжелые тучи уже достигли высочайших небесных вышин, они ползли прямо навстречу грозе, навстречу молниям, вспыхивающим все чаще и чаще, навстречу громам, которые прокатывались уже не по краю далекого небосклона, а, взрываясь у вершины под-

ступающей тьмы, бесконечно долго падали во мрак, еще продлевая эхом свой грозный рык, чтобы, прежде чем эхо смолкнет, вновь, почти одновременно с ослепительной вспышкой, сотрясти сумрачный небесный свод, вдруг, словно рожденный долгой неподвижностью, поднялся ветер, желтое облако пыли взметнулось над плоской равниной, я солгала,— крикнула Бланш,— все это ложь! и тут старый человек без единого слова поднял руку и осенил ее знаком креста, Алексей Мелиссен с облегчением вздохнул, он сейчас только осознал, что все то время, пока Бланш шла рядом с исповедником, томился в напряженном до боли ожидании, он подумал: не знаю, что́ бы произошло, не получи она отпущенья грехов, но что-то бы произошло непременно, и скинул с плеч свой пурпурный плащ — добела раскаленная молния озарила полумрак и среди клубящейся желтой замети, совсем уже близко, вонзилась в невидимую землю, оглушительный грохот сотряс темноту и тотчас же стих, где-то далеко, в конце шествия, заплакал ребенок — с плащом, будто пламя реющим на ветру, Алексей приблизился к Жаку, который шел перед ним, и набросил плащ на его обнаженные плечи, а когда тот, повернув голову, передернул плечами, словно хотел сбросить плащ, сказал: до сих пор ты отказывался принять этот плащ, хотя тебе, как вожаку, скорее, нежели мне, пристало его носить, но сейчас, пока я буду исповедоваться, прошу тебя, согласись, и отошел раньше, чем Жак успел произнести хоть слово в ответ, внезапно ветер унялся и на мгновение, краткое как вздох, воцарилась тишина, тишина, под властью которой в то мгновенье, краткое как вздох, всему сущему, казалось, пришел конец, казалось, и солнце остановилось, и небо, и звезды, и смертная их окоченелость лишила движенья и звука всю прочую жизнь на земле, но тут хлынул проливной дождь, опять засверкали молнии, заглушаемые шумом ливня тяжелые раскаты грома гремели, пробиваясь сквозь этот шум, Алексей шел, расправив плечи, не замечая дождя, опять настороженный и внутренне напряженный, даже не повернув головы, он миновал Бланш, которая брела, спотыкаясь точно слепая, беззащитная и беспомощная, под неукротимым грозовым ливнем, и неторопливым шагом уже догонял старого исповедника, когда земля, размякшая под хлеставшим как из ведра дождем и вобравшая в себя сколько могла из этого внезапного обилия влаги, перестала безвольно поддаваться потопу и на ее поверхности разлились огромные, рябые от ливня лужи, старый человек шел не медленней и не быстрей прежнего, шел своим обычным, тяжелым шагом, его большие, отекшие ступни увязали в грязи и в лужах, вода ручьями стекала по рясе, впервые в жизни я буду думать вслух,— подумал Алексей и поднес руку к лицу, чтобы протереть заливаемые водой глаза, гроза, кажется, утихала, ему захотелось оглянуться, он знал, что увидел бы позади себя Жака, по-ребячьи шлепающего по грязи и лужам, но в пурпурном плаще, укрывающем его от дождя, а над его головой увидел бы лес, отданный на растерзание ошалелой стихии, смиренно замерший под ударами молний и громов, но он не оглянулся, небо над далеким горизонтом, откуда пришла гроза, начинало уже проясняться, и внезапно, когда вокруг еще царил полумрак и шумел дождь, там, на краю равнины, луч заходящего солнца вырвал из темноты полоску земли и неба, в незамутненной чистоте явивших миру свои формы и краски: спокойную прозелень неба, насыщенную золотистым светом, ровную ярко-зеленую полсть весенних лугов и на ней одинокие ивы, которые, несмотря на свою одинокость, теперь, казалось, связывали землю с небом, сейчас впервые в жизни я буду думать вслух,— подумал Алексей и ощутил свою добровольную покорность, нет, не добровольную,— подумал он и ощутил свою неизбежную покорность как вызов, брошенный всему свету, он думал: пусть ушами этого старого человека, который занимает меня не более, чем вода, холодным озером разлившаяся под нога-

ми, не более, чем вода, струями сбегающая по лицу, пускай ушами этого старого человека меня услышат все живущие на земле, все, не исключая Жака, который идет следом за мной, укрытый от дождя моим пурпурным плащом, тем самым плащом, на котором, когда наступает ночь, я овладеваю этой девкой и, каждую ночь овладевая ею, принося себе и ей долгое наслажденье, не о ней думаю, а о Жаке, зная, что и она, покорно отдаваясь наслаждению, думает о Жаке, а не обо мне, Господи,— подумал он,— великий и всемогущий Боже, которого никогда не было и нет, великий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья, Господь незримый и несуществующий, сотворенный нами самими, не знаю, о чем бы я мог просить Тебя, если б Ты был, помню, сказано, что любовь может творить чудеса, горы может сдвигать и еще что-то делать, не помню что́, моя же любовь... он никогда меня не любил, ему даже не понадобилось говорить: раздевайся, потому что мы были в бане и я был наг, он расстелил на скамье мой пурпурный плащ, который мне сам подарил в день моего четырнадцатилетия, помню, однажды, давным-давно, когда меня, кажется, и быть еще не могло, однако ж я был, весенней залитой лунным светом ночью я проснулся, но не в ночной тишине и не при свете луны, а средь трепещущих отблесков огня, среди гула, бряцанья оружия, воя, женского плача и стонов умирающих, возле меня стояли женщина и мужчина, когда я проснулся, позади, за окном, пылало яркое зарево, я помню только это зарево и мужчину с женщиной, стоявших у моего огромного ложа, как они выглядели, не помню, это были мой отец и моя мать, но я не помню их лиц, не слышу их голосов, помню приближающийся в трепетном зареве гул, бряцанье оружия, женский плач и стоны умирающих и его помню, в ту минуту внезапно с треском рухнула огромная дверь, она была так высока, что казалась мне и не дверью вовсе, не помню, чем она мне казалась, но когда, внезапно треснув, дверь рухнула, и в комнату ворвалась темнота, я впервые увидел его, он был юный, сияющий, и я сразу его полюбил, помню короткие вспышки его меча, потом, помню, на мои стиснутые у горла руки брызнули теплые струйки, то была кровь моих родителей, не знаю, кровь матери или кровь отца, кровь была у меня на руках, на губах, мне хотелось кричать, но я не кричал, а потом, вот это я помню, будто случившееся вчера, он ко мне наклонился, я зажмурил глаза, почувствовал его ладонь на мокром от пота лбу, мне хотелось плакать, но я не мог, так как чувствовал тошнотворный вкус крови на губах, была ли то кровь моей матери или кровь отца, я не знал, помню, он взял меня на руки, помню его склонившееся надо мной лицо, но что было дальше, не помню, сейчас я впервые в жизни буду думать вслух, и Алексей начал говорить, дождь стихал, и прозрачная ясность завладевала все бо́льшими пространствами неба и земли: до четырнадцати лет я знал о своем прошлом лишь то, что я грек из Византии, что зовут меня Алексей Мелиссен и что в ту ночь, восемь лет назад, когда христианские рыцари под предводительством двух прославленных мужей, графа Балдуина Фландрского и графа Бонифация Монферратского, поддавшись уговорам хитрых венецианцев, вместо того чтобы поспешать к Иерусалиму, дабы во исполнение данного ими обета освободить из-под ига неверных Гроб Господень, под покровом ночи предательски ударили по стенам Византии и затем, вторгшись в город, злодейски перебили тысячи таких же, как они, христиан, движимые не верой, а жаждой наживы и власти, меня в ту ночь пожаров и крови, когда были убиты мои родители, спас один из рыцарей, Людовик Вандомский, граф Шартрский и Блуаский, мне было восемь лет от роду, когда, рискуя собственной жизнью, он вынес меня из пылающего дворца, он рассказывал мне потом, когда я уже был с ним, и он стал моим опекуном и отцом, и добился, чтобы меня, чужеземца и инородца, его величество король Филипп Август признал

единственным наследником старинного графского рода, владельцев Шартра, и Блуа, и всего этого Вандомского края, по которому мы сейчас идем, он рассказывал мне, уже подростку, что тогда, в ту кошмарную ночь резни и пожаров, он, двадцатилетним юношей поклявшийся все свои богатства и дарования отдать делу освобожденья из-под ига неверных Гроба Господня, в ту ночь словно очнулся и понял, какое тяжкое совершено преступление, и меня, ребенка, у которого убили отца и мать, спас, вынеся на руках из горящего дома, чтобы искупить хоть малую толику зла, причиненного христианскими рыцарями, запятнавшими себя преступлениями и беззаконьем, только это я знал до того, как мне исполнилось четырнадцать лет, воспитываясь в Шартре, который стал моим родным городом, и если что-либо из раннего детства помню, то единственно благодаря рассказам о тех канувших в забвение временах моего чудеснейшего опекуна и отца, дождь прекратился, от мокрой земли шел одуряющий запах чернозема и весенней травы, вдалеке, будто уже в ином мире, глухо рокотал гром, заходящее солнце вновь заботливо разбросало последние отблески по плоской равнине, проглянули из темноты спокойные зеленые озерца, земля под ногами была вязкая, лужи на ней стояли уже неподвижные, Алексей увидел радугу, он продолжал: вот и все, что я знал о своем прошлом, пока мне не исполнилось четырнадцать лет, и тут однажды, в преддверье весны, земля, помню, была еще твердая и лужи после ночного дождя сковало тоненькой коркой льда, воздух был холодный, но светило солнце, помню его ласковое тепло на плечах, было раннее утро, мы впятером или вшестером вышли за городские стены, туда, где над рекой Эр расстилались луга, хрупкий ледяной покров, стоило наступить на него босой ногой, легко растрескивался, и тогда я чувствовал, что нога погружается в холодную воду, но так как солнце пригревало шею и плечи, ощущение было очень приятным, на лугу стояла сухая и, должно быть, уже мертвая ива, мы стреляли в нее из луков, верней, не в нее, а в кротхотную, белую и нежную терновую почку, заточенная в твердую кору мертвой ивы, она казалась лишь белым пятнышком, и в эту цель мы стреляли из луков, помню, в какой-то момент моя стрела, нетерпеливо дрожа, вонзилась в самую середину белого пятнышка, весь ствол мертвого дерева уже был утыкан трепещущими стрелами, казалось, они бы хотели оттуда вырваться, да не могли, когда мне удалось вогнать стрелу в самую середину маленькой терновой почки, сразу настала тишина, потом товарищи мои друг за другом потянулись к дереву, чтобы изблизи взглянуть на стрелу, вонзившуюся в самую середину белой терновой почки, я остался один, сердце мое колотилось от радости и от гордости, помню, прямо передо мной поблескивала большая схваченная морозом лужа, я поставил на ее гладкую недвижную поверхность ногу и уже собрался сокрушить робкое сопротивленье уходящей зимы, как вдруг почувствовал, что я не один, обернулся и тогда увидел этого человека, я сразу понял, что он не из здешних мест, он был черен, смугл, худощав, в широком, с капюшоном, мужицком плаще, однако плащ этот скрывал, правда, изношенное, но из дорогой ткани сшитое платье, он стоял в каких-нибудь двух десятках шагов от меня, я подумал: он видел мою стрелу, безошибочно попавшую в почти незаметную глазу цель, но одновременно подумал, что человек этот здесь, так как хочет говорить только со мной, а не с кем другим, я подождал с наложенной на тетиву новой стрелой, пока он ко мне подойдет, но, поскольку он этого не сделал, я сам, не выпуская из рук лука с наложенной на тетиву стрелой, приблизился к нему на несколько шагов, тогда он, не трогаясь с места, что-то сказал на неизвестном мне языке, и, хотя слова, произнесенные им, были непонятны, я воспринял их так, будто они жили во мне с моего появления на свет, вероятно, в ту минуту я побледнел и он, вероятно, это заметил, я сказал: не понимаю, тогда

он, уже на моем языке, хотя с чужеземным выговором, спросил: ты Алексей Мелиссен? я сказал: я Алексей Мелиссен, а ты кто такой? я искал тебя шесть лет,— сказал он,— ты неплохо стреляешь из лука, почему ты меня искал? — спросил я, ты неплохо стреляешь из лука,— повторил он,— но когда прицеливаешься и выпускаешь стрелу, больше расслабляй мышцы, усилие должно быть внутри тебя, глубоко скрытым, твоя натуга никому не должна быть видна, почему ты меня искал? — повторил я, приходи после вечерней службы в церковь Святого Иосифа, там я скажу, почему искал тебя, я покачал головой: если хочешь мне что-то сказать, можешь сделать это сейчас, я оглянулся на своих друзей, они стояли около мертвой ивы, смотрели на нас, но ни один, видно было, не собирался к нам подойти, пойдем,— сказал я незнакомцу,— если ты хочешь поверить мне тайну, у лугов нет ушей, и зашагал вперед, не выпуская из рук лука с наложенной на тетиву стрелой, незнакомец после недолгого колебания двинулся следом за мной, солнце пригревало все сильнее, ледяной покров громко хрустел у нас под ногами, твоего отца,— сказал незнакомец, звали, как и тебя, Алексеем, а твоя мать звалась Феодосия, знаю,— сказал я,— и ты шесть лет искал меня для того, чтобы это сказать? нет,— ответил он,— я искал тебя шесть лет для того, чтоб сказать, что я посланец твоих родителей, тут я остановился и посмотрел ему прямо в лицо: ты знаешь, как их зовут, и не знаешь, что уже шесть лет их нету в живых? знаю,— ответил он,— так как собственными глазами видел их трупы, но, кроме того, я знаю, что, если в ту злосчастную ночь шесть лет назад в ужасной резне погибли многие тысячи греков и больше половины города уничтожил пожар, то и тех, кто в этих преступлениях виновен, настигла рука провидения, всего два года потешился на византийском престоле император-самозванец Балдуин, чтобы умереть затем в долгих мученьях на дне глубокого рва, куда его по приказу болгарского царя Ивана швырнули точно дохлого пса, отрубив перед тем руки и ноги, в битве с валахами пал другой вожак западных насильников и грабителей, Бонифаций, самозваный король Фессалоник, племянника сенешаля Шампаньи Готфрида де Виллардуэна, самозваного правителя Коринфа, приказал распять в Эпире Михаил Комнен, многих других преступников также настигло справедливое возмездие, лишь один, избежавши кары, по сей день разгуливает по свету, и с тобой, если ты действительно Алексей Мелиссен, его связывают особые узы: это он в ту ночь, когда ты был совсем еще мал, убил твоих родителей собственными руками, только когда незнакомец умолк, я спохватился, что уже несколько минут вместо того, чтобы идти вперед, стою на месте, я знал: он говорит правду, не могу объяснить, как это произошло, но внезапно все, что моя память сохранила из детства в виде смутных и несвязанных между собой обрывков, стало до боли отчетливым, я поднял лук со стрелой, наложенной на тетиву, выпустил стрелу и смотрел, как она с тихим свистом уносится в небо, в прозрачном воздухе стрела взвилась очень высоко, но я не потерял ее из виду и следил, сам еще во власти образов той далекой ночи, чувствуя кровь родителей на губах и видя его склонившееся надо мной лицо, слыша стенания умирающих и истошный женский крик, все это видя и слыша, следил за полетом своей стрелы, теперь уже быстро снижающейся, она воткнулась в землю очень далеко, и я видел, что, воткнувшись в землю, она легонько дрожит, словно не израсходовала еще силы своего стремительного полета, лишь когда стрела замерла, я повернулся к незнакомцу и сказал, глядя в глаза: ты лжешь, если бы он возразил или стал доказывать истинность своих слов, я б, возможно, усомнился, было ли все так, как он говорит, но он молчал, ни слова не проронил, однако и не опустил под моим взглядом своих темных, глубоко посаженных глаз, я первый потупился и сказал: кто б ты ни был и какие бы ни связывал со мной на-

меренья, я не хочу тебя больше видеть, и если ты еще раз появишься на моем пути, я убью тебя или прикажу убить, тогда он заговорил и, показалось мне, в его голосе была печаль: значит, ты любишь человека, руки которого обагрены кровью твоих родителей, я повторил, не подымая глаз: не хочу тебя больше видеть, а если еще раз увижу, убью или прикажу убить, хорошо,— сказал он, помолчав,— я уйду, и ты больше меня не увидишь, но прежде чем уйти, одно хочу сказать: когда я был твоим воспитателем, а ты — вверенным моему попеченью младенцем, однажды, в отсутствие родителей, ты тяжело заболел и бредил в беспамятстве, лекари, все до единого, сомневались, можно ли будет тебя спасти. я же днем и ночью бодрствовал подле тебя, и, когда на третью ночь, не приходя в чувство, ты стал умирать, окостенел, а стопы твои и кисти рук, несмотря на жар, сделались холодны как лед, я взял тебя на руки и сказал: ты должен жить, ты должен услышать, что я тебе говорю: ты должен жить, ты должен услышать, что я говорю: ты должен жить, не помню, сколько раз повторил я эти слова, может быть, десять, а может быть, сто, зато помню, что в конце концов ты открыл глаза и посмотрел на меня, держащего тебя на руках, ясным взглядом, я проклинаю, Алексей Мелиссен, ту минуту, когда тебе, умирающему, крикнул: ты должен жить, так сказал незнакомец, каждое его слово я запомнил в точности и помню по сегодняшний день, сказав это, он ушел, но и тогда я на него не взглянул, долго стоял не шевелясь, ни о чем, пожалуй, не думая, наконец повернулся и медленно зашагал прочь, мои товарищи кричали мне вслед, но я им не отвечал, мне хотелось быть одному, только в сумерках вернулся я в замок в тот день, а после, Алексей замолчал, глядя на радугу, которая уже огромной дугой опоясала небо, затем продолжал: после я старался не думать о том, что узнал, была весна, я чаще прежнего ловил на себе его взгляд, той весной он подарил мне пурпурный плащ со словами: через два года получишь золотые шпоры и золотой рыцарский пояс, как-то раз, положив руку мне на плечо, он сказал: ты очень задумчив последнее время, мне б хотелось знать твои мысли, я сам их не знаю,— ответил я, и то была чистая правда, потому что я действительно не знал своих мыслей, ходил как во сне, в тяжелом мучительном сне, делал все, что привык делать, но чувствовал себя всем и всему чужим, Алексей подумал: таких дней и ночей, когда я ходил как в тяжелом мучительном сне, было очень много, но рассказать о них я могу не больше того, что они были, что их было много и что ходил я средь них как в тяжелом мучительном сне, однажды, той же весной, он взял меня с собой в баню, раньше я бывал в бане со своими ровесниками, мне нравилось там, нравился банный жар, нравились клубы пара, окутывающие тело горячей влагой, нравилась ничем не стесненная нагота, а поскольку я был силен, из состязаний, которые мы с друзьями устраивали, всегда выходил победителем, мне нравились эти состязания, нравилась нагота распаленных тел, я радовался своей силе и любил отдыхать потом на низкой лежанке, но в тот день я не с друзьями отправился в баню, а с ним, мы были одни, он отослал прислуживавших нам при купанье челядинцев, вначале мне было немного неловко, но стеснялся я не своей наготы, а тишины, которая царила вокруг, ведь я привык, что в бане всегда стоял гомон, мне недоставало этого гомона и недоставало моих друзей, кажется, я ни о чем не думал, разве только чувствовал небольшую усталость от того, что провел целый день в седле, так как спозаранку в одиночестве ездил по лесу, горячая вода, однако, мгновенно смыла с меня усталость, потом я лег на низкое ложе и, кажется, по-прежнему ни о чем не думал, я даже тогда ни о чем не думал, когда он, приблизившись к ложу, лег рядом и, без единого слова меня обняв, притянул к себе, я почувствовал его наготу подле своей, а его лицо, узкое и сухое, еще молодое, хотя изрытое темными бороздами, с острым носом и глубо-

ко посаженными глазами, до того светлыми, что они казались нагими, увидел так же близко, как шесть лет назад, когда это лицо впервые надо мной склонилось, потом, по-прежнему обнимая меня рукой, он закрыл глаза, мои глаза были открыты, он тихо сказал: ты уже мужчина, да,— ответил я и, не сделав даже попытки отстраниться от его наготы, спросил: правда, что ты убил моих родителей? я не почувствовал, чтобы он вздрогнул, а ведь я лежал так близко к нему, что не мог не почувствовать, если бы по его телу пробежала дрожь или даже если б сердце на мгновенье забилось сильней, он сказал, не открывая глаз: да, а погодя спросил, столь же тихо: тебе хорошо? да,— ответил я, потому что мне и впрямь было хорошо и в ту минуту я не думал ни о чем другом, кроме того, что мне хорошо, не знаю,— сказал он,— кто и когда сообщил тебе, что я убил твоих родителей, да и не хочу знать, и тебе не обязательно говорить мне, кто это был, меня устраивает, что, зная об этом, ты со мной и лежишь в моих объятиях, я б и сам, впрочем, все тебе рассказал, возможно даже в этом году, ведь ты уже мужчина, да, это правда, я совершил это страшное злодеяние, поскольку, исполненный веры и надежды, считал, что если на нас плащи крестоносцев и мы дали обет жертвовать всем ради освобождения Гроба Господня из-под ига неверных, то и все, что мы делаем, правильно и необходимо, ибо служит этой единственной и высочайшей цели, то было заблуждение моей святой веры, преступление моей святой веры,— пока он говорил, я думал, что мне хорошо в его объятиях, и, думая так, увидел чрево собора Святого Петра в Шартре, подобное каменному ущелью, устремленному к небу, внизу освещенному заревом огней и погруженному в темноту вверху, на нем была только черная и длинная, по щиколотку, туника, перехваченная на бедрах золотым поясом, он давал присягу перед главным алтарем, клялся, что посвятит остаток дней освобождению святого гроба, рядом стоял я в богатом наряде пажа, слова присяги, умноженные эхом, сотрясали тишину под сводами храма, епископ Вильгельм стоял на верхней ступени алтаря, а он стоял над Евангелием, поддерживаемым двумя юными дьяконами, и, произнося присягу, касался страниц священной книги мечом, день был осенний, на витражах, высоко в прохладной тьме бдели святые и ангелы, вокруг, сверкая доспехами, толпились бароны, рыцари и дворяне, я видел все это, но, главное, думал, что мне хорошо в его объятиях, он говорил: теперь мне уже трудно сказать, когда я понял, что совершаю преступление и не только не приближаюсь к желанной цели, а, напротив, от нее отдаляюсь, превращая в почти недостижимую, будто на пути к вершине высокой горы скатываюсь в пропасть, быть может, впервые эта догадка озарила меня, когда, сам запятнанный кровью, я увидел тебя на огромном ложе, тоже обагренного кровью, которую я пролил, тогда, с опозданьем на несколько часов, с опозданием на одну эту ночь я понял, что лишь перед теми, чьи мысли чисты и чьим поступкам сопутствует чистота, могут открыться врата Иерусалима, но сейчас, по прошествии лет, полных лишений и самоистязания, когда я делал больше, чем желал, дабы искупить причиненное мною в ослеплении верой зло, сейчас, обняв тебя, я вновь, теперь уже добровольно, закрываю перед собой врата далекого Иерусалима, так как сильней всего, что во мне есть, моя темная к тебе любовь, к тебе, который должен был стать моим сыном и наследником, но которого я давно уже вижу в мыслях своим любовником, можешь делать со мной все, что хочешь,— сказал я, когда он умолк, он же спросил: тебе это будет приятно? можешь делать со мной все, что хочешь,— повторил я,— что б ты ни сделал, мне будет приятно, и тогда это произошло, но, когда произошло, я не почувствовал себя счастливым, меня лишь переполнило неведомое прежде блаженство и обуяло желание снова его испытать, счастливым же я себя не чувствовал, потому что тогда уже понял, что

он не любит меня, что ему нужно лишь мое тело, знаю, что и он это понимал, хотя старался обмануть и себя, и меня и говорил, что любит, но, говоря так, говорил неправду, ибо только к моему телу вожделел, он жаждал любви, но не способен был меня полюбить, ненасытное вожделение было его единственным настоящим чувством, знаю, не раз, обнимая меня и говоря, что любит, он думал: это пустое, я не могу его полюбить, но и жить без него не могу, а я, когда, насытившись мной, он внезапно оставлял меня одного, думал: я — его собственность, его вещь, поэтому ему проще презирать меня, чем себя, я ненавижу его, но и себя ненавижу, так как покорно соглашаюсь на все, чего б он ни захотел, мне это приятно, а поскольку приятно, я не могу от этого отказаться, за что и ненавижу себя, я знал, что кроме меня ему нужны были другие тела, он искал их и находил, но потом снова возвращался ко мне, а я, хотя знал, что он придет, еще согретый теплом другого тела, его ждал, но однажды, когда он ушел, думая, что я сплю, впервые отправился его искать, это случилось так: я лежал навзничь на своем пурпурном плаще, подложив под голову руку, и, когда он проснулся еще при свете дня и склонился ко мне, притворился, что сплю, дышал ровно, будто был погружен в глубокий сон, он громко позвал: Алексей, я не пошевелился, было тихо, в лесной чаще посвистывала иволга, и тогда он осторожно, чтобы не разбудить меня, встал, он встал осторожно, как человек, который решил убежать, надел верхнее платье, поднял с земли плащ и меч, а потом, еще раз бросив на меня взгляд человека, который решил убежать, спустился к ручью, где, стреноженные, спокойно паслись наши лошади, тут я открыл глаза и увидел, как он подходит к своему вороному коню, освобождает его от пут и, держа за узду, ведет к тропинке, продирающейся сквозь густой подлесок, я остался один, подумал: убегает, ну и пускай, вернется, я знаю, вожделение — единственное, что в нем есть настоящего, и потом, когда помалу стало смеркаться, а я, по-прежнему обнаженный, но не чувствуя холода, лежал на своем пурпурном плаще, том самом, который сейчас, на время исповеди, снял и набросил на плечи Жаку, так вот тогда, в наступающих сумерках, оставшись один, я начал думать, но не о себе, а о том, о чем теперь думает он, я не только знал его тело и наслаждение, которое он мне дарил, его мысли я тоже знал, мне нетрудно было вообразить, что, пробираясь один в наступающих сумерках сквозь лесную чащобу, он думает: все пустое, кроме зла и стыда, утоление чувств не укрощает похоти, удовлетворенное желание порождает сотню новых, еще более жгучих, поступки, продиктованные чистейшими желаниями, увенчиваются позором, может быть, чистых желаний вообще нет? потребность в насилии и жестокости терзает человеческое нутро, человек боится ее и стыдится, но не меньше боится он и стыдится одиночества, и убегает от него, а возвратившись обратно в стадо, сильный и неистовый, творит и прославляет насилье, он слеп, глух, но силен, потому что неистов, однако наступает минута прозрения, и тогда человек снова остается один, только теперь его одиночество отягощено преступлением, имя которому одержимость, и в этом безвыходном одиночестве, в узилище тела и мыслей, он начинает искать спасения, однако напрасно ищет его, напрасно хватается за надежду найти избавление, лишь насилие позволяет забыться, насилие, не скрывающее больше своего подлинного обличья, темное и нагое, как ненависть, так мог он думать, пробираясь в одиночестве сквозь лесную чащобу, окутываемую первыми тенями сумерек, а если его взгляд ненароком падал на руки, он, должно быть, думал: это руки убийцы, что же такое слепая вера и вера вообще в сравненье с руками, замаранными убийством, руками, которые теперь способны лишь вырывать наслаждение из покорных тел, лишь наслаждение способны брать и давать, когда тебе все изменяет, остается похоть, только похоть, а не любовь и не пре-

данность, похоть, верная спутница одиноких, недремлющая и ищущая, не покидающая тебя даже во сне, не знающая удовлетворения, с ней и из-за нее ты идешь ко дну, так зачем убегать, если убежать нельзя? и дальше он думал: я убежал, ибо сильнее прочности обладания меня влечет зыбкость исканий, вчера, позавчера, ныне и присно меня манили и манят неведомые дали времени и пространства, которые могут предо мною открыться и порой открываются, я нетерпеливо спешу на их зов, поскольку в них может содержаться все, я знаю, что итог ожиданий — разочарование, но самая слабая надежда, сколь она ни обманчива, мне милее, чем мысль, что надежда рассыплется в прах, всякое завоевание — крушение надежды, всякое свершение — крушение надежды, время ревниво окорачивает обладание, только страсти, хоть и они обречены на погибель, дарят легкое дыханье дням и ночам, я все это знаю, я испытал бремя этого знания, оно тяжело, как груда камней, и, как груда камней, бесплодно, эх, поехали дальше, вдруг что-нибудь да случится, так, мысля его мыслями, я лежал, подложив руку под голову, пока, запутавшись в этих мыслях, не видя его, оттого что вокруг внезапно стемнело, не приподнялся резко и встал на колени, я стоял так, застигнутый врасплох темнотою, и если чего-нибудь в ту минуту желал, то лишь одного: чтобы он был рядом и своим телом защитил меня от страха, от одиночества и ото всех моих путаных мыслей, стоя на коленях во тьме, я произнес вслух: делай со мной все, что хочешь, что б ты ни сделал, мне будет приятно, потом я ехал по темному лесу, и ни его мыслей не было у меня в голове, ни собственных, только одно нетерпеливое желание мной владело: чтобы он обнял меня и своим телом защитил от одиночества, потерянности и страха, неожиданно я выехал на лесную опушку, позади, прямо за мною, неподвижной и безмолвной громадой высилась темнота, впереди, в низине, белая роса поблескивала на лугах, уподобляя их широко разлившемуся озеру, но и над лугами нависла тьма и все живое, казалось, было ею поглощено, лишь подняв голову, я увидел вдалеке, высоко над собой на черном небе россыпь крупных звезд и тогда, все еще терзаемый жгучей тоской по его телу и наслаждению, которое он, наслаждаясь сам, дарил и мне, взял рог, висевший у меня за спиной, и, думая о том, что мне хочется оказаться в его крепких объятиях и забыть обо всем, кроме одного: что он обнимает меня, затрубил в рог, я услышал его пронзительный голос, раздирающий темноту, потом услышал далекое эхо, повторяющее голос моего рога тающими в отдалении звуками, и затем наступила тишина, а еще через минуту из недр тьмы до меня донесся протяжный и гортанный, долго дрожавший в воздухе клич, так обычно перекликаются пастухи, он там,— подумал я и, подождав, пока далекий призыв смолкнет, опять затрубил в рог, и опять минуту спустя мне ответил из темноты тот же гортанный, дрожащий в воздухе клич, я поехал в ту сторону, все еще не сомневаясь, что его отыщу, внизу, где угадывались раздольные луга, вставала тяжелая луна в ржавой дымке, я ехал по лесной опушке обрывистой тропкой, то взбирающейся в гору, то сбегающей вниз, внизу и вправду были луга, не знаю, большой ли проделал я путь, так как, уже уверенный, что его найду, ехал не торопясь и даже было сказал себе: поверни назад, но не сделал этого и не жалею, что так поступил, поскольку сегодня знаю наверное, что какое бы ни принял тогда решение, оно б не могло изменить того, что уже произошло, итак, я ехал неспешным шагом по опушке леса, как вдруг андалузец мой беспокойно дрогнул и, вытянув шею, запрядал ушами, я послал его вперед и, оказавшись через минуту на вершине пологого холма, увидел внизу, в каких-нибудь двухстах шагах от себя, прямо у темного края пущи костер, почти угаснувший, только крохотные язычки пламени дрожали над самой землей, возле костра, слегка наклонясь к огню и поставив ногу на камень, стоял молодой пастух,

лицо его излучало свет, обнаженными руками он упирался в колею, было так тихо, что я слышал сухое потрескивание догорающих веток, тогда,— Алексей умолк и чуть погодя сказал: позволь мне, отец, помолчать немного, я бы хотел, тебе незачем спешить,— сказал старый человек, ночь близится,— сказал Алексей, мне необязательно видеть тебя, чтобы слышать, можешь идти и молчать, если тебе это нужно, и он шел и молчал, потому что ему в самом деле это было нужно: я уже собирался сказать, что вонзил шпору в бок своему жеребцу, но в эту минуту вместо себя, пришпоривающего коня, и вместо Жака, который стоял внизу, склонившись над почти угасшим костром, увидел его, а об этом, хоть я и впервые думаю вслух, мне вслух думать нельзя, я увидел его с пронзительной остротой, он произнес твердым, но спокойным голосом, каким привык отдавать приказания: такова моя воля, и не пытайся ей противиться, после чего повернулся ко мне спиной, пришпорил своего скакуна и, больше на меня не оглядываясь, спустился к реке, сейчас, хотя я иду с открытыми глазами и вижу перед собой дорогу среди просторной плоской равнины, еще светлую, но уже готовящуюся принять первые вечерние тени, вижу свои ноги, ступающие по еще не просохшей земле, вижу зеленые озерца на равнине, вижу на небе уже поблекшую радугу, слышу за спиной шаги всех, кто за мной идет, слышу очень уже отдаленные раскаты грома, хотя я все это вижу и слышу, но одновременно вижу широко разлившиеся желтые и вспененные воды Луары и слышу глухой шум вышедшей из берегов реки, на эту грозную стихию я гляжу как бы свысока, потому что сижу в седле, но от берега меня отделяет всего каких-нибудь два десятка шагов, я мог спасти его, я знаю, что мог бы его спасти, среди своих ровесников я плаваю лучше всех и мог его спасти, потому что желтые, стремительно несущиеся вперед волны не в одну секунду его поглотили, он тонул неподалеку от берега и долго противился смерти, прежде чем исчез, наконец, в пучине желтых вспененных вод, конечно, он не хотел умирать, а когда почувствовал, что теряет силы и идет на дно, конечно же, в застилаемых водою глазах у него стоял образ Жака, и с этим виденьем он шел на дно, в холод и шум смертоносных вод, я мог его спасти, но не двинулся с места, я думал: теперь я буду свободен, так пусть же это свершится, ведь если его не станет, я буду свободен, я буду избавлен от власти его тела и вожделения плоти, однако, когда это произошло и передо мной были уже только разлившиеся, желтые и вспененные воды Луары, я не почувствовал облегчения, но и сожаления, правда, я тоже не чувствовал, внутри меня все оледенело, холод закрался в сердце, холодом сковало пальцы и губы, полая вода с глухим шумом неслась совсем близко, казалось, протяни только руку... немногим раньше, когда на рассвете этого дня мы возвращались в Шартр, нам всю дорогу сопутствовало молчанье, молчание давно уже стало самой привычной нашей беседой, но те последние часы нашего последнего молчанья отличались от всех прежних часов прежнего молчания, мы ехали рядом, но были друг от друга дальше, чем если бы были слепы, глухи и немы, мы уже приближались к Луаре и слышен стал глухой шум ее разлившихся вод, когда он внезапно сказал: Алексей, да, господин мой,— ответил я, и мы продолжали свой путь в молчанье, теперь я вспоминаю, что мы ехали по сырым лугам, тогда я этих лугов не видел, а сейчас вижу, тогда я не слышал шелеста трав, приминаемых копытами наших коней, а сейчас слышу, хлюпанье же воды, которую размякшая, пересыщенная влагой земля отказывалась принимать, слышал, как слышу сейчас, она хлюпает у меня под ногами и под ногами у человека, который идет рядом со мной и который разрешил мне молчать, я не чувствую к нему благодарности, хотя должен бы, я молчу потому, что не в состоянии думать вслух, он сказал: ничего из того, что было, зачеркнуть нельзя, но если между двумя людьми творится не-

ладное, не помню, что он говорил дальше, из его слов я понял только — и это запомнил,— что, обогащенный чувством, дотоле ему неведомым, чувством пленительным и новым, чувством, которое из пучины сомнений и горя выносит его на простор безудержной радости... только одно я понял: в его жизни мне нет больше места, я должен вернуться в город, из которого он вынес меня на руках, когда мой родной дом пылал, а руки и губы были окроплены кровью моих родителей, которую он пролил, он говорил, это я помню и никогда не забуду: сейчас все сошлось на том, чтобы нам расстаться и чтоб моя жизнь перестала быть твоей жизнью и твоя моей, я спросил: когда мне уйти? он сказал: ты получишь все, что причитается человеку, который должен был стать моим наследником, когда мне уйти? — спросил я снова, а в памяти всплыла та минута, когда, впервые меня обняв, он сказал: ты уже мужчина, а я, не сделав даже попытки отстраниться от его наготы, спросил: правда, что ты убил моих родителей? потом он говорил: сильней всего, что во мне есть, моя темная к тебе любовь, к тебе, который должен был стать моим сыном и наследником, но которого я давно уже вижу в мыслях своим любовником, а я сказал: можешь делать со мной все, что хочешь, я думал: Жака, о котором он ничего не знал, он смог полюбить, меня же, о котором знал все, полюбить не смог и, хотя говорил вначале, что любит, сам, обнимая меня, думал: и это пустое, я не могу его полюбить, но и жить без него не могу, а теперь, так и не полюбив, решил, что может без меня жить, я думал о предстоящем мне далеком пути, но не видел его и не представлял, куда он меня заведет, еще раньше, до того, как мы отправились обратно в Шартр и потянулись последние часы нашего последнего молчания, и не настало еще то мгновенье, когда его сжатый кулак в последний раз мелькнул среди желтых и вспененных вод Луары, еще до того и будто еще во сне я пробудился от глубокого сна, грудь моя горела в огне, а руки обнимали чье-то нагое тело, о котором во сне я успел забыть, я проснулся внезапно, словно вырванный из беспамятства языками огня: я лежал на своем пурпурном плаще, обнаженный, держа в объятиях обнаженную девушку, несколькими часами раньше, ночью, сидя на краю луга, я видел, как она, подгоняемая нетерпеньем, бежала к шалашу Жака, а потом увидел ее возвращающейся, я тогда встал и сказал: он тебя прогнал? она спросила: сможешь сделать так, чтобы я перестала думать о нем? я сказал: раздевайся, и она разделась, я, тоже сбросив с себя одежду, стоял над нею и думал: вот, перед тобой лежит Жак, поспеши, ибо через минуту Жак перестанет быть Жаком, она лежала, обнаженная, на моем плаще, я впервые ступил босыми ногами на этот плащ, впервые потому, что до сих пор он служил не мне, а моему ожиданью, я ступил на свой пурпурный плащ и сказал: он тебя прогнал? сказал так, потому что не нашел других слов, а не потому, что лежащая передо мной незнакомая обнаженная девушка пробудила во мне желанье, единственно от тоски, от неутоленной жажды и одиночества я это сказал и еще раз, вовсе об этом не думая, повторил: он тебя прогнал? тогда она попросила: сделай так, чтобы я больше не думала о нем, и тут я внезапно почувствовал, что моя мужская сила — моя мужская сила, и я ее взял, и когда потом пробудился от глубочайшего сна, и тело мое горело в огне, а руки обнимали чужое тело, вот тогда, открыв глаза, затуманенные тяжелым сном, я увидел его: он стоял над нами, слившимися в любовном объятии, но гнева не было на его темном лице, его глаза, такие светлые, что казались нагими, теперь были наги больше обычного, он бил нас кожаным арапником, тем самым, который выронил второпях, когда я затрубил в рог, а он поспешил спрятаться от меня у Жака в шалаше, он нас бил, она, как и я, пробудившись от тяжелого сна, попыталась найти защиту от первых ударов во мне, поскольку я был рядом, но потом, увидев его, увидев, что мы наги, а он одет и бьет нас арап-

ником, выскользнула из моих объятий и крича так, будто ее резали, убежала, я продолжал лежать на своем плаще, он стоял надо мной и без устали хлестал арапником, если тот человек в самом деле был когда-то моим воспитателем, он верно сказал: когда прицеливаешься и выпускаешь стрелу, больше расслабляй мышцы, усилие должно быть внутри тебя, глубоко скрытым, твоя натуга никому не должна быть видна, я лежал, принимая сильные, до крови рассекающие кожу удары, внезапно он перестал меня бить и, стоя надо мной, замер, я спросил: почему ты меня бьешь? потому, что я переспал с этой шлюхой или потому, что ты, спрятавшись в шалаше у Жака, вынужден был меня обмануть? тогда он отбросил арапник, опустился рядом со мной на колени и, желая убежать от меня, а также, наверно, и от себя, раскрыл мне свои объятья, я знал, что он обнимает меня в последний раз, и, когда он делал со мной то, что привык делать всегда, закрыл глаза, чтобы он не заметил в них слез, я стыдился этих слез, ненавидел свою слабость и тогда дал себе клятву, что никогда в жизни больше не запла́чу, потом я еще раз приехал на это место, была ночь, я стоял под деревом, где он бил меня, лежащего, а потом в последний раз обнимал, я не думал о нем, с того рассвета прошло не больше недели, но и тот час, когда он меня бил, а потом в последний раз обнимал, и более поздний час, когда, ощущая только холод в сердце и холод в пальцах и на губах, я смотрел на широко разлившиеся, желтые и вспененные воды Луары, а его уже не было, все те часы, от которых меня отделяло не больше недели, казались такими далекими, точно прошло много лет, я не думал о нем, когда вновь оказался в том самом месте, не думал о нем, но не чувствовал себя от него свободным, он как будто все это время стоял рядом со мной, да и позже, когда, дождавшись наступления сумерек, после того, как пастухи уже согнали с лугов стада и тихо и пусто стало вокруг, я подъехал к шалашу Жака, он тоже будто стоял возле меня, я думал: тебе, покоящемуся в тяжелом гробу, в темном склепе под тяжелыми могильными плитами, никогда уже не увидеть того, кого, увидев однажды, ты полюбил, хотя меня, пребывавшего при тебе неотступно, полюбить не сумел, никогда больше тебе уже не вымолвить слова: люблю, а вот я живой, я сейчас увижу его и смогу сказать то, чего тебе уже не сказать, перед шалашом тлел костер, видно, только что разожженный, но Жака возле костра не было, он вышел из шалаша и показался мне еще прекраснее, чем тогда, когда я увидел его впервые, я спросил, не слезая с коня: ты меня узнаешь? да,— ответил он и, помолчав, спросил: ты один? как видишь, ищешь своего господина? нет,— ответил я,— на этот раз не ищу, после чего спешился, он молчал, не хочешь пригласить меня в свой шалаш? — спросил я, тогда он, посторонившись, сказал: входи, слабый отблеск костра едва освещал темное и тесное пространство внутри, в углу лежала подстилка из оленьих шкур, ты здесь спишь? да,— ответил он, я чувствовал его близость и мог бы коснуться его рукой, чувствовал его наготу под полотняной деревенской туникой, на мгновение мне показалось, что в царившей под сводом шалаша тишине я слышу учащенное биение его сердца, мне хотелось сказать: здесь, на этой подстилке, он обнимал тебя и говорил, что любит и будет любить всегда, мне хотелось это сказать, но я молчал, а потом наконец сказал: ты спрашиваешь, ищу ли я своего господина, не ищу, зачем искать того, кого больше нет? сам же думал: видишь, ты, стоящий возле меня, незримый и несуществующий, знай: я дышу, вижу и слышу, и пришел сюда вместо тебя, я, а не ты, заточенный в тяжелом гробу и уже бессильно гниющий, сейчас скажу: если ты пойдешь со мной и при мне останешься, я сделаю все, что ты пожелаешь, буду служить тебе и тебя защищать, буду для тебя всем, чем ты разрешишь мне быть, буду далек, если ты захочешь, и близок, если позволишь, буду стеречь твой сон и разделять любые печали, по-

тому что люблю тебя и твое присутствие мне нужно, как воздух, я люблю тебя с первой минуты, с тех пор, как увидел тебя, склонившегося над догоравшим костром, люблю, хотя и не знаю, рождена ли моя любовь только мной и тобой, только нами двоими, тобою и мной или ее пробудил из небытия тот, кого уже больше нет, не знаю, узы ли, связующие нас с тобой, эта любовь или упорно не гаснущий отблеск любви иной, той, что первое свое слово успела вымолвить только раз, а затем канула в холод и шум смертоносных вод, чтоб уже никогда не претвориться в плоть и слово, не знаю, откуда взялась моя к тебе любовь, но, где б ни почерпнула она свое начало, откуда бы ни пришло наваждение, я никогда не перестану тебя любить, ибо если я существую, то лишь затем, чтобы, нелюбимый сам, всей душою и плотью своей утверждать потребность в любви, так думал я в обступившей нас гробовой тишине. и уже понимал, что мне нечего больше сказать, еще я подумал: видишь, я не думаю о тебе, но, хотя ты лежишь, придавленный тяжелыми могильными плитами, от тебя не освободился, и тут Жак сказал: уходи, ты не пойдешь со мной? — спросил я, нет,— сказал он, а потом спросил: ты был с ним? да, весенние реки коварны, и не смог спасти? не смог,— ответил я,— это произошло очень быстро, так камень идет на дно, и опять воцарилась тишина, огонь в костре, который никто не поддерживал, видимо, угасал, так как в шалаше стало совсем темно, но и во мраке я продолжал ощущать его близость, мог коснуться его рукой, уходи,— сказал он, тогда я снова спросил: ты не пойдешь со мной? уходи,— сказал он, я вышел, сел на коня и, во второй уже раз, поскакал прямо к влажным пастбищам, лежащим внизу, но если тогда, в ту первую ночь, меня переполняли любовь и ревность, то теперь я чувствовал только отчаяние в сердце да пронзительный холод в пальцах и на губах, потом я остановился на краю луга возле того самого дерева, под которым он бил меня. лежащего на земле, своим арапником, а потом в последний раз обнимал, девка та появилась неожиданно, подошла ко мне и сказала: этот страшный человек опять будет нас бить? раздевайся,— ответил я,— его уже нет, он лежит в тяжелом гробу и единственное, что может делать,— поспешно гнить, потом, лежа подо мной обнаженная, она спросила: он тебя прогнал? я взял ее, ничего не сказав, она смеялась и стонала, я входил в нее, как в широко разлившиеся, желтые и вспененные воды Луары, но перед моими открытыми глазами стояло лицо Жака, я растягивал медленно нараставшее наслажденье, чтобы подольше не исчезал этот образ, а она смеялась и стонала, любовь — это только клубок недостижимых желаний,— думал я,— любовь приносит только страданья, а вот темное наслаждение рождается и живет среди ненависти и презренья, вдруг я услыхал под собой, но словно бы из дальней дали донесшийся ее короткий вскрик, прозвучавший как стон настигаемого смертью зверя, и, услышав этот короткий вскрик, почувствовал себя господином и повелителем, да, я со своей неторопливой и терпеливой мужскою силой мог чувствовать себя господином и повелителем, я был господином и повелителем этого тела, мною преображенного в покорность и стон, я твердил в мыслях: пойдешь со мной? а когда после бессонной ночи наступил рассвет, сказал: если хочешь, чтоб так было каждую ночь, можешь пойти со мной, куда? — спросила она, не все ли равно.— сказал я,— в графской опочивальне, в пустыне или в лесу, днем или ночью, лучше тебе не будет ни с кем, и она со мною пошла и каждую ночь получала то, что я ей обещал. но и с нею наедине. и среди друзей одна мысль не покидала меня, одна и та же неотвязная мысль: что-то должно произойти, что-то должно произойти во мне или вне меня, у меня было все. что может иметь человек, я был теперь Алексеем Вандомским, графом Шартрским и Блуаским, я, византийский грек Алексей Мелиссен, восемь лет назад спасенный из горящего дома и горящего го-

рода, неполнолетний еще, но законный граф, потому что Луара широко разлила свои вспененные желтые воды, однажды, когда мне не спалось, а она спала, я встал, не дожидаясь рассвета, город еще не проснулся и ворота были закрыты, я сел на коня, куда-то поехал и, едва забрезжило, увидел идущую по равнине толпу в полсотни детей и подростков, девочки были в белых платьях, некоторые с венками из полевых цветов на голове, мальчики — в домотканых холщовых туниках, впереди темноволосый мальчик нес крест, я загородил им дорогу своей лошадью, спросил: куда вы идете? мальчик, державший крест, сказал: в Иерусалим, ты знаешь, где Иерусалим? — спросил я, не знаю,— ответил он, как же вы туда доберетесь? не знаю,— сказал он,— все дети идут в Иерусалим, потому что там Господь наш, Иисус Христос, я посторонился, они миновали меня и пошли дальше по огромной равнине, тогда я поскакал в Клуа, но на лугах, где паслись стада, только несколько дряхлых старцев стерегли коров, я спросил одного из них: где ваши пастухи? он поднял на меня выцветшие, почти ничего не видящие глаза и, опираясь одной рукой на клюку, другую, трясущуюся, поднял над головой, которая у него тоже тряслась, да падут все несчастья,— сказал он скрипучим старческим голосом,— да падут все несчастья, голод, чума и позор на этого приблуду, который, обезумевши сам, заразил безумием наших детей и внуков, будь проклят он и имя его, чувствуя, что бледнею, я спросил: кого ты так проклинаешь, старче? его проклинаю,— ответил старик,— приблуду этого, который, верно, отродье самого сатаны, приблуду, что с помощью дьявольских штучек попутал наших детей и внуков, его проклинаю я и его имя, и душу его, и тело, знай же,— говорил он,— нет у нас больше ни детей, ни внуков, и в других деревнях окрест тоже пусто, ни детей, ни внуков там не осталось, всех обморочил и заразил своим безумием этот проклятый приблуда, гляди,— он воздел обе свои трясущиеся руки, в одной продолжая держать клюку,— посмотри на эти руки, никогда уже этим рукам не опереться о плечо внука, никогда не благословить внучку, идущую под венец, я ускакал, не сказав ни слова, теперь я уже все знал и знал, что не вернусь в Шартр, произошло то, о чем я, не смея вымолвить вслух, мечтал, и опять, хотя это произошло, я не почувствовал облегчения, в лесу меня догнала Бланш, конь ее был взмылен, с морды клочьями летела пена, но сама Бланш не выглядела усталой, она сказала: все дети ушли сегодня утром из Шартра, знаю,— сказал я, говорят,— помолчав, продолжала она,— что по нашему краю, во главе огромного и с каждым часом растущего полчища детей, возглашая в селеньях и городах: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы дети христианские не оставили милостью своей и милосердием в руках нечестивых турок пребывающий город Иерусалим, идет... знаю,— перебил я ее, а он, навеки заточенный в тяжелый гроб, бездыханный и бессловесный, он, погружающийся в шум и холод смертоносных вод, а потом выброшенный ими на пустынный берег, чтоб почить, наконец, навечно в тяжелом гробу, он опять был рядом со мной, две ночи и два дня мы ехали, меняя несколько раз направленье пути, так как разные средь людей кружили слухи о том, куда движется этот крестовый поход, крестовый поход без него, покоящегося в тяжелом гробу, но порожденный его желаниями, темными страстями его тела, гниющего ныне в тяжелом гробу, наконец, на третий день, в самый полдень, когда мы выехали из леса, я увидел их под бескрайним небом, было их так много, что, казалось, вся равнина внизу плывет, мерно колышась, над этой колышущейся равниной возносились, сверкая на солнце, кресты, хоругви и образа, они тоже неторопливо плыли вперед, сливаясь с несметным множеством голов в одно целое, а над всей этой неторопливо плывущей, медленно колышущейся равниной взвивалось многоголосое пенье, потом, поравнявшись с шествием, я видел уже только посеревшую белизну

платьев и туник и лица, обожженные весенним солнцем, лица тысячи мальчиков и девочек в тесных рядах, раскрасневшиеся, потные, с широко открытыми ртами лица, дети пели, но мне, едущему на коне рядом, казалось, что их рты открыты от удивления, сковывающего маленькие фигурки в посеревших белых платьях и домотканых холщовых туниках, тяжелым облаком висела в воздухе взметенная двумя тысячами босых ног пыль, дымилась под ногами сухая, нагретая солнцем земля, дети шли плотной, толпой, плечо к плечу, бок о бок, сблизив головы, сбившись в громадное ослепшее стадо, ослепшее, потому что никто в толпе не видел ни неба, ни земли, ничего, кроме голов и плеч идущих впереди, не мог видеть, они шли, тесно сгрудившись, будто из близости своих тел черпали силы для предстоящего неведомого пути, а пронзительный крик, издаваемый тысячью детских голосов, крик, вырывающийся из тысячи разверстых в недоумении ртов, раздирал огромное пространство над этим тесно сбитым, медленно, в пыли, под палящим солнцем движущимся скопищем, во главе этой колышущейся, катящейся вперед равнины шел он, за его спиной гремело многоголосое пенье, но сам он был спокоен и тих, шел, выпрямившись, легко касаясь босыми ногами земли, и лишь у него, единственного среди всех, равнина перед задумчивым взором была неподвижна, я видел его в третий раз, но впервые при свете дня, сейчас вот так, одиноко идущий, он показался мне моложе, чем когда я видел его в окружении ночных теней, я подъехал к нему, и он тотчас остановился, остановилось также все шествие, и пенье стало постепенно стихать, ты меня узнаешь? — спросил я, да,— ответил он, а вокруг уже была тишина, я соскочил с коня и сказал: ты не захотел пойти со мной, что ж, тогда я с тобой пойду, а говоря так, думал: никто больше тебя не нуждается в любви и заботе, никто меньше тебя не знает жизни и не знает людей, ты беспомощен, как слеза, и более одинок, чем самый одинокий человек на земле, и растерян больше, чем любой из потерявших себя на этой земле людей, ты одинок и растерян, хотя за тобою огромная следует толпа, никто больше тебя не нуждается в любви и заботе, я сказал Бланш: слезай с лошади, а когда она беспрекословно повиновалась, взял ее коня за узду, другой рукой схватил поводья своего белого андалузца и подвел обоих коней к Жаку, выбирай, какой больше нравится,— сказал я,— раз ты возглавляешь крестовый поход, нельзя тебе идти, как всем остальным, пешком, возьми, какой тебе больше по вкусу, а я буду ехать рядом и исполнять все твои приказанья, он стоял в двух шагах от меня, хрупкий и светловолосый, одинокий и растерянный, даже в своей красоте одинокий, близкий и более далекий, чем когда-либо до сих пор, я сказал негромко, чтобы не так было слышно в моем голосе отчаянье: сделай, как я прошу, он, будь сегодня жив, поступил бы так же, Жак помолчал немного, потом сказал: нет, я буду идти пешком, как все, ты ж, если хочешь, можешь ехать верхом, тогда я без единого слова вытащил из ножен свой короткий охотничий меч и с маху по самую рукоять всадил острие в гладкую лоснящуюся шею своего скакуна, он лежал у моих ног с бельмом смерти в глазах, белый и огромный, предсмертная дрожь сотрясала его брюхо и стройные ноги, а когда я склонился над ним и вытащил меч из шеи, из раны ручьем стремительно хлынула кровь, дай,— сказала Бланш, протягивая руку к мечу, я молча ее отстранил и, отведя в сторону второго коня, снял с него седло и забросил в траву, а потом вынул изо рта удила, конь, чувствуя поблизости запах крови, раздувал ноздри и беспокойно прядал ушами, я сильно хлестнул его по крупу ременной уздой, он взвился на дыбы и, получив еще раз уздой, поскакал прочь, я проводил его взглядом, он мчался стремглав по плоской равнине, и желтая туча пыли взметывалась из-под его копыт, к Жаку,— нагретый воздух пропитывался густым запахом свежей крови — к Жаку подошел черноволосый мальчик с большими, темными и влаж-

ными глазами, на нем было темно-зеленое, до половины голени, шерстяное платье, какие обыкновенно носили горожане, он сказал: мы ничего не ели со вчерашнего дня, Жак, мы голодны, позволь нам это сделать, я сказал: позволь им это сделать, и тут увидел стоявшую неподалеку девушку, она была очень красивая, светлая, и слезы текли у нее по щекам, потом я узнал, что зовут ее Мод, что она любит Жака, и поддержала его, когда, более одинокий, чем самый одинокий человек на земле, он впервые сказал: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы дети христианские не оставили милостью своей и милосердием пребывающий в руках нечестивых турок город Иерусалим, в ту минуту я ее ненавидел, ненавидел ее слезы и тогда повторил еще раз: если они голодны, позволь им это сделать, нельзя им быть голодными, мяса хватит на всех, посреди пустынной, палимой солнцем равнины в самый полдень запылал огромный костер, и тут я впервые, хотя видел его уже в третий раз, заметил у него на правой руке перстень, глупец,— подумал я, глядя в костер, вокруг которого, словно громадные мотыльки, сновали мальчики в туниках, едва прикрывающих наготу, а другие сдирали с убитой лошади шкуру, глупец, рука, которую украшал этот перстень, гниет теперь в тяжелом гробу, а ведь она обнимала меня каждую ночь, блуждала в темноте по моему телу, глупец,— запах кровавого мяса расползался в нагретом солнцем воздухе,— глупец, кого ты любишь и кого вожделеешь? когда они расхватали недожаренное, почти совсем еще сырое мясо, я сказал: прикажи им запеть, и он так и сделал, еще не успели обсохнуть омоченные свежей кровью кости и тяжелые мухи тучами над ними роились... прости, отец,— сказал Алексей,— мое затянувшееся молчание, но, когда моя исповедь подошла к концу и осталось лишь в двух-трех словах рассказать о том, что́ со мной было дальше, я подумал, что перед завершением исповеди надо еще раз вернуться в прошлое, дабы, побывав в нем, убедиться, что моя совесть чиста, что ничего из своего прошлого я не утаил и рассказал все доподлинно так, как оно было на самом деле, благодетеля своего и опекуна в шалаше пастуха Жака я не нашел, а отыскал уже на рассвете, впустую проблуждав по окрестностям целую ночь, ранним утром мы возвращались в Шартр, и тогда произошло это, ничем не искупленное несчастье... тяжелое, всей своей жесткой толщей впитавшее влагу сукно рясы по-прежнему неотвязным пронизывающим холодом обнимало тело старого человека, тяжело припечатывая землю отекшими ступнями, он думал: я, старик, у которого уже нет иных стремлений, кроме как уберечь вступающих в жизнь от ошибок моей собственной молодости, я, чье тело уже ни в ком не может возбудить желанье, хотя это же полумертвое тело, это же тело, обтянутое дряблой кожей, до сих пор продолжает сотрясать благословенная и исступленная дрожь вожделенья, я, которого никто не захочет обнять, чтобы запечатлеть на моих увядших губах поцелуй и прижаться устами юности к моим уже увядшим устам, я, обманывающий самого себя и обманывающий тех, кого могу обманывать, чтобы обмануть самого себя, я, призываемый смертью, но все еще жаждущий отдаться молодости, не знающий удовлетворения, ибо желание догнать уходящую молодость не может быть удовлетворено, я, который отверг все блага и богатства и, как предательский след, стер из памяти живых свое имя, Боже, смилуйся надо мной, я, который, будучи обуян гордыней ложного смирения и одержим неправедной идеей служенья добру, взвалил на свои плечи непосильный груз, я думал: если Бог действительно коснулся перстом мертвой земли и с земли восстала молодость, обещая свершенья, дотоле недоступные никому из живых, Боже, да будет так, я думал: я, не чуждый никакого греха, я, изведавший в полной мере всяческие заблужденья, я, которому, несмотря на монашеское облачение и дряблую кожу, и увядшие губы, и стопы, являющие собой оскорбление радости и гармонии, равно знакомы

дно темных бездн и призрачный блеск неисполнимых желаний, я, великий и всемогущий Боже, слышал его, когда он думал: великий и всемогущий Боже, которого никогда не было и нет, великий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья, я слышал все его мысли, ибо в его молчании обретал самого себя, я, которому доверилась тысяча невинных детей, так как все, кто открывали мне свои прегрешенья, воистину были детьми и их невинность была истинной невинностью их тел, а не душ, поскольку душ у них еще нет, будь у них души, они уже не были б невинны, но ведь и я, с глаз которого за последние несколько часов спала пелена призрачных надежд, потому что, сам исполненный темных страстей, навстречу походу юности я вышел с одной только целью: обрести себя в чужих признаниях и с помощью чужих желаний еще раз, возможно уже последний, самому вкусить радость самоотречения, ведь за последние несколько часов я услышал столько правдивых признаний, и так много лжи, и ничуть не меньше молчанья, скрывающего и правду, и ложь, что, хотя все знаю, лгу, ибо, зная все, не знаю, как с этим знанием поступить, Господи, сделай так, чтобы не сбылся мой ужасный сон и чтоб врата Иерусалима не оказались мертвой пустыней, вот сейчас он идет рядом со мной и произносит слова, в которых нет ничего, кроме лжи, хотя нет, я не прав, то, в чем он сейчас исповедуется, не ложь, а далекий, как свет звезды, отблеск сокрытой правды, пока я еще к этому не готов, через минуту, когда он умолкнет, я подниму руку, чтобы благословить его и отпустить согрешенья, но не ему, а себе, и ради себя, а не ради него я испрашиваю отпущенье грехов, все, кто лгут, поступают так от слабости и от страха, его ложь — моя ложь, а теперь я поднимаю руку и говорю: да простит тебе всемогущий Господь твои прегрешенья так, как я их прощаю, во имя Отца и Сына и Святого Духа отец,— сказал Алексей Мелиссен,— сейчас, когда я уже очистился от грехов, позволь, отец, обратиться к тебе с просьбой: все мы, идущие в далекий Иерусалим, уже исповедались и получили отпущенье грехов и твое благословение, только один среди нас еще не исповедался, и это — Жак из Клуа, я знаю, у окошка исповедальни все мы равны, но раз уж случилось, что лишь одного из нас Бог избрал, чтобы через него и его устами к нам воззвать, и этот единственный избранник именно он, Жак из Клуа, наш предводитель, за которым идем мы все и пойдут те, что к нам еще присоединятся, постарайся, отец, отличить его в глазах идущих за ним, разве они уже не поняли, что он не такой, как все? — спросил старый человек, потому я и прошу, чтобы ты остановился и подождал, покуда он к тебе подойдет, а едва он приблизится, благословил его, не ему, отец, это нужно, он скромен и чист, и лишен гордыни, подтверждение его особости нужно нам, я прошу тебя об этом, отец, ради нас, а не ради него, старый человек думал, по-прежнему тяжело припечатывая усталыми стопами сырую землю: вот сейчас, немедленно, я должен остановиться и сам, в одиночку, задержать этот поход безумия, безумия и невинности, безумия и страстей, страстей и лжи, но пока не нахожу в себе сил, чтобы восстать против своих же надежд и стремлений, я искал источники и нашел их отравленными, я пытался убежать от самого себя и в этом бегстве, бегстве от себя, не в состоянии от себя оторваться, здесь искал я поддержки своим умирающим надеждам, у юности искал поддержки своей угасающей старости, но мне еще недостает отваги, чтобы перечеркнуть все это и позволить тьме бесповоротно себя поглотить, уже лишенный надежды, я еще ее жажду, ибо последняя надежда — не надежда вовсе, а потребность в ней, и легче все надежды похоронить, легче следить за их агонией, нежели задушить в себе потребность иметь надежду, ты, который во времена оны сказал: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, прости, что и я, не на кресте распятый, но привязанный к юности, которая тяжелей креста, надви-

гались ранние весенние сумерки и уже первые тени апрельской ночи ложились на бескрайнюю равнину, первыми, пока еще испятнанными отблесками уходящего солнца тенями полнились земля, воздух и небо, итак, когда ранние весенние сумерки начали неторопливо сгущаться и с исхлестанной ливнем земли стал подыматься туман, размывая форму и земли, и неба и теряя очертания сам, когда рядом со стоящим в молчании старым человеком Алексей поднял руку и, подчиняясь этому знаку, все вдруг мгновенно замерло, только к крестам, хоругвям и образам, застывшим над недвижным множеством голов и плеч, возносились подобно церковному ладану ленивые клочья тумана, которые последний луч солнца одарял последними, уже угасающими бликами, и стало тихо, все стало тишиною и оцепенением, тогда Жак в своей полотняной тунике, не скрывающей наготы его рук и ног, но в пурпурном плаще на плечах, направился к старому человеку, который стоял посреди дороги, обернувшись к нему лицом, огромный в своей тяжелой рясе на фоне плоской и безмолвной равнины, устланной первыми тенями весенней ночи, хрупкий и светловолосый Жак шел своим обычным мальчишечьим шагом, но казалось, он не по ровной дороге идет, а по высоким незримым ступеням подымается к высокой, выбранной изо многих тысяч цели, которая лишь ему открыла тайну своего существованья, он остановился в двух шагах от старого человека, который по-прежнему стоял, не шевелясь, и его ждал, он остановился перед ним, хрупкий и светловолосый, в пурпурном плаще, но прежде чем преклонить колена, поднял обе руки и сбросил плащ с плеч, не спускавший с него глаз Алексей, стоявший рядом, поднял плащ с земли, и тогда каждый в плотной толпе, замершей посреди устланной первыми тенями весенней ночи равнины, смог увидеть, что тот, кто три долгих дня выслушивал исповеди, а потом отпускал прегрешенья и благословлял, теперь, огромный в своей тяжелой бурой рясе на фоне плоской и безмолвной равнины, устланной первыми тенями весенней ночи, поднимает руку и медленно чертит знаменье креста над головою того, кто преклонил перед ним колена, теперь я уже знаю,— думал старый человек,— что мою руку направляет не Бог, а призрачная надежда, будто в юности можно отыскать смысл и порядок мирского бытия, через минуту, когда он начнет говорить, мне придется расстаться со всякой надеждой и даже с желанием иметь надежду, и единственное, что останется сделать... идущий рядом с ним Жак говорил: мое имя Жак, меня называют Жаком из Клуа, но я не знаю, где родился, потому что у меня нет ни матери, ни отца, пятнадцать лет назад меня грудным младенцем нашли на церковной паперти в Клуа, а поскольку был день святого Иакова, при крещении нарекли в его честь Жаком, хрупкий и светловолосый, он шел рядом со старым человеком, слегка склонив к нему голову, тень длинных ресниц падала ему на щеки, так как глаза его были полузакрыты, он говорил сосредоточенно и негромко: жизнь моя началась лишь недавно, после того как однажды, бессонной ночью я услышал во тьме рядом с собою голос, говоривший: покинь свой шалаш, Жак, пойди к детям и, где бы ты их ни нашел, в малом или в большом числе, скажи им: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы во искупление зла, в бездушном ослеплении содеянного рыцарями, герцогами и королями, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием в руках нечестивых турок пребывающий город Иерусалим, Господь всемогущий избрал вас, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, сжальтесь над Святой Землей и одиноким Гробом Господним, так сказал мне голос в ночной темноте, когда я лежал без сна, и в голосе этом я узнал голос человека, который, первый и единственный, поведал мне о печальной участи города Иерусалима и об одиночестве Гроба Господня, после чего я, прежде живший как слепой и глухой, благода-

ря этому человеку прозрел и обрел слух, поэтому, когда я узнал его голос в голосе, заговорившем со мною в ночной темноте, и когда тот же голос и в последующие ночи обращался ко мне, торопя исполнить то, к чему он меня призывал, я не смог ослушаться и не последовать его призыву, человеком, который первый поведал мне о печальной участи города Иерусалима, был славный рыцарь Людовик Вандомский, граф Шартрский и Блуаский, это он, отец, незадолго до того, как внезапная смерть вырвала его из сонма живых, меня пробудил, его волею я, прежде слепой и глухой, в одночасье обрел слух и прозрел, некоторое время они шли в молчании, если бы я был с ним, я сумел бы его спасти,— думал Жак, не ложь, а правда сокрушает надежду,— думал старый человек, все еще не зная, как ему поступить, Жак продолжал: первый раз в жизни и вместе с тем последний раз, так как мне не суждено было никогда больше встретиться с ним живым, я увидел его весенним вечером, когда наши стада уже ушли с пастбища, а я, оставшись один, развел костер неподалеку от своего шалаша, я стоял, наклонясь к огню, и тут он появился передо мной на великолепном вороном жеребце, появился нежданно-негаданно, я не знал, кто он такой, я никогда раньше не видел его, судя по облику и одежде, то был рыцарь благороднейшего рожденья, помню: на нем было длинное шелковое темно-зеленое платье, а поверх, под черным плащом, лиловый, подбитый беличьим мехом дублет, лицо у него было еще не старое, хотя изрытое темными бороздами, узкое и сухое, с острым носом и глубоко посаженными глазами, такими светлыми, что они казались нагими, этот человек несчастлив,— взглянув на него, подумал я, после недолгого молчания он спросил: ты пастух? да, господин,— ответил я, как тебя зовут? а когда я сказал, что Жак, указал рукой на шалаш и спросил: это твой шалаш? да, господин, ответил я, а твои товарищи? ночуют в деревне,— ответил я,— это только мой шалаш, тогда он спешился и подошел к костру, озяб? — спросил он, протягивая обе руки к огню, нет,— сказал я,— мне нравится смотреть в огонь, а поскольку он молчал, продолжая греть над костром руки, осмелился спросить: вы, наверное, заблудились? ты знаешь дорогу в Шартр? Шартр там,— сказал я и показал рукой,— там, где полуночная звезда, если без промедленья отправиться в путь, к утру попадете в Шартр, ночь была очень светлая, так как полная луна уже восходила над лугами в долине, я подумал, что сейчас он уедет, и взмолился в мыслях, чтобы этого не случилось, ты бывал в Шартре? — спросил он, нет, господин,— ответил я,— я никогда не был в Шартре, но хотел бы увидеть собор, который строит граф Людовик, говорят, это будет самый прекрасный храм в мире, он минуту молча приглядывался ко мне, потом сказал: граф Людовик? тут я понял, что он, должно быть, впервые в наших краях, и сказал: хозяин всей этой земли, владелец Вандома, граф Шартрский и Блуаский, всего-то?— сказал он, о нет!— воскликнул я,— он прославленный рыцарь, поклявшийся завоевать Иерусалим и вызволить Гроб Господень из рук неверных, внезапно из глубины ночи донеслись веселые звуки лютни, которым вторили цимбалы и тамбурины, в нашей деревне гулянье,— сказал я, потому что в самом деле в тот вечер вся деревня гуляла на свадьбе Агнессы, старшей сестры Мод, опять я подумал, что сейчас он уедет, и сказал: если не хотите ехать в темноте, в Клуа можно найти удобный ночлег, я предпочел бы воспользоваться твоим гостеприимством,— сказал он в ответ, а у меня сильнее забилось сердце, шутите, господин, мой шалаш убог, ты его не любишь? о нет! — воскликнул я,— очень люблю, тогда он улыбнулся и его светлые глаза показались мне еще светлее, значит, твои чувства превращают его во дворец, — сказал он,— подумай, что толку от великолепия, если оно вызывает презрение или неприязнь? богатство в таком случае утрачивает свой блеск, красота — привлекательность, а мощь — силу, только любовь способна какую угодно вещь, даже на-

искромнейшую, сделать прекрасной, помню, он хотел еще что-то сказать, начал: любовь, но замолчал, потому что невдалеке, в той стороне, откуда он, вероятно, приехал, раздался пронзительный голос охотничьего рога, его ищут,— подумал я, а также подумал, что еще ни с одним человеком мне не было так хорошо, как с ним, хотя я видел его впервые в жизни и ничего про него не знал, тем временем он подошел к своему скакуну и, схватив за узду, отвел в лес, в тишине я услышал, что он привязывает коня к дереву, после чего вернулся к костру, и тогда снова затрубил рог, Жак,— сказал он,— ты можешь крикнуть достаточно громко, чтобы тебя, услышал тот человек? возликовав в душе, что он попросил меня оказать услугу, пусть даже такую ничтожную, я улыбнулся и, не снимая с камня ноги, только слегка запрокинув голову, без труда, потому что владел этим умением не первый год, послал вперед, в тишину ночи, протяжный и гортанный пастуший, долго не замирающий в воздухе клич, едва его звуки смолкли, вновь коротко отозвался рог, я никогда больше его не увижу,— подумал я, и тут он сказал: сейчас сюда должен явиться мой паж, если он спросит, не проезжал ли здесь одинокий рыцарь, скажешь, что да, проезжал часа два или три назад, спросил, где дорога в Шартр, и ускакал немедля, а вы, господин? — тихо спросил я, никогда в жизни, отец, я не лгал, но в ту минуту не думал, что мне придется солгать, я испытывал только радость при мысли о том, что могу ему услужить, я подожду в твоем шалаше,— сказал он,— мой паж знает, что я люблю побыть иногда один, в Шартре он отыщет меня, прячьтесь скорей,— сказал я, потому что уже слышен был топот копыт, и он скрылся в моем шалаше, топот стремительно приближался, вскоре на склоне, нависающем над костром, показался залитый лунным светом всадник на белом коне, остановившись на краю пущи, он постоял там с минуту, я видел, как он поднес руку к глазам и внимательно огляделся вокруг, а затем галопом съехал вниз по отлогому склону, мне показалось, еще мгновенье и он на меня наедет, но, в каких-нибудь трех шагах, он так резко натянул поводья, что жеребец под ним, вскинув передние ноги, задом осел на землю, всадник был немногим старше меня, ему могло быть лет шестнадцать от силы, темноволосый, смуглый, крепко сложенный, он был одет в короткую серебристую тунику, облегающие ноговицы из зеленого полотна и кожаные полусапожки, короткий меч висел у его пояса, с плеч ниспадал пурпурный плащ, статный жеребец нетерпеливо рвался из-под него, но он, выпрямившись, крепко на нем держался и, хотя не стоял на месте, ни на секунду не отводил от меня, стоящего у костра, угрюмого взгляда своих темных глаз, ты кричал? — спросил он, да,— ответил я, как тебя звать? Жак,— сказал я, а меня Алексей Мелиссен,— сказал он,— проезжал здесь одинокий рыцарь? часа три назад, еще засветло, и что? спрашивал, где дорога в Шартр, и что? — требовательно повторил он, Шартр там,— я показал рукой, давно он уехал? немедля,— ответил я,— должно быть, очень спешил, он все еще не сводил с меня своих темных угрюмых глаз, ты уверен, что тот рыцарь уехал? не веришь? верю,— сказал он и, обогнув меня, подъехал к шалашу, с чего б мне не верить,— сказал он громче, чем говорил до сих пор,— у Людовика Вандомского, графа Шартрского и Блуаского, нет причин скрываться от своего питомца и наследника, после чего внезапно нагнулся до самой земли и, подняв ременный арапник, лежавший на траве у входа в шалаш, подъехал, держа в руке этот арапник, ко мне, ты прав,— сказал он,— мой господин, должно быть, в самом деле спешил, иначе бы заметил потерю, с минуту мы молча смотрели друг другу в глаза, до тех пор, отец, мне неведомо было чувство ненависти, но в ту минуту я его ненавидел, до свидания, Жак,— сказал он,— мы еще встретимся, и, хлестнув арапником своего жеребца, поскакал вниз по склону к лугам, внизу, обернувшись, он поднял и протянул в мою сторону руку, но я не пошевелился и стоял у костра,

пламя уже погасло и только едва-едва тлели в золе угольки, всадник быстро отдалялся, недолгое время еще маячил белый, словно бы над землей несущийся силуэт его скакуна, но вскоре и тот исчез в подернутом туманной дымкой пространстве, было тихо, высокие звуки лютни плели вдалеке задорную плясовую мелодию, я продолжал стоять возле догорающего костра, как вдруг, не услышав шагов, столь они были бесшумны, увидел у своих ног тень приближающегося человека, он остановился у меня за спиной, постоял молча и наконец произнес вполголоса: благодарю тебя, Жак, тогда я сказал, наверно еще тише, чем он: я угадал в вас благородного рыцаря, но не думал, что вы — могущественный властелин всех этих земель, он же, по-прежнему стоя за мной, но всего в каком-нибудь полушаге, воскликнул: я — могущественный властелин? поверь, мое могущество — одна видимость, видимость и призрачный обман, ты даже представить себе не можешь, сколь несхож с Людовиком, живущим в твоем воображении, Людовик, который стоит рядом с тобой, из нас двоих ты стократ богаче Людовика, ты молод, красив, а взгляд твоих глаз сразу, едва я тебя увидел, сказал мне, что душа твоя тоже прекрасна и чиста, укажи мне богатства больше тех, которыми ты владеешь, еще минуту назад, когда я стоял во тьме шалаша, ты казался мне сонным мороком, чересчур совершенным, чтобы существовать въяве, но, к счастью, это не сон, а явь, чувства меня не обманывают, я тебя вижу, касаюсь рукой твоего плеча, трогательно вздрагивающего от моего прикосновенья, ты живешь, двигаешься, существуешь, а если кажешься сотворенным из иной, нежели все прочие люди, материи, то потому, наверно, что природа в результате своих таинственных и непонятных действий, а главным образом благодаря божественному вдохновению, которым она наделена, единожды только способна из обычных начал создать столь совершенное существо, одарив чудесной неповторимостью как целое, так и отдельные части, после чего, поскольку я молчал, мягко повернул меня к себе и спросил: тебе еще никто не говорил, что ты прекрасен? я ответил: так, как вы, господин, никто, и сказал правду, потому что не знал своего лица, и, хотя слышал, что в деревне меня все чаще называют не как прежде, Жаком Найденышем, а Жаком Прекрасным, никто до сих пор так, как он, об этом не говорил, я видел его лицо совсем близко от своего, немного помолчав, он сказал: может быть, тебе это неприятно? нет, что вы, господин, говорите, мне вовсе не неприятно,— ответил я, потому что так оно в самом деле и было, тогда он положил руку мне на плечо и сказал: поздно уже, пора спать,— на мгновение, потому что глаза его были полузакрыты, а весенние сумерки все плотнее укутывали тенями землю, Жаку показалось, будто вокруг него ночь и, в ночном покое и тишине, он идет бок о бок с тем человеком к стоящему невдалеке от костра шалашу, еще секунда, и они бы туда вошли, но тут ночную тьму разредил хриплый грай летящих над самой землей ворон... были сумерки посреди просторной весенней равнины, Жак услышал тяжелое дыхание идущего возле старого человека и продолжал: потом мы лежали рядом на моей жесткой подстилке, помню, он говорил: когда я ехал один по лесу, мне было чертовски грустно, мир казался огромной скудельею нужды и страданий, человек — заблудшей тварью, жизнь — лишенной надежд, но едва я увидел тебя, стоящего у костра, тотчас же мрак, объемлющий мир, сделался не таким беспросветным, участь человека — не столь безнадежной, жизнь — еще не растерявшей остатков тепла, подумай, какими богатствами ты владеешь, если одним своим существованьем способен воскрешать надежду, убивать надежду,— думал старый человек,— ибо надежду убивает не ложь, а правда, теперь он уже, кажется, знал, что должен сделать, хотя еще не знал, достанет ли ему на это сил, я лежал навзничь с открытыми глазами, надо мной была темнота, а над ней — просачивающийся сквозь свод шалаша тусклый свет

луны, я хотел было сказать: ты меня не знаешь, господин, но тут услыхал снаружи тихий шелест чьих-то шагов, поднялся и вышел из шалаша, в стоящей передо мной девушке я сразу узнал Бланш, кого ты ищешь? — спросил я, тебя,— ответила она,— поцелуй меня, я промолчал, и она подошла ближе, дуреха Мод,— сказала она,— льет слезы из-за того, что ты не пришел на свадьбу и она не может вперить в тебя тоскливый взор, я не такая, мне не нужно, чтобы ты на меня пялил глаза, темнота твоего шалаша мне подходит, можешь не видеть меня и я могу тебя не видеть, достаточно, что ты возьмешь меня, как берет женщину мужчина, уходи,— сказал я, боишься? — засмеялась она,— если у тебя никогда еще не было девушки, я тебя научу, увидишь: возьмешь меня один раз, и тебе захочется делать это со мной каждую ночь, уходи,— повторил я, она стояла так близко, что я видел, как она побледнела и глаза ее потемнели и сузились, кто у тебя в шалаше? — спросила она, никого,— ответил я, врешь,— и хотела меня ударить, но я помешал ей, схватив за запястье, она рванулась: пусти,— и, когда я разжал пальцы, сказала, быстро дыша: ты еще будешь на коленях умолять меня, чтобы я тебе отдалась, мне не пришлось в третий раз повторять: уходи, потому что, резко повернувшись, она побежала вниз, к лугам, я еще постоял немного, а когда она скрылась из виду, вернулся в шалаш и лег на подстилку, я не видел его, но знал, что и он не спит, мы долго молча лежали рядом, наконец он спросил: это была твоя девушка? у меня нет девушки,— ответил я, почему? — спросил он, не знаю,— ответил я,— наверное потому, что я никого не люблю, зато тебя любят,— сказал он, не знаю,— ответил я, и снова настала тишина, я слышал, как стрекочут цикады в траве возле шалаша и думал: не знаю, кем был мой отец, мне бы хотелось, чтобы он был моим отцом, засыпаешь? — тихо спросил он, нет, господин, мне тоже не спится,— сказал он, и я почувствовал, что он закинул обе руки под голову, твои родители живы? — спросил он, я про своих родителей ничего не знаю,— сказал я,— не знаю, кем был мой отец и кем была моя мать, один старик из нашей деревни, старый ключарь, рассказывал как-то, что, когда меня грудным младенцем нашли на паперти, разразилась гроза, но быстро кончилась, выглянуло солнце, и огромная радуга появилась на небе, ты бы мог быть моим сыном,— сказал он,— мне б хотелось иметь такого сына, как ты, я бы знал, что он может совершить то, чего я совершить не сумел, я чувствовал, что под незакрытыми веками у меня закипают слезы, мне было хорошо, как еще никогда в жизни, ты не знаешь меня, господин,— сказал я, и тогда он сказал: если человек — непостижимая тайна, другому человеку трудно его полюбить, но если в нем нет ничего потаенного, полюбить его невозможно, ибо любовь — поиск и узнавание, влечение и неуверенность, торопливость и ожидание, всегда ожидание, даже если ждать невмоготу, любовь это особое и неповторимое состояние, сочетающее в себе чистые и темные желанья и страсти, особое и неповторимое состояние, когда желанья и страсти жаждут удовлетворения, но не хотят переступать той последней черты, за которой оно будет полным, ибо любовь, по природе своей будучи неистовой потребностью удовлетворения желаний, с удовлетворением себя не отождествляет, любовь — не удовлетворение и не способна им стать, зная тебя, я б не мог устремить к тебе свои желанья, так как для них только неведомое вместилище пригодно, однако, если б я ничего о тебе не знал и ни о чем не мог догадаться, я бы тоже отпрянул от тебя, словно от предательского ущелья в горах или стремительного речного водоворота, любовь — зов и поиск, она хочет все подчинить себе, но всякое удовлетворение желаний ее убивает, она вечно томима жаждой, но всякое удовлетворение желаний умерщвляет ее, любовь — отчаянье средь несовместных стихий, одиночество средь несовместных стихий, но вместе с тем и надежда, неугасимая надежда средь несовместных стихий —

слушая эти слова, старый человек думал: тебе одному, самому чистому и невинному из всех, тебе, не сказавшему ни слова неправды и даже тени мысли не затаившему, тебе одному я не могу отпустить прегрешенья и тебя одного не могу благословить... я запомнил слово в слово все, что он говорил, а так как всего, что он говорил, не понимал, слушал его слова как музыку и сейчас, идя рядом с тобой, отец, могу все сказанное той ночью, когда я лежал возле него и перед моими открытыми глазами была темнота, а над ней — просачивающийся сквозь свод шалаша тусклый свет луны, все, сказанное той ночью, когда я лежал возле него, затаив дыханье, я могу повторить слово в слово, будто эти слова живы сейчас, будто они тут, рядом со мной, в какое-то мгновенье я сказал: господин, у меня никогда не было отца, он долго молчал и, наконец, даже не шевельнув рукой, чтобы, как сына, меня обнять, чего я жаждал больше всего на свете, сказал: здесь, на земле, христианин может стремиться к свершению множества благородных деяний и множество благородных деяний может свершить, но, к чему бы он ни стремился и что бы ни совершил, все помыслы и дела должны, подобно звездам, бледнеющим при свете дня, побледнеть и померкнуть пред высочайшим назначеньем, а высочайшее назначенье — далекий город Иерусалим и в нем — одинокий гроб Иисуса Христа, который — и это позор всех христиан и несмываемый позор каждого христианина — долгие годы пребывает в руках нечестивых турок, Бог мне свидетель,— продолжал он, немного помолчав,— я говорю это не потому, что уже не одно столетье, с тех пор, как величайший христианский рыцарь Готфрид Бульонский после унизительной многовековой неволи первым принес Гробу Господню свободу, все мои предки, все графы Шартрские и Блуаские, не жалея своих богатств и всяческие принося жертвы, служили гробу Иисуса в его превратной судьбе, в часы его торжеств и в часы подневольного одиночества, я не потому это говорю, Бог мне свидетель, чтобы самоотверженностью и рыцарской славой предков оправдать свою безрассудную гордыню, а потому, что высочайшая эта цель, взывающая к совести христианина, одинокий Гроб Господень, пребывающий в далеком Иерусалиме под игом неверных, постоянно меня влекла, сколько я себя помню, она была со мною всегда, да и сейчас, хотя я уже знаю, что никогда не войду в ворота Иерусалима и никогда мне не будет даровано счастье искупить свои вины и прегрешенья у гроба Иисуса, и сейчас эта недостижимая цель, величайший образец самоотверженности и вершина славы, при мне, здесь, не дальше, чем ты, лежащий рядом, когда он говорил это, понизив голос, но очень отчетливо, я лежал возле него, не шевелясь, по-прежнему навзничь и с открытыми глазами, затаив дыханье, с ног до головы скованный странной немочью, немочью, которая была и радостью, и печалью, мне казалось, что стоит закрыть глаза и я увижу под сомкнутыми веками мощные ворота и громадные стены далекого Иерусалима, а затем и одинокую могилу Иисуса Христа, однако я не закрывал глаз, лежал, затаив дыханье, ты спишь? — спросил он, нет, господин,— ответил я, помню, прежде чем снова заговорить, он долго молчал, а заговорив, сказал: когда я был чуть постарше, чем ты сейчас, я совершил множество тяжких проступков, не знаю, в слепой ли вере не замечая вокруг себя зла или оттого, что зло сидело во мне, а я своею верой хотел его усыпить, как бы то ни было, жертвою ли зла я стал или творил зло потому, что этого требовало мое естество, в том пространстве времени, что уже у меня за спиной, мои поступки навечно останутся моими поступками, и ни первоначального их образа, ни различных превращений в дальнейшем не в состоянии изменить ни моя добрая, ни моя злая воля, он опять умолк и помню, на этот раз молчал еще дольше, чем прежде, пока, наконец, не заговорил: я был чуть старше, чем ты сейчас, когда начал сбываться сон моего детства и ранней юности, сон страстных же-

ланий и тревог, который внезапно стал обретать форму жизни, каждый из длинной череды дней, когда мы по чужим землям двигались на восток, а потом плыли по морю на венецианских галерах, каждый из этих дней приближал меня к долгожданному освобождению Гроба Господня, я не знал тогда, даже в ту весеннюю ночь, когда мы, рыцари Христовы в белых плащах крестоносцев, осадили могучие стены и бастионы Константинополя вместо того, чтобы поспешать к стенам Иерусалима, и затем, вместо того чтобы штурмовать стены и башни Иерусалима, ворвались в христианский город, неся с собой огонь и уничтожение, чиня насилье, даже в ту страшную ночь нашего вероломства, когда восторжествовало стремление к земному господству и земным завоеваниям, даже вступая в ту ночь измены Христу и делая то же, что делали другие рыцари, я не понимал, что навсегда, отныне и до последнего вздоха, лишаюсь высочайшей и единственной цели своей жизни и, ничего не приобретя, теряю все, в ту ночь мои руки, дотоле невинные, утратили невинность, ибо их обагрила безвинно пролитая кровь, ты меня слышишь? — спросил он, да, господин,— ответил я, и он продолжал: но прежде чем подошла к концу та постыдная ночь предательства, вероломства и злодеяний, озаренная пожарами, оглашаемая криками женщин и стонами умирающих, прежде чем над этой бездной преступлений и страданий занялась первая весенняя заря, я понял, что не попирая данные людьми и Богом законы, не с обагренными невинной кровью мечами и затаенными в сердце и в мыслях темными неистовыми страстями, а лишь в броне невинности и с чистым сердцем под этой бронею можно достичь ворот Иерусалима, которые должны распахнуться пред теми, кто душою близок покоящемуся в одинокой могиле Христу, потому что Он говорил: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, а еще говорил: входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их; тогда, восемь лет назад, на исходе той, самой тягостной в моей жизни ночи, я понял, как если б сам всемогущий Господь это мне возвестил, что во искупление зла, в бездушном ослеплении содеянного рыцарями, герцогами и королями, только христианские дети в своем милосердии могут спасти город Иерусалим, ибо скорее, нежели любая мощь на суше и море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деянья, пока он это говорил, я закрыл глаза и вот тут, окруженный темнотой, но слыша каждое слово, которое он произносил, лежа рядом со мной в темноте, впервые увидел громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который не знаю откуда исходил, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сияния, разливающегося в воздухе и в небе над ними, потом я слушал, как он молчит, а сам, оставаясь с ним рядом, в то же время был возле громадных стен и ворот Иерусалима, которые покоились под моими смеженными веками, озаренные золотым сияньем, вдруг я услышал его близкий и ласковый голос: скоро уже рассветет, пора спать, на заре мне придется уехать, тогда я спросил: я тебя еще увижу когда-нибудь, господин? будь моя только воля,— сказал он,— ты б мог быть со мною всегда, до конца моих дней, Алексей Мелиссен,— сказал я,— знает, что я солгал, это я солгал,— сказал он,— Алексей Мелиссен вовсе не паж, на самом деле он мой воспитанник и, хотя чужеродец, был до сих пор наследником моего состояния, скажи, господин,— спросил я,— город Иерусалим очень далеко? дальше, чем ты полагаешь и чем можешь вообразить,— ответил он,— дальше, но вместе с тем и ближе, нежели можно измерить временем и пространством, отделяющим нас от него, я только что видел стены и ворота Иерусалима,— сказал я и, когда так сказал, надолго наступило молчание, спи,— сказал он,— а если у тебя хватит терпения ждать, я однажды сюда вернусь, но не ночью, как сегодня, а

ровно в полдень, а стены и ворота Иерусалима действительно золотые? — спросил я, не знаю,— ответил он,— я никогда не видел стен и ворот Иерусалима и никогда не увижу, но если ты их видишь такими, наверняка в отдаленном времени и пространстве они существуют в том виде, в каком предстали твоему внутреннему взору, спи,— сказал он, и тогда, помню, уже погружаясь в сон, который сродни был немочи, немочи, полной радости и печали, я сказал: я буду ждать, господин, больше я ничего из той ночи не помню, проснувшись на рассвете и еще не открыв глаз, еще оставаясь во власти сна, я услышал плач иволги, чей голосок всегда будил меня на заре, но в то утро, разбуженный этим недалеким зовом, я сразу понял, что его рядом со мной уже нет, я лежал на своей подстилке и чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо прежде, хотя всегда просыпался в своем шалаше один, я подумал: все это мне приснилось, и, подумав так, даже пожелал, чтобы это был только сон, но в ту же минуту, когда я этого пожелал, меня обуял страх, я сел на подстилке и вдруг увидел на своей руке драгоценный перстень, тот самый, который ты сейчас видишь, отец, должно быть, уходя, он надел мне его на палец, когда я спал, поняв все, я преклонил колена и в утренней молитве возблагодарил всемогущего Бога, что это не было сном, а потом, потом много дней я ждал и был счастлив, как никогда в жизни, пока, наконец, однажды вечером не появился Алексей Мелиссен, когда он мне все рассказал, я спросил: ты был с ним? да,— ответил он,— весенние реки коварны, и не смог спасти? не смог,— сказал он,— это произошло очень быстро, так камень идет на дно, он говорил, а я думал: будь я с ним, я сумел бы его спасти, а потом, когда Алексей ушел и я остался один, в ту ночь, лежа без сна, я впервые услышал во тьме его голос, говоривший: покинь свой шалаш, Жак, иди к детям и, где бы ты их ни нашел, в большом или малом числе, скажи им: Господь всемогущий возвестил мне, чтобы, во искушение зла, в бездушном ослеплении содеянного рыцарями, герцогами и королями, дети христианские не оставили милостью своей и милосердием город Иерусалим, сын мой,— сказал старый человек и остановился посреди дороги, он стоял в сгущающихся сумерках, огромный и грузный, в своей бурой тяжелой рясе, а когда повернулся лицом к идущим, передние остановились, затем остановились те, что шли за ними, и так дальше и дальше, пока не замерли теперь уже почти невидимые ряды замыкающих шествие, наступила тишина, старый человек подумал: если б я был послушен только своему внутреннему голосу, я пошел бы с ними, зная, что, как и они, обречен, но все равно бы пошел, на пути к погибели осененный тенью надежды, а в минуты особого воодушевления, в соприкосновении с их неведением, быть может даже сам блага неведения удостоясь, так бы я поступил, если б только своему внутреннему голосу был послушен, но, будучи другому голосу подчинен, не поступлю так, как хочу, а вот как не хочу, поступлю, сын мой,— повторил он, Жак стоял рядом, опустив голову, хрупкий и светловолосый, было тихо, и старому человеку не понадобилось чрезмерно напрягать голос, чтобы быть услышанным стоящей перед ним, сбившейся в плотную кучу и по краям теряющейся в отдалении толпой, сын мой,— сказал он, и голос его дрогнул, я не могу простить твои прегрешенья и благословить тебя не могу, он увидел перед собой побелевшее лицо Жака и изумление в его глазах, внезапно сменившееся смертельным страхом, тогда, повторяя в мыслях: Боже, прибавь мне сил, нельзя, чтобы сбылся мой ужасный сон, он раскинул в стороны руки и, стоя так посреди дороги, в почти полной уже темноте, лицом к лицу с безмолвной и неподвижной толпой, огромный, с распростертыми перед безмолвной и неподвижной толпой руками, вскричал зычным голосом: дети мои, милые мои дети, поверните, пока не поздно, назад и возвращайтесь домой, именем всемогущего Бога и Господа нашего Иисуса Христа за-

прещаю вам следовать за тем, кого я ни благословить не могу, ни простить, тогда Жак крикнул, точно обиженное дитя: Алексей! и пока исповедник, по-прежнему стоя с распростертыми руками посреди дороги, взывал: я прошу вас, я вам приказываю, слова церковного гимна: O Maria, virga davidica, virginum flos, vitae spes unica[1],— начатого сильным голосом Алексея, мгновенно подхватила сотня других голосов, заглушая призыв старого человека, стоящего с распростертыми руками посреди дороги, пение набирало силу, минуту спустя оно неслось уже из самых отдаленных рядов, Жак стоял, окутанный этим пением, оцепенелый и бледный, идем,— услышал он рядом с собой голос Алексея, почувствовал его пальцы на своей руке и, оставаясь во власти набирающего силу пенья, подчинился бессловесному приказу, прошел будто во сне мимо беззвучно вопиющего человека, который стоял в своей бурой рясе посреди дороги, раскинув неестественно длинные руки, миновал его, не высвобождая своих бессильных пальцев из крепкой руки Алексея, впереди была ночь, Жак шел, чувствуя только холод сырой земли под босыми ногами и руку Алексея на своей руке, и вдруг осознал, что они идут не одни, мощное пение внезапно сделалось еще более мощным, он хотел остановиться, идем,— сказал Алексей и крепче сжал его пальцы, старый же человек, распростерший руки в густеющем мраке, окруженный со всех сторон пением детских голосов, больше не был один посреди дороги, его, неподвижного, обтекала медленно движущаяся густая толпа, он кричал, никем не слышимый, видя проплывающие с двух сторон от него головы, белые платья и обнаженные плечи, а над собою кресты чернее темноты, белые хоругви и над ними пока еще беззвездное небо, он кричал: я благословляю всех вас и всем отпускаю грехи, уже совершенные и те, что вам еще предстоит совершить, ибо, когда нет надежды, только потребность в надежде, но внезапно, выкрикивая эти слова, пошатнулся, потому что маленький, самозабвенно поющий мальчик, несший вдвое больше, чем сам он, крест, задел его вытянутую руку этим крестом, он почувствовал ледяной укол боли, почувствовал, как, будто сломанное крыло, бессильно опадает рука, нагнулся, чтобы ее поднять, и, плотнее, чем прежде, окутанный теплом проплывающих рядом белых платьев, белых туник и голых ног, вдруг услышав мощное пенье выше, чем слышал до этой минуты, упал на колени и через толстое сукно рясы почувствовал под коленями влажную мягкость земли, почувствовал запах земли, а затем, вслепую шаря руками, ощутил пальцами влажность земли, благословляю вас,— сказал он очень отчетливо, хотя почти касался лицом влажной земли, и, упираясь в землю коленями и руками, утратив на долю секунды зрение, но открытым ртом вдыхая влажный запах и слыша высоко над собой медленно перекатывающееся во тьме мощное пенье, всем собою, всем своим огромным и грузным телом приник к земле, теперь он лежал навзничь, и глаза его были открыты, головою, спиной, а также бессильной беспомощностью неподвижных ног он чувствовал влажную землю, я никогда не увижу Иерусалима,— подумал он, высокие детские голоса звучали уже в таких отдаленных высях, что стали ему чужды и безразличны, босые же и грязные, землей и пóтом пахнущие детские ноги входили в его живот, в его грудь и плечи, в его лицо, погружались в него, как во влажную землю, он лежал навзничь и вдруг застилаемыми темнотой глазами увидел темноту, беззвучно смыкающуюся по-

---

[1] О, Мария, дева дома Давидова, цвет девственности, единственная надежда жизни *(лат.)*.

верх обнаженных бедер и босых ног, которые все глубже втаптывали его во влажную землю, он подумал: не ложь, а правда убивает надежду, и, едва так подумал, и в нем, и над ним разлилась темнота, и с нею пришел испуг, а вслед за испугом еще более страшный страх, продолжая сжимать руку Жака и вместе с ним углубляясь в ночь, вместе с ним увлекаемый пеньем Алексей, когда почувствовал, что пальцы Жака дрожат, сказал: если прикажешь, мы будем идти целую ночь, и Жак ответил: пусть будет так.

И они шли целую ночь.

Сентябрь 1959

■

«ФЕНИКС»

В издательстве «Советский писатель» сдается в производство первый номер иллюстрированного литературно-художественного альманаха **«Феникс»** (орган Союза писателей СССР, периодичность — 4 раза в год; объем — 30 листов, цветная печать).

Цель альманаха — публиковать лучшие произведения всех литературных жанров писателей европейских стран.

В редколлегии альманаха видные представители нашей культуры — писатели, публицисты, критики.

Пресса Восточной Европы уже пишет о нашем альманахе. Идут письма в Москву с вопросами, где подписаться «на этот журнал». Ведь еще в Берлине (в 1987 году) на Совещании руководителей Союзов писателей социалистических стран было объявлено, а на следующем в Будапеште (в 1988 году) подтверждено создание нового органа печати.

«Феникс» — явный результат перестройки и создан во имя перестройки. Это значит, что его задачей является возрождение подлинных ценностей культуры, «стирание» белых пятен в ее истории, полный расчет с наследием лжи, лицемерия, официозной показухи, дутыми репутациями, сомнительными идеями сектантства.

Мы не будем изменять «гамбургскому счету» не только в критериях качества, но и в самом подходе к духовному потенциалу национальной культуры — «служение муз не терпит суеты», и не массовые поветрия, не мода, сиюминутные ориентиры популизма будут нашими ориентирами, а глубокие исторические процессы, интуиция таланта, правда выстраданных общечеловеческих истин.

Интересы издания не будут замыкаться в узко понятой сфере идеологических структур европейского региона. Культура мировая, ее общегуманистические цели и ценности лягут в основу проблематики альманаха.

И еще одно. Мы не будем делить национальных художников на авторов «метрополии» и «эмиграции». Солженицын — русский писатель, Милош — поляк, где бы они ни жили.

Нельзя исключить и сомнения: в духе ли времени — тот факт, что первый выпуск целиком отдан произведениям «востока» Европы, когда закладываются первые кирпичи «европейского дома», когда всякое **разделение** противоречит выстраданным целям единения человеческого рода?

Ответ один. Не разделению служат авторы первого номера.

В «общий дом» поселятся народы и личности, имеющие собственное лицо и личное достоинство. И чем богаче будет собственный, неповторимый мир каждой культуры, ее традиции, тем гармоничнее предстанет будущее этого общежития.

Или нам не с чем войти в третье тысячелетие?

На риторический сей вопрос лучше всего ответит план первого номера альманаха.

Вот он.

№ 1

От редакции

1. По страницам прозы и поэзии

Тибор Дери. Воображаемый репортаж об одном поп-фестивале. Роман.
Десанка Максимович. Речь в Струге и стихи
Иво Андрич. «Дети». Рассказ
Тадеуш Ружевич. Стихи
Анна Свирщиньская. Стихи
Богумил Грабал. «Поездка особого назначения». Повесть
Марин Сореску. Стихи
Мирча Динеску. Стихи
Марек Хласко. Рассказы
Владимир Голан. Стихи
Ивайло Петров. «Облава на волков». Отрывок из романа
Славко Михалич. Стихи
Йордан Радичков. Рассказы
Изет Сарайлич. Стихи
Александр Солженицын. Крохотные рассказы
Александр Петров. Стихи
Думитру Раду Попеску. «Королева ночи». Рассказ
Дюла Фекете. Афоризмы и мысли
Эфрем Каранфилов. Афоризмы

2. Мнения

Чеслав Милош. Нобелевская речь
Криста Вольф. Ответ читателю
Герман Кант. Долг писателя
Белградская «Политика» о русском издании Васко Попы
Артур Сандауэр. Письмо в редакцию.
Владимир Корнилов. К выходу перевода поэмы Негоша «Самозванец Степан Малый»
Лев Озеров. Об Атанасе Далчеве
Фридхельм Деннингхауз. Об одном стихотворении Мао в переводе Бертольта Брехта

3. Другие музы

Славомир Мрожек. Две пьесы
Беседа Веры Хитиловой с Милошом Форманом о профессии кинорежиссера

4. Былое

Марина Цветаева. Письма о Чехии и из Чехии
Дюла Ийеш и Борис Пастернак
Мирослав Крлежа. Путь в Россию. Эссе о революционном театре
Солдатские песни и плач матери. Из венгерского фольклора

5. Анкета

Отвечают: Грабал, Динеску, Давичо, Кант, Радичков, Сандауэр, Хермлин

6. Реклама

Книги, выходящие в 1990 году, — «Радуга», «Прогресс»

Публикуя этот анонс, я надеюсь, что хотя бы подписчики «Иностранной литературы» будут искать «Феникс» в киосках «Союзпечати» и следить за выходом его очередных номеров через «Книжное обозрение», а «Международная книга» и АПН помогут нам широко ознакомить с новым изданием зарубежного читателя.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ,
главный редактор альманаха

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями

НОВЕЛЛА В 24 ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Перевод с немецкого Н. ФЕДОРОВОЙ

Посвящается Шарлотте

Что будет? Что принесет грядущее? Я этого не знаю, я ни о чем не догадываюсь. Когда паук, потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он неизменно видит перед собой пустое пространство, где не за что зацепиться, сколько ни барахтайся. Вот так и со мною; впереди неизменно пустое пространство, а то, что гонит меня вперед, есть последствие, оставленное позади. Эта жизнь лишена смысла и ужасна, невыносима.

Кьеркегор

1

Когда полиция сообщила Отто фон Ламберту, что его жена Тина, изнасилованная и убитая, найдена у подножия Аль-Хакимовых Развалин и что раскрыть преступление не удалось, психиатр, снискавший популярность книгой о терроризме, распорядился переправить тело вертолетом через Средиземное море, причем гроб, в котором оно лежало, был подвешен на тросе под брюхом машины и летел следом за нею то над необозримыми солнечными равнинами, то сквозь космы туч; над Альпами он вдобавок угодил в метель, а затем в ливневые дожди, но в конце концов плавно опустился в окруженную скорбящими открытую могилу, которую немедля засыпали, после чего фон Ламберт, заметивший, что Ф. тоже снимала похороны, сложил, невзирая на дождь, свой зонтик, секунду пристально смотрел на нее и пригласил сегодня же вечером навестить его вместе со съемочной группой: у него есть для Ф. поручение, которое не терпит отлагательства.

2

Ф., снискавшая популярность кинопортретами — в свое время она решила идти неизведанными путями и теперь вынашивала туманную пока идею создать обобщенный портрет, а именно портрет всей нашей планеты, надеясь достигнуть этого сведéнием разрозненных, случайных эпизодов в единое целое, почему снимала и эти странные похороны,— озадаченно проводила взглядом грузную фигуру фон Ламберта, мокрого от дождя, небритого, в черном пальто нараспашку,

© 1986 by Diogenes Verlag

заговорившего с нею и тотчас отошедшего без слова прощания, и решилась принять его приглашение далеко не сразу, ибо недоброе предчувствие подсказывало ей, что здесь что-то не так и есть опасность влипнуть в историю, которая расстроит собственные ее планы, а потому она со своей съемочной группой явилась в квартиру психиатра, по сути, без всякой охоты, только из любопытства — дескать, что он от меня хочет? — твердо решив ни на что не соглашаться.

3

Фон Ламберт принял их в своем кабинете; первым делом он попросил снять его на пленку, безропотно вытерпел все приготовления, а после этого, сидя за письменным столом, заявил перед камерой, что виновен в смерти своей жены, поскольку относился к ней, нередко страдавшей тяжелыми депрессиями, скорее как к пациентке, чем как к жене, а в результате она, случайно прочитав его записки, ушла из дома, накинула на джинсовый брючный костюм рыжую шубу, схватила сумочку, да так, по словам экономки, и ушла; с тех пор он ничего о ней не слышал, мало того, пальцем не шевельнул, чтобы о ней разузнать: хотел, с одной стороны, дать ей полную свободу, а с другой — развеять у нее впечатление (вдруг бы она узнала о его розысках!), что он по-прежнему за нею наблюдает, однако теперь, когда ее постиг такой ужасный конец, а он уразумел, что вина его не только в том, что он применял к ней предписанные психиатрией методы хладнокровного наблюдения, но и в том, что он вообще отказался от розысков,— теперь он считает своим долгом узнать правду, больше того, сделать ее достоянием науки, выяснить, что же все-таки произошло; конечно, судьба жены обнажила ограниченность его науки, но здоровье у него подорвано, и он не в состоянии поехать туда сам, поэтому и поручает ей, Ф., вместе с ее съемочной группой, восстановить картину преступления, виновник которого он сам как врач, а убийца представляет собой чисто случайный фактор,— восстановить прямо на том месте, где оно, очевидно, произошло, зафиксировать все по максимуму, чтобы созданный таким образом фильм можно было показывать на конгрессах специалистов и в прокуратуре, ибо он, виновный, как всякий преступник, лишился права хранить свой проступок в тайне; засим он передал ей чек на солидную сумму, несколько фотографий покойной, а также ее дневник и свои записки, после чего Ф., к удивлению съемочной группы, согласилась выполнить его поручение.

4

Ф. распрощалась, оставив без ответа вопрос оператора о том, что означает весь этот вздор, и ночь напролет, почти до рассвета, читала дневник и записки, а после недолгого сна, не вставая с постели, позвонила в бюро путешествий и организовала авиабилеты до М., потом она поехала в город, купила бульварную газету, где на первой полосе были опубликованы фотографии странных похорон и усопшей, и, прежде чем отправиться по небрежно нацарапанному адресу, найденному в дневнике, зашла позавтракать в итальянский ресторан и подсела там к логику Д., чьи лекции в университете посещали двоетрое студентов, чудаковатому, но весьма проницательному человеку, о котором никто не знал, совершенно ли он беспомощен в житейских делах или просто разыгрывает беспомощность, и который всякому, кто подсаживался к нему в этом вечно переполненном ресторане, объяснял свои логические проблемы, да так сумбурно и подробно, что никто не мог их постичь, в том числе и Ф., которая, однако же, находила его забавным, симпатизировала ему и частенько делилась своими планами; вот и теперь она заговорила о странном поручении

психиатра и о дневнике его жены, не отдавая себе отчета, что рассказывает об этом,— настолько занимала ее эта густо исписанная тетрадка, она так и сказала: никогда, мол, в жизни не читала подобных описаний, Тина фон Ламберт изображала своего мужа чудовищем, изображала постепенно, как бы снимая срез за срезом и после, словно под микроскопом, рассматривая их при все большем увеличении и во все более ярком свете, на многих страницах она описывала, как он ест, на многих страницах — как ковыряет в зубах, на многих страницах — как и где почесывается, на многих страницах — как причмокивает или прочищает горло, кашляет, чихает и прочие непроизвольные действия, жесты, порывы и странности, которые, откровенно говоря, можно найти у любого человека, но делалось это все в такой манере, что у нее, у Ф., теперь просто кусок в горле застревает, и если она еще не притронулась к завтраку, то потому лишь, что ей представляется, будто она ест столь же омерзительно, да и нельзя есть эстетично; когда читаешь этот дневник, все время чувствуешь, как огромная куча наблюдений сгущается в комок омерзения и ненависти, ей кажется, словно она прочла документальный сценарий о человеке вообще, словно любой человек, если заснять его таким образом, станет тем фон Ламбертом, каким его описала собственная жена, ведь в силу беспощадного наблюдения он теряет всякую индивидуальность; на самом-то деле психиатр произвел на нее совсем другое впечатление, он фанатик своего дела, начавший в этом деле сомневаться, в нем есть что-то до крайности ребячливое, как и во многих ученых, и беспомощное, он верил, что любит жену, и верит до сих пор, но люди слишком уж легко воображают, что любят кого-то, а по сути, любят только самих себя; сенсационные похороны заронили в нее недоверие, они лишь маскируют его уязвленную гордость — а что, очень может быть,— и, поручив ей, Ф., выяснить обстоятельства, приведшие к гибели жены, он пытается, хотя и неосознанно, стяжать лавры прежде всего себе самому; и если рассуждения Тины о муже тяготеют к утрированности, к излишней наглядности, то записки фон Ламберта — к излишней абстрактности: в них сквозит не наблюдение за человеком, а абстрагирование от него, к примеру, депрессия определяется как психосоматический феномен, порожденный осознанием бессмысленности, которая присуща бытию как таковому, смысл бытия есть само бытие, и, таким образом, бытие принципиально невыносимо, сознание этого дошло до сознания Тины, а такое осознание как раз и есть депрессия — и так далее, целые страницы подобной белиберды, вот почему она совершенно не может поверить, что Тина сбежала, найдя эти записки, как, по всей видимости, полагает фон Ламберт; пусть даже ее дневник и кончается дважды подчеркнутой фразой «за мной наблюдают», Ф. толкует эти слова по-другому: Тина обнаружила, что фон Ламберт читал ее дневник, это вот чудовищно, а не записки фон Ламберта, для человека же, который в глубине души ненавидит и вдруг узнаёт, что ненавидимый знает об этом, нет иного выхода, кроме бегства,— тут Ф. поставила точку в своих рассуждениях, добавив, что во всей этой истории что-то не так, остается загадкой, что́ погнало Тину в пустыню, и она, Ф., кажется себе чем-то вроде тех зондов, которые запускают в космос: вдруг они передадут на Землю информацию совершенно неизвестного характера.

5

Д. выслушал сообщение Ф., рассеянно заказал себе бокал вина, хотя было только одиннадцать часов, и, столь же рассеянно осушив его, сразу заказал еще один и заметил, что вообще-то до сих пор занят никчемной проблемой, справедливо ли тождество А = А, ведь оно предполагает два тождественных А, тогда как существовать может лишь одно тождественное себе самому А, относительно же реально-

сти это все равно бессмысленно, ни один человек себе не тождествен, ибо он подвластен времени и, если быть точным, в каждое мгновение иной, чем прежде, иногда ему кажется, он каждое утро другой, словно иное «я», вытесняя предыдущее, пользуется его мозгом, а значит, и его памятью, поэтому он с радостью занимается логикой, которая бытует по ту сторону любой реальности и отвержена от любой экзистенциальной неудачи, вот почему он способен воспринять историю, которой она его попотчевала, лишь в самых общих чертах; старина фон Ламберт потрясен не как супруг, а как психиатр: от врача сбежала пациентка, и свою человеческую неудачу он сразу же превращает в неудачу психиатрии, этот психиатр точно страж без узника, ему не хватает объекта, и виной он называет всего-навсего эту нехватку, а от Ф. хочет всего-навсего недостающего документа для своего досье; стараясь узнать то, чего никогда не поймет, он хочет, так сказать, вернуть умершую в свою тюрьму — материальчик для комедиографа, от начала и до конца, если б не крылась тут проблема, которая его, Д., тревожит уже давно, ведь у себя дома, в горах, он держит зеркальный телескоп, так вот этот неуклюжий прибор он наводит иной раз на скалу, откуда за ним наблюдают люди с биноклями, после чего эти наблюдатели с биноклями, едва обнаружив, что он наблюдает за ними в телескоп, спешно ретируются, а это только подтверждает логический тезис, что на любое наблюдаемое есть наблюдающее, каковое, если наблюдается тем наблюдаемым, само становится наблюдаемым,— банальное логическое взаимодействие, однако же, транспонированное в реальность, оно оказывается весьма опасным; оттого, что он наблюдает за ними в телескоп, наблюдающие за ним чувствуют себя пойманными с поличным, а это чувство пробуждает стыд, стыд зачастую рождает агрессию, иные из ретировавшихся возвращались, когда он, Д., убирал свой прибор, и бросали камни в его дом, и вообще все, что происходит между теми, кто наблюдает за ним, и им, наблюдающим за своими соглядатаями, весьма показательно для нашего времени, каждый, чувствуя, что все за ним наблюдают, тоже наблюдает за всеми, нынешний человек постоянно находится под наблюдением, государство наблюдает за ним все более утонченными способами, человек все отчаяннее пытается уйти от наблюдения, государству становится все более подозрителен человек, и наоборот, человеку — государство, точно так же всякое государство наблюдает за другими и чувствует, что другие наблюдают за ним, а человек, как никогда прежде, наблюдает за природой, изобретая для этого все более изощренные приборы, как-то: фото- и кинокамеры, телескопы, стереоскопы, радиотелескопы, рентгеновские телескопы, микроскопы, электронные микроскопы, синхротроны, спутники, космические зонды, компьютеры; у природы выманивают все новые наблюдения — от квазаров, удаленных на миллиарды световых лет, до мельчайших, размером в миллиардные доли миллиметра частиц, до открытия, что электромагнитное излучение есть излученная масса, а масса есть застывшее электромагнитное излучение; никогда прежде человек не наблюдал природу так усиленно, она стоит перед ним как бы нагая, лишенная всех тайн, из нее извлекают выгоду, над ее ресурсами измываются, оттого ему, Д., иногда кажется, будто природа в свою очередь наблюдает за наблюдающим ее человеком и становится агрессивной; загрязненный воздух, отравленная почва, зараженные грунтовые воды, умирающие леса — это забастовка, сознательный отказ обезвреживать вредные вещества, тогда как новые вирусы, землетрясения, засухи, наводнения, ураганы, вулканические извержения и так далее суть защитные меры наблюдаемой природы, направленные против того, кто за нею наблюдает, точно так же как его телескоп и камни, брошенные в дом, суть контрмеры против наблюдения, нечто похожее — если вернуться к теме — произошло и между фон Ламбертом и его женой, там на-

блюдение тоже является объективизацией, и вот каждый объективировал другого до невыносимости, он сделал ее объектом психиатрии, она его — объектом ненависти, после чего, внезапно обнаружив, что за нею, за наблюдающей, наблюдает наблюдаемый, она, не долго думая, накинула на джинсовый брючный костюм рыжую шубу и убежала из дьявольского круга наблюдения и наблюдаемости, убежала в смерть, добавил Д., неожиданно рассмеявшись и вновь посерьезнев; идеи, которые он тут развивал, это, конечно же, только одна возможность, вторая представляет собой полную противоположность вышесказанному, ведь логический вывод зависит от исходной посылки; если б за ним в его доме в горах наблюдали реже, так редко, что, направь он свой телескоп на тех, кто якобы наблюдал за ним со скалы, а они наблюдали бы в свои бинокли вовсе не за ним, а за чем-то другим, скажем, за прыжками козочек или карабканьем альпинистов, то такое отсутствие наблюдения со временем стало бы для него большей мукой, нежели перед тем наблюдение, он бы просто мечтал, чтобы в его дом полетели камни; оставшись без наблюдения, он счел бы себя незначительным, а раз незначительным, то и неуважаемым, а раз неуважаемым, то и ничтожным, а раз ничтожным, то и бессмысленным, он бы наверняка впал в безнадежную депрессию, даже от своей и так уж бесплодной университетской карьеры отказался бы ввиду ее бессмысленности и поневоле сделал бы тогда вывод, что другие люди, как и он, страдают от отсутствия наблюдения; не чувствуя наблюдения, они тоже кажутся себе бессмысленными, потому-то все друг за другом наблюдают и снимают друг друга на пленку — от страха к бессмысленности своего бытия перед разбегающейся вселенной с ее миллиардами галактик вроде нашей, кишащей миллиардами обитаемых планет вроде нашей, безнадежно разъединенных гигантскими расстояниями, вселенной, где непрерывно взрываются и гаснут солнца,— да кому же тут еще наблюдать за человеком, наделяя его смыслом, кроме самого человека, ведь при этом чудовище-вселенной личный бог долее невозможен, бог-вседержитель, бог-отец, наблюдающий за каждым, подсчитывающий у каждого волосы на голове, этот бог умер, ибо стал немыслим, стал совершенно безосновательной аксиомой веры, мыслим один только безличный бог как абстрактный принцип, как философско-литературная концепция, способная наворожить хоть какой-то смысл чудовищному целому, смысл неясный и возвышенный, чувство — это все, имя — звук пустой, дым, омрачающий небесный огонь, заключенный в кафельной печи человеческого сердца, однако же и разум не в силах исхитриться и присочинить себе еще какой-то смысл помимо человека, вне его, ибо все, что можно помыслить и сделать: логика, метафизика, математика, законы природы, произведения искусства, музыка, поэзия,— обретает смысл лишь благодаря человеку, без человека все снова тонет в надуманном, а значит, в бессмысленном; если продолжить этот логический ход, станет понятным многое из происходящего сегодня: человечество, спотыкаясь, бредет наугад в безумной надежде, что за ним все ж таки хоть кто-то наблюдает, ну например, когда оно ведет гонку вооружений, это, ясное дело, заставляет участников гонки наблюдать друг за другом, потому-то в глубине души они надеются, что смогут вечно наращивать эту гонку, а значит, должны будут вечно наблюдать друг за другом, без гонки вооружений участники ее погрязнут в ничтожестве, но если вдруг по недосмотру гонка вооружений разожжет атомный пожар, на что она вполне способна, и уже давно, так пожар этот окажется просто-напросто бессмысленной демонстрацией того, что некогда Земля была обитаема, фейерверком, наблюдать который не будет никто, разве только человечество или вообще какая-нибудь цивилизация, возможно существующая вблизи Сириуса либо еще где-нибудь, однако ей не удастся уведомить жаждущего наблюдения о том, что за ним наблюдали, ведь тогда его уже не будет; религиозный и политический фун-

даментализм, всюду возникающий или по-прежнему царящий, опять-таки говорит о том, что многие, а скорей даже большинство, не выдерживают отсутствия наблюдения, они обращаются к понятию личного бога либо столь же метафизической инстанции, наблюдающего или наблюдающей за ними, а отсюда выводят для себя право наблюдать, уважает ли мир заповеди наблюдающего за ним бога или наблюдающей за ним инстанции; с террористами дело похитрее, у них все наоборот, предел их мечтаний — инфантильная страна, где отсутствует наблюдение, но, воспринимая окружающий мир как тюрьму, в которую их швырнули не только противозаконно, но в подземельях которой они еще и лишены всякого наблюдения и внимания, они отчаянно стремятся принудить стражей наблюдать за ними, а тем самым хотят шагнуть из безвестности ненаблюдения на яркий свет всезамеченности, что, правда, станет возможным, только если они, как это ни парадоксально, будут снова и снова скрываться от наблюдения, переходя из подземелья в подземелье, и никогда им не выйти на волю,— короче говоря, человечество норовит вернуться в пеленки, фундаменталисты, идеалисты, моралисты, политхристиане опять усердно навязывают ненаблюдаемому человечеству наблюдение, а значит, и смысл, ведь человек в конечном итоге педант и не может без смысла, потому-то он и терпит все, кроме свободы чихать на смысл; вот и Тина фон Ламберт мечтала бегством привлечь к себе внимание мировой общественности, о чем, вероятно, и говорит дважды подчеркнутая фраза «за мной наблюдают», если считать ее уверенным подтверждением задуманного, однако стоит только принять эту возможность, как именно здесь и начинается собственно трагедия: муж Тины толкует ее бегство не как попытку попасть под наблюдение, а как бегство от наблюдения и в результате отказывается от всяких поисков,— стало быть, своей цели Тина фон Ламберт на первых порах не достигла, ее бегство осталось без наблюдения, а значит, без внимания, вероятно, поэтому она и пускалась во все более дерзкие авантюры, пока смертью своей не добилась желаемого, теперь ее фотография во всех газетах, теперь она стала объектом наблюдения и таким образом обрела искомую значимость и смысл.

6

Ф., которая, внимательно слушая логика, велела подать себе кампари, сказала, что Д., наверное, удивляет, почему она согласилась на предложение фон Ламберта; конечно, разница между *наблюдать* и *не быть под наблюдением* — забавная логическая шутка, но ее интересует то, что говорилось о человеке, которому, по его мнению, не дано тождества с самим собой, ибо он, брошенный в поток времени, всечасно другой — если она правильно поняла Д.,— а это означает, что «я» не существует, есть только неисчислимая вереница плывущих из будущего, вспыхивающих в настоящем и гаснущих в прошлом «я», и, стало быть, то, что человек именует своим «я», есть просто собирательное название для всех накопленных в прошлом «я», количество которых непрерывно растет, сверху наслаиваются новые и новые «я», падая из будущего сквозь настоящее, это скопление обрывков пережитого, обрывков воспоминаний сравнимо с кучей листвы, где самые нижние листья давно перегнили, а сверху ложатся новые, упавшие с деревьев, принесенные ветром, и куча делается все выше; и ведет такой процесс к подтасовке «я», поскольку каждый начинает подделывать свое «я», выдумывать себе роль, стараясь сыграть ее более или менее хорошо, а значит, все дело в актерском мастерстве: сумеет человек предстать характерным персонажем или нет; чем интуитивнее, непреднамереннее играется роль, тем естественней впечатление, теперь-то она понимает, отчего так трудно создавать портреты актеров, они слишком уж явно играют своих персонажей, сознательное

актерство выглядит неестественно, и вообще, оглядываясь назад, на свое творчество, на людей, портреты которых создала, она не может отделаться от ощущения, будто в первую очередь снимала скверных комедиантов, особенно это касается политиков, лишь немногие среди них были актерами с масштабным «я»; она решила больше кинопортретов не делать, но сегодня ночью, читая и перечитывая дневник Тины фон Ламберт, представляя себе, как эта молодая женщина в рыжей шубе шагнула в пустыню, в это море песка и камня, она, Ф., уразумела, что вместе со своей съемочной группой непременно должна отправиться по следам этой женщины, должна во что бы то ни стало пойти в пустыню к Аль-Хакимовым Развалинам, ведь чутье подсказывает, что там, в пустыне, существует реальность, с которой она, как и Тина, должна встретиться лицом к лицу, для Тины встреча оказалась гибелью, чем она будет для нее самой, пока неизвестно; а затем, допив кампари, она спросила у Д., не безумно ли с ее стороны согласиться на такое вот предложение, и Д. ответил, что она-де хочет отправиться в пустыню, так как подыскивает новую роль, старая роль была — наблюдать за ролями, теперь же она задумала испытать себя в деле прямо противоположном: не создавать портрет, что предполагает наличие объекта, а реконструировать, воссоздать объект портретирования, то есть собрать разбросанные листья в кучу, причем не имея возможности узнать, с одного ли дерева эти листья, которые она укладывает друг на друга, и не создает ли она в итоге свой собственный портрет,— затея хоть и безумная, но опять-таки безумная ровно настолько, чтобы безумной не быть, а посему он желает ей всех благ.

7

С самого утра было по-летнему душно, а когда Ф. подошла к машине, и вовсе загремел гром, она едва успела поднять верх своего кабриолета, как хлынул проливной дождь, под которым она, минуя Старый город, проехала к Старому Рынку и, несмотря на запрет, припарковалась у бровки тротуара; да, она не ошиблась: по этому адресу, бегло накарябанному в дневнике, в свое время действительно находилась мастерская одного недавно умершего художника, правда, он много лет назад уехал из города, так что мастерскую наверняка занимал кто-то другой, если она вообще сохранилась, там ведь и раньше все от старости на ладан дышало, а потому Ф. не сомневалась, что никакой мастерской сейчас и в помине нет, однако, поскольку этот адрес был явно каким-то образом связан с Тиной — иначе откуда бы ему взяться в дневнике? — она, не обращая внимания на хлещущие с неба потоки воды, проделала недолгий путь от машины до парадного и, промокшая до нитки, хотя дверь была не заперта и сразу открылась, вошла в коридор, где с той давней поры ничего не изменилось, двор, по брусчатке которого плясали капли дождя, тоже остался прежним, равно как и сарай, где некогда располагалась мастерская художника; дверь на лестницу, к ее удивлению, оказалась опять-таки открыта, верхние ступеньки тонули в кромешной тьме, включить свет не удалось, и Ф. пошла наверх как слепая, вытянув вперед руки, там она нащупала дверь и вот уж очутилась в мастерской — просто не верится, но в блеклом серебристом отсвете сбегавшего по окнам дождя все здесь тоже выглядело совершенно как раньше; длинное узкое помещение и теперь еще было заполнено картинами давнего хозяина мастерской, а ведь он покинул город много лет назад; огромные портреты, колоритнейшие обитатели Старого города окружали Ф.: виртуозы-заемщики, горькие пьяницы, бродяги, уличные проповедники, сутенеры, профессиональные бездельники, спекулянты и прочие любители легкой жизни, большинство из них уже на том свете, как и сам художник, только отправились они туда не столь торжественно, как он, на чьих похоронах она присутствовала, этих провожали в по-

следний путь разве что заплаканные проститутки да собутыльники, лившие в могилу пиво, если их вообще хоронили на кладбище, а не кремировали,— она-то думала, что эти портреты давным-давно в музеях, и даже видела их на выставках; у ног всех этих людей, существовавших теперь только на холсте, громоздились другие картины, форматом поменьше, а изображали они трамваи, уборные, сковородки, разбитые автомобили, велосипеды, зонтики, полицейских-регулировщиков, бутылки «чинзано»— художник, кажется, изобразил буквально все на свете; беспорядок в мастерской царил чудовищный, возле громадного, в дырах, кожаного кресла, на ящике стоял поднос с копченой говядиной, на полу — бутылки кьянти и стакан, до половины наполненный вином, газеты, яичная скорлупа, повсюду разбросаны тюбики с краской, словно художник еще жив, кисти, палитры, склянки со скипидаром и керосином, только мольберта не было, дождь хлестал по окнам на длинной стене, чтобы стало посветлее, Ф. отодвинула от третьего окна председателя городского общинного совета и директора банка, вот уж два года ведшего в тюрьме чуть менее разгульную жизнь, и очутилась перед портретом женщины в рыжей меховой шубе, которую сперва приняла за Тину фон Ламберт, но потом засомневалась, нет, это не Тина, с таким же успехом это могла быть другая женщина, похожая на Тину, а в следующую секунду Ф. вздрогнула, ей показалось, что женщина перед нею, своенравная, с широко раскрытыми глазами, это она сама; пронзенная этой мыслью, она услышала за спиной шаги, но слишком поздно — дверь уже захлопнулась, а когда она под вечер вернулась в мастерскую со своей съемочной группой, портрет исчез, зато какие-то другие киношники вели съемки помещения; их режиссер до странности нервозно и даже грубо объявил, что накануне большой выставки в Доме искусств они восстановили все, как было при жизни художника, а до того мастерская пустовала; они перелистали каталог, но портрета не нашли, и режиссер добавил: мол, совершенно исключено, что мастерская была не заперта.

8

Это происшествие, в котором она увидела знак, что ищет совсем не там, где нужно, выбило ее из колеи, и лететь ей совершенно расхотелось, но она медлила, подготовка шла своим чередом, и вот они над Испанией, внизу — Гвадалквивир, потом Атлантика, а когда самолет садился в К., она уже радовалась поездке в глубь страны, там наверняка еще зелено, и ей вспомнилась такая же поездка, состоявшаяся много лет назад, и аллея финиковых пальм, по которой ей навстречу с заснеженных Атласских гор тянулся поток машин с лыжами на крышах; лайнер между тем приземлился в К., прямо на посадочной полосе киногруппу ждал полицейский автомобиль, в обход таможни их вместе с аппаратурой погрузили в военный самолет и переправили в глубь страны, в М.; с тамошнего аэродрома в сопровождении четырех полицейских на мотоциклах их помчали в город, мимо колонн автотуристов, которые с любопытством наблюдали за ними, в городе к их свите присоединились еще две машины — впереди и сзади,— телерепортеры, которые беспрерывно вели съемку и, вместе с эскортом подкатив к министерству полиции, снимали Ф. и ее киношников, когда те в свою очередь снимали начальника полиции, а тем временем он — невероятно толстый, в белом мундире, похожий на Геринга,— прислонясь к письменному столу, твердил, как он счастлив, что вопреки опасениям правительства, правда на собственную свою ответственность, может разрешить Ф. и ее группе осмотреть и заснять место ужасного преступления, но больше всего его радует вот что: пытаясь реконструировать злодеяние, Ф. наверняка не упустит возможности отразить на пленке безупречную работу его полиции, ведь, вооруженная новейшей техникой, она не только соответствует миро-

вому стандарту, но и превосходит его; это беззастенчиво-наглое требование еще усилило закравшиеся у Ф. после происшествия в мастерской подозрения, что она идет по ложному следу, ведь ее предприятие, едва начавшись, потеряло смысл, так как этот жирнюга, поминутно утиравший шелковым платком потный лоб, видел в ней всего лишь удобное средство сделать рекламу себе и своей полиции, но, угодив в западню, она пока не находила способа выбраться на волю, ибо ее и съемочную группу прямо-таки под конвоем отвели к джипу, водитель которого — в тюрбане, а не в белом шлеме, как остальные полицейские,— жестом велел Ф. сесть с ним рядом, оператор и тонмейстер разместились на заднем сиденье, а ассистент с аппаратурой — во втором джипе, где за рулем был негр; Ф. обнаружила, что едут они в пустыню — телевизионщики тоже следовали за ними,— и была очень раздосадована, так как предпочла бы первым делом навести кой-какие справки, но не сумела ничего добиться, поскольку — то ли умышленно, то ли по недосмотру — переводчика не было, а полицейские, скорее распоряжавшиеся ими, чем сопровождавшие, по-французски не понимали, хотя в этой стране естественней было бы предположить обратное, а до телевизионщиков не докричишься, не услышат, вон их машина мчится по камням пустыни, поодаль и сбоку от джипа Ф., кстати говоря, автоколонна, как таковая, распалась, порядка уже и в помине не было: остальные машины, включая джип с ассистентом и аппаратурой, расползлись-разъехались в опаленных солнцем просторах, словно по хотению водителей, по их капризу, даже четверо мотоциклистов-охранников «отлипли» от джипа, в котором сидели Ф. и ее коллеги, внезапно, наперегонки друг с другом, они рванули прочь, с грохотом поворачивая, закладывая широкие виражи, а телевизионщики между тем на полной скорости ринулись к горизонту и вдруг пропали из виду, ну а водитель их джипа, что-то нечленораздельно вопя, погнался за шакалом, машина выписывала немыслимые вензеля, шакал мчался что есть духу, петлял, менял направление — джип за ним, несколько раз он едва не перевернулся, потом снова притарахтели мотоциклисты, закричали, замахали руками, делая какие-то знаки, которых они, судорожно вцепившиеся в сиденья, не понимали, пока не очутились вдруг в песчаной пустыне, судя по всему в одиночестве, других автомобилей не видно, даже четверка мотоциклистов отстала — так летели они в своем джипе по асфальтированному шоссе, теряясь в догадках, каким образом их шофер, не сумевший догнать шакала, изловчился отыскать эту дорогу, ведь местами она была занесена песком и по обе стороны громоздились песчаные барханы, отчего Ф. казалось, будто они бороздят бурное песчаное море, на котором солнце рисовало все более длинные тени, и вот прямо впереди возникли Аль-Хакимовы Развалины: джип внезапно устремился в низину, к монументу, который, омрачая солнце, вырастал перед нею из толчеи полицейских и телевизионщиков, уже копошившихся вокруг него — вокруг загадочного свидетеля непостижимой древности, найденного на рубеже веков,— огромный, до зеркального блеска отполированный песком каменный квадрат, оказавшийся верхней гранью куба, который с продолжением раскопок приобретал все более гигантские размеры, но, когда было решено отрыть его полностью, явились святые мужи какой-то шиитской секты, оборванные, изможденные фигуры в черных плащах, уселись на корточки у одной из сторон куба и стали ждать безумного халифа Аль-Хакима (по их поверьям, он прятался внутри куба и каждый месяц, каждый день, каждую минуту, каждую секунду мог выйти оттуда и взять власть над миром), словно исполинские черные птицы, сидели они, и никто не решался их прогнать, археологи расчищали остальные три боковые грани, закапывались все глубже, а черные суфи — так их называли — сидели неподвижные высоко над ними, даже когда налетал ветер, забрасывая их песком, они не шевелились; раз в неделю их навещал огром-

ный негр, он приезжал верхом на ишаке, совал каждому ложку каши и брызгал водой, а говорили про него, что он самый настоящий раб; Ф. подошла к ним поближе, так как молодой полицейский офицер, внезапно овладев французским, сообщил ей, что труп Тины был найден среди этих, как он почтительно выразился, «святых», кто-то, видимо, бросил его среди них, правда, что-нибудь узнать у них невозможно, ибо они дали обет молчать до возвращения своего «Махди»; Ф. долго смотрела на длинные ряды скорченных неподвижных фигур, как бы вросших в черные блоки куба, этакий полип с одного его боку, ни дать ни взять мумии — длинные, седые, клочковатые, заскорузлые от песка бороды, глаза утонули в провалах глазниц, тела с ног до головы сплошь облеплены копошащимися мухами, руки сцеплены, длинные ногти впились в ладони, потом она осторожно тронула одного: вдруг все-таки что-нибудь да скажет? — и он упал, это был мертвец, и сосед его тоже, за спиной у Ф. жужжали камеры, только третий старик показался ей вроде как живым, но тронуть его она не решилась и дальше не пошла, лишь ее оператор прошагал вдоль всего ряда, прижимая к глазам кинокамеру; когда же Ф. сообщила об этом инциденте полицейскому офицеру, который не отходил от машины, тот сказал, что об остальном позаботятся шакалы, ведь и труп Тины нашли растерзанным в клочья, и в этот миг спустились сумерки, солнце, верно, зашло за край низины, и Ф. почудилось, будто ночь бросится сейчас на нее, как милосердная врагиня, несущая быструю смерть.

9

На другой день уехать тоже не удалось: Ф. хотела уже забронировать места в самолете, но оператор спутал ее планы известием о пропаже отснятых материалов, кассеты подменили, хотя телевизионщики упорно твердят, что ничего подобного, материал его; разъяренный оператор потребовал проявить пленки и тем решить спор, ему обещали сделать это вечером, а значит, отъезд становился невозможным, и вот уж полиция снова куда-то их потащила, причем самое разумное в этих условиях было притвориться заинтересованными, так как в подземельях министерства полиции им показали кой-каких людей — Ф. разрешили говорить с ними и вести съемку; у дверей этим людям снимали наручники, но стоило им сесть, и в спину тотчас упирался ствол полицейского автомата; плохо выбритые, почти беззубые, эти люди дрожащими руками хватали предложенную Ф. сигарету и, бегло глянув на фотографию Тины, в ответ на вопрос, видели ли они эту женщину, согласно кивали, а на вопрос, где именно, тихо роняли: в Старом городе; все они, точно в униформе, были в грязных белых штанах и куртках, без рубах, и все как один повторяли: в Старом городе, в Старом городе, в Старом городе, а потом каждый сообщал, что ему показывали фотографию этой женщины и предлагали за деньги убить ее, она-де супруга человека, который, взяв под защиту арабское Сопротивление, отказался называть его террористической организацией или что-то в таком роде, он не очень понял, почему женщина должна из-за этого умереть, и вообще, сам он на сделку не пошел, вознаграждение-то курам на смех, у них расценки давно определены, дело чести как-никак, а нанимал его низенький толстяк, кажись американец, больше он ничего не знает, женщину видел единственный раз, с тем толстяком, в Старом городе, да он уже говорил; приблизительно то же самое механически повторяли и остальные, жадно затягиваясь сигаретой, только один при виде фотографии ухмыльнулся, выпустив дым в лицо Ф., это был почти карлик, с большим морщинистым лицом, и по-английски говорил примерно так, как говорят скандинавы, он сказал, что никогда этой женщины не видел и никто ее не видел, после чего полицейский рывком поставил его на ноги и двинул автоматом в спину, но тут вмешался

офицер, прикрикнул на охранника, подвал вдруг наполнился множеством полицейских, коротышку с морщинистой физиономией увели, в дверь впихнули нового арестанта, он уселся в слепящем свете юпитеров, опять хлопушка, жужжанье кинокамеры, он взял дрожащими руками сигарету, посмотрел на фотографию, рассказал ту же историю, что и другие, с незначительными отклонениями, говорил порой неразборчиво, как и другие, ибо, как и другие, был почти беззубый, потом привели следующего, потом последнего, а потом из голого бетонного бункера, где допрашивали всех этих людей и где был только колченогий стол, юпитер да несколько стульев, они, пройдя по тюремным подземельям, мимо железных решеток, за которыми в камерах сидели и лежали скрюченные белесые тени, поднялись на лифте к следователю, в уютный, обставленный современной мебелью кабинет, где их встретил обаятельный красавчик-юрист в очках без оправы, которые совсем ему не шли, он усадил Ф. и ее группу в мягкие кресла возле круглого стола со стеклянной крышкой и стал потчевать их всевозможными деликатесами, даже икра и водка нашлись; исправно отдавая должное белому эльзасскому вину, присланному коллегой из Франции, и жестом показав оператору, который держал камеру наготове, что снимать не надо, следователь многоречиво уверял, что он правоверный мусульманин, во многом прямо-таки фундаменталист, бесспорно, у Хомейни есть свои положительные и даже сильные стороны, но процесс, ведущий к сплаву правосознания Корана и европейских юридических воззрений в этой стране уже не остановить, здесь как в средневековье, когда произошла интеграция Аристотеля в исламскую теологию, разглагольствовал он, однако в конце концов после утомительного экскурса в историю испанских Омейядов как бы невзначай завел речь о деле Тины фон Ламберт, выразил сожаление по поводу случившегося, ему, дескать, вполне понятны эмоции, которые эта история вызвала в Европе, Европа привержена к трагическому, а вот культура ислама — к фатализму, затем он показал фотографии трупа, сказал: н-да, шакалы, потом заметил, что жертва была уже мертва, когда ее перенесли к черным суфи у Аль-Хакимовых Развалин, а это, простите, говорит о том, что преступление совершил христианин или... гм, н-да... мусульманин никак бы не посмел бросить труп среди святых мужей, все просто возмущены, он предъявил заключение судебных медиков: изнасилование, смерть от удушья, явных следов борьбы нет,— и продолжал: люди, которых видела Ф., это иностранные агенты, ну а кто конкретно был заинтересован в убийстве, уточнять незачем, отказ Ламберта на международном конгрессе против терроризма назвать арабских борцов за свободу террористами — и некая секретная служба не замедлила дать наглядный урок; подозревается в преступлении один из агентов, страна кишит шпионами, в том числе, разумеется, советскими, чешскими и прежде всего восточногерманскими, но главным образом американскими, французскими, английскими, западногерманскими, итальянцами — всех не перечислишь, словом, авантюристами со всего света; та секретная служба — Ф. ведь знает, какую конкретно он имеет в виду,— работает чрезвычайно ловко, перевербовывает чужих агентов, перевербовывает — вот в чем гнусность-то! — убийством Тины фон Ламберт они хотели, с одной стороны, осуществить акт мести, с другой же — испортить добрые торговые отношения его страны с Европейским сообществом, а в особенности затруднить вывоз таких товаров, таких продуктов, экспорт которых в Европу в первую очередь... гм, н-да... затем, ответив на телефонный звонок, следователь молча пристально поглядел на Ф. и ее группу, открыл дверь, жестом пригласил их следовать за собой и зашагал впереди всех по коридорам, потом вниз по лестнице и снова по коридорам, отпер железную дверь, снова коридор, поуже других, и вот они очутились у стены, в которой было проделано несколько потайных окошек, за ними виднелся

совершенно голый двор, заключенный внутри здания министерства полиции, и сперва они увидели только гладкие, без окон, стены, а потом в этот похожий на колодец двор мимо строя полицейских с автоматами, в белых шлемах и белых перчатках, ввели коротышку-скандинава, в наручниках, за ним шагал капитан полиции, с саблей наголо, скандинав стал у бетонной стены напротив полицейских, офицер — обок шеренги, вертикально поднял саблю к лицу, все это выглядело как фарс, а когда во двор ввалился толстенный начальник полиции, ощущение фарсовости еще усилилось, натужно пыхтя, он подвалил к ухмыляющемуся коротышке, сунул ему в рот сигарету, поднес огонь, снова отвалил из поля зрения наблюдателей, стоявших наверху у потайных окошек, камера жужжала, оператор каким-то чудом ухитрялся снимать происходящее на пленку, коротышка внизу курил, полицейские ждали, вскинув автоматы, к дулам которых было что-то приделано, очевидно глушители, и ждали, офицер опустил саблю, коротышка курил и курил, казалось, этому конца не будет, полицейские забеспокоились, офицер опять рывком поднял саблю вверх, полицейские снова прицелились, глухой раскат, коротышка скованными руками выдернул изо рта сигарету, бросил под ноги, затоптал — и рухнул наземь, а полицейские опустили автоматы, он лежал не шевелясь, а кровь текла, текла к середине двора, к сливной решетке, а следователь, отойдя от окошка, сказал, что скандинав во всем сознался, увы, начальник полиции слишком торопится, очень жаль, конечно, но возмущение в стране... гм, н-да... и они двинулись в обратный путь, по узкому коридору, через железную дверь, опять по коридорам, но на этот раз по другим, вверх-вниз по лестницам, и вот просмотровый зал, где уже сидел начальник полиции, растекся в кресле, благостный, возбужденный казнью, распространяющий густой запах пота и духов, дымящий сигаретами, такими же, как та, какой он угощал коротышку, в чье признание не верили ни сама Ф., ни ее группа, ни даже следователь, который после очередного «гм, н-да» тактично удалился; на экране — Аль-Хакимовы Развалины, машины, телевизионщики. полиция, четверо мотоциклистов, Ф. со съемочной группой. оператор инструктирует идиотски ухмыляющегося ассистента, тонмейстер колдует над своей аппаратурой, вперемежку с этим пустыня, полицейский на верблюде, джип, водитель в тюрбане за рулем, сама Ф., куда-то пристально глядящая. куда именно — не показано, а смотрела она на вереницу скрюченных фигур у подножия Развалин, на эти облепленные мухами, полуутонувшие в песке человекоподобные сушества, по черным плашам которых сыпался песок,— но о них ни единого кадра опять лишь полицейские, на учебных занятиях, в классах, на спортивных тренировках. в казарменных спальнях, с зубными щетками под коллективным душем, и по поводу всего этого бурные восторги беломундирного Геринга. дескать, фильм превосходный. поздравляю потом изумленное «да что вы?» на возражение Ф., что фильм не их, и тотчас же ответ, что материал, видно, был испорчен, неудивительно при пустынном-то солнце, но ведь преступление уже раскрыто, убийца казнен, и он желает ей счастливого возвращения домой, после чего он поднялся, благосклонно обронил «прощай, дитя мое» (что особенно разозлило Ф.) и вышел из зала.

10

На улице их встретил насмешливый взгляд шофера в тюрбане, он сидел за рулем своего джипа, а за спиной у него на просторной площади между министерством полиции и большой мечетью кишели туристы, местные ребятишки сразу взяли их в осаду, хватая за руки, разжимая им ладони в надежде разжиться деньгами, из мечети, усиленные динамиками, неслись тявкающие звуки проповеди, ревели клаксоны такси и туристских автобусов, прокладывающих себе доро-

гу в этом муравейнике, в толчее снимающих друг друга на фото- и кинопленку отпускников, толчее, которая составляла какой-то нереальный контраст с происшествиями, разыгравшимися в белом здании министерства полиции, словно две реальности вдвинулись одна в другую — зловеще-жестокая и туристски-банальная, а когда полицейский в тюрбане еще и обратился к Ф. по-французски, хотя до сих пор французским не владел, она, решив, что это уже слишком, отстала от своей группы, ей хотелось побыть одной, она чувствовала себя чем-то виноватой в смерти коротышки-скандинава, ведь казнь устроили только для того, чтобы помешать ее дальнейшим разысканиям, вновь и вновь вставало перед нею морщинистое лицо с сигаретой в тонких губах, потом облепленные мухами головы черных фигур у Аль-Хакимовых Развалин, ей казалось, что, едва ступив на землю этой страны, она угодила в кошмарный сон, которому не было конца, и вообще, впервые в жизни она потерпела поражение; продолжая розыски, она поставит под удар не только собственную жизнь, но и жизнь своих сотрудников, начальник полиции — человек опасный, он ни перед чем не остановится, в смерти Тины фон Ламберт есть какая-то загадка, да и следователь болтать-то болтал, а намеки отпускал чересчур уж прозрачные — неуклюжая попытка что-то утаить, скрыть от общественности, но что это было, она не знала, а потом опять корила себя за то, что некто сумел удрать из мастерской, пока она разглядывала портрет женщины в рыжей шубе, и в воспоминании эта женщина все больше походила на нее самое; кто ж там прятался, в мастерской, мужчина или женщина, неужели режиссер о чем-то умолчал, кто спал на кровати за занавеской — это она тоже не выяснила, упустила, и вот, пока она негодовала на собственную небрежность, толпа потных туристов принесла ее в Старый город: внезапно дышать стало трудно — от запаха, в который она окунулась, причем это был не какой-то определенный запах, а запах всех пряностей сразу, приправленный запахом крови и экскрементов, кофе, меда и пота; она шла темными, похожими на глубокие щели переулками, то и дело озарявшимися светом ламп-вспышек, поскольку в толпе все время кто-нибудь да фотографировал, шла мимо стопок медных котлов и чаш, горшков, ковров, декоративных вещиц, радиоприемников, телевизоров, чемоданов, мимо мясных и рыбных рядов, мимо гор овощей и фруктов, окутанная пронзительно-едким облаком ароматов и вони, шла, пока не коснулась вдруг чего-то мохнатого; Ф. остановилась, люди протискивались мимо, двигались навстречу, только были это, как она в замешательстве обнаружила, уже не туристы; над нею на проволочных плечиках висели дешевые кричаще-яркие женские юбки всех цветов радуги — гротеск, тем более что никто таких юбок не носил, а коснулась она рыжей шубы и сию же минуту поняла, что это шуба Тины фон Ламберт, которая, наверно, и притянула ее к себе как магический талисман,— во всяком случае, ей так показалось, поэтому она чуть ли не против воли вошла в лавку, где у дверей висела одежда, собственно, помещение больше походило на нору, и лишь долгое время спустя она угадала в темноте древнего старика и заговорила с ним, но он остался безучастен, тогда она схватила его за руку и силком вывела наружу, под развешенные юбки; не обращая внимания на сбежавшихся тем временем детей, глазевших на нее, Ф. сдернула шубу с плечиков и, твердо решив купить ее за любую цену, только теперь заметила, что перед нею слепой, одетый всего-навсего в какую-то долгополую, грязную, некогда белую хламиду с большим пятном засохшей крови на груди, полуприкрытым жиденькой бороденкой, лицо его с желтоватыми бельмами на месте глаз было неподвижно, вдобавок он вроде и не слышал, она взяла его руку, провела ею по меху, он не отозвался, дети все стояли рядом, толпа росла, подходили местные жители, любопытствуя, что тут за пробка, старик по-прежнему молчал, Ф. слазила в сумку, которая, как всегда,

висела у нее на плече и в которой она с присущей ей беспечностью держала паспорт, побрякушки, авторучку, блокноты и деньги, сунула старику в ладонь несколько купюр, надела шубу и пошла прочь сквозь толпу, в сопровождении двух-трех ребятишек, которые что-то ей говорили, но она не понимала ни слова; выбравшись из Старого города — неведомо как и неведомо где,— она поймала такси и вернулась в гостиницу, где ее встретили недоуменные взгляды праздно сидевшей в холле съемочной группы, а она, в рыжей шубе, потребовала у тонмейстера сигарету и сказала, что в этой самой рыжей шубе, которую она отыскала в Старом городе, Тина фон Ламберт ушла тогда в пустыню, и пускай это глупо, но домой она поедет, только узнав всю правду о смерти Тины.

Разумно ли это?— спросил гонмейстер, ассистент сконфуженно усмехнулся, а оператор встал, сказав, что он в этом идиотизме больше не участвует, ведь как только Ф. ушла от них, опять явились полицейские и конфисковали отснятый в министерстве материал, а когда они приехали сюда, выяснилось, что администратор уже забронировал места в самолете и завтра утром чуть свет за ними придет такси, он, конечно, рад уехать из этой проклятой страны, люди, которых допрашивали, прошли через пытки, потому у них и не было зубов, а расстрел коротышки... в номере его целый час наизнанку выворачивало, нет, дурость это, вот что — вмешиваться в политику страны, он был прав в своих опасениях, розыски, настоящие, заслуживающие такого наименования, здесь не только невозможны, но и опасны для жизни, впрочем, он бы спокойно наплевал на опасность, если б видел для ее затеи хоть малейший шанс на успех, тут он снова бросился в кресло и добавил: откровенно говоря, весь план настолько неясен, даже сумбурен, что он искренне советует Ф. поставить на нем крест, ну хорошо, она добыла рыжую шубу, но есть ли у нее уверенность, что шуба принадлежала этой самой Ламберт, на что Ф. сердито ответила, что еще никогда и ни на чем крест не ставила, а когда тонмейстер, более всего любивший мир и покой, подлил масла в огонь, заметив, что, наверно, ей все-таки лучше уехать с ними, ведь иным фактам суждено остаться загадкой навеки, она, не прощаясь, ушла к себе, но, едва открыв дверь номера, замерла на пороге: в кресле под торшером сидел обаятельный красавчик в очках без оправы, следователь, и безмолвно наблюдал за нею, столь же безмолвно наблюдавшей за ним, потом он жестом указал на второе кресло, и Ф. машинально села, ей показалось, будто под вкрадчивой мягкостью этого красавчика проглядывает что-то суровое, решительное, до той поры скрытое, и речь его, прежде туманная и уклончивая, теперь, когда он заговорил, поздравляя ее с покупкой шубы Тины фон Ламберт, была сурова, деловита и порою насмешлива — речь мужчины, который обвел кого-то вокруг пальца и очень этому рад, вот почему Ф. только молча кивнула, когда он сообщил, что пришел поблагодарить ее за отснятый материал, это великолепно, черные святые и казнь датчанина ему как нельзя более кстати, а когда она спросила, что же он намерен делать, он спокойно ответил, что, между прочим, позволил себе поставить в холодильник рядом с обычными здесь фруктовыми соками, лимонадами и минеральной водой бутылку шабли, а возле холодильника найдется бутылка виски, и, когда она сказала, что предпочитает виски, он удовлетворенно произнес, что так и думал, а еще есть орехи; он встал, отошел к холодильнику и, немного погодя вернувшись с двумя стаканами виски, льдом и орехами, представился, он-де шеф тайной полиции и потому знаком с ее, Ф., привычками, за свою болтовню в министерстве он приносит извинения: ничего не попишешь, у начальника полиции всюду «блошки»

понатыканы, да и у него самого, впрочем, тоже, в любую минуту он может подслушать все, что подслушивает начальник полиции; потом он коротко сообщил о намерении начальника полиции захватить власть в стране, изменить внешнеполитический курс, свалить убийство Тины на чужую секретную службу, потому скандинава и расстреляли, но начальнику полиции неизвестно, что расстрел снят на пленку, как неизвестно и то, что он, шеф секретной службы, держит его под наблюдением, и вообще, начальник полиции понятия не имеет, кто стоит во главе секретной службы; ему бы только корчить из себя этакого вождя, который распоряжается полицией, как своей личной армией, чтобы заручиться ее поддержкой на случай захвата власти, а вот у него, шефа секретной службы, цель другая — разоблачить начальника полиции, показать, как он коррумпировал свое ведомство и как ненадежна и шатка его готовая того гляди рухнуть власть, но прежде всего очень важно на примере убийства Тины фон Ламберт выявить бездарность начальника полиции, потому-то он, шеф секретной службы, сделал буквально все, чтобы Ф. могла продолжить свои розыски, правда с новой съемочной группой, которую подобрал он сам, у начальника полиции не должно возникнуть даже тени подозрения, прежняя ее группа уедет, он, шеф секретной службы, принял все меры предосторожности, проинструктировал нужных людей, гостиничный персонал действует по его заданию, одна из его добрых знакомых подменит ее, прошу вас! — с этими словами он распахнул дверь, и в комнату вошла молодая женщина, одетая, как и Ф., в джинсовый костюм, рыжая шуба — точь-в-точь как у Тины фон Ламберт,— наброшена на плечо; это обстоятельство тотчас насторожило Ф., и она спросила, не является ли просьба до конца выяснить судьбу несчастной Тины фон Ламберт скорее приказом, а в ответ услышала, что она ведь сама согласилась выполнить поручение фон Ламберта, а он, шеф секретной службы, считает своим долгом помочь ей, немного погодя он добавил, что жить Ф. будет в другом месте, опасаться ей нечего, отныне она под его защитой, но было бы неплохо, если б она поставила в известность свою группу — в ее собственных интересах сообщить им лишь самое необходимое,— и он, попрощавшись, увел с собой молодую женщину, которая походила на Ф. лишь постольку, поскольку издалека их все-таки можно было спутать.

12

Оператор был уже в постели, когда позвонила Ф., в пижаме он пришел к ней в номер, где она собирала чемодан, и молча выслушал ее рассказ, а рассказала она без утайки обо всем, даже о совете шефа секретной службы сообщить коллегам лишь самое необходимое, правда, как только она умолкла, он налил себе виски, но выпить забыл, задумался и наконец сказал, что Ф. угодила в ловушку, ведь рыжая шуба Тины фон Ламберт не случайно оказалась в Старом городе у слепого лавочника, рыжая шуба — это приманка, таких шуб очень мало, может вообще одна, и давешнее появление женщины во второй такой шубе говорит о наличии продуманного плана, они явно рассчитывали, что Ф. пойдет в Старый город и что рыжая шуба, висящая среди дешевых юбок, бросится ей в глаза, а на то, чтобы сшить вторую шубу для двойника, нужно время; шеф секретной службы хочет обезвредить начальника полиции — это понятно, а вот зачем ему тут Ф., он совершенно не понимает, зачем столько хлопот, нет, в игру входит что-то еще, Тина фон Ламберт приехала в эту страну не из каприза, а по некой причине, имеющей отношение и к ее смерти, книгу фон Ламберта о терроризме он прочитал, арабскому Сопротивлению там отведено две страницы, фон Ламберт категорически не согласен называть их террористами, подчеркивая, прав-

да, что на преступления способны и не террористы: Освенцим, например, детище отнюдь не террористов, а чиновников,— нет, все-таки не может быть, чтоб жену фон Ламберта убили именно из-за этого, шеф секретной службы тоже умалчивает о главном, Ф. попалась в его западню и отступать ей некуда, но с ее стороны весьма опрометчиво посвящать его, оператора, во всю эту историю, и вообще, удивительно, что шеф секретной службы отпускает съемочную группу, ну а теперь им надо пожелать друг другу удачи — с этими словами оператор обнял ее и ушел, даже не пригубив виски, чего она прежде за ним не замечала, и Ф. вдруг показалось, что она никогда больше не увидит его, и снова вспомнилась мастерская, теперь она была уверена, что шаги за спиной были женские; в сердцах она залпом осушила стакан и опять занялась сборами, потом захлопнула чемодан, набросила поверх джинсового костюма рыжую шубу, а гостиничный бой, вовсе на боя не похожий, взял чемодан и по черной лестнице проводил Ф. к лендроверу, где ждали двое мужчин в бурнусах; они повезли ее за город, сначала по шоссе, затем, насколько она смогла разглядеть в безлунной ночи, по грунтовой пыльной дороге через какой-то головокружительный перевал, мимо снежников и осыпей, вверх-вниз по ущельям, все дальше в горы, наконец машина затормозила возле смутно белеющих в рассветном сумраке стен, которые при ближайшем рассмотрении — когда они вышли из кабины — оказались ветхой трехэтажной постройкой с вывеской GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY[1] над входной дверью, то и дело хлопавшей на ледяном ветру; на втором этаже этого дома — внизу, на первом этаже, скудно освещенном единственной лампочкой, сколько ни звали, так никто и не появился — один из мужчин определил Ф. на жительство: молча открыл какую-то дверь, втолкнул Ф. в комнату и поставил чемодан на дощатый пол, после чего она, ошеломленная грубым обхождением, услышала, как он протопал вниз по лестнице, а немного спустя лендровер укатил, очевидно назад в М.; она угрюмо осмотрелась: с потолка тоже свисала одинокая лампочка, душ в ванной не работал, обои рваные, а вся обстановка состояла из колченогого стула и походной койки, правда застланной свежим бельем, входная дверь внизу все хлопала, и даже во сне она еще долго слышала эти хлопки.

13

Был уже полдень, когда она проснулась,— проснулась, наверно, потому, что дверь больше не хлопала; за окном, до того грязным, что оно едва пропускало дневной свет, она увидела скалистый, поросший густым кустарником, изрезанный ущельями ландшафт, на заднем плане круто горбатился горный кряж, в ледяных складках которого замешкалось облако, окутавшее вершину и, казалось, кипевшее в солнечных лучах,— безотрадное место, глядя на него, Ф. невольно спросила себя, для чего служила когда-то и служит теперь эта гостиница, куда ее привезли, ведь как гостиницу это здание явно уже не используют; закутавшись в рыжую шубу, так как было очень холодно, она спустилась вниз, но никого там не обнаружила, сколько ни звала,— в холле (его и холлом-то грех назвать — так, убогая комнатенка) никого не было, в кухне тоже, как вдруг откуда-то из боковушки пришаркала старуха и остановилась в дверях холла, уныло глядя на Ф., а потом забормотала по-французски «ее пальто, ее пальто», дрожа и показывая пальцем на рыжую шубу, она повторяла это «ее пальто» снова и снова, явно в полнейшем смятении, потому что, шагнув было к Ф., метнулась назад в боковушку, очевидно служившую некогда столовой, прижалась к стене, отгородясь обеденным столом и ветхими стульями, и замерла в испуге, но Ф., чтобы

[1] Гранд-отель «Маршал Лиоте» *(франц.)*.

успокоить старуху, отказалась от попыток приблизиться к ней, осталась в этой убогой комнате, единственным украшением которой был большой, пожелтевший от времени портрет французского военного, очевидно маршала Лиоте, и спросила по-французски, нельзя ли здесь позавтракать, старуха в ответ энергично кивнула, подошла к Ф., взяла ее за руку и отвела на террасу, где у стены под некогда оранжевой, в прорехах, маркизой был накрыт простой деревянный стол, да и завтрак был уже готов — старуха внесла его сразу же, как только Ф. села к столу; если из ее комнаты видна была лишь неразбериха ущелий, кустарников и скал с кипящим горным кряжем на заднем плане, то теперь взгляд Ф. скользнул по отлогому, еще зеленому холму, возле которого, точно волны, гасящие одна другую, расплескались холмы пониже, а далеко внизу золотилась тусклой желтизной великая песчаная пустыня и на самой грани видимого даже угадывалось черное пятнышко, Аль-Хакимовы Развалины; дул свежий ветер, Ф. с удовольствием куталась в рыжую шубу, которую старуха то и дело разглядывала, а иногда робко, почти с нежностью гладила рукой; она не уходила от завтракающей Ф., словно приставленная к ней сторожем, но испуганно вздрогнула, когда Ф. напрямик спросила, знала ли она Тину фон Ламберт, вопрос этот, похоже, вновь поверг старуху в смятение, она забормотала «Тина, Тина, Тина», показывая на шубу, потом спросила, не подруга ли ей Ф., а получив утвердительный ответ, возбужденно, взахлеб сообщила, насколько поняла Ф., вот что: Тина, взяв напрокат автомобиль, приехала сюда одна — это «одна» старуха повторила раз пять, и насчет машины тоже что-то невразумительное пробормотала,— сняла комнату на три месяца и все ходила да ездила по окрестностям, добралась до самой великой пустыни, даже до черного камня — видимо, она имела в виду Развалины,— а потом вдруг не вернулась, но она, старуха, знает, однако, что именно знала старуха, осталось непонятно, как ни старалась Ф. дойти до смысла начатых, повторяющихся и оборванных фраз; старуха вдруг умолкла, настороженно уставилась на рыжую шубу, и Ф., уже покончившая с завтраком, почувствовала, что у старухи вертится на языке какой-то вопрос, но задать его она не решается, и не раздумывая довольно-таки безжалостно сказала, что Тина больше не вернется, она умерла; поначалу старуха восприняла эту весть равнодушно, будто и не поняла ничего, а потом вдруг принялась гримасничать, хихикать себе под нос — от отчаяния, как в конце концов догадалась Ф.; схватив старуху за плечо и встряхнув, она потребовала, чтоб ее отвели в комнату, где жила Тина, в ответ старуха, продолжая хихикать, буркнула, кажется, «на самом верху», а когда Ф. пошла вверх по лестнице, она горько расплакалась, впрочем, Ф. уже не обратила на это внимания, потому что отыскала на третьем этаже комнату, которую, видимо, занимала Тина фон Ламберт; комната была получше той, где ночевала Ф., и обставлена с претензией на некоторый комфорт, совершенно не вязавшийся с этой гостиницей и удививший Ф., когда она огляделась по сторонам: широкая кровать под старым стеганым одеялом неопределенного цвета, камин, явно ни разу еще не топленный, на нем несколько томиков Жюля Верна, над ним опять пожелтевший портрет маршала Лиоте, старинный секретер, ванная комната с облупленным кафелем и ржавыми пятнами в ванне, обтрепанные плюшевые шторы, балкон, выходящий на далекую песчаную пустыню; едва ступив на него, она увидела, как за низенькой стенкой в сотне метров от дома что-то исчезло, она подождала, и «что-то» появилось вновь, это была голова мужчины, наблюдавшего за нею в бинокль, так что ей невольно вспомнилась дважды подчеркнутая Тиной фраза «за мной наблюдают», а когда она вернулась в комнату, там уже поджидала старуха с ее чемоданом, купальным халатом и сумкой, словно иначе и быть не могло, захватила она и постельное белье, на сердитый воп-

рос Ф., нельзя ли отсюда позвонить, старуха ответила утвердительно, и внизу, в темном коридоре возле кухни, Ф. нашла телефон; из упрямства ей приспичило позвонить логику Д., уверенная, что связи не будет, она все-таки решила попытать счастья и подняла трубку старенького аппарата: гробовое молчание — может быть, шеф секретной службы предпочел действовать наверняка, без всякого риска, ведь это он распорядился привезти ее сюда, где побывала и Тина фон Ламберт, внезапно у нее закралось недоверие к его мотивировкам, в первую очередь потому, что она не могла представить себе, что именно побудило Тину, как рассказывала старуха, ездить по пустыне; сидя на полу у открытой балконной двери, потом лежа на кровати и неотрывно глядя в потолок, она пробовала реконструировать судьбу Тины фон Ламберт, за отправную точку она вновь взяла единственно надежный источник, Тинины дневники, и пыталась проиграть все возможные варианты, ведущие к фактической данности, к разодранному шакалами трупу Тины возле Аль-Хакимовых Развалин, но убедительной версии как-то не получалось — уход из дома, «скоропалительный», по словам фон Ламберта, был бегством, однако в эту страну она явилась не как беглянка, а с вполне определенной целью, она действовала как журналистка, идущая по следу тайны, но ведь Тина не была журналисткой, тогда, может быть, любовная история? — но любовной историей тут даже и не пахнет; так ничего и не придумав, Ф. в конце концов вышла на улицу, облако, прилепившееся к горному кряжу, разбухло, начало тихонько подползать ближе, дорога, та самая, по которой они сюда приехали, вывела Ф. на каменистое плато и разветвилась, Ф. выбрала наугад одно из ответвлений и пошла дальше, а спустя полчаса очутилась у новой развилки, тогда она вернулась назад и долго стояла возле одинокого, такого бессмысленного здесь дома — входная дверь опять хлопала от ветра, и по-прежнему над нею красовалась вывеска GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY, а над вывеской черным прямоугольником зияло окно, единственное на когда-то белой стене, которая ныне являла глазу всевозможные оттенки серого цвета, отливающего всеми красками спектра, будто во время óно тут изрядно наблевали великаны; и пока она так стояла, глядя на дом и на окно, за которым сама же и провела ночь, да нет, не только пока стояла, уже гораздо раньше, едва лишь вышла на улицу, она знала, все время знала, что за нею наблюдают, хотя и не видела наблюдателя; и вот когда солнечный шар исчез за далекой песчаной пустыней, исчез неожиданно быстро, точно рухнул в бездну, настали сумерки и только верхушка исполинской облачной стены казалась пламенными песками, Ф вошла в дом: в столовой под маршальским портретом ее ждал ужин — миска баранины под красным соусом и белый хлеб, а к ним красное вино; старухи не было видно, Ф. немного поела, выпила вина, потом поднялась к себе в комнату, где до нее жила Тина фон Ламберт, и вышла на балкон, ведь пока она ужинала, ей послышался отдаленный раскат грома, облачная стена, судя по всему, опять отступила, впереди и прямо над головой еще мерцали зимние звезды, но далекий горизонт высвечивали сполохи, потом блеснула яркая вспышка — вроде гроза, а вроде и нет, и надо всем этим висел далекий невнятный гул, и опять ей показалось, будто из темноты, наплывающей от земли, за нею наблюдают, а вернувшись в комнату, накинув уже купальный халат, который заодно служил ночной рубашкой, и с омерзением разглядывая ржавую ванну, она услыхала рокот автомобильного мотора, но машина проехала мимо, немного погодя подкатила вторая машина, остановилась у входа, послышался возглас, кто-то, видимо, вошел в дом, громко спросил, есть ли тут кто-нибудь, поднялся на второй этаж, крикнул «алло! алло!», и когда Ф. вышла на лестницу, набросив поверх халата рыжую шубу, она увидала молодого светловолосого парня в синих вельветовых брюках, кроссов-

ках и теплой куртке, который уже стоял на ступеньках, намереваясь подняться наверх, он смотрел на нее широко раскрытыми голубыми глазами и твердил «слава богу, слава богу!», а когда она поинтересовалась, за что он славит господа, блондин вихрем взбежал по лестнице, стиснул ее в объятиях и воскликнул: за то, что она жива, он так и сказал шефу и поспорил с ним, что она жива, и вот она действительно жива! — тут он опять помчался вниз, сначала на второй этаж, потом на первый, когда же Ф. следом за ним добралась до холла, блондин затаскивал в дом чемоданы, и ей пришло на ум, уж не обещанный ли это оператор, на ее вопрос он сказал «угадали» и достал из машины кинокамеру — в открытую дверь Ф. разглядела, что приехал он на микроавтобусе марки «фольксваген»,— потом, проделывая какие-то манипуляции с камерой, добавил, что эту штуковину можно использовать и для ночных съемок, специальная оптика, а, кстати, репортажи у нее вышли потрясающие, Ф., услышав это, вмиг насторожилась и спросила, не хочет ли он представиться, парень густо покраснел и промямлил, что зовут его Бьёрн Ольсен и что она может спокойно говорить с ним по-датски, а ей невольно вспомнился ухмыляющийся коротышка, который у стенки курил сигарету, потом затоптал ее и рухнул как подкошенный, и она ответила, что по-датски не говорит, он, верно, с кем-то ее путает,— услышав это, он чуть не уронил камеру, и, топая ногами и крича: нет, нет, не может быть, ведь на ней рыжая шуба! — отнес кинокамеру и чемоданы назад в «фольксваген», сел за руль и поехал прочь, только не обратно в М., а в сторону гор, когда же Ф. поднималась к себе в комнату, дом внезапно дрогнул от взрыва, но когда она вышла на балкон, все было уже спокойно, сполохи и слепящие вспышки в далекой песчаной пустыне тоже погасли, одни лишь звезды горели так зловеще, что Ф. вернулась в комнату и задернула обтрепанные плюшевые шторы, при этом взгляд ее упал на секретер, незапертый и пустой, а уж потом она заметила рядом с секретером мусорную корзину и в ней — скомканную бумажку, которую она расправила; незнакомым почерком на бумажке было что-то записано, видимо цитата, потому что стояла она в кавычках, но, поскольку язык был скандинавский, Ф. ничегошеньки не поняла, впрочем, упорства ей было не занимать, и, откинув крышку секретера, она взялась за перевод, над словами вроде «edderkop», «tomt rum» или «fodfaeste» пришлось-таки здорово поломать голову, только к полуночи она решила, что сумела расшифровать цитату: «Что будет, что принесут неведомые времена (fremtiden)? Я этого не знаю, я ни о чем не догадываюсь. Когда паук-крестовик (edderkop?), потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он видит перед собою одно только пустое пространство (tomt rum?), где опоры (fodfaeste?) ему не найти, как он ни барахтается. Точно так же и со мной; впереди одно только пустое пространство (tomt rum), а подгоняет меня какое-то последствие, лежащее позади (bag?). Жизнь эта превратна (bagvendt) и загадочна (raedsomt?), невыносима».

14

Когда ранним утром, закутанная в рыжую шубу, она спустилась вниз, решив после завтрака пройтись к горам, потому что ей не давал покоя взрыв, случившийся после отъезда датчанина, а цитата, которая, вероятно, представляла собой шифровку, еще усиливала тревогу, на террасе за деревянным столом завтракал шеф секретной службы, весь в белом, только платок на шее черный, вместо давешних очков без оправы — темные, в массивной оправе; он встал, пригласил Ф. составить ему компанию, налил ей кофе, предложил рогалики, купленные специально для нее в европейском квартале М., посетовал на скудость ее жилья, а когда она поела, положил перед нею

бульварную газетенку, где чуть не всю первую полосу занимала фотография Тины фон Ламберт, сияющей, в объятиях сияющего мужа, а внизу было написано: сенсационное возвращение сенсационно погребенной, супруга известного психиатра, страдая от депрессии, скрывалась в мастерской умершего художника, паспорт и рыжую шубу у нее украли, очевидно, потому ее и спутали с женщиной, убитой возле Аль-Хакимовых Развалин, таким образом загадок теперь стало две: кто убийца и кто убитая; побелев от негодования, Ф. швырнула газету на стол: что-то здесь не так, слишком уж все банально, при этом она готова была провалиться сквозь землю от стыда — надо же было влипнуть в такую нелепую авантюру! — и едва не разрыдалась, но железное спокойствие шефа секретной службы обязывало к хладнокровию, тем более что он как раз объяснял, что же именно в этой истории не так — кража, вот что, Тина дружила с датской журналисткой Юттой Сёренсен и отдала ей свой паспорт и рыжую шубу, благодаря этому датчанке и удалось въехать в страну; выслушав его рассказ, Ф. призадумалась и, пока он наливал ей кофе, спросила, откуда ему это известно, и он ответил: оттуда, что он допрашивал датскую журналистку и она во всем созналась, а на вопрос, почему ее убили, сказал, сняв очки и протирая стекла, что вот это ему неизвестно, характер у Ютты Сёренсен был весьма энергичный, и во многом она напоминает ему Ф., он не сумел выяснить, какую цель она преследует своим обманным маневром, а поскольку начальник полиции клюнул на этот обман, не видел причин вмешиваться — ну в самом деле, с какой стати? — и отпустил ее вместе с фальшивым паспортом и рыжей шубой, жаль, что ее постиг столь ужасный конец, откройся она ему, этого бы не случилось, кстати, измятую бумажку с цитатой Ф. наверняка нашла и прочитала, цитата из Кьеркегора, из «Или — или», он навел справки у специалиста, сперва-то подумал, что это шифровка, но теперь совершенно уверен, это крик о помощи, здесь он еще держал безрассудную датчанку под надзором, а потом потерял ее след, хорошо бы, молодому человеку, похожему на германского витязя, повезло больше, чем его землячке, в страну оба приехали, видимо, по заданию одной из частных датских телекомпаний, известной сенсационными репортажами, и если она, Ф., в рыжей шубе и в роли совсем другой женщины, не той, что предполагалась изначально, отправится сейчас в горы, а тем более в пустыню, он ничем не сумеет ей помочь, съемочная группа, которую он рассчитывал нанять, наотрез отказалась с нею работать, вывезти из страны ее людей, увы, тоже не удалось, ведь она, Ф., пропустила его предупреждения мимо ушей и проболталась, эта обшарпанная гостиница — последнее мало-мальски контролируемое место, дальше — ничейная земля, где нет пока границ, размеченных по нормам международного права, но он с большим удовольствием отвезет ее обратно в город, на что Ф., попросив у него сигарету и закурив, сказала, что все равно пойдет.

15

Когда она в рыжей шубе вышла из дома, ничто уже не говорило о том, что здесь у нее побывал шеф секретной службы, о старухе тоже ни слуху ни духу, дом, казалось, был пуст, дверь под вывеской GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY все так же хлопала, и Ф. почудилось, будто ее занесло в какой-то старый неправдоподобный фильм, когда она с сумкой на плече и с чемоданом в руках зашагала в этом унылом безлюдье по дороге, по которой, не ведая, куда она ведет, уехал молодой датчанин, а теперь бессмысленно, упрямо, наперекор рассудку она сама шла к вершине, по-прежнему окутанной облаком, и думала о своем разговоре с логиком Д., как она составила себе тогда представление о Тине фон Ламберт, просто чтоб не сидеть

сложа руки, действовать, принять какие-то меры, однако же теперь, когда это представление оказалось химерой, когда за ним обнаружилась банальная семейная история и проступила судьба совсем другой женщины, которой она знать не знала, хоть и надела ее рыжую шубу, опять-таки ту же самую, в какой ходила Тина,— теперь она как бы перевоплотилась в эту другую, в датскую журналистку Ютту Сёренсен, быть может главным образом благодаря цитате из Кьеркегора, она тоже чувствовала себя беспомощной, как падающий в пустоту паук, эта дорога под ногами, пыльная, каменистая, палимая беспощадным солнцем, давно прорвавшим кипящую под ним облачную стену, змеящаяся вдоль склонов, протискивающаяся между причудливыми утесами,— это дорога была следствием, итогом ее жизни, она всегда действовала импульсивно, впервые она заколебалась, когда Отто фон Ламберт пригласил ее к себе, вместе со съемочной группой, и все-таки пошла к нему и взялась выполнить его поручение, и вот теперь против воли шагала по этой дороге и все же иначе не могла, шагала с чемоданом в руках, будто ловила попутку на шоссе, где машины не ездят, пока вдруг не очутилась перед обнаженным трупом Бьёрна Ольсена, от неожиданности даже споткнулась о него, он лежал перед нею, словно по-прежнему смеясь, как в первый раз, когда она увидела его у лестницы, лежал, запорошенный белой пылью, такой с виду нетронутый, невредимый, что больше походил на статую, чем на труп, вельветовые брюки, кроссовки, теплая куртка валялись среди материала, который он вез с собой в круглых жестяных коробках, большей частью полопавшихся, искореженных, пленка черными кишками лезла из них наружу, а за всем этим сумбуром — «фольксваген», разорванный изнутри, гротесковая мешанина железа и стали, куча исковерканных, разбросанных обломков мотора, колес, осколков стекла; цепенящее душу зрелище: труп, катушки с пленкой, раскиданные лопнувшие чемоданы, предметы одежды, трусы, флагом развевающиеся на сломанной антенне,— мало-помалу она стала замечать подробности — разбитый автобус, обломок руля, который так и сжимала оторванная рука датчанина,— все это она видела, стоя возле мертвеца, и, однако же, увиденное казалось ей нереальным, что-то мешало, делало реальность нереальной, какой-то шум, который она услышала вот только что, но который уже был, когда она наткнулась на покойника; посмотрев в том направлении, откуда доносился шум, а точнее, тихое жужжание, она увидала тощего нескладного верзилу в грязном костюме из белого полотна, с камерой в руках, он кивнул, продолжая съемку, потом заковылял к ней, с трудом перешагнул через покойника, заодно сняв и его тоже, таким, каким он виделся ей, и сказал, что пора наконец поставить этот дурацкий чемодан, уковылял вбок, опять направил на нее объектив и поковылял следом, когда она, отпрянув — ее не оставляло впечатление, что этот человек пьян,— резко спросила, что ему надо и кто он такой, тогда он опустил камеру и сказал, что его зовут Полифемом, а как по-настоящему, он давным-давно забыл, да это и не важно, ну а почему он не предложил свои услуги, когда секретная служба искала для нее оператора, вполне понятно, если учесть политическое положение страны, работать для нее, для Ф., слишком рискованно, ведь все, что известно полиции, известно и секретной службе, а что известно секретной службе — известно армии, сохранить тайну невозможно, вот он и предпочел украдкой последовать за нею, он же знает, что́ она ищет, шеф секретной службы рассказал об этом всем операторам, а в этой стране операторы кишмя кишат, она, Ф., решила найти и, если удастся, изобличить убийцу датчанки, для того и надела рыжую шубу, это просто замечательно, он так считает, позднее он покажет ей пленки, там она увидит себя, причем не только в GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY, как именуется эта камен-

ная развалюха, нет, еще раньше, когда нашла и купила в Старом городе у слепого рыжую шубу, эту сцену он заснял, да и не он один, ведь в ее предприятии кроме него заинтересованы и другие, за нею и теперь отовсюду наблюдают в телеобъективы, которые даже сквозь туман видят,— эти сведения потоком хлестали изо рта верзилы, из этой окаймленной седою щетиной ямы со скверными зубами на худом, изборожденном морщинами лице с маленькими жгучими глазами, на лице хромого человека в грязной, измызганной полотняной одежде, который, широко расставив ноги, стоял над мертвецом и все снимал Ф. видеокамерой; тогда она спросила, чего он, собственно, хочет, и он объяснил: обмена, она опять спросила, что он под этим понимает, и он ответил, что всегда восхищался ее кинопортретами и просто жаждет создать ее портрет, он датчанку эту, Сёренсен, тоже снимал, а поскольку Ф. интересуется ее судьбой, он и предлагает в обмен на будущий портрет Ф. пленки, на которых запечатлел датчанку, видеокассеты можно переснять на обычную кинопленку, Сёренсен шла по следу тайны, и ей, Ф., представляется случай пойти по этому следу дальше, он даже сам готов отправиться с нею в одно место в пустыне, где побывала Сёренсен, из всех, кто за нею наблюдают, пока ни один сунуться туда не рискнул, но ему она вполне может довериться, в определенных кругах он считается самым что ни на есть бесстрашным оператором, хотя круги, в которых он пользуется известностью, назвать нельзя, а фильмы его не подлежат показу, по экономическим и политическим резонам, но он не хотел бы говорить о них здесь, возле трупа молодого датчанина, из пиетета, ведь и он пал жертвою этих резонов.

16

Не дожидаясь ответа, он заковылял обратно к автобусу, при этом впечатление, что он пьян, еще усилилось, а когда он исчез за автобусом, Ф. поняла, что сейчас совершит новую ошибку, и все же, коль скоро она твердо решила разобраться в судьбе датчанки, нужно довериться этому человеку, назвавшемуся Полифемом, довериться, даже если доверять ему нельзя, между прочим, за ним явно наблюдают так же, как и за нею, больше того, не исключено, что за нею наблюдают лишь постольку, поскольку наблюдают за ним; чувствуя себя этакой пешкой, которую двигают туда-сюда, она в общем-то безо всякой охоты перешагнула через мертвеца, обогнула разбитый «фольксваген» и подошла к вездеходу, пихнула там на сиденье чемодан и устроилась рядом с хромоногим, от которого отчетливо разило виски; он посоветовал ей пристегнуться ремнем, и не зря: потому что секундой позже начался кромешный ад: взметая тучи пыли, они ринулись вниз по горному склону, прямо в кипящую облачную стену, зачастую по самому краю дороги, так что камни из-под колес градом сыпались в бездну, потом дорога стала еще круче и резко запетляла, а пьяный за рулем то и дело проскакивал повороты и вел тяжелую машину напролом, Ф., прижатая ремнем к спинке сиденья, изо всех сил упираясь ногами в пол, толком не видела ни горного склона, по которому они промчались, ни лугов, на которые буквально рухнули и по которым гнали теперь в пустыню, распугивая шакалов, кроликов, змей, стрелою кидавшихся наутек, и прочее зверье, гнали в глубь каменистой пустыни, сперва — долгие часы, как показалось Ф.,— в галдящей черной туче, а потом, когда птицы отстали, в лучах ослепительного солнца, и вот наконец вездеход, подняв облако пыли, резко затормозил возле плоской кучи щебня, среди равнины, похожей на марсианский ландшафт,— такое впечатление создавал, вероятно, шедший от нее свет, ведь она была покрыта странной, металлически-ржавой и вместе с тем камневидной субстанцией, из которой торчали гигантские скрученные метал-

лические структуры, бесформенные обломки стали, шипы, иглы, словно вбитые в землю чьей-то могучей рукой,— когда улеглась поднятая вездеходом пыль, Ф. только и успела охватить все это взглядом, потому что машина начала быстро погружаться, над нею задвинулась крышка люка, а затем они очутились в подземном гараже, и на вопрос, куда он ее притащил, Полифем пробормотал что-то невразумительное; скользнула вбок железная дверь, и он первым заковылял внутрь, сквозь множество скользящих в сторону железных дверей, не то через погреба, не то через студийные помещения, стены там были сплошь увешаны маленькими фотографиями, словно кто-то по дурости изрезал проявленные пленки на отдельные кадры, в немыслимом беспорядке вперемешку со стопками фотоальбомов валялись на столах и стульях крупноформатные снимки изрешеченных снарядами бронемашин, вдобавок кипы густо исписанных бумаг, горы катушек с пленкой, стойки с подвешенными на них фрагментами пленки, корзины, доверху полные обрезков целлулоида, потом фотолаборатория, ящики слайдов, демонстрационный зал, коридор, и вот наконец он, все сильнее припадая на хромую ногу и пошатываясь — так он был пьян,— привел ее в комнату без окон, с множеством фотографий на стенах, с кроватью в стиле «модерн» и таким же столиком — странноватое помещение, к которому примыкали уборная и душ; жилье для гостей, с трудом ворочая языком, сообщил он, выпятился из комнаты, причем его швырнуло об коридорную стену, и оставил Ф., которая угрюмо шагнула внутрь этой «камеры», в одиночество, когда же она обернулась, дверной замок, захлопываясь, негромко щелкнул.

17

Лишь мало-помалу она осознала панический страх, владевший ею с той минуты, как она очутилась в подземелье, и сознание это побудило ее вместо самого неразумного поступка совершить самый что ни на есть разумный — оставить в покое не желавшую открываться дверь, махнуть рукой на собственный ужас, лечь на кровать «модерн» и поразмыслить над тем, кто же такой Полифем, ведь об операторе с таким прозвищем она до сих пор не слышала, загадкой была и функция этих сооружений, на строительство которых наверняка затрачены гигантские суммы, но кем они затрачены, и что означает исполинское поле руин вокруг, и что здесь происходило, и как понимать странное предложение выменять ее портрет на портрет Ютты Сёренсен,— она так и уснула с этими вопросами, а проснулась внезапно, как бы рывком, с таким ощущением, будто стены вот только что дрожали и кровать плясала, да нет, приснилось, должно быть; невольно она стала разглядывать фотографии, с нарастающим ужасом, ведь на них было запечатлено, как взлетел на воздух Бьёрн Ольсен, притом съемка велась на необычайно высоком техническом уровне, она даже и не представляла себе, что такое возможно; если на первой фотографии был виден лишь контур ольсеновского «фольксвагена», то на второй там, где предположительно находилось сцепление, возник маленький белый шар, который на последующих снимках все больше разбухал, а сам микроавтобус одновременно как бы становился прозрачным, и деформировался, и распадался на куски, видно было и как взрывом Ольсена выбило с сиденья,— все эти фазы казались тем более жуткими, что поднятый над сиденьем Ольсен, правая рука которого, сжимающая руль, уже отделялась от запястья, словно бы весело насвистывал, и, ужасаясь чудовищным фотографиям, она вскочила с кровати, инстинктивно бросилась к выходу и обомлела: дверь открылась; так или иначе она рада была вырваться из комнаты, напоминавшей тюремную камеру, и вышла в коридор — пусто, ни души; чуя ловушку, Ф.

замерла на месте: где-то изо всех сил молотили в железную дверь, она пошла на этот звук, при ее приближении двери бесшумно отворялись, она шла по комнатам, которые уже видела, шла неуверенно, нерешительно, все новые и новые коридоры, помещения для ночлега, технические лаборатории с непонятной аппаратурой — подземелье явно строили для многих людей, но где же они, с каждым шагом она чувствовала, как опасность нарастает, видимо, ее умышленно оставили одну, это всего-навсего хитрость, Полифем наверняка за нею наблюдает; между тем грохот мало-помалу приближался, то он был совсем рядом, то снова чуть подальше, и внезапно она очутилась в конце какого-то коридора перед железной дверью с обычным замком, в котором торчал ключ, вот по ней-то и молотили, порой казалось, словно кто-то всем телом бросается на дверь, Ф. уже хотела повернуть ключ, но вдруг подумала, что там, за дверью, Полифем, он был совершенно пьян и попрощался очень странно, бог его знает, что ему в голову взбрело, он то откровенно пялил на нее глаза, а то вроде бы вовсе не замечал, смотрел как на пустое место, так что вполне мог и нечаянно запереться, захлопнув дверь, или его запер кто-то третий, постройка огромная, может, она не столь необитаема, как кажется, и почему это вдруг все двери автоматически открывались, стук и грохот не умолкали, она окликнула: Полифем! Полифем! — в ответ все тот же грохот и стук, но, может, за железной дверью ничего не слышно, может, все это никакая не хитрость, может, за нею вовсе не наблюдают, может, она совершенно свободна, Ф. побежала в свою «камеру», не нашла ее, заблудилась, сунулась в какую-то комнату, сочтя ее поначалу своей, но потом поняла ошибку, в конце концов нужная комната все-таки отыскалась, она повесила на плечо сумку и опять бегом по коридорам подземелья, а стук и грохот все продолжались, но вот и гараж, дверь скользнула в сторону, вездеход стоял наготове, она села на водительское место, обвела взглядом приборную панель, где, кроме обычных приборов, обнаружились две кнопки с выдавленными на них стрелками — одна указывала вверх, другая вниз,— нажала кнопку со стрелкой вверх, потолок раздвинулся, платформа с вездеходом выползла на поверхность — она была на воле, над головой небо, а на его фоне остроконечные обломки, будто лес копий, отбрасывающие длинные тени в ослепительной вспышке, которая тотчас погасла, в один миг земля опрокинулась назад, алая полоска света у горизонта начала смыкаться — она была в глотке мирового чудища, а чудище захлопывало пасть, и пока она переживала наступление ночи, превращение света в тень и тени во мрак, среди которого вдруг загорелись звезды, ею овладела уверенность, что свобода и есть подкарауливающая ее ловушка; нажатием кнопки она снова отправила вездеход под землю, потолок над головой снова закрылся, ни стука, ни грохота уже не было, она со всех ног помчалась назад в свой застенок и, бросившись на кровать, услыхала, скорее даже почувствовала, как что-то приближается с яростным ревом, удар, разрыв, далеко и все же где-то рядом, сильнейший толчок, кровать и стол так и заплясали, она закрыла глаза и сама не знала, долго ли так продолжалось, впала ли она в беспамятство или нет, ей было безразлично, а когда она открыла глаза, перед нею стоял Полифем.

18

Он поставил ее чемодан возле кровати, и был он трезв, свежевыбрит, одет в чистый белый костюм и черную рубашку; полодиннадцатого уже, сказал он, ох и долго же пришлось ее искать, она ведь не в своей комнате, похоже, спутала минувшей ночью, наверняка землетрясения испугалась, ну а сейчас он ждет ее завтракать,— с этими словами Полифем уковылял из комнаты, и дверь за

ним закрылась, Ф. встала, лежала она, оказывается, на диване, а фотографии на стенах изображали взрыв танка, поэтапно, кадр за кадром, застрявший в башне человек горел, обугливался, неловко вывернувшись, безжизненно смотрел в небо; она открыла чемодан, разделась, приняла душ, надела свежее джинсовое платье, отворила дверь — опять стук и грохот, потом тишина, Ф. было заплутала, но дальше начались как будто бы знакомые помещения, в одном из них — стол, освобожденный от фотоснимков и бумаг, хлеб, на дощечке ломтики тушенки, чай, кувшин с водой, консервная банка, стаканы; откуда-то из коридора приковылял Полифем с пустой жестяной миской в руке, словно кормил какое-то животное, он убрал фотоальбомы с одного стула, с другого, она села, он нарезал перочинным ножиком хлеб — прошу, угощайтесь! — Ф. налила себе чаю, взяла кусок хлеба, ломтик мяса, она вдруг поняла, что проголодалась, а он высыпал в стакан какой-то белый порошок, залил водой, пояснив, что по утрам пьет только разведенное сухое молоко, кстати, он должен извиниться, вчера он был пьян, у него вообще в последнее время запой, фу, до чего же противное молоко; это ведь было не землетрясение, сказала Ф., верно, кивнул он, подливая воды в стакан, землетрясение тут ни при чем, что ж, пора ей узнать, в какую историю она ввязалась, хоть и не по своей воле, она же явно понятия не имеет, что, собственно, происходит в стране, продолжал он слегка насмешливо, снисходительно, да и вообще казался совсем другим, не как тогда, возле взорванного «фольксвагена», когда они познакомились; конечно, насчет борьбы за власть между начальником полиции и шефом секретной службы она в курсе дела, первый, само собой, готовит государственный переворот, а второй пытается его предотвратить, но в игру входят и другие интересы, страна, куда она, как ему думается, приехала более чем легкомысленно, живет не только туризмом да вывозом растительных волокон для набивки мягкой мебели, главный источник доходов — война, которую эта страна ведет с соседним государством из-за земель в великой песчаной пустыне, где кроме горстки вшивых бедуинов да пустынных блох никто не живет, туризм и тот не отважился туда проникнуть, эта война, тлеющая вот уже лет десять, давным-давно нужна лишь затем, чтобы испытывать продукцию буквально всех стран — экспортеров оружия, не только французские, немецкие, английские, итальянские, шведские, израильские, швейцарские танки вели там бои с русскими и чешскими танками, но и русские с русскими, американские с американскими, немецкие с немецкими, швейцарские со швейцарскими, всюду в пустыне можно набрести на заброшенные поля танковых сражений, война выискивает для себя все новые театры, и это вполне логично, ведь лишь благодаря экспорту оружия конъюнктура остается маломальски стабильной, конечно, при условии, что оружие конкурентоспособно; беспрестанно вспыхивают и настоящие войны, вроде той, что ведут Иран и Ирак, другие перечислять незачем, тут уж опробовать оружие поздно, потому-то военная промышленность так ретиво печется о здешней пустяковой войне, которая давно утратила политический смысл, стала фиктивной, инструкторы из стран, поставляющих военную технику, по сути, ведут обучение местных жителей, просвещают здешних берберов, мавров, арабов, евреев, негров — горемык, которым эта война, если они худо-бедно останутся в живых, дает некие преимущества; но теперь страна охвачена брожениями, фундаменталисты считают эту войну западной пакостью, что вполне справедливо, только надо прибавить сюда и Варшавский пакт, шеф секретной службы стремится превратить эту войну в международный скандал, вот почему дело Сёренсен весьма ему на руку, правительству тоже хочется прекратить войну — хочется-то хочется, но ведь тогда экономика пойдет вразнос, начальник генерального штаба покуда колеблется, зейдиты тоже в нерешительности, начальник полиции

намерен продолжать войну, он подкуплен государствами — производителями оружия, а вдобавок, как поговаривают, израильтянами и Ираном, вот и пытается свергнуть правительство, при поддержке сбежавшихся со всего света кинооператоров и фотографов, которые иначе останутся без работы, эта война дает им хлеб насущный, ведь смысл ее лишь в том, что за нею можно наблюдать, только наблюдения за испытанием оружия позволяют выявить и устранить слабости и дефекты конструкции, а что касается его самого — он засмеялся, опять насыпал в стакан сухого молока и залил водой, тогда как Ф. давно уже покончила с завтраком,— тут ему придется, пожалуй, начать издалека, у каждого своя история, у нее — своя, у него — своя, он не знает, как началась ее история, да и не хочет знать, а вот его собственная история началась однажды в понедельник вечером в Нью-Йорке, в Бронксе, где его отец держал небольшой фотосалон — снимал свадьбы и всех желающих и как-то раз выставил в витрине фотографию некоего джентльмена, не подозревая, что делать этого нельзя, вот это ему и втолковал потом один из гангстеров, с помощью автомата: изрешеченный пулями, отец рухнул прямо на него, ведь именно в тот понедельник вечером он сидел на полу за прилавком и готовил уроки, надо сказать, отец вбил себе в голову, что сын должен получить среднее образование, у отцов вечно слишком далеко идущие планы насчет сыновей, он же сам немного погодя, когда пальба утихла, выбрался из-под отца, оглядел разгромленный салончик и пришел к выводу, что истинная образованность предполагает совсем другое: необходимо разобраться, как прожить на свете среди людей, с выгодой для себя используя этих же самых людей, среди которых собираешься жить; с единственной непродырявленной фотокамерой он спустился в ад преступного мира, этакий мальчик с пальчик, от горшка два вершка, первое время специализировался на карманниках, полиция оплачивала его моментальные снимки весьма скромно и арестовывала мало кого, так что им никто не интересовался, тогда он осмелел и принялся за взломщиков, аппаратуру он частью наворовал, частью смастерил своими руками, а жил с крысиной смекалкой, ведь чтобы фотографировать взломщиков, надо по-взломщицки думать, они ребята ушлые и света не любят, несколько громил-верхолазов, ослепленные фотовспышкой, разбились насмерть, ему до сих пор жаль их, но полиция платила по-прежнему гроши, а бежать с этими снимками в газеты — значило переполошить преступный мир, так что ему покуда везло, никто даже и не думал искать фотографа в тощем уличном мальчишке, а потому его обуяла мания величия, и он принялся за гангстеров и убийц, толком не вникнув, во что, собственно, ввязывается, полиция, правда, расщедрилась, гангстеры один за другим отправлялись в «Синг-Синг» и на электрический стул, либо хозяева сами «убирали» их, из предосторожности, но потом он случайно «поймал» в Центральном парке кадр, который испортил карьеру некоему сенатору и вызвал целую лавину скандалов, в результате полиция вынуждена была доложить следственной комиссии конгресса о его существовании, о котором никто больше не знал; ФБР сцапало его, а комиссия взяла в оборот и с пристрастием допросила, его портрет попал в газеты, и, вернувшись в свою студию, он нашел ее в том же состоянии, в каком был когда-то салончик отца, некоторое время он еще держался на плаву, продавая полиции фотографии гангстеров, а гангстерам фотографии сыщиков, но скоро на него ополчились все: и полиция, и гангстеры; выход был один — искать безопасности в армии, там тоже нужны фотографы, официальные и неофициальные, но хоть он и говорит, что обеспечил себе безопасность, продолжал Полифем, откинувшись на спинку стула и водрузив ноги на стол, это все же изрядное преувеличение, войны, даже те, что именуются чисто административными мерами, непопулярны, депутатов и сенаторов, дипломатов и журналистов надо убедить, ну а если убежде-

ние не действует, обратиться к подкупу или, когда подкуп бессилен, к шантажу, вот для этого-то к его услугам были шикарные бордели, сделанные там снимки — самый настоящий политический динамит, но он не смел отказываться, армия в любую минуту могла выпихнуть его домой, и, отлично зная, что его там ждет, он безропотно шел на все, в итоге же, когда над ним опять нависла угроза следственной комиссии, сбежал из сухопутных войск в ВВС, а из ВВС — ибо никого нет упорнее мстительных политиканов — в военную индустрию, где сходятся все интересы, так что он не без оснований считал себя наконец-то в безопасности, вот и очутился здесь, в синяках да шишках, вечная жертва и вечный охотник, живая легенда для коллег-профессионалов, которые, кстати говоря, избрали его своим боссом, а он, приняв этот пост, совершил один из наиболее опрометчивых поступков в жизни, ибо тем самым возглавил подпольную группировку, которая поставляла любые сведения обо всех видах применяемого оружия, ее задачу можно сформулировать и так: она упраздняет шпионаж, ведь если кто-нибудь хотел навести справки насчет вражеского танка или насчет эффективности противотанковой пушки, достаточно было обратиться к нему, к Полифему, благодаря ему война продолжала идти на убыль, однако чрезмерное усиление его позиций опять-таки привлекло внимание администрации; чтобы разгромить их группировку, администрация установила контакт не с кем-нибудь, а с ним самим: он, мол, в своей области бесспорно крупнейший знаток и вынуждать его никто не собирается, но кое-кто из сенаторов... в общем, он принял их условия, и группировка уже начинает разваливаться, продолжение войны сомнительно, а то, что его теперь выслеживают давние коллеги и, если он появляется, сразу берут под наблюдение, вполне естественно, и даже более того, ведь он признаёт, что кой-какую слишком уж щекотливую информацию утаил.

Он умолк, а говорил очень долго, и она чувствовала, что он не мог не говорить, что он рассказал ей то, чего, быть может, никому еще не рассказывал, но чувствовала и другое: кое о чем он умолчал, и умолчал по причинам, которые каким-то образом связаны с тем, отчего он рассказал ей свою жизнь; он сидел, откинувшись на стуле, водрузив ноги на стол, смотрел прямо перед собой, будто ждал чего-то, а потом опять послышался нарастающий вой, опять удар, взрыв, на голову посыпались крошки и пыль — и тишина; она спросила, что это было, он ответил: то, из-за чего никто сюда сунуться не смеет,— и заковылял в лабораторию, откуда они по лесенке поднялись наверх, в небольшую комнату с приплюснутым куполообразным потолком, круглившимся над опоясывающими стены окошками, и, только усевшись рядом с Полифемом, Ф. поняла, что это не окна, а экраны мониторов, на одном из них она увидела заходящее солнце в пустыне, увидела поднявшийся на поверхность вездеход и себя в нем, потом увидела, как сомкнулась золотисто-алая полоса, как настала ночь, снова ушел под землю вездеход, небо вызвездило, затем что-то такое подлетело на огромной скорости, яркая вспышка, монитор погас; а теперь то же самое, но снятое через «лупу времени», сказал он, медленно-медленно наступила ночь, медленно-медленно исчез под землей вездеход, медленно-медленно загорелись звезды, одна стала медленно увеличиваться, медленно выросла, точно комета, медленно в пустыню вонзилось какое-то стройное, добела раскаленное тело, медленно взорвалось, медленно, словно из жерла вулкана, всплеснулись в воздух обломки камня, а потом — только свет и тьма; это была первая, вторая взорвалась ближе, сказал Полифем, точность возрастает, а на вопрос Ф., что же она такое видела, ответил: межконтинентальную ракету; на экране монитора возникла тем вре-

менем панорама пустыни, горы, город, пустыня приблизилась, на кадр наложилось перекрестье линий,— здесь расположено сооружение, в котором они находятся, он и Ф., снято со спутника, причем период его обращения и период обращения Земли скоординированы так, что он постоянно висит у них над головой, с этими словами Полифем задействовал еще один монитор, автоматически, как он говорил, опять пустыня, у левой кромки кадра черный квадратик Аль-Хакимовых Развалин, справа вверху город, у правой кромки горы, все то же облако — слепяще белый комок ваты, в центре кадра шарик с антеннами, первый спутник, заснятый вторым, чтобы наблюдать, за чем он наблюдает, пояснил Полифем, отключил мониторы, заковылял к лестнице и спустился вниз; совершенно не обращая на нее внимания, он вернулся к столу, прямо так, руками взял кусок мяса, сел, откинулся назад, водрузил ноги на стол, сказал, что скоро надо ждать следующей ракеты, сунул ломоть в рот и добавил, что если в «пустынной» войне испытывается современное оружие обычных типов, то с точки зрения стратегической концепции двух лагерей необходимо отрабатывать точность попадания межконтинентальных ракет, ракет «земля — земля» и тех, что запускаются с атомных подводных лодок, то есть испытывать боевые средства, служащие носителями атомных и водородных зарядов, в результате, с одной стороны, на Земле сохраняется мир, хоть и под угрозой того, что и он, и Земля довооружаются до смерти, слишком уж уповают на устрашение другого, либо на компьютер, либо на идеологию, либо и вовсе на бога, а ведь другой может потерять голову и пуститься во все тяжкие, компьютер может ошибиться, идеология — оказаться несостоятельной, а бог — равнодушным, с другой же стороны, как раз те государства, которые располагают лишь обычным оружием и, собственно, должны бы сидеть тихо и не вылезать, соблазняются под прикрытием мира всемирного устрашения вести обычные войны: ввиду возможности атомной войны они стали, так сказать, чистенькими и пристойными, что в свою очередь подхлестывает производство обычных вооружений и оправдывает войну в пустыне, гениальный круговорот, не позволяющий заглохнуть военной промышленности, а с нею и мировой экономике, станция, в которой они находятся, служит для ускорения этого процесса, сооружена по секретному соглашению и обошлась в фантастическую сумму, только для обеспечения подземных электрокоммуникаций в горах специально выстроены плотина и электростанция; не случайно этот район пустыни избран мишенным полем, не случайно за него ежегодно выплачивают полмиллиарда, ведь он соседствует со странами, которые, обладая огромными запасами нефти, вновь и вновь поддаются искушению и шантажируют промышленно развитые нации, раньше на этой наблюдательной станции работало свыше пятидесяти специалистов, сплошь технари, он был среди них единственным фотографом, а пользовался главным образом все тем же стареньким «кодаком» из отцовского салончика, только в последнее время перешел на видео, вообще-то он по станции никогда не гулял, хотя сенсаций там хватало, конечно, удавалось отснять гвоздевой материал, что да, то да, осколком ему раздробило левую ногу, но когда он, кое-как залатанный, вернулся назад, станция наполовину обезлюдела, ее полностью автоматизировали, технари — те, что пока остались,— работали с компьютерами, да и он, собственно говоря, стал не нужен, его заменили автоматические видеокамеры, потом над станцией «подвесили» спутник — кстати, об этом их даже не известили, станция слежения за спутником находится на Канарских островах,— лишь по случайности кто-то из специалистов-телевизионщиков обнаружил зависший над ними спутник, а немногим позже еще один, чужой, а вскоре пришел приказ эвакуировать персонал, ибо теперь станция может работать в автоматическом режиме, но это самое настоящее вранье, зачем бы тогда спутник, в общем, тут остался он один, По-

лифем, все это оборудование для него темный лес, он может лишь проверить, действуют ли видеоустановки, да, пока действуют, но надолго ли их хватит — неизвестно, ведь ток поступает уже только от батарей, от электростанции их нынче утром отключили, когда батареи сядут, все это сооружение станет бесполезным, вдобавок теперь начали оснащать межконтинентальные ракеты хоть и не атомными, но высокомощными обычными зарядами; он, разумеется, считает, что нелепо полагать, будто обе стороны метят не столько по станции, сколько непосредственно по нему, потому что он располагает фильмами и фотонегативами, которые для иных дипломатов более чем щекотливы, но все ж таки стал пить, а раньше, между прочим, в рот не брал, и тут Ф. спросила, уж не эти ли документы заставили его убить Бьёрна Ольсена.

Он убрал ноги со стола, встал, пошарил среди катушек пленки, вытащил бутылку, плеснул виски в стакан, из которого пил порошковое молоко, взболтнул, выпил все до капли, спросил, верует ли она в бога, опять налил себе виски и снова уселся напротив нее, а она, смущенная вопросом, хотела сперва ответить резкостью, но потом, догадываясь, что узна́ет больше, если отнесется к его вопросу серьезно, сказала, что не может веровать в бога, ибо, с одной стороны, не знает, как представить себе бога, а в непредставимое верить не способна, с другой же стороны, ей неизвестно, каким ему, спросившему о вере, видится бог, в которого она должна или не должна веровать, на что Полифем отозвался так: если бог существует, то как абсолютный, чистый дух он являет собою чистое наблюдение и лишен возможности вмешиваться в процесс эволюции материи, который завершается в абсолютном небытии — ведь даже протоны подвержены распаду — и в ходе которого возникли и погибнут Земля, растения, животные и люди, лишь являя собою чистое наблюдение, бог остается неосквернен своим творением, что справедливо и для него, для оператора, ему тоже полагается лишь наблюдать, в противном случае он бы давно вогнал себе пулю в лоб, всякое чувство, будь то страх, любовь, сострадание, гнев, презрение, вина, жажда мести, не просто замутняет чистое наблюдение, но делает его невозможным, окрашивает чувством, так что он, Полифем, смешивается с мерзостным миром, вместо того чтобы отъединиться от него, лишь посредством кино- или фотокамеры реальность можно запечатлеть объективно, в чистом виде, одна лишь камера способна зафиксировать то время и то пространство, где разыгрывается вот этот самый эпизод, тогда как при отсутствии камеры эпизодическое переживание ускользает, не успеешь его пережить, а оно уже в прошлом, уже воспоминанье и, как всякое воспоминанье, уже подделка, фикция, оттого-то ему кажется, будто он не человек больше — ведь человек от природы пленник иллюзии, воображающий, что можно пережить что-то, непосредственно вобрать в себя,— пожалуй, он больше смахивает на циклопа Полифема, который воспринимал, вбирал в себя окружающий мир через единственный круглый глаз посреди лба, словно через объектив камеры, и «фольксваген» он взорвал не просто затем, чтобы Ольсен прекратил выяснять судьбу датской журналистки и не попал в ситуацию, в какой сейчас оказалась она, Ф., нет, он хотел, продолжил Полифем после очередного нарастающего воя, удара, разрыва, толчка, однако на сей раз подальше, помягче (недолет, спокойно заметил он), так вот, он хотел прежде всего снять на пленку взрыв — только не поймите меня превратно! — беда, конечно, страшная, но благодаря видеокамере — увековеченное событие, аллегория мировой катастрофы, ведь камера нужна для того, чтобы поймать и удержать десятую, сотую, тысячную долю секунды, задержать, остановить время, уничтожив его, фильм-то, когда идет, лишь якобы

воспроизводит действительность, а на самом деле имитирует непрерывный ход событий и состоит из последовательности отдельных кадров, поэтому, отсняв фильм, он режет его, и вот тогда каждый отдельный кадр предстает кристаллом реальности, непреходящей ценностью, но теперь над ним «висят» эти два спутника, раньше он со своей камерой чувствовал себя как бог, а теперь за тем, что наблюдает он, ведется наблюдение, мало того, наблюдают и за ним самим, за тем, как он ведет наблюдение, ему известна разрешающая способность спутниковой аппаратуры, бог, за которым наблюдают, уже не бог, за богом не наблюдают, свобода бога в том, что он бог спрятанный, затаенный, а несвобода людей — в том, что за ними наблюдают, но еще ужасней другое: кто́ за ним наблюдает, кто выставляет его на посмешище — система компьютеров, да-да, за ним наблюдают две подключенные к двум компьютерам камеры, за которыми надзирают два других компьютера, тоже состоящие под надзором компьютеров, информация от них опять-таки подводится к компьютерам, воспроизводится, преобразуется, снова собирается воедино и, обработанная компьютерами, поступает в лаборатории, а там снимки проявляют, увеличивают, сортируют и интерпретируют — кто этим занимается, где именно, да и вообще, участвуют ли в этом люди, он не знает, компьютеры тоже умеют читать и ретранслировать снимки, сделанные со спутников, если их программа составлена с учетом подробностей и отклонений, он, Полифем, поверженный бог, его место занял теперь компьютер, за которым тоже наблюдает компьютер, один бог наблюдает за другим, мир идет вспять, к своим истокам.

21

Он пил виски, стакан за стаканом, почти не разбавляя водой, и снова превратился в того человека, с которым она познакомилась возле изуродованного, мертвого датчанина, в пьяницу с изрытым морщинами лицом, с маленькими жгучими глазами, которые все же казались окаменевшими, словно целую вечность смотрели в ледяной ужас, и когда она спросила — так, наудачу,— с чьей легкой руки его прозвали Полифемом, то буквально остолбенела: услышав ее вопрос, он как следует хлебнул прямо из бутылки, а потом сказал, еле ворочая языком, что она дважды была на волосок от смерти, один раз, когда вышла на поверхность, из-за ракет, и второй раз, еще раньше, у железной двери, если б она ее открыла, то была бы уже мертва, ну а имя Полифем ему дали на авианосце «Киттихок», как раз когда решено было вывести войска из Южного Вьетнама, в каюте, которую он делил с рыжим верзилой, преподавателем греческого языка из какого-то захолустного университета, чудной был парень, в свободное от службы время читал Гомера, «Илиаду» вслух декламировал, а притом летал на бомбардировщике и был замечательным пилотом, ребята прозвали его Ахиллом, отчасти в насмешку над его чудачествами, отчасти из огромного уважения к его отчаянной храбрости; сам он много раз фотографировал этого нелюдима и снимал на кинопленку, это лучшие его работы, поскольку Ахилл никогда внимания не обращал на съемку, да и не разговаривал с ним в общем-то, бросит равнодушно пару слов, и все, только часа за два, за три перед тем, как на бомбардировщике нового образца вылететь ночью бомбить Ханой — они оба предчувствовали, что это может кончиться плохо,— он оторвался от своего Гомера, увидел направленный на него объектив и, воскликнув: Полифем — вот ты кто, настоящий Полифем! — расхохотался, в первый и последний раз, а потом заговорил, тоже в первый раз, и сказал, что греки отличали Ареса, бога необузданной, дикой схватки, от Афины Паллады, богини порядка в сраженье, в ближнем бою раздумывать некогда и опасно, зато не обойтись без мгновенной реакции, иначе не увернешься от дротика, не отразишь щитом меча, не ударишь сам ни дротиком, ни мечом, противник рядом, бок о бок,

его ярость, его хриплое дыхание, его пот, его кровь мешаются с собственной твоей яростью, хриплым дыханием, потом, кровью, завязываются в накрепко спутанный клубок страха и злобы, человек вцепляется в человека когтями, вгрызается зубами, терзает, рубит, колет, ставши зверем, раздирает зверей, так под Троей бился Ахилл, это было пылающее злобой истребление, вдобавок он рычал от ярости и ликовал, повергнув очередного врага, не то что он, тоже прозванный Ахиллом, ведь какой стыд: по мере технизации войны противник становился все абстрактнее, для снайпера, глядящего в оптический прицел, он не более чем видимый вдалеке предмет, для артиллериста — тоже предмет, но уже не более чем предполагаемый, а вот он, пилот бомбардировщика, еще худо-бедно укажет, сколько городов и деревень он бомбил, но не назовет, ни сколько уничтожил людей, ни как он их уничтожил: разорвал в клочья, раздавил, сжег,— ему это неизвестно, он просто наблюдает за своими приборами и, руководствуясь указаниями радиста, с учетом собственной скорости и направления ветра выводит самолет на цель, в ту абстрактную точку в системе пространственных координат — долготы, широты, высоты,— где будут автоматически сброшены бомбы, и после налета он чувствует себя не героем, а трусом, закрадывается мрачное подозрение, что эсэсовский палач в Освенциме поступал нравственнее его, эсэсовец сталкивался со своими жертвами лицом к лицу, хотя и считал их недочеловеками, сбродом, он же, Ахилл, и его жертвы никак не сталкиваются, да и не считает он их недочеловеками, а так, чем-то вроде насекомых, которых приказано истребить, вроде комаров, которых летчик, распыляющий ядохимикаты, тоже не видит; разбомбить, стереть в порошок, уничтожить, ликвидировать — какое слово ни употреби, это все равно остается абстракцией, чисто техническим делом, и осмысливается лишь суммарно, лучше всего в деньгах, мертвый вьетнамец стоит свыше ста тысяч долларов, мораль удаляют как злокачественную опухоль, ненависть вливают как допинг, ненависть к призрачному врагу; увидев перед собой живого пленного врага, он не в состоянии его ненавидеть, он воюет против системы, противоречащей его политическим взглядам, но любая система, даже самая преступная, складывается из виновных и невиновных, и к любой системе, в том числе и к военной машине, в которую он включен, присоединяется преступление, подавляющее и стирающее все резоны, он кажется себе этаким анонимом, наблюдателем за стрелками и шкалами, и только-то, особенно это касается задания, которое предстоит им нынешней ночью, ведь их самолет просто-напросто летающий компьютер, он стартует, заходит на цель, сбрасывает бомбы, всё автоматически, они оба выполняют исключительно функции наблюдателей, порой ему так и хочется стать настоящим преступником, совершить какое-нибудь чудовищное злодеяние, стать зверем, изнасиловать женщину и задушить, человек — это иллюзия, он становится или бездушной машиной, кинокамерой, компьютером, или зверем; после такой речи, самой длинной, какую когда-либо произносил, Ахилл умолк, а час-другой спустя они на малой высоте, на скорости 2М уже летели к Ханою, навстречу огненной пасти зенитных орудий — ЦРУ предупредило Ханой (какие же испытания без обороны!), однако же он, Полифем, успел сделать несколько превосходных снимков, потом они сбросили бомбы, но самолет был подбит, автоматика отказала; весь в крови — его ранило в голову — Ахилл лег на обратный курс, и вел он подбитый самолет уже не как человек, а прямо как компьютер, потому что, когда они сели на палубу «Киттихок», на него, Полифема, таращилась окровавленная, пустая маска идиота, он так и не смог забыть Ахилла и с тех пор считает себя его должником, он прочел «Илиаду», чтобы понять этого захолустного преподавателя, который спас ему жизнь и по его милости стал идиотом, он искал Ахилла, но нашел его только спустя много лет, в психиатрическом от-

делении военного госпиталя, где ему, Полифему, латали ногу, нашел слабоумного бога, запертого в изоляторе, потому что он, сумев несколько раз удрать из больницы, насиловал и убивал женщин,— Полифем умолк и опять уставился в пространство, а на ее вопрос, уж не Ахилл ли то существо за дверью, ответил: она должна понять, что он обязан при случае исполнять то единственное желание, какое осталось у Ахилла, ну а кроме того, он ведь обещал ей портрет Ютты Сёренсен.

22

С трудом он задействовал проектор, а еще раньше долго искал нужную пленку, но вот наконец все было готово; откинувшись в кресле, заложив ногу на ногу, она впервые увидела Ютту Сёренсен, стройную женщину в рыжей шубе, идущую в глубь великой пустыни, причем сперва ей показалось, что это она сама; судя по походке, женщину понуждали идти, когда она останавливалась, что-то ее тотчас вспугивало, лица журналистки Ф. не видела, но по тени, которая мелькала время от времени, догадалась, что в пустыню ее гнал вездеход Полифема, Ютта Сёренсен все шла и шла, каменистая пустыня, песчаная пустыня, однако шла она, похоже, не наобум, хотя ее и преследовали,— Ф. не оставляло чувство, что датчанка стремилась к какой-то цели и хотела ее достигнуть, но внезапно она побежала вниз по крутому склону, оступилась, упала, в поле зрения возникли Аль-Хакимовы Развалины, черные птичьи силуэты скрюченных святых, она встала, бросилась к ним, обняла колени первого, умоляя о помощи, тот упал, так же как от прикосновения Ф., датчанка переползла через труп, обхватила колени второго — и этот был трупом, появилась тень вездехода, угольно-черная, потом какое-то громадное существо, оно налетело на женщину, а она, вдруг безвольно обмякнув, даже не сопротивлялась, была изнасилована и убита, кадры сплошь предельно четкие, крупным планом ее лицо, в первый раз, потом лицо существа, плаксивое, алчное, мясистое, пустое; то, что последовало дальше, было, видимо, снято ночью, специальной камерой, труп лежал среди святых мужей, двое покойников опять сидели, сбежались шакалы, понюхали, принялись рвать тело Ютты Сёренсен, и только теперь Ф. заметила, что она одна в просмотровом зале, она вышла из зала, остановилась у двери, достала из сумки сигарету, закурила, у стола сидел Полифем, кромсал пленку, рядом — стойка с обрезками, на столе револьвер и нарезанные квадратики целлулоида, в конце стола — лысая глыба, скандирующая стихи, греческие гекзаметры, Гомера, с закрытыми глазами раскачивающаяся в такт; Полифем сказал, что накачал его валиумом, а затем, вырезая очередной кадр, спросил, как ей понравился его материал, видеофильм, переснятый на 16-миллиметровую пленку, ответа на этот вопрос она не нашла, он смотрел на нее безучастно, холодно; то, что он зовет реальностью, подстроено, инсценировано, сказала она, на что он, разглядывая вырезанный кадр, ответил: инсценируется игра, реальность инсценировать нельзя, ее можно только выявить, вот он и выявил Сёренсен, как космический зонд выявил действующие вулканы на одном из спутников Юпитера, на что она бросила: софистика! — а он: в реальности нет софистики, но тут все опять задрожало, и с потолка посыпались крошки и пыль, и она спросила, почему он назвал Ахилла слабоумным богом, и Полифем объяснил: он называет его так потому, что Ахилл действует как обезумевший бог-творец, уничтожающий свои творения; датчанка не творение слабоумного, со злостью воскликнула она; тем хуже для бога, спокойно возразил он, и на ее вопрос, произойдет ли это здесь, сказал: нет, не здесь, и не у Аль-Хакимовых Развалин, их видно со спутников, портрет датчанки страдает изъянами, зато ее портрет будет шедевром, он уже выбрал место, а

теперь она должна оставить его и Ахилла одних, Ахилл может проснуться, а ему надо собрать вещи, ночью они уедут отсюда, и ее с собой возьмут, а заодно пленки и фотографии, ради которых за ним охотятся, он покинет станцию навсегда, и Полифем опять занялся пленкой, Ф. же не сразу сообразила, что покорно шагает в свою тюрьму, там она улеглась не то на кровать «модерн», не то на диван — настолько ей было безразлично, что она делает, бежать все равно невозможно, он опять протрезвел и вдобавок вооружен, Ахилл мог проснуться, а станция поминутно содрогалась, и если бы даже ей вздумалось убежать, она не знала, хочет ли этого, она видела перед собою лицо Ютты Сёренсен, перекошенное желанием, а потом, когда огромные ручищи обхватили ее горло, за секунду перед тем, как исказиться, гордое, торжествующее, смиренное, датчанка желала всего, что с нею случилось, желала насилия и смерти, остальное было только предлогом, а она сама, Ф., она не могла не пройти до конца тот путь, который выбрала, в угоду своему выбору, гордости, в угоду себе, замкнуть смехотворный и все же неизбывный порочный круг долга, но искала ли она правду, правду о себе самой, ей вспомнилась встреча с фон Ламбертом, она согласилась выполнить его поручение вопреки голосу инстинкта, бросив один туманный план, она схватилась за еще более туманный, лишь бы что-то предпринять, ведь она переживала кризис, ей вспомнился разговор с Д., логик был слишком учтив, чтобы отговаривать ее, да и слишком хотел посмотреть, чем все кончится, фон Ламберт-то, может, еще раз вышлет вертолет, он же опять виноват, подумала она и невольно рассмеялась, потом она увидела себя в мастерской, перед портретом, который действительно изображал Ютту Сёренсен, но обернулась она слишком поздно, наверняка это Тина выскользнула тогда из мастерской и наверняка режиссер был ее любовником, она была близка к правде, но не выяснила ее до конца, соблазн отправиться самолетом в М. был чересчур велик, хотя и этот полет, пожалуй, был всего лишь бегством, только вот от кого, спросила она себя, возможно, от себя самой, видимо, она сама себе стала невыносима, а бегство свелось к тому, что она просто покорилась обстоятельствам, поплыла по течению, она увидела себя девочкой, возле горного ручья, на том месте, где он обрывается со скалы в пропасть, она улизнула из лагеря, пустила в ручей бумажный кораблик и пошла за ним, то один камень, то другой задерживал кораблик, но он каждый раз высвобождался и теперь неудержимо плыл к водопаду, а она, маленькая девочка, следила за ним, вне себя от радости, потому что посадила на него всех своих подружек, и сестру, и мать с отцом, и веснушчатого мальчишку-одноклассника, который умер потом от детского паралича,— словом, всех, кого любила сама и кто любил ее, и когда кораблик помчался стрелой, ринулся со скалы вниз, в бездну, она громко закричала от восторга, а кораблик вдруг стал большим кораблем, ручей — порожистой рекой, и сама она была на этом корабле, все быстрее плывшем к водопаду, над которым на двух утесах сидели Полифем и Ахилл, Полифем фотографировал ее камерой, похожей на исполинский глаз, а Ахилл хохотал, раскачиваясь взад-вперед голым торсом.

23

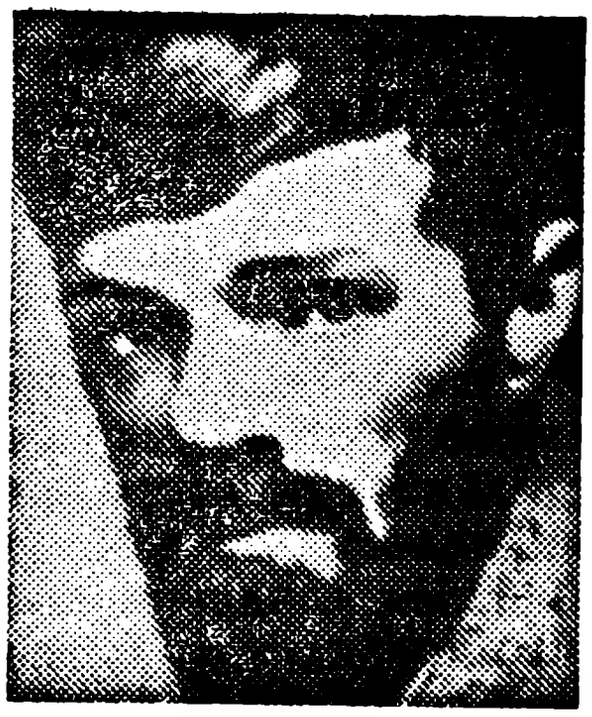
В путь они отправились сразу после мощнейшего взрыва, ей даже почудилось, будто станция рушится, ничто уже толком не работало, вездеход пришлось поднимать из гаража ручной лебедкой; выбравшись в конце концов на поверхность, Полифем наручником приковал ее к стояку нар, где она лежала среди нагромождений роликов с пленкой, а потом сел за руль и рванул с места, но ракет больше не было, всю ночь они без происшествий ехали дальше и дальше на юг, над головой мерцали звезды, названия которых она забыла,

кроме одного — Канопуса, Д. говорил, что она увидит эту звезду, но откуда теперь знать, видит она Канопус или нет, и странным образом это мучило ее, ведь ей казалось, что отыщи она Канопус, и он непременно поможет ей, потом звезды побледнели, последней та, что, возможно, была Канопусом, ночь истаивала ледяным серебром, превращаясь в день, Ф. совсем озябла, медленно вставало солнце; Полифем высадил ее из машины, погнал — все в той же рыжей шубе — в великую пустыню, в иссеченный трещинами дикий край, царство песков и камня, мимо уэдов, мимо песчаных барханов и фантастических скальных образований, в ад света и тени, пыли и суши, как раньше гнал Ютту Сёренсен, то почти наезжая на нее, то следуя поодаль, то вообще исчезая из пределов слышимости, то с ревом настигая,— чудище, затеявшее игру со своей жертвой, вездеход, у руля Полифем, рядом Ахилл, еще полуодурманенный, раскачивающийся взад-вперед, декламирующий «Илиаду», стихи, единственное, что не смог уничтожить поразивший его обломок стали; кстати, Полифему незачем было руководить ею, она шла и шла, закутанная в шубу, спешила навстречу солнцу, которое поднималось все выше, потом за спиной раздался смех, вездеход гнался за ней, как полицейский в белом тюрбане гнался за шакалом, а может, она и была этим самым шакалом, она остановилась, вездеход тоже, вся в поту, она разделась — пусть смотрят, ей безразлично,— накинула одну только шубу, пошла дальше, вездеход за ней, она все шла и шла, солнце выжгло небо, когда вездеход не двигался и отставал, она слышала жужжание камеры, это предпринималась попытка создать портрет убитой, только на сей раз убитой будет она сама, и портрет делает не она, с нее делают портрет, и ей подумалось, что же станет с ее портретом, будет ли Полифем показывать его другим жертвам, как показал ей портрет датчанки, а после она уже не думала ни о чем, потому что думать было бессмысленно, в мерцающей дали завиднелись причудливые низкие скалы, неужто мираж, подумала она, ей давно хотелось увидеть мираж, но когда она, уже еле волоча ноги, подошла ближе, скалы оказались кладбищем разбитых танков, они обступали ее словно исполинские черепахи, в слепящую пустоту вонзались мощные, опаленные огнем мачты с прожекторами, освещавшими давнее танковое сражение, но едва она сообразила, куда ее пригнали, тень вездехода плащом накрыла ее, а когда впереди, совсем рядом, возник Ахилл — полуголый, весь в пыли, будто явившийся из гущи дикой схватки, в драных армейских брюках, босые ноги заскорузли от песка, бессмысленные глаза широко открыты,— на нее с размаху обрушилось Настоящее, дотоле неведомая жажда жить вспыхнула в душе, жить вечно, броситься на этого гиганта, на этого слабоумного бога, вгрызться зубами ему в горло, ставши вдруг хищным зверем, лишенным всего человеческого, слившись с тем, кто хотел изнасиловать ее и убить, слившись с чудовищной тупостью мира, но он словно бы отступал перед нею, выписывал круги, а она не понимала, почему он отступает, выписывает круги, падает, опять встает, таращится на стальные трупы — американские, немецкие, французские, русские, чешские, израильские, швейцарские, итальянские,— от которых вдруг потянуло жизнью, люди чуть не толпами полезли из ржавых танков и разбитых бронемашин: операторы выныривали неожиданно, точно фантастические животные, всплывали из кипящего серебра вселенной, шеф секретной службы выкарабкался из помятых останков русского СУ-100, а из башни обгоревшего «Центуриона», точно убегающее молоко, выпучился начальник полиции в своем белом мундире, все наблюдали за Полифемом и друг за другом, съемка велась отовсюду — с танковых башен, с броневой обшивки, с траков, тонмейстеры орудовали своими «удочками», а меж тем Ахилл, раненный вторично, в бессильной ярости начал кидаться на танки, его отшвыривали пинками, он падал навзничь, копошился в песке, вставал на ноги, потом, хрипя, заковылял

к вездеходу, прижимая руки к груди, из-под пальцев текла кровь, тут его настигла третья пуля, он снова упал навзничь, выкрикивая в лицо снимающему Полифему стихи из «Илиады», еще раз кое-как поднялся и рухнул замертво, прошитый автоматной очередью, после чего Полифем, пока все снимали его и друг друга, рванул на вездеходе прочь, виляя между искореженными танками, удирая от тех, кто его преследовал, кому достаточно было только пойти по следу, впрочем, и это не имело смысла, потому что, когда около полуночи они оказались в нескольких километрах от станции наблюдения, пустыня содрогнулась от взрыва, похожего на землетрясение, и в воздухе вспыхнул гигантский огненный шар.

24

Через несколько недель, когда Ф. со своей съемочной группой вернулась домой и телекомпании успели без всякой мотивировки отвергнуть ее фильм, логик Д. за завтраком в итальянском ресторане прочитал ей вслух выдержку из газеты, где сообщалось, что в М. по приказу начальника генерального штаба расстреляны начальник полиции и шеф секретной службы, первый за то, что предал свою страну, второй за то, что хотел свергнуть правительство, теперь, сам возглавив правительство, начальник генерального штаба вылетел на юг страны, в войска, чтобы продолжить пограничную войну, далее, он опроверг слухи о том, что часть пустыни является мишенным полем для чужих ракет, и подтвердил нейтралитет своей страны; это сообщение очень позабавило Д., тем более что на следующей полосе он прочитал заметку, в которой говорилось, что Отто и Тина фон Ламберт осуществили свою давнюю мечту: та, кого уже считали мертвой и схоронили, подарила жизнь здоровенькому мальчугану; складывая газету, Д. сказал Ф.: А тебе, черт побери, здорово повезло.



ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС

Из книги «Последние стихи»

■

Перевод с английского АЛЕКСАНДРА ГРИБАНОВА

Тело бога

Бог — это мощь стремления, еще не нашедшая тела,
это могучая сила, томящаяся воплотиться.

И наконец воплощается в цветке гвоздики — вот бог!
и наконец принимает образ Елены или Нинон,
прекрасной женщины в полноте красоты — вот зримый бог!
и смелый и чистый мужчина — тем более бог.

Нет бога
отдельно от маков или летучей рыбы,
поющих мужчин и женщин, расчесывающих волосы на солнце.

Все, что прекрасно, есть бог,
и бог должен прожить среди нас и уйти, как ушел Иисус.
Только бессилье бесплотно.

Человек из Тира

Человек из Тира под вечер спустился к морю,
размышляя (ведь он был грек) о боге, едином и вечном,
а какая-то женщина, закончив стирку белья
в излучине реки у самого устья,
распластав мокрые ткани белеть на прибрежных камнях
и оставив на гальке свою рубашку,
по бледно-зеленому морю ушла на отмель
и, омывшись там соленой водой,
теперь медленно шла назад спиной к вечернему небу.

О, как прекрасна, как прекрасна она с темными волосами,
скрученными на затылке, погружаясь все глубже и глубже
в воды пролива и вновь поднимаясь из волн все выше и
выше,

ее сильные бедра мягко колеблются, как у шагающей цапли,
плечи мерцают в молчаливом сиянии неба над нею,
груди туманны, в блаженной ложбине меж ними таинственно
кроется мгла,
и, неотчетливый в сумраке, черный клин под ее животом
шлет зов мужчине.

И он в камышах, сжав ладони, полный восторга,
несомненно божественного, воскликнул:
«В мире один бог, но вот на вечерней заре,
божественная и прекрасная, из моря идет Афродита
мне навстречу!»

Герои окрашены алым

Пока не было платоновой лжи об идеях,
люди двигались беззаботно и просто, как рыбы.

Длинноволосые, как Самсон,
они летели, как стрелы, и поражали мишень,
когда звенела тетива лука.

Они знали, что не нужно знать
о своем ничтожестве,
и они не были ничтожны.

И вот, прислушайтесь, они приходят назад!
Слышите негромкий, дробный смех бородатых мужчин
с узкими бедрами воинов и длинными ногами,
танцующих под луной?

Лица их алы, словно кровь дельфина!
Смотрите, прекраснейший весь выкрашен красным!
Он подпрыгивает выше всех,
посмеиваясь в черную бороду.

Они танцуют! Они возвращаются, как уходили, танцуя!
Они окрашены алым, ведь, если что-то
совершается без алого божьего блеска,
делать это не стоит.
О, как они алы!

Середина мира

Это море не состарится и не умрет,
и останется синим, и на заре
будет вечно вздымать холмы своих волн,
по которым черный корабль Диониса скользит на тугих
парусах,
окруженный дельфинами, с обвивающей мачту лозой.

Какое мне дело до дымных спешащих судов,
несущих на бортах знаки различных компаний?
Механически перебежав через минойскую ширь,
они навек исчезают, а она остается.

И сейчас, когда, серебря людские тела,
луна в опьяненье глядит свысока на солнце,
я вижу сходящих с критских кораблей
гибких нагих мужчин с улыбками древних статуй.
Они возвращаются такими же, как и были,
рассаживаются у костров над кромкой прибоя,
и слышится музыка утраченных языков.

И минойские боги, и финикийские боги,
негромко смеясь, ведут свои вечные речи,
и Дионис, молодой чужестранец, стоя,
полный почтения, слушает их разговоры.

Демиург

Говорят, реальность существует лишь в духе,
телесная жизнь — это род смерти,
истинное бытие бестелесно,
а идея формы предшествует явленной форме.

И все это чушь!
Как будто Разум может придумать краба,
дремлющего в глубинах и вдруг протягивающего стальную
клешню!

Даже разум Бога не может предугадать
новое бытие до его рожденья,
неведомую плоть, изготовившуюся к жизни,
пусть даже только краба.

Религия знает больше философии.
Она знает, что Иисуса не существовало,
пока тот не был выношен в матке, не ел суп и хлеб,
не вырос, не стал в становлении своем Иисусом,
с телом, нуждами тела и сиянием духа.

Киты не плачут!

Говорят, море холодно, но море заключает в себе
самую горячую, самую неистовую кровь.

Киты в глубинах, разве не горячи они, стремясь,
полные сил, в ледяной воде высоких широт?
Настоящие киты, кашалоты с крепкими головами, убийцы,
вот они выбрасывают наверх мощное белое дыханье!

Вечно в движении, в бесконечности чувственных веков,
в толщах семи морей
они кружатся с пьяным восторгом в соленых струях,
они дрожат от любви в тропических водах,
они волнуются мощным, тяжелым желанием, как боги.
И громадный самец ложится со своей подругой
в синюю глубокую постель,
подобно скале, прижавшейся к другой скале в приливе жизни,
и вот из ревущего красного океана китовой крови
протягивается могучий побег, трепещущий водоворот, ищущий
покоя
в мягком и крепком зажиме ее бездонного тела.

И по мосту сильного фаллоса, связующего мир китов,
огненные архангелы проходят взад и вперед,
великие архангелы блаженства,
от него к ней, от нее к нему,
сошедшие со своих небес над волнами моря,
чтобы послужить китам.

И огромные матери дремлют, облизывая своих сосунков,
но и в дреме их не похожие на наши глаза смотрят сквозь
древнюю воду.

И самцы собирают жен и детей в круг,
если угрожает опасность, и строятся в кольцо,
подобные гневным серафимам перед лицом беды,
защищая этих чудовищ, которых любят.
Все это происходит в море, в соленой воде,
где Бог — тоже любовь, только слова не звучат,
и Афродита воплощается в самке кита
в ее высочайшем счастье.

И своя Венера среди дельфинов,
она весела, она играет с любовью и морем,
и своя у тунцов — округлая и счастливая в мужской толпе,
переполненная ликующей кровью, радужное блаженство моря.

Баварские генцианы

Вот они передо мною в печальном тепле сентября,
эти цветы, которые есть не у каждого в доме,
баварские генцианы, так высóки и сумрачны, словно
факелы ночи, темнящие блещущий день лучами Плутонова
мрака,
ребристые прямые огни, горящие мглистой синью,
заостренные тяжким дыханьем белого света.

Факелы, курящиеся синей тьмой, темно-синие лампады
Плутона,
сине-черные сгустки пламени из подземных глубин,
льющие синюю мглу на тускло-желтое царство Деметры,
для кого вы здесь в этом выбеленном дневном бытии?

Дайте мне этот стебель с тремя цветками, этот факел,
и я пойду с ним, с трехраздельным синим огнем
ступень за ступенью в беспросветную синюю бездну,
куда Персефона сходит как раз сейчас в сентябре,
в край, где видеть нельзя, где с тьмою венчается тьма,
и Персефона сама — почти один только голос,
невидимая мгла в еще большей мгле
объятий Плутона, невеста, похищенная еще раз,
она вновь просверлена его страстью, погружена в ночь
среди великолепия черно-синих лампад,
заливающих торжество непроницаемой тьмой.

Дайте мне цветок на высоком стебле, три синих огня,
потому что я брачный гость, я зван туда,
где жизнь творится во мраке.

Примирение

Одно важно — быть в согласии с Богом,
знать свое место в доме у Бога Жизни.

Как спит на скамейке кошка,
в спокойствии, в мире,
в полном единстве с хозяином и хозяйкой,
так вот и затихнуть в жилище жизни,
дремать у очага и позевывать перед огнем.

Дремать у очага мира живого,
позевывая, греться от огня жизни,
чувствовать присутствие живого Бога
в полной уверенности,
в глубоком спокойствии сердца —
присутствие хозяина, сидящего за столом
в мощи собственного высшего бытия
в жилище жизни.

Только человек

Только человек может отпасть от Бога.
Только человек.

Никакой зверь, никакая ползучая тварь:
ни кобра, ни гиена, ни мерзкий белый муравей
не могут вполне ускользнуть из божьей ладони
в пропасть познанья себя
отдельно от Бога.

Познание себя отдельно от Бога —
это бездна, куда душа скользит и скользит,
дергаясь, крутясь, извиваясь
в бесконечном прыжке,
широко раскрыв глаза, сама по себе, в паденье
в неизмеримый провал, увязая
все глубже и глубже в мельчайших деталях самосознанья,
исчерпываясь, но никогда не упираясь в дно, которого нет,
зигзагами, треща, как отработанная ракета,
в чьем корпусе сдавленное пламя шипит и, замученное,
погибает.
Как ни стремись в глубину,
глубина где-то там, еще ниже,
и все длится и длится судорога полета
в ужасе пониманья, что до смерти не оборвать
это познанье себя, отдельно от Бога, в паденье.

В больших городах

В больших городах
в сущности уже нет погоды.
Погода в городе — это испаренья бензина,
отработанные газы и выгоревшие масла.

Как миазмы над гнилым болотом,
плотной пеленой истеченья автомобилей
нависли над городами.

В Древнем Риме на улицах, наводненных толпой,
не было грохота колесниц,
шум городской создавался движеньем людей —
топотом ног пешеходов
и мягкой поступью слуг с носилками на плечах.

В минойские времена
в городах с львиными воротами
мертвые населяли воздух, томясь
близостью родимой земли,
дымом покинутых очагов.

В Лондоне, Париже, Нью-Йорке,
в распухших столицах нашего мира,
мертвые задыхаются в грязном тумане
и, опускаясь все ниже,
тяжко ступают по сдавленным душам живых.

Анаксагор [1]

Когда Анаксагор утверждает, что снег черен,
ученые воспринимают это всерьез,
потому что так выражает себя закон,
по которому все смешано в мире, и чистейшая белизна
должна содержать необходимый элемент черноты.

Они называют это реальностью и познаньем вещей,
а я говорю, что тут просто тщеславье ума
и чепуха, потому что снег бел для нас,
если он чист, несомненно, единственно бел,
в нем белизна расцветает среди белизны,
вызывая восторг души и чувства
обучая переживанию блаженства.

Жизнь дана нам для восторга и для блаженства,
и для страха и тьмы, и вечного нависанья конца,
но вновь и вновь восходит заря восторга,
занимаясь от белого снега или недвижной луны.

А в солнечный день в тени снег совсем голубой,
с морозным оттенком первых весенних цветов,
но никогда, никогда в нем не сыщешь хотя бы намек
на анаксагорову черноту.

Когда Сатана пал

Когда Сатана пал, он это сделал затем,
что Всемогущий Бог поднялся уж слишком высокó,
чуть выше, чем должно.

---

[1] Анаксагор (ок. 500—428 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, утверждавший что «во всем есть часть всего». *(Прим. перев.)*

И Сатана пал для равновесья:
«Достаточно ли ты высок, о мой Бог?
достаточно ли чист и высок там наверху?
Что ж, я упаду, я взращу на дорогах в ад
виноградную лозу, и маки, и фиговые деревья,
чтобы погибшие души смогли поесть виноград
или сочные фиги
и вплести алые цветы в свои волосы по пути в ад,
в темную гибель».

Ведь ад и небеса — две чаши на весах жизни,
колеблющиеся друг против друга.

Не смерть страшна,
страшна механичность жизни

Только человеческое существо, отрешенное от ласк и борьбы,
способно к бесконечному бегу на месте.
Прикрепившись к оси собственного «я»,
двигаясь, но не сдвигаясь, закрепленное, но в движении,
оно живет в разновидности страшного серого ада,
неизменно по кругу, по кругу,
в сером аду, которого Данте не видел,
но частицу которого носил в себе.

Познай себя, познай, что ты смертен,
и, познавая, отрицай свою смертность,
ты — тварь для ласк и борьбы,
сверкающая молния,
колонна зовущей крови,
роза, ощетинившаяся шипами,
смешение «да» и «нет»,
радуга меж ненавистью и любовью,
ветер, дующий на север и юг,
существо, полное покоя, как река на равнине,
и безумствующее, как водопад —
познай себя в отрицании всех этих качеств —

и ты закрутишься на оси непристойного «я»,
серая пустота, бегущая на месте,
машина, которая сама по себе ничто,
центр зла в мире.

Корабль смерти

1

Теперь осень — время падения плодов
и долгого путешествия в забвенье.

Яблоки падают, как большие капли росы,
и ранят себя, чтобы сквозь рану уйти из себя.

Время уходить, время говорить «прощай»
своему «я», время искать спасенья
из разбитого «я».

2

Готов ли твой корабль смерти? Ждет ли он?
Строй свой корабль смерти, не медли.

Скоро с морозами яблоки гулкой лавиной
обрушатся на затвердевшую землю.

Смерть близка, она всюду, как запах тленья.
Разве можно не заметить ее?

В израненном теле испуганная душа
сжимается, поеживаясь от холода,
и выбирается через раны наружу.

3

Может ли человек добиться успокоенья
простым кинжалом?

Мечами, кинжалами, пулями можно пробить
отверстия в теле, сквозь которые вытечет жизнь,
но будет ли это покой? О, будет ли в этом покой?

Нет! Разве может душа обрести примиренье
через убийство себя?

4

Есть же покой настоящий, который нам в жизни
бывал иногда доступен: глубокий и нежный покой
сильного сердца в мире.

Как же теперь достигнуть такого покоя?

5

Строй свой корабль смерти. Тебе предстоит
томительное путешествие в забвенье.

Ты пройдешь сквозь смерть, долгую и мучительную смерть,
лежащую между старым и новым «я».

Уже твое тело лежит, разбитое и негодное,
уже душа выступает из ссадин
разбитого тела.

Уже темный и бесконечный океан конца
сочится через открытые раны,
уже подступает прилив.

Так строй же твой корабль смерти, твой крошечный ковчег,
наполняй его пищей, хлебами и вином,
для темного ускользания в забвенье.

6

Мало-помалу тело умирает, и боязливая душа
пробует ногами прибывающую воду.

Мы умираем, умираем, все умираем,
не остановить вздымающегося в нас прилива,
он скоро зальет весь мир, лежащий вне нас.

Мы умираем, умираем, тело медленно умирает,
и сила покидает его,
и душа, голая, сидит, сжавшись под дождем над волна́ми,
вцепившись в последние ветки дерева жизни.

7

Мы умираем, умираем, и нам остается
только желать умереть и построить корабль
смерти для долгого путешествия души.

Маленький корабль с веслами и запасом еды,
со всеми припасами и снастями,
нужными отбывающей душе.

Спускай свой корабль, ведь тело уже умирает,
и жизнь отплывает, хрупкая душа
в хрупком кораблике отваги, ковчеге веры,
полном запасами посуды и пищи,
и необходимой одежды,
в пустыню волн,
в темные воды конца,
в море смерти, где мы плывем
наудачу, не смея рулить, ведь гавани нет в этих водах.

Гавани нет, нет цели, куда бы спешить,
только глубокая тьма, особенно темная там,
где море безбурно и неподвижно.
Тьма наплывает на тьму. Вверху и внизу,
и во все стороны тьма, и нет путей в этой тьме.
Там среди мрака корабль — его уже нет.
Он больше не виден, и некому видеть его.
Нет его больше, и все же он есть
где-то.
Нигде!

8

Нет ничего, тела совсем уже нет,
оно где-то внизу под водой.
Тьма высоты смыкается с тьмой глубины,
и между ними корабль,
которого больше нет.

Это и есть конец, это забвенье.

9

Но смотрите, из вечности нить
протягивается через мглу,
горизонтальная нить,
бледная полоска поверх темноты.

Это иллюзия или все-таки бледное мерцанье
поднимается выше?
Смотрите, смотрите, но ведь это заря,
жестокая заря возвращения в жизнь
из плена забвенья.

Смотрите, смотрите, маленький корабль
скользит под бледно-пепельной полосой
встающей зари.

Смотрите, смотрите! струя желтизны
и чудо, о бедная продрогшая душа, розовый луч!

Розовый луч, и все начнется сначала.

10

Море отступает, и тело, как обточенная раковина,
появляется, милое и чужое.
И кораблик мчится домой, колеблясь и кренясь
на розовых водах,
и хрупкая душа вбегает в свой старый дом,
и сердце наполняется миром.

Наконец-то обновленное сердце в мире,
уже и забвенье не страшно.

Строй же свой корабль смерти. Готовь его,
скоро он будет необходим.
Долгий путь в забвение ожидает тебя.

От переводчика

Лето 1929 года. Лоуренс ездит из страны в страну по европейскому Средиземноморью, он тяжело болен: туберкулез. Полиция разгромила в Лондоне выставку его картин, свободное распространение «Любовника леди Чаттерлей» (роман этот впервые на русском языке будет напечатан в этом году в журнале) невозможно — конфликт с официальной моралью достиг предела. Для Лоуренса все это — столкновение с современной цивилизацией, и он предъявляет ей одно обвинение за другим. «В форме гнева предпочел он выразить свою печаль»,— скажет Олдос Хаксли. Стихи пишутся непрерывно, постепенно раздражение в них ослабевает, и тогда появляются прекрасные вещи, уже предвещающие цикл, подборку из которого вы прочли.

С конца августа Лоуренс с женой в Баварии на озере Тегернзе. Состояние его настолько опасно, что любой день может стать последним. «Я вспоминаю осенние ночи, когда казалось, что пришел конец,— напишет через несколько лет Фрида Лоуренс.— Я вслушивалась в его дыхание через открытую дверь, и так всю ночь, и сова зловеще ухала на ореховом дереве у дома. На тусклом рассвете огромная охапка генциан, которую я поставила на пол у его постели, казалась единственным живым существом в комнате». Но Лоуренс оправился и смог выдержать переезд на юг Франции в Бандоль. К этому времени уже готовы первые варианты «Баварских генциан» и «Корабля смерти». Остальные стихи, составляющие цикл, созданы в октябре—ноябре в Бандоле.

Лоуренс умер 2 марта 1930 года. Среди его бумаг была найдена содержавшая 67 стихотворений тетрадь, которую Р. Олдингтон и Дж. Ориоли опубликовали в 1932 году под названием «Последние стихи» в одной книжке с другим посмертным сборником «Еще анютины глазки».

Это книга умирающего человека. Накануне смерти Лоуренс создает поэтическую систему мира, сплавляющую воедино все проявления жизни.

Человек, говорит Лоуренс, принадлежит космосу. «Мы и космос — одно. Космос — огромное живое тело, и мы всё еще члены этого тела». Это из эссе «Апокалипсис», за два месяца до смерти. Сегодня людям, как считает Лоуренс, несвойственно целостное сознание. Лоуренсу казалось, что в доантичных цивилизациях (микенской, критской, этрусской) было иначе. «Человек жил с космосом и знал его лучше, чем себя» — это тоже из «Апокалипсиса». Вот откуда в его поэзии силуэты древних людей, вот почему так важны в образной системе «Последних стихов» солнце, луна и планеты.

Телесная жизнь для Лоуренса — основа всего. Жизнь предшествует каким бы то ни было мыслям о жизни. Платоновское учение об идеях, первоначальных по отношению к чувственным формам, представляется Лоуренсу не только неприемлемым, но и опасным, ведущим в сегодняшние тупики человечества. Несколько стихотворений содержат прямую полемику с Платоном, в частности с его образом демиурга — творца, создающего материальный мир сообразно вечному чертежу.

Даже смерть Лоуренс воспринимает как часть жизни, ее необходимый элемент. «Ведь без песни смерти песнь жизни станет глупа и бесцельна»,— сказано в стихотворении «Песнь смерти». И трудно, наверно, найти в мировой литературе другую книгу, так неистово прославляющую жизнь, как эта книга прощания. Теперь, пусть и не весь цикл, «Последние стихи» существуют по-русски. Лоуренс постепенно входит в наш культурный обиход. Как бы ни относиться к его мистицизму плоти, к его призывам и обвинениям, вслушаться во все это необходимо. Не говоря уже о том, что поток жизни, идущий от лоуренсовского слова, может просто помочь жить.

И в заключение краткая справка. Из вошедших в публикацию стихотворений ранее переводились только «Баварские генцианы». При сравнении публикуемого текста с переводом В. Британишского следует иметь в виду, что использовались разные варианты оригинала.

Из бесед в редакции

ОДИССЕЯ РУССКОГО «УЛИССА»

Участвуют: Николай Аркадьевич Анастасьев, Екатерина Юрьевна Гениева, Ясен Николаевич Засурский, Алексей Матвеевич Зверев, Вячеслав Всеволодович Иванов, Николай Александрович Киасашвили, Нил Корнуэл (Великобритания), Эмили Толл (США), Дмитрий Михайлович Урнов, Виктория Атомовна Чаликова, Исраэль Шамир (Израиль).

Н. АНАСТАСЬЕВ. Не имея ни малейших ограничительных поползновений, хочу все же пояснить, чем руководствовалась редакция, устраивая нынешнюю встречу. Повод для нее, согласитесь, может быть, особый.

Почти двадцать пять лет назад составитель сборника представительных критических работ, посвященных творчеству Джойса, писал в предисловии: «Критика Джойса поразительным образом почти лишена оценочного элемента — отчасти потому, что критиков Джойс устрашает, а отчасти потому, что задает им слишком много другой работы,— более легкой в целом, более спокойной,— работы без риска и, кажется, без конца... Никто не хочет повторить в новом варианте зловещую роль критика, который некогда убил Китса. Еще меньше желания выступать против мастодонта Джойса с копьем, которое может обернуться соломинкой»[1].

На мой взгляд, ничего поразительного в этом нет. Кому, в самом деле, придет в голову дискутировать — например, за «круглым столом» наподобие нашего—по поводу достоинств и слабостей «Дон Кихота», или «Гамлета», или «Войны и мира»? Между тем «Улисс» прочно стал в этот литературный ряд, то есть обрел статус классики, пусть хотя бы классики XX века. Вот почему, как мне кажется, соревнование оценок — занятие заведомо бесплодное. С другой стороны, вряд ли уместно было бы посвящать себя одной лишь «работе без риска и без конца», иначе говоря, распутыванию композиционных, стилистических и иных хитросплетений «Улисса». Или во всяком случае устраивать коллективное обсуждение этих вопросов, да еще на страницах журнала, рассчитанного далеко не на одних лишь специалистов или гурманов.

Дело в том, что в связи с этим романом — как вы прекрасно знаете — у нас ситуация, скажем так, специфическая.

После того как в середине 30-х годов наша предшественница — «Интернациональная литература» — начала печатать перевод «Улисса», вокруг книги сразу завязалась оживленная полемика. Постепенно она приняла вполне определенную направленность. Вот что писал тогда Святополк-Мирский: «Джеймс Джойс, как и Пруст,—крупнейший писатель той литературы, которая непосредственно связана с паразитическим загниванием буржуазной культуры Запада». Нынешний слух эта лексика режет, но следует хотя бы признать, что оценки тогда основывались на о п ы т е ч т е н и я р о м а н а. Условие, конечно, элементарное, но оговаривать все-таки приходится, ибо в дальнейшем критика Джойса развивалась как бы помимо самого Джойса. Чтением текста себя не обременяли, просто учреждено было мнение, конституирована позиция: считать роман «Улисс» примером формалистических ухищрений, а также свидетельством декаданса. Применительно к профессиональной критике такая «методология», естественно, заслуживает осуждения, но читателю можно только посочувствовать: будучи лишен возможности непосредственного общения с романом, он стал объектом идеологических манипуляций, «промывания мозгов», как говорится.

Сейчас с публикацией полного текста «Улисса» ситуация изменилась, и какие бы суждения — даже самые крайние — теперь ни высказывались, их можно будет испытать текстовой реальностью.

Должен сказать, что, предпринимая эту, вообще-то говоря, нежурнальную публикацию, особенными иллюзиями в смысле возможного читательского успеха мы себя не тешили. И первые отклики показывают, что предположения были обоснованны. Цитировать не буду — вам эти отклики известны[1], а к тому времени, когда стенограмма нашей встречи будет обнародована, с ними познакомится и широкая аудитория подписчиков.

---

[1] James Joyce Today, Essays in Major. Indiana Univ. Press, 1966, p. 3-4 (Здесь и далее — прим. ред.)

[1] Опубликованы в «ИЛ», 1989, № 10.

Чем объяснить острую, а порой нервно-недоброжелательную реакцию? Отчасти, по-видимому, сказываются результаты того самого «промывания мозгов». Но только отчасти.

Тут как раз встает проблема, которую, по замыслу редакции, стоило бы сегодня обсудить. Сформулировать ее можно так: «Улисс» и культура чтения.

Разумеется, в какой-то степени публика подготовлена к встрече с такой литературой. Позади — впрочем, в относительно недалеком прошлом — переводы Фолкнера, Сартра, Элиота, Беккета, Хорхе Луиса Борхеса, других писателей, которых обычно называют «трудными». Возвращаются и русские мастера, принадлежащие, условно говоря, к тому же направлению: например, Андрей Белый. И тем не менее следует признать, что десятилетиями издательская политика, а также опять-таки критическая методология формировали в читательской среде вполне определенное сознание, вполне определенный подход даже не к какому-то произведению, но к литературе вообще. Нас разными способами приучали к тому, чтобы усматривать в ней более или менее непосредственный отклик на события текущей или, положим, давней истории. Соответственно, выдвигаются требования к форме: она должна быть четко выражена, обозначен сюжет, выписаны лица и характеры, главное же — недвусмысленно определена авторская позиция. А еще лучше, если эта самая форма вообще не будет привлекать к себе внимания, дабы не затруднять чтения, не убивать любопытства: а что будет дальше?

Я вовсе не хочу сказать, что такой вопрос беззаконен. Я лишь сожалею, что слишком долго в нас воспитывали психологический навык восприятия той в основном литературы, которую, в противоположность «трудной», назову «событийной».

Во всяком случае к «Улиссу» с подобного рода внутренней установкой подступаться бессмысленно. Проблема этого романа — в немалой степени проблема языка, проблема той самой формы, которую некоторые наши критики до сих пор третируют как нечто второстепенное, именуют фиоритурами, узором на бутылке и так далее.

«Соревнование и в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем), а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений» — всяких обманчиво-сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт», — так писал в «Других берегах» Владимир Набоков, еще один автор, которого мы теперь с запозданием учимся читать. Мне кажется, тут указан путь и к «Улиссу», во всяком случае первый шаг на этом пути (недаром, кстати, Набоков считал Джойса наряду с Прустом, Кафкой и Андреем Белым крупнейшим писателем XX века).

Итак, «Улисс» как вызов читателю, как школа читательской культуры.

И одновременно — вызов критическому сознанию. Я имею в виду сейчас не комментаторскую работу, она в немалой степени уже проделана, правда, в основном усилиями зарубежных коллег. А у нас ею, едва ли не в одиночку, занята Екатерина Юрьевна Гениева, которой я, пользуясь случаем, приношу сердечную благодарность за участие в журнальной публикации романа. Я имею в виду даже не проблему более или менее адекватной оценки «Улисса». Речь идет об общей проблеме. Что такое литературная классика XX века, какое содержание вкладывается в это понятие? В каких отношениях состоит она с классикой предшествующих художественных эпох, прежде всего с реализмом XIX столетия? Каковы пути превращения авангарда, подразумевающего нарушение литературного канона, литературного вкуса,— в норму?

Представляется несомненным, что «Улисс» дает отличные возможности для постановки подобных вопросов. Во всяком случае, у организаторов этого «круглого стола» была тайная надежда на то, что так или иначе в ходе обсуждения они будут затронуты.

На этом я заканчиваю и прошу продолжить Дмитрия Михайловича Урнова, критика, который первым нарушил долголетнее молчание вокруг «Улисса» или, скажем, печальную традицию априорных высказываний о романе. Еще в середине 60-х годов в «Знамени», если не ошибаюсь, была опубликована его большая статья о Джойсе. Правда, тогда он обращался к несведущей (по обстоятельствам, от нее не зависящим) аудитории, а сегодня, как и все мы, может беседовать с читателем на равных.

Д. УРНОВ. Конечно, не нужно проводить какого бы то ни было оценочного сравнения, но все-таки нужно оценить сделанное журналом. И опять-таки, мне кажется, здесь не может быть ни соревнования, ни спора, а следует сказать только одно: эта публикация носит исторический характер. Говорю без малейшей иронии, а, что называется, прямым текстом. Я бы сказал даже так: свершилось! Наконец-то книга, которую совершенно оправданно называют книгой века, нашего века, характернейшее явление литературы XX столетия, ее бесспорная классика, наконец-то она доступна нашему читателю. Пусть кто угодно говорит, что надо было издавать не таким тиражом, нужно было выпускать сразу отдельным томом, допустим, в издательстве «Наука» или «Художественная литература», — говорить легко. А сделать? Ведь и шестидесяти пяти лет не прошло, а мы наконец-то читаем «Улисса»! Шестидесяти пяти лет — с момента первой публикации 1925 года, когда в ленинградском альманахе «Новинки Запада» в первом номере появились отрывки, причем характернейшие и неплохо по тем временам переведенные, и еще лучше представленные читателям, правда, в анонимном врезе.

Е. Гениева. Кстати, автором первой заметки об «Улиссе» был Евгений Замятин.

Д. Урнов. Тем замечательнее! Ведь мы, надо добавить, оказались в числе первых, не только заметивших появление этой особой книги, но и решившихся на ее хотя бы частичный перевод. «Улисс» тогда был запрещен и в Англии, и в США; во Франции роман был издан полулегальным путем, по подписке; и так на Западе продолжалось до середине 30-х годов, пока, наконец, нью-йоркский судья Джон Вулси не «оправдал» роман. Если редакция думает продолжать печатать мнения критики об «Улиссе», то неплохо бы поместить и этот оправдательный приговор, составленный с умом и — с ответственностью. Нет, роман нельзя обвинять в непристойности (рассуждал Вулси), это произведение, написанное с серьезными намерениями и ради серьезных целей. По-моему, добавлял он, оно рассчитано скорее на критиков-истолкователей, чем на читателей, но уж это дело вкуса. Так рассуждал нью-йоркский судья, разрешая роман к изданию в 1933 году, а у нас с тех пор это превратилось в целую историю, в какой-то казус, который мы не могли распутать до недавнего времени. И вот наконец гордиев узел разрублен, роман полностью опубликован.

Почему же все-таки это не свершилось раньше? Николай Аркадьевич назвал одну из причин, точнее, назвал ту причину, которая обычно упоминалась уже в наше с ним время, в последние десятилетия: формализм и, конечно же, модернизм. Но в 30-х годах ни формализма, ни модернизма у нас в такой степени еще не боялись. И печатали крупных западных модернистов, например, Дос Пассоса, кстати, шедших уже в русле влияния Джойса. Почему же было сделано как бы исключение для Джойса и публикацию «Улисса» прервали на страницах журнала «Интернациональная литература» в 1936 году? Сейчас эта причина подзабылась, и когда я вам ее назову, она может показаться странной, удивительной.

Все дело в том, что в свое время «Улисс» произвел на читателей-современников впечатление книги антисемитской. В центре романа — агент по распространению рекламных объявлений дублинский еврей Леопольд Блум, являющийся по замыслу автора олицетворением современного буржуа, воплощением мировой пошлости. Поскольку Джойс — художник в высшей степени сознательный, флоберист, который ни одного слова, ни одной запятой не ставит просто так, было ясно, что и этот национальный оттенок выбран им неспроста. К Джойсу даже обращались за разъяснениями на сей счет, его прямо спрашивали: уж не антисемит ли он? На что Джойс отвечал, что нет, ни в коем случае, он сам принадлежит к народу-изгнаннику, сам бездомен и ничего, кроме симпатии к людям, лишенным родины, испытывать не может Тем не менее национальная принадлежность — неотъемлемая и важная особенность одного из трех основных персонажей «Улисса». Насколько для смысла романа существенно что его главный герой Стивен Дедал — ирландец, настолько же существенно, что невольный спутник Стивена — еврей. Об этом с большим тактом и с полной определенностью было сказано первым из критиков, писавших у нас об «Улиссе», Дмитрием Петровичем Святополк-Мирским. Он отметил специально этот факт в статье, опубликованной в альманахе «Наши достижения» и внимательно, с карандашом в руках, прочитанной Алексеем Максимовичем Горьким. Прошу вспомнить черты того времени: по Европе уже марширует фашизм, уже раздаются призывы к «окончательному решению еврейского вопроса», и вскоре миллионы Блумов зашагают в газовые камеры. Вот почему, коротко говоря, в свое время публикация «Улисса» у нас прервалась, будучи сочтена несвоевременной. Говорю коротко и по необходимости, ради экономии времени и из-за невыясненности всех обстоятельств в их последовательности, но это факт: видимый или реальный антисемитизм «Улисса» стал помехой для его полного перевода и издания в нашей стране. А затем, когда роман уже перестали читать и множество людей, писавших о нем очень храбро и отважно, судили о нем понаслышке, «Улисс» действительно выступал в качестве некоего формалистического, модернистского пугала.

Что касается модернизма и формализма, то здесь уместно повторить вопрос, заданный Михаилом Александровичем Лифшицем по отношению к художнику, крупнейшему представителю модернизма в живописи Запада — Пикассо: уж если это не модернизм, то что в таком случае вообще связано с этим понятием? Если Джойс не модернист, то вообще зачем это понятие? Оно тогда неприменимо ни к какому мало-мальски заметному, требующему внимания явлению. Тогда от него надо просто отказаться, тогда не о чем говорить, не о чем спорить. Но модернизм у нас стал пугалом, и это сказалось на судьбе «Улисса». И до сих пор, до самого последнего времени, положение ведь не прояснилось. Мы печатаем «Улисса» потому, что нам теперь не страшен модернизм, или же потому, что мы нашли в этом романе реализм и гуманизм? Автор «Улисса» изверился в человеке и в человечестве, и если утрату веры в сколько-нибудь нормальное будущее человечества считать все-таки гуманизмом, а реализм находить в картине, нарисованной на основе принципов, исключающих познаваемость мира, тогда что считать не реализмом? О чем тогда спорить? Так что это два разных вопроса: решиться напечатать «Улисса» (и приветствовать публикацию) и — оценить, определить эту книгу как литературное явление. История уже рассудила, подтвердив, что «Улисс» — крупнейшее литературное явление XX века. Не в нашей власти оценивать эту книгу, но проанализировать — не только в нашей власти, это наш профессиональный долг. И самим разобраться, и читателям разъяснить.

Еще одна из причин, по которой затянулась история с публикацией «Улисса», — это, конечно, отсутствие полного перевода. В свое время работа над переводом прервалась трагически: был репрессирован один из переводчиков, талантливый Игорь Романович а затем вся группа, работавшая над «Улиссом» в 30-е годы, распалась. Уже у нас на глазах безвременно погиб Виктор Хинкис, считавший перевод «Улисса» делом своей жизни. Кое-кому из участвующих в

«круглом столе» выпала честь решать судьбу перевода, который опубликовал журнал. Наряду с двумя другими рецензентами, Георгием Анджапаридзе и Владимиром Муравьевым, я высказался решительно за публикацию этого перевода. Не потому, что он совершенен. Не потому, что он отвечает всем нашим пожеланиям, но потому, что действительно медлить больше нельзя. И Сергей Хоружий, взявший на себя обязанность довершить труд Виктора Хинкиса, заслуживает нашей признательности, при том, что, я думаю, он и не отказался бы выслушать наши профессиональные, подчеркиваю, чисто профессиональные замечания. Так, мне, например, кажется, что именно потому, что переводчик — человек другого времени по сравнению с Джойсом (мы все воспринимаем Джойса в другом контексте, в окружении другой литературы), в этом переводе не заметно то, что так было важно для самого Джойса, а именно — хорошо писать. Некоторые фразы, пассажи и страницы «Улисса» — образец высокого беллетризма, в точном смысле понятия «изящная словесность». Джойс равнялся на всю классику, мечтая о том, что и его будут читать и цитировать образцовыми отрывками. И поэтому, естественно, переводчики, которые работали над «Улиссом» в 30-е годы, стремились к антологизму, к хрестоматийности, к поэтичности. «Мое детство, склонившееся рядом со мной...» — это поэтично по-английски, это было сделано поэтично в 30-е годы и по-русски. В нынешнем переводе: «Мое детство сгорбилось подле меня». Это не та поэтически хрестоматийная строка, на которую рассчитывал Джойс. Вот почему я говорю, что перевод выполнен в стиле нашего времени, в соответствии с другими критериями, когда от писателя не требуется хорошо писать, от писателя требуется замысловато выстраивать прозу, то есть изменился основной критерий по отношению к тому, что мы считаем истинной литературой, истинным писателем.

Хотя, справедливости ради, необходимо отметить: Джойс—фигура переходная, кризисная, он еще стремился традиционно хорошо писать, и он же занимался конструированием прозы, так что перевод если и отвечает, то вот этой второй стороне джойсовской манеры. Это можно было бы подробно обсудить, показать на примерах (что, кстати, я и постарался сделать в своей издательской рецензии).

Итак, учтя привходящие обстоятельства, обратимся теперь к самой книге, влиятельнейшему литературному явлению нашего века. Нет писателя, который бы не испытал воздействия Джойса, если только этот писатель писал после 1922 года, когда вышел «Улисс». Все испытали его воздействие, не только западные, но и наши писатели, начиная с Горького,— «Клим Самгин» обнаруживает влияние «Улисса», не говоря уже о более поздней литературе.

А. Зверев. И Белов?

Д. Урнов. Косвенным путем. Образцово об этом сказал Хемингуэй, а именно, что после Джойса изменилась вся литература, прежде всего стало ясно: писать можно о чем угодно. Вот это расширение поля деятельности писателя — все можно вовлечь в поле действия настоящей, серьезной литературы — сделало «Улисса» вехой.

А мнение читателей? Начиная с судьи Джона Вулси, читатели высказывались критически. И теперь, когда я познакомился с очень интересной редакционной почтой, то, собственно, и не услышал других мнений. Почти все пишут: трудно читать. По-моему, читателю так и надо сказать: да, действительно, это литература, рассчитанная на конгениальное читательское усилие. Как написано, так надо и читать — с трудом. Впервые я услышал об этом от Айви Вальтеровны Литвиновой, которой посчастливилось знать Джойса и именно ему сказать то же самое, что теперь читатели говорят журналу: «Ваши книги трудно читать». И Джойс ей ответил: «Трудно было писать». Конечно, мы не можем себе представить ни одного писателя прошлого, который бы позволил себе так ответить читателю. Была литература трудночитаемая, но она никогда не занимала первого ряда. До Джойса. Ни Диккенс, ни Бальзак, ни Шекспир так своей публике не могли бы ответить. Шекспир мог сокрушаться, что приходится потрафлять вкусам толпы, которая не понимает ничего, кроме пантомимы и шума, он мог оглянуться на знатока, мнение которого тоже надо учитывать, но позволить себе не удовлетворить непосредственного потребителя он не мог. «Писать, чтобы читали»,— говорил Диккенс, и другого условия, конечно же, не было. Представьте себе, что Толстому кто-то сказал, что его трудно читать,— немыслимая ситуация! Толстой об этом даже не думал! Ибо сама теория «заражения» у Толстого — это заставить читателя забыть, что он делает, чтоб за ушами трещало, когда он согнулся над книгой! Никакого специального усилия. Так что Николай Аркадьевич совершенно прав: не массовой публике, а публике самой отборной — ей трудно. Правда, значительная часть современной публики к этому привыкла и считает труд над книгой, совершение особого усилия уже своего рода нормой. И вот тут нужно определить историческое, принципиальное значение «Улисса» как явления, которое вовсю ставит вопросы, назревавшие в новую эпоху, то есть вопросы о судьбе духа, о судьбе красоты и соответственно о судьбе литературы.

Впервые эта проблема была поставлена послегегелевской философской эстетикой. Гегель исходил из классических представлений об искусстве: идеал — красота, цель — гармония, поэтому все, что попадает в поле зрения художника, эстетизируется, превращается в гармонично воспринимаемый объект. Нам приятно смотреть. Нам приятно и, соответственно, легко читать, потому что достигнут гармонический идеал. Идеал красоты. Но вот уже Ф. Т. Фишер, которым много занимался Маркс, ставит вопрос об уродливом, которое вторгается в жизнь (вместе с буржуазным укладом) и заявляет о себе на равных правах с красотой. И возникает то мировоззрение, та позиция, которую на Западе называют (условно и тем не менее достаточно определенно) манихейской. Это признание прав зла и уродства

наряду с правами красоты, добра и гармонии: не в подчинении у добра и красоты, а именно наряду, на равных правах. Из этого вытекает, что искусство новой эпохи уже не должно эстетизировать уродство, то есть писать красиво о некрасивом, весело о скучном (что делал, допустим, Диккенс), а прямо подавать это уродство в раскавыченном виде. Писать скучно о скучном, отстаивая тем самым права этих явлений, которые не случайно существуют в мире. Уродство есть спутник и даже свойство буржуазного сознания. Это принадлежность данной формации. Поэтому, мне кажется, не следует сейчас пожимать плечами и считать каким-то раритетом, экспонатом из кунсткамеры, проникнутые социологизмом высказывания наших предшественников, того же Мирского или Миллер-Будницкой, которые характеризовали роман Джойса как образец тлетворного искусства.

Это действительно тлен. Тлен, права которого признаются наряду с красотой. Джойс хотел сказать, что мир прогнил и эта гнилость чувствуется повсеместно, она сильнее каких бы то ни было других ароматов. Джойс был-таки вселенским пессимистом, каким он и описан в статьях Миллер-Будницкой 30-х годов. Моя позиция отличается от позиции критиков, писавших о Джойсе в 30-х годах, не с точки зрения характеристики и оценки его, а только с точки зрения практических выводов. Мирский говорил, что ни советскому читателю, ни советскому писателю Джойс не нужен. Когда он говорил «не нужен», это не означало «не читайте, не издавайте его», это означало, что его нельзя усвоить в новом мировоззрении: человеку, стоящему на позициях исторического оптимизма, с Джойсом делать нечего. «Улисса» можно и даже нужно прочесть, но это полная противоположность нашей позиции. Из такой принципиальной оценки были, однако, сделаны и крайне вульгарные выводы: не нужен в прямом смысле слова, не нужно читать и нельзя издавать. А сегодня, на новом этапе нашего развития, если мы не хотим повторять ошибок прежних вульгаризаторов, только выворачивая эти ошибки как бы наизнанку (просто разрешая все, что раньше запрещалось), вопрос следует решать именно в принципе: нам нужен «Улисс» как книга, этот роман — неотъемлемая часть каждой представительной библиотеки. Но нужен ли Джойс в составе мировоззрения современного человека — это вопрос не дисциплинарный, а гражданский, то есть индивидуальный. Если в наших взглядах появились черты растерянности, пессимизма, незнания того, что с нами будет завтра, тогда естественно, Джойс нам становится нужен в том смысле, что он становится нам созвучен.

Джойс — крупнейшее явление в литературе XX века, только Элиот может поспорить по значению с ним. Да им и спорить не нужно, потому что тот действовал в области поэзии и литературной критики, а этот — в области повествовательной. Но в каком смысле «крупнейшее»? И что значит «литература XX века»? Я думаю, в будущем, когда все это станет отдаленной историей, понятие «литература XX века» сохранится как нечто особое, что не так-то просто, не само собой становится в традицию мировой литературы. Античность вошла как нечто образцовое, классическое, давшее самые законы творческой гармонии. Возрождение — эпоха, когда человек, и духовность, и индивидуальность, все формы индивидуального творчества, в том числе и литература обрели необычайное значение. А наш век, мне кажется, войдет в историю как такая эпоха, когда литература начала переставать или перестала быть литературой, когда она стала другим видом деятельности. Может быть, художественный талант оказался в принципе бессилен перед современным миром? Во всяком случае, постановка вопроса такова: речь идет не об одном, хотя бы и крупном явлении, это — характерная черта времени, когда литература в традиционном смысле, продолжая существовать на добротном, пусть не первостепенном уровне, не овладевает некоторыми важнейшими проблемами нашего мира (прежде всего релятивизмом в познании); и та деятельность, которая направлена в литературе на решение или хотя бы постановку подобных проблем, коренным образом отличается от художественного творчества.

Почему Джойса трудно читать? Потому что «Улисс» — плохой роман, неудачный, потому что Джойс не сумел создать то, что хотел: живой, самодвижущийся мир под переплетом (как Бальзак или Диккенс). Джойс — типичная фигура XX века, совершающая покушение с негодными средствами на выполнение фундаментальной творческой задачи. Первым из средств является литературный талант, которого как раз не хватало Джойсу. Он хорошо писал — в пределах фразы, пассажа, главы, новеллы,— но он очень плохо писал, он не умел писать, он был бездарностью в пределах романа или повести. «У вас не хватает хаоса в душе,— сказал ему старый ирландский поэт Рассел,— чтобы создать из него свой мир». Иными словами, отсутствует непременное для всякого писателя условие: основное, достаточное, дарование при наличии, безусловно, ума, тонкости, музыкальности слуха, богатства литературного словаря. Это человек, которому любой редактор скажет (как и говорили Джойсу редакторы), что надо еще поработать, чтобы его творение стало литературой.

Но в XX веке ситуация изменилась таким образом, что на публику можно выходить с абсолютно неготовым продуктом и с абсолютным отсутствием способностей. Кто угодно может выйти на публику, и он будет принят при важнейшем условии — организации мнения. И вот Джойс — первый из примеров, когда вокруг человека, не сумевшего выполнить роль писателя, то есть написать книгу, которая заставляла бы себя читать (а не такую книгу, которую надо заставлять читать), мнение было организовано, была организована публика, было организовано единство суждений. Джойс стал своего рода экспонатом для туристов в Париже, где он жил и завершал «Улисса»...

Заканчивая, я хотел бы со всей определенностью вновь подчеркнуть, что Николай Аркадьевич совершенно прав: не нашего ума дело оценивать «Улисса», это сделала история. Наше дело — его анализировать, в том числе ради читателя. Что же касается самого факта публикации, то здесь и двух

мнений быть не может: журнал «Иностранная литература» сделал исторический шаг, внес исторический вклад в нашу библиотеку зарубежной литературы, наконец-то опубликовав эту книгу века.

В. ИВАНОВ. Может быть, все-таки стоит поспорить по поводу проблемы еврейства Блума, поскольку она очень актуальна в наш век... Я бы хотел внести некоторые уточнения — с чем вы, вероятно, согласитесь. Я думаю, что неточно с точки зрения начала века, когда написан «Улисс», считать Блума евреем. Дело в том, что ведь это только после Гитлера евреев стали оценивать по каплям крови, а даже в царской России, даже для черносотенцев существенна была прежде всего религия. Как вы знаете из текста романа, Блум не раз крещен; крещен отец, и крещен сам Блум. Поэтому Джойс обыгрывает (что очень подробно описано в специальных джойсоведческих исследованиях на эту именно тему) проблему параллелизма Блума как еврея-выкреста и себя, Джойса, не просто как ирландца, а как бы отступника от Ирландии, ирландского языка и так далее, себя и Стивена Дедала. Его позиция по отношению к ирландскому наследию в какой-то степени аналогична позиции Блума в отношении еврейства. На этом основана знаменитая глава, построенная на вопросах (не буду приводить цитаты, вы, наверное, помните). Там ведь все время параллелизмы: отношение Блума к еврейству — отношение Стивена Дедала к Ирландии. Так что несомненно, Блум внутренне, композиционно нужен для вот этого соотнесения. Кроме того, все-таки мы должны иметь в виду иронию. Конечно, проблема гонений на еврейство, антисемитизма стала в XX веке настолько мрачной, что мы уже читаем все к этому относящееся помимо иронии. Но Джойса помимо иронии читать нельзя. Напомню хотя бы знаменитое место, где Блум, защищаясь от многочисленных персонажей-антисемитов, возникающих внутри романа, говорит о знаменитых евреях, во всяком случае, там подобраны как бы и неевреи. Блум говорит: и Маркс был евреем, и так далее. Там приводятся примеры неабсолютных или ненастоящих евреев, что смешно с точки зрения начала XX века, и, увы, мы теряем эту иронию. Когда при нас скажут: Маркс — еврей, мы возмутимся, забыв о том, что в начале XX века это было еще смешно. Способность улыбнуться по этому поводу мы потеряли вместе со всей страшной историей еврейства, с погромами и с нацистским геноцидом.

Теперь о проблеме антисемитизма в построении романа: в романе есть — я уже говорил об этом — персонажи-антисемиты. Они нужны Джойсу для правдоподобия. Представьте: вы пишете роман о сегодняшней Москве, вам тогда не обойтись без изображения антисемитов.

А как же без этого дать картину современного города? Без них нельзя, не получится. Джойс был реалистом прежде всего, даже, может быть, натуралистом, и его натурализм выразился в этом: он отстранен от этих своих персонажей, его взгляды другие. Я думаю, что для тонких критиков начала века эта проблема еще не стояла, как она возникает после прочтения глазами нашего поколения, выросшего после второй мировой войны и ею изуродованного,— так мне кажется.

Д. Урнов. В этом, конечно, надо разбираться основательно, опираясь на исторические документы. Но изначально, в 30-е годы, это бросилось в глаза. По той же статье Мирского можно почувствовать, как это поразило: «Почему вдруг Блум?»

Е. Гениева. Какую статью Мирского вы имеете в виду, Дмитрий Михайлович? Двадцать восьмого года или тридцать второго? Потому что может возникнуть путаница. Существует два, как мы знаем, Мирских и две статьи о Джойсе: двадцать восьмого года, где он произнес такие высокие слова об «Улиссе», которые потом бы он с радостью забыл, и статья тридцать второго года, когда, то ли выполняя какое-то сверхзадание, то ли действительно так думая, он произнес слова, прямо противоположные. Вы ссылаетесь на вторую, которая стала основанием для выступления Карла Радека на первом съезде писателей в тридцать четвертом году. Это разные вещи.

В первые годы Джойса приняли «на ура» в Советском Союзе.

Д. Урнов. Ну, конечно!.. Как открытие. Литературное открытие. Политически проблема осложнилась позднее.

Е. Гениева. Первый рецензент — анонимный, мы о нем говорили — Замятин... Это двадцать третий год. В рецензии написано все совсем иначе, чем писалось потом, после тридцать четвертого года. Так что история вопроса совсем другая. В тридцать втором году Джойса можно было прочитать и по-русски; Эйзенштейн, несомненно, читал все, поэтому он в тридцать втором году прочитал лекцию в институте кинематографии (к сожалению, существует она пока только в виде стенограммы), где, отвечая на вопрос «Почему же вы не выступите и не ответите тем, которые Джойса крутят?», он ответил: пусть они там, в Союзе писателей, сами разбираются...

Джойса стали так, как вы говорите, воспринимать после тридцать четвертого года — было все предуказано. В том же выступлении Радека было сказано, что это писатель значительный и кусками мы его будем печатать. И печатали, «Интернациональная литература» печатала. Давайте будем честными: мысль об антисемитизме никому и в голову тогда не приходила.

Д. Урнов. Нет, я решительно не согласен. Проблема эта возникла, и она обсуждалась не только у нас, но и в международных кругах.

Е. Гениева. Его перестали печатать по одной причине: в 1937 году был арестован Романович. И все на этом кончилось. Внутренне вы можете иметь подобную точку зрения, но мы должны опираться на какие-то литературные факты, иначе, повторяю, мы будем продолжать вносить путаницу.

Д. Урнов. Я совершенно согласен: что́ было причиной, что́ следствием — арест ли Романовича или публикация «Улисса» была как-то причастна к аресту Романови-

ча,— в этом надо еще разобраться, но вопрос, подчеркиваю, именно тот вопрос, которого счел нужным коснуться и Вячеслав Всеволодович, а именно об антисемитизме — это факт, это обсуждалось не только у нас, обсуждалось за рубежом, повторяю, к Джойсу специально обращались... Это было проблемой, которую выясняли. Это есть и в основной биографии Джойса, написанной Ричардом Элманом. Он осторожно снял эту проблему. Снятие ее я бы сравнил с нашей нынешней интерпретацией «Обломова». Мы нашли выход: оказывается, Обломов со всеми его особенностями — симпатичнейшая личность. Точно так же Элман говорит о том, почему, собственно говоря, нужно было так настораживаться в связи с Блумом? Что, он неприятный человек? Да он симпатичнейший человек! Но это интерпретационный нажим, потому что (Вячеслав Всеволодович прав) Джойс — натуралист, он очень старательно изображает не негодяя или какую-то отвратительную личность, нет, он дает образцового обывателя. И вот в составе особенностей этого обывателя как черта — национальность?.. Зачем это подчеркивать? Так вопрошали современники.

Е. Гениева. Джойс и ответил на вопрос «зачем».

Д. Урнов. Да. Тут я согласен с Вячеславом Всеволодовичем: надо было внимательнее читать «Улисса», которого внимательно не прочли, и это было делом будущего. Но что Блум как фигура вызвал в свое время отклик настороженный — это факт.

Н. Анастасьев. Один вопрос: не для того, чтобы вступать в полемику — полемик было много,— а для того, чтобы прояснилась позиция. Насколько я понял, сказано было так: правильно писал тот же Мирский — не в связи с антисемитизмом, а в связи с тем, что у Джойса изображен тлен...

Д. Урнов. Упадок.

Н. Анастасьев. Ну, тлен, упадок, хорошо... Как я вас понял, он изображен мастерски. После этого вы сказали: нет, это не литература, Джойс — плохой писатель. Я просто хочу сейчас прояснить позицию.

Д. Урнов. Конечно, Джойс и его «Улисс» — явление декаданса, то есть упадка, но не в каком-то обывательском смысле слова, конечно же. Это упадок в точном смысле слова, то есть отсутствие идеалов, отсутствие перспективы, пессимистическое мировоззрение. Это не хорошо и не плохо. Это взгляд на вещи. Теперь что касается того, как этот упадок изображен. Мне кажется, что в «Улиссе», как говорил уже упомянутый мною Михаил Александрович Лифшиц (и Дёрдь Лукач), изображение болезни становится болезнью изображения. Иными словами, изображаемый упадок становится уже не объектом описания, а состоянием текста. Почему я и сделал отступление еще ко временам Гегеля, когда возникла проблема: как быть с тем, что не поддается творчеству, что не гармонизируется, не эстетизируется? И тогда сложился один из рецептов, ставший в литературе XX века повсеместным, своего рода писательская гомеопатия, то есть лечение подобного подобным, когда мы тлен изображаем тленностью, скуку делаем скучной, одним словом, мы не можем создать из этого объект собственно эстетический, который обязан по законам эстетики вызывать у нас только одно чувство — удовольствие.

Н. Анастасьев. Ну, хорошо, спасибо.

В. Иванов. Может быть, все-таки нужно вернуться к проблеме духовности и мнимого отсутствия высокого начала. Для меня оно, вне всякого сомнения, присутствует в «Улиссе». Я считаю Джойса замечательным поэтом, пытался его переводить... Кстати, это не уникальное отношение к Джойсу, Апдайк, его верный последователь в прозе, тоже считает его замечательным поэтом. Поэзия Джойса входит как составная часть в «Улисса». Он ведь большинство своих стихов написал до «Улисса». В какой-то мере то поэтическое начало, которое отразилось в «Камерной музыке», первой книге его стихов, и в последующей маленькой книжечке, содержится и во всем, что вокруг Стивена Дедала. Мне думается, что и в этом роман композиционно продуман. Там очень точно отмерено, что́ отведено на низменность обывательского мира, а что́ — на эту поэтическую высоту, в разных главах поразному—в зависимости от композиции всего романа. Мне думается, что сведение всего романа только к изображению распада и тлена — в кричащем противоречии к тексту романа. Это мне кажется очень существенным.

Основное в романе — путешествие двух персонажей, и первый персонаж, поэт, несет сам в себе высокое начало, и все страдания его с этим связаны. Если пытаться вычленить из литературы отдельно ее содержание (я не очень большой сторонник этого, но говорю об этом потому, что Дмитрий Михайлович все-таки пытался это делать), то нужно помнить, что писатель, как говорил о себе Лев Толстой, нуждается во всем тексте для того, чтобы сказать о том, что хотел сказать. Если бы Джойс мог кратко сказать, что все в мире распалось, он бы просто написал это, и тогда бы это, наверное, понравилось Дмитрию Михайловичу. Но понадобился длинный текст, который несет в себе противоречия реальности и который нужно понять весь целиком. Нужно стараться в него вчитаться — по-моему, это пока только начинается, судя по тому, что мы слышали.

Теперь я бы хотел продолжить: при публикации в журнале роман правильно отнесен к классике XX века. Об этом уже говорил Николай Аркадьевич — но я хотел бы еще раз напомнить: Набоков в одном из последних интервью назвал четыре романа как основные для XX века: «Улисс», «Петербург» Андрея Белого, «Процесс» Кафки и «В поисках утраченного времени» Пруста. Я хочу остановиться на некоторых параллелях «Улисса» и «Петербурга».

«Петербург» написан несколько раньше, но не намного раньше, окончательная редакция появилась уже во время первой мировой войны. Это — редакция, опубликованная несколько лет назад в «Литературных памятниках», единственная аутен-

тичная, все остальные — результат редакционной работы хотя бы и самого Белого. И все-таки сравнивать «Улисса» имеет смысл с этим полным текстом «Петербурга». Мне кажется, «Улисс» имеет много общего с «Петербургом» в новом изображении пространства — времени (хронотопа, по Бахтину), в частности, по отношению к большому городу. В некотором смысле и у Кафки можно найти сходные черты, но «Улисс» примечателен тем, что там сохранено древнее единство времени. В этом смысле, как и во многих других отношениях, Джойс продолжает античную традицию, и, думаю, когда мы его называем классиком, можем иметь в виду и этот второй смысл слова «классик». Джойс — классик и в том смысле, что он во многом продолжатель античной традиции, вроде того как у нас был Анненский в начале века. Анненский ведь тоже был в понимании Дмитрия Михайловича декадентом, но вместе с тем великим поэтом, который продолжал античные традиции. Это можно совместить одно с другим. Замечательно единство действия, соединение того, что все уложилось в один день, рассчитано здесь по часам, и подробного обозрения большого города. Я уже один раз процитировал Набокова, процитирую второй. Мне очень нравится его лекция об «Улиссе». Там очень хорошо изображена пространственная сторона «Улисса». «Улисс» — именно путешествие, поэтому его нужно воспринять в пространстве. Тема большого города в XX веке стоит по-новому, сам город уже иначе выглядит. Роман Джойса, так же как роман Андрея Белого, по-новому изображает город начала века, это очень показательно.

Н. Анастасьев. Хочу напомнить, что не в полном, конечно, объеме, но фрагмент лекции Набокова о Джойсе мы опубликовали в одной из подборок «Литературный мир об «Улиссе». Правда, без графики. Мы напечатали также рецензию Замятина, высказывания Эйзенштейна, Карла Радека.

В. Иванов. Я еще обращаю ваше внимание на книжку Энтони Бёрджесса, автора «Механического апельсина». Это прекрасная книга. В ней, в частности, есть образцы того, как можно было бы перевести Голсуорси на язык Джойса. То есть он показывает, как можно пользоваться в духе Джойса разными стилями,— это к вопросу о том, что говорил Дмитрий Михайлович. Он называет это неумением писать, на самом деле это умение переделать, умение пересказать все в совершенно другом ключе, и у Бёрджесса показано, как виртуозно Джойс пользуется разными способами говорить о том, что хочет передать.

Теперь еще одно относительно Андрея Белого, и затем я перейду к тому, о чем отчасти уже здесь говорили,— о раннем восприятии Джойса в России. В некрологе Андрею Белому, который подписан Пастернаком Пильняком и Санниковым и напечатан в «Известиях» (отрывок воспроизведен в «Иностранной литературе» в № 11, а полностью — в сборнике материалов об Андрее Белом) было написано, что Белый делал в русской литературе то, что Джойс делал в англоязычной литературе. Я от Пастернака это слышал несколько раз в разговорах, это было постоянное его убеждение.

Параллелей между Белым и Джойсом очень много, и, в частности, есть параллели, начиная с «Симфоний» Белого,— в соединении высокого поэтического начала и низменной поэзии. Это разведение полюсов жизни вообще более характерно для русского символизма, чем даже для французского и его продолжения в английской литературе. Есть специальные исследования о параллелях между Белым и Джойсом. Этим занимается, в частности, Лена Силард в Венгрии. Это тема, к которой много раз будут еще возвращаться. Поэтому восприятие Джойса всем предшествующим русским литературным развитием было уже подготовлено. В нем были заинтересованы многие писатели, в частности, я знаю — слышал от Михаила Михайловича Зощенко,— что он помогал в том переводе (Стенича), который, к сожалению, почти погиб при аресте переводчика. Он искал отдельные «словечки» для Стенича. Его интересовала близкая его стилю задача использования обывательских слов, которые вошли в ткань соответствующих глав. К сожалению, об этом можно только догадываться. Во всяком случае, круг писателей, которые тогда интересовались Джойсом, был достаточно широк...

А теперь я бы хотел продолжить то, о чем вы уже начали говорить, об Эйзенштейне. Сохранилось много рукописей Эйзенштейна, посвященных Джойсу, часть напечатана в соответствующей главке моей книжки «Очерки по истории семиотики в СССР». Увы, книгу об Эйзенштейне мне запретили тогда в издательстве «Искусство», и я только какие-то куски из рукописей Эйзенштейна напечатал в этой книге. Это отрывки большой главы о внутренней речи в «Улиссе», которая мыслилась Эйзенштейном как часть его большой книги «Grundproblem». Книга до сих пор не напечатана. Недавно был юбилей Эйзенштейна, и снова я спорил на юбилейной конференции с его душеприказчиками (или наследниками), теми, кто продолжает дело его издания. Они все боятся издать книгу быстро. Даже по теперешним временам многое, что писал Эйзенштейн, выглядит необычно. И, в частности, его понимание Джойса. Джойс был для Эйзенштейна основным образцом вообще в искусстве. На эту тему он мог беседовать однажды со Сталиным, когда предложил сделать фильм «Капитал». Он хотел сделать фильм на тему «Капитала» Маркса, но в форме Джойса. Сталин сказал, что это не наша задача. Так что, вероятно, и Сталин мог слышать о Джойсе именно от Эйзенштейна. Эйзенштейн многое о нем напечатал в разных местах. Одну цитату я вам приведу. Это из статьи «Гордость», она в сороковом году была напечатана. Видите, в сороковом году ему удавалось что-то напечатать:

«Ко всему арсеналу приемов литературного воздействия здесь присоединяется еще композиционный строй который я бы назвал сверхлирическим, ибо если лирика воссоздает наравне с образами и самый интимный ход внутренней логики чувств, то

Джойс уже дает ее сколком с физиологии образования эмоций, сколком с эмбриологии образования мыслей». Для Эйзенштейна основное в Джойсе было то, что Джойс показывает внутренний психологический ход того, что лежит в основе мысли, иначе говоря, внутренняя речь. Этой стороной Джойса Эйзенштейн заинтересовал двух ученых, которые в 1934 году с ним вместе занимались архаическими формами языка и мышления. Это были Лев Семенович Выготский (вскоре умерший) и Александр Романович Лурия. Оба они стали интересоваться вопросами внутренней речи — и в немалой степени благодаря взаимодействию их с Эйзенштейном. Таким образом, косвенно Джойс оказал влияние и на нашу психологию. Даже удивительно: это случилось раньше, чем он был воспринят нашей официальной литературой. В частности, в работах Лурии, в его архиве есть несколько ссылок на Джойса, которые подтверждают то, что я сейчас говорил.

И другое, о чем мне хотелось бы сказать,— через Эйзенштейна этими проблемами явно заинтересовывается и Шкловский, тоже к концу 30-х годов. У Шкловского в «Дневнике», напечатанном в тридцать девятом году, есть разбор замечательной ранней вещи Толстого «История вчерашнего дня»; Шкловский, видимо, первый обратил внимание на то, что эта толстовская вещь очень близка главе «Улисса», где Мэрион Блум вспоминает предшествующий день. «История вчерашнего дня» напечатана в академическом издании как приложение к тому, где «Детство. Отрочество. Юность». Толстой сам не придавал значения этой вещи, это, видимо, след его ранних стерновских экспериментов. Ранний Толстой, испытавший влияние Стерна, был гораздо ближе к эксперименту и к авангарду в нашем понимании. Герой засыпает и, перед тем как заснуть, вспоминает обрывки дня и своих мыслей, которые проносятся перед ним. Более общеизвестно, что у Толстого есть внутренний монолог в «Севастопольских рассказах», вообще ранний Толстой очень близок к этому пути в литературе. Потом он от него отказался — это уже другой вопрос, к чему он пришел. Во всяком случае, нельзя думать, что русская литература прошла мимо этих возможностей. Они в ней были. Другое дело — почему она пошла по иному пути. Кстати, в «Кроткой» Достоевского — на это тоже обратил внимание Эйзенштейн — можно очень много найти даже формально похожего на передачу внутренней речи у Джойса.

Таким образом, тридцатые и сороковые годы — публикации 1939 и 1940 годов — еще характеризовались серьезным отношением к Джойсу, и окончательный перерыв, как и во многом другом, падает скорее на сороковые — начало пятидесятых годов (особенно после сорок девятого).

Последнее, что мне хотелось бы сказать,— в отношении перевода. Я не очень солидарен с тем, что сказал Дмитрий Михайлович. Мне казалось, что в переводе Хинкиса было много замечательных мест, насколько я могу их понять,—сейчас трудно уже говорить, что кому из переводчиков принадлежит, но просто по воспоминаниям... Я в свое время был одним из тех, кто пытались перевод Хинкиса напечатать еще кусками, до того, как он закончил его, мы боялись, что он не сможет это довести до конца... Я думаю, что перевод был удачным, он несколько в другом роде, чем тот, который мы сейчас имеем, но что делать, нам приходится иметь дело с окончательным результатом. Думаю, что в этом пункте я с Дмитрием Михайловичем не соглашусь, если говорить о соотношении двух переводчиков.

И. ШАМИР. 16 июня — день, в течение которого происходит действие «Улисса», один день Леопольда Рудольфовича Блума. Это Блумов день, а еще лучше — Блудень, когда сотни поклонников Джойса собираются в Дублине, завтракают жареными свиными почками и пьют ирландское (а не шотландское) виски «Джей Джейсон». Но еще несколько лет назад в большинстве книжных магазинов Дублина спрашивающему «Улисса» коротко отвечали: «Не держим».

Спорность, оспоримость остались уделом книги и по сей день, судя по письмам читателей в «ИЛ». Дело не в том, что сейчас народ дорвался до Оруэлла и ему не до Джойса: в Дублине этот довод точно не работает. Я связываю это не с формой, но с «содержанием» романа. Если формальный аспект романа — поток сознания — привился в мировой литературе и дошел до советского читателя полупародией в «Юности» шестидесятых годов, то с его содержанием дело обстоит более сложно, и от него чаще всего отмахиваются, ссылаясь на «формализм Джойса».

Собеседники за сегодняшним «круглым столом» сочли разговор о содержании, об «идее» Джойса неадекватным. Я не согласен: по-моему, именно содержание, «идея» романа сделали его столь неприемлемым для дублинцев и для многих читателей «Иностранной литературы». Неоренессансная идея «Улисса» — идея абсолютного превосходства, важности человека по сравнению с обществом. Человек — все, общество — пустой звук, такова, на одной ноге, возмутительная для массового сознания, идея «Улисса».

В известной беседе с Франком Бадженом Джойс назвал Одиссея, прототипа своего героя, человеком обыкновенным — everyman нравоучительной литературы, героем всесторонним и совершенным. Всечеловечность Блума — пародийного свойства: он и еврей, и нееврей (трижды крещенный сын ирландки Хиггинс), не то баба, не то мужик (по словам нарратора «Циклопа»), не торговец и не литератор (рекламный агент), не совсем муж (не живет с женой уже десять лет), не совсем любовник (единственный его оргазм в Блудень произведен собственной рукой), не совсем отец (сын умер, Стивен не спешит усыновиться). То есть гомеровская параллель тут пародийна, как поцелуй в Моллин зад пародирует Одиссея, целующего камни Итаки.

Но несмотря на это, именно Блум — герой романа, а не Стивен, как совершенно неверно считал Набоков. Набоковская лекция о Джойсе, по-моему, неопровержимое доказательство полной ортогональности, а

то и непересекаемости этих двух мастеров: Набоков, знакомый с техническим устройством романа, его практически не понимал. Ему, как и многим другим читателям и литературоведам, был ближе Стивен — поэт и эрудит, нежели малообразованный Блум. Интеллигенту нужно пересилить чувство классовой солидарности, чтобы предпочесть Блума Стивену.

Мне, переводчику «Улисса», еврею и эмигранту, «Улисс» особенно близок: ведь это роман эмигранта о еврее. Его герой — самый знаменитый еврей в мировой литературе после Иисуса, с которым он неоднократно сравнивался, в том числе и в романе. А сам Джойс писал о Дублине во Франции, Италии, Швейцарии, где он кочевал, бедствовал, ругался с квартирными хозяйками («Только при разговоре о квартирах он выходил из спячки»,— вспоминает мемуарист о встрече с ним в 1938 году) и консульскими работниками, преподавал английский — короче, тянул знакомую эмигрантскую лямку.

Но в отличие от эмигрантов — наших современников и компатриотов, Джойс не тешил себя мыслью, что вернется: когда Ирландия станет свободной/коммунистической /католической/православной/гэльскоязычной/первобытнообщинной — нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть. Джойс уехал при англичанах и не вернулся после провозглашения независимости. Впоследствии он объяснял этот свой шаг — или всю свою жизнь — по-разному. Например, он говорил о различии между беженцами, ищущими кусок хлеба, и эмигрантами, взыскующими истины, то есть о том, что Бродский неделикатно объединил в «ради истин, а также ради богатства римлян»

Но вспомним концовку разговора Стивена и Блума об Ирландии. Отчаявшись, Стивен говорит: «Этой страны нам не переменить, давайте переменим тему». Жизнь Джойса порукой тому, что Стивен — по молодости лет — ошибался: легче переменить страну, чем тему, Джойс писал об Ирландии, о Дублине.

Почему этот роман так злит ирландцев? Обвинения в непристойности нам трудно даже понять, хотя в «Индексе слов «Улисса» среди 60 000 слов на 800 страницах книги «е...аный» встречается только 7 раз, то есть куда меньше, чем в реальности дублинских пабов, роман был запрещен и даже в Москве появился раньше, чем в Дублине. «Улисс» — это удар ниже пояса по национальным и религиозным чувствам земляков Джойса. Так Веничка Ерофеев оскорбил лучшие чувства своих земляков: интересно вспомнить, что «Москву — Петушки», прежде чем ее напечатал иерусалимский библиофил Володя Фроммер в первом и эфемерном журнале «третьей волны» «Ами», отвергли «УМСА-пресс» и «Грани», как «клевету на русский народ».

Джойс писал свой роман между Пасхальным восстанием 1916-го и независимостью Эйре в 1921-м, но его герои — не романтические защитники Кэтлин-ни-Хулихэн [1], а крещеный еврей и будущий эмигрант. Но чтобы понять «антипатриотизм» Джойса, нужно перечесть хотя бы насмешку над идущим на смерть патриотом в «Циклопе» или концовку «Сирен», где Блум испускает газы при чтении эпитафии павшему герою.

Этот антиобщественный заряд романа связан и с выбором героя. Вячеслав Иванов, по-моему, заблуждается, провозглашая Блума неевреем «по меркам начала века» — до расистского грехопадения человечества. И не только потому, что Отто Вейнингер и Чемберлен уже принадлежали истории, когда писался «Улисс». Иванов принимает за чистую монету «на самом деле я — не» Блума. Наоборот, как муж-чудак из анекдота, который и на конкурсе чудаков занял бы второе место, потому что он такой чудак, Блум — такой еврей, что его даже Вячеслав Всеволодович за еврея не считает. Это, если хотите, высшая степень еврейства.

Почему же Джойс сделал своего героя евреем? Сам Джойс отвечал: потому что он был евреем. Под этим он имел в виду не таинственную правду искусства («а вы видели, как течет река?»), но двух прототипов Блума: дублинского «может быть еврея», который однажды подобрал пьяного и побитого Джойса, как Блум Стивена, и австрийского еврея-торговца, которому Джойс, бедный ирландский эмигрант, преподавал английский в Триесте — он стал известен впоследствии под псевдонимом Итало Звево как автор «Самопознания Дзено».

Стюарт Гилберт объяснял это эллино-финикийской концепцией. (У Стюарта Гилберта особое положение среди джойсоведов, он получил, как Моисей на горе Синай, не только святой текст, но и толкование к нему, он занимался французским переводом «Улисса» — Септуагинтой джойсистов — и вообще внес порядок в хаос.) Эту концепцию Джойс нашел в книге — а точнее, в четырех аккуратных томах по-французски, напоминающих своей аппетитной пухлостью и графикой иллюстраций романы Жюля Верна, скажем, «80 тысяч километров под водой» и «Дети капитана Гранта» с их старомодными картами и французским ученым шармом Паганеля,— в «Финикийцах и Одиссее» Виктора Берара, видевшего в «Одиссее» Гомера греческое переложение точных финикийских лоций, и в ее герое — финикийского мореплавателя. Герой — странник-семит, поэт-эллин, а в пересчете на наши дни, герой-еврей, а поэт-ирландец, «новый грек» (что подчеркивается уже в первых строках романа).

Выбирая героя-еврея, Джойс оправдывает свою эмиграцию, ведь евреи живут где угодно, не обязательно умирая за Ирландию или Россию. И действительно, в отличие от евреев-патриотов генерала Драгунского или синеглазых и русоволосых сионистских Трумпельдоров, Блум не тщится умереть за родину. В черновом варианте «Циклопа» Д. Д. говорит: «Но ведь и еврей может быть предан своей стране?» — и Стивен остроумно отвечает: «Конечно, если он только знает, какая из них его страна». В окончательном тексте Стивена в этой сцене нет, но его реплика сохранена и подарена другому симпатичному герою.

Ответ Набокова на этот вопрос основан на признании Стивена, а не Блума — геро-

[1] Речь идет о героине пьесы У. Б. Йейтса «Графиня Кэтлин», символе Ирландии.

ем. Набокову вообще непонятно, зачем Блум, на худой конец — еврей-изгой Блум суть символ изгойства поэта Стивена. Так роман превращается в затянувшийся пересказ цветаевской фразы о поэтах-жидах.

Ведь Стивен, герой «Портрета художника», молодой Джойс, описан в романе Джойсом постарше, ровесником Блума. Стивен сознательно бунтует против национализма, требующего от него и его сверстников борьбы с Англией, а значит — жизни и свободы. «Моя страна хочет, чтобы я умер за нее. Пусть лучше моя страна умрет за меня»,— говорит Стивен, и этот лозунг равно чужд, равно ужасает читателя «Огонька» и «Нашего современника». Дальше — больше. Для Стивена Ирландия — «старая хавронья, пожирающая свой выводок». Вместе с Маллиганом он сочиняет кощунственный эпитет «сопливо-зеленое море», ведь зеленый — это цвет Ирландии (на русский этот эпитет можно перевести «менструально-красным»).

А рядом с ним Блум — не общественное лицо, не политическое животное, он больше думает о душистых дынях женина зада и о цене мыла, чем о судьбах Ирландии. Он не одержимый, далек от радикализма, готов пробормотать несколько фраз о благе Ирландии, он не антинационалист, как Стивен, просто человек. Интересно, что сионистские лозунги, что, мол, евреи должны ответить насилием на насилие, встретить силу силой, принадлежат «циклопам», ирландской «Памяти», потому что Блум — еврей человечный, а не гордый по Жаботинскому, не трудовой по-кибуцному, не преданный по Кагановичу, не религиозный по-хасидски, не революционный по Троцкому, не культурный по Ахад-га-аму.

Главное в Блуме — что личное для него важнее общественного, а такой человек был бы осужден в любом месте гневной общественностью, этим бичом XX века. К такому радикальному лозунгу не были готовы и читатели «ИЛ».

Идея антисемитизма Джойса могла появиться только у параноика, которых среди евреев хватает, или у человека, считающего слово «еврей» ругательством. Джойс был, напротив, филосемитом (в отличие от рядом помянутого Элиота, замечательного поэта, любившего евреев еще меньше, чем Достоевский), что видно и в воспоминании Стивена о евреях на ступенях парижской биржи: златокожие, скрывающие за сиюминутной суетой слишком близкое знакомство с вечностью,— мирный народ, торговцы. Такое отношение к евреям не случайно у эмигрантов, потому что в эмиграции и возле нее много евреев, местных и заморских, а может, общение с евреями на родине предвещает эмиграцию, как еврейский псевдоним Абрама Терца довел его обладателя до Парижа.

Я не могу согласиться с оценкой Дмитрия Михайловича Урнова пессимизма Джойса. А «хэппи энд» — заключительное согласие Молли, последние слова романа? Нет, бытие, по Джойсу, не страшно, оно даже сакрально или сакрализуется, от огненной жертвы свиных почек до holocaust'a (есть что-то пророческое в выборе этого слова в 1921 году для описания столкновения с циклопами) в пабе Кирнана. Есть тотальный уют в Молли и Польди, засыпающих рядом, Стивен уходит, утешенный. И вообще — эта проза светла.

Относительно перевода, или, точнее, переводов. Можно не завидовать двадцати сортам сыра в американском супермаркете (все равно там они все пастеризованные), но вполне допустимо позавидовать тридцати переводам «Одиссеи» на английский (28-й по счету — перевод Лоуренса Аравийского, самый замечательный из них, по моему мнению, и сделанный примерно в то же время, что и «Улисс», был частично опубликован по-русски в моем переложении в Нью-Йорке в прошлом году). Есть некая тоталитарность духа в единообразии классических переводов: одно солнце на небе, один великий князь в Киеве, один перевод «Одиссеи» — и тот Жуковского. А ведь современное восприятие «Одиссеи» необходимо для понимания «Улисса». Если бы Джойс знал Гомера только по переводам Гнедича и Жуковского, «Улисс» никогда бы не был написан. Так я воспринимаю спор о переводах, начатый за этим столом. Очень хорошо, когда есть много разных переводов, и они совсем не должны быть полными. При этом я, переводчик нескольких глав «Улисса», увидевших свет в журнале русского зарубежья «Время и мы» и в антологии «Голубая лагуна», конечно, не беспристрастен.

В Советском Союзе победила гласность, и уже можно ругать общественный строй, но значительный слой языковой лексики все еще находится под запретом, и лишь отдельные слова из «матерного ряда» с непременной ссылкой на протопопа Аввакума пробиваются в печать. Перевод тридцатых годов в «Интернациональной литературе» был совершенно выхолощен, до полного искажения смысла, даже вши, которых давила мать Стивена, превращены там в «насекомых». Настоящий перевод свободней, но не абсолютно свободен от цензурно-пуританских запретов. Ведь эта лексика легализовалась в Англии только в конце 20—30-х годов, после Олдингтона, Лоуренса, Джойса, а «общедоступной» она стала только в 60-е годы. В России этот процесс был заморожен, как и другие, и пошел только сейчас.

Нет, Джойс еще дойдет до среднего советского «итээра», настолько это замечательная книга, и настолько здесь замечательный читатель, но читателю и книге нужно помочь.

В. Иванов. В блестящем и изящном рассуждении о Джойсе Исраэля Шамира я все же не могу согласиться с выводом о Блуме по отношению к тому времени. Чемберлен стал интересен сейчас, когда им зачитываются вновь появившиеся недруги еврейства; тогда он оставался еще курьезом. Исраэль Шамир очень верно говорит о цветаевском понимании изгойства, объединяющем двух героев «Улисса» («В сем христианнейшем из миров/Поэты-жиды»), моей субъективной реакцией на это всегда было нежелание считать кого бы то ни было евреем в смысле вычисления долей крови. В таком случае, если я и ошибаюсь, то в сторону, обратную принятой энтузиастами подобных вычислений. Мне Джойс, как и все великое

в культуре, кажется выше делений! «Нет ни эллина, ни иудея». Что же касается финикийско-эллинских связей в мореходстве, за этой гипотезой много новых всяких аргументов,— да и вообще греческое чудо необъяснимо без всего, что теперь мы узнали о достижениях западносемитских народов.

В. ЧАЛИКОВА. Я никак не специалист по Джойсу и даже отказывалась от участия. Видимо, меня пригласили как социолога — мне вручили читательские письма и просили над ними подумать, разобраться. Но у меня совершенно иное впечатление от читательской почты, нежели было здесь Дмитрием Михайловичем сформулировано: Джойс народом дружно не принят. Мне дали двенадцать писем, из которых ровно половина — шесть — совершенно восторженных и приветствующих публикацию и ровно столько же — шесть — ее порицающих. Причем среди порицающих нет ни одного письма, в котором хоть как-то бы упоминался столь подчеркнутый Урновым «тлен», «упадок», «извращение» или какое-нибудь дурное влияние. Ни один из шести порицающих публикацию «Улисса» (включая библиотекарей) не пишет о враждебной идеологии, негативной эстетике или вообще о буржуазности — буржуазном упадке. Формула отрицания звучит в письмах так — цитирую: «Неужели вы не понимаете, что люди устали и больше не хотят про негров, войну или философию?..»

Я выделила эту фразу потому, что она характерна. Никаких претензий к Джойсу как носителю упадочного миросозерцания нет. Более того, двое из шести отдают должное Джойсу как художнику, да и у остальных просматривается признание, что они имеют дело с носителем каких-то духовных ценностей. Но у них нет сил все это сейчас постигать, к этому пробиваться, а поскольку «Иностранка» — дорогой журнал, возникает чисто прагматическая претензия к редакции, с их позиций в конце концов правомерная.

Вообще мне кажется некорректной постановка вопроса о том, нужен ли Джойс нашему читателю, потому что эта постановка, эта атрибуция «нашему» предполагают, что где-то в мире, в других странах есть массовый читатель, которому Джойс нужен. Насколько я знаю социологию чтения на Западе — на земле есть только две среды обитания, где Джойс нужен; и среды эти не только непохожи — они полярны. Это космополитическая элита, которой Джойс нужен непосредственно, прежде всего творческая элита; и это ирландский национализм, во всяком случае, часть его, для которого действительно Джойс — абсолютная ценность. Можно его читать или не читать (здесь я вступаю в противоречие с Израэлем Шамиром) — достаточно того, что нация представлена им на мировом форуме культуры. Но я никогда не встречала в популярных «десятках», «двадцатках» книг имени Джойса. Никогда и нигде... И я не думаю, что, как тут говорилось, мы за годы застоя отучили людей читать — а вот если бы не отучили, массовый читатель захлебывался бы Джойсом?.. Я думаю, что этого бы никогда не было.

Вместе с тем, как уже говорили тут, на самом деле Джойс нужен, но только косвенным образом, потому что те серьезные писатели, которых широко читают в мире, немыслимы без Джойса. И я думаю, что читателям будет вполне внятно сказанное Вячеславом Всеволодовичем о Джойсе как о «писателе писателей», так что для читателя это не проблема, но, конечно, серьезная проблема для журнала, для его тиража. Это проблема журнальной политики; можно печатать что-то такое, что будет компенсировать публикацию не всем доступного текста. Оценивая реакцию читателей, следует учитывать и то, что Джойс появился в очень невыгодный момент, когда другие журналы начали печатать Солженицына, Гроссмана, когда пошла кровоточащая мемуарная литература. Мнение авторов некоторых писем, что «Иностранка» стала менее интересной, чем в 70-е годы, объяснимо ведь и тем, что «Октябрь» стал лучше, чем он был в 70-е годы.

А для меня всегда было интересно, что Джойс, книги которого предельно далеки от социальной фантастики, так много значил для всех тех, кто создавал социальную фантастику XX века. Чьи творческие корни ни копнешь — а это приходится по моей теме — утопии: Замятин ли, Хаксли, Оруэлл, Брэдбери, Бёрджесс, у всех среди «богов юности» — Джойс. Поразительно влияние его фантазии на образы предельно далеких от Дублина антимиров, которые они создают. По существу, «натуралистом» Джойсом был создан антимир, хотя, кажется, ничего общего с социально-утопической политизированной сатирой или идеологической фантастикой у него нет. То, что Замятин, как оказалось, был автором анонимной рецензии на Джойса,— замечательно; европейски образованный человек, «англичанин», как его называли, он был одним из первых русских читателей Джойса. В характеристике, которую дал Дмитрий Михайлович, роман Джойса выглядит как «целевой», направленный на изображение зла и скуки сырьем, полуфабрикатом, без эстетической ауры. А вот в двух письмах читателей подчеркивается, что «в наше циничное время» Джойс особо ценен для «сексуального воспитания», ибо ему дано передать «тонкое очарование секса». Любого автора можно анализировать в любых категориях, но представляется, что Джойс пытался уловить тот «иррациональный остаток», который остается от действительности после того, как категории рационального анализа сделали все, что они могли. И в этом смысле он действительно вступил на стезю мифа. Очень точно отмечено в предисловии Сергея Хоружего, что «Поминки по Финнегану» легче читать; чувствуешь себя законно в мире мифа, какие-то правила игры заранее известны. Стихия «Улисса» хаотичнее, но идеологию зла эта стихия исключает.

С огромным интересом читаются комментарии, очень полные и глубокие, и надо сказать, что русский текст вместе с комментариями создает ощущение такой «высоколобости» текста, которой даже не возникает, когда читаешь в подлиннике, зная английский язык «по-советски». В англий-

ском тексте поддаешься ритму, что-то пропускаешь, а здесь хочешь понимать все. Все время сомневаешься... Может быть, помимо «круглого стола» дать статью «Читая Джойса» или увидеть Джойса через кого-то из русских — Белого, Набокова, даже Зощенко?

Н. Анастасьев. Небольшая реплика. Не хочу называть имен, был у нас разговор с одним писателем нашим, весьма популярным, кому, как мне казалось, должна быть близка эстетика Джойса. Он поблагодарил за честь быть приглашенным к нашему «круглому столу», но отклонил приглашение ввиду того, что не читал Джойса. И у меня есть такое подозрение, что эта публикация может быть полезна не вообще для широкой читающей публики, но для специфически читающей — для писателей.

Е. ГЕНИЕВА. Наверное, мы поступаем не совсем корректно, когда говорим, что наш читатель не принял «Улисса» или же что ему сейчас не до Джойса. Из журнальной почты можно делать только некоторые предварительные заключения. Надо помнить и о другом: значительная часть читателей, да и писателей еще даже не открыла роман. Они заботливо складывают номера «Иностранной литературы», где печатался «Улисс», и ждут конца публикации, чтобы начать чтение. Я могу их понять. «Улисс» не тот роман, который можно читать отдельными выпусками, это не роман с продолжением, не «Оливер Твист» или «Домби и сын», которых в свое время, в середине XIX века, печатали в Англии да и у нас на страницах толстых журналов с продолжениями. Для меня в такой сериализации «романа XX века» есть своя прелесть. Есть в ней и приятное ностальгическое чувство (действительно, вспоминается Диккенс — писатель, никак не похожий на Джойса), есть и настоящее уважение к читателю, к его реальным нуждам и его реальным сегодняшним возможностям. Быть может, мы станем свидетелями конца книжного бума, на прилавках наших книжных магазинов появятся и книги наших классиков и классиков зарубежных. Наверное, вскоре мы сможем подписываться на любые собрания сочинений и не обращаться к услугам книжных барышников. Но это только «наверное» и «может быть». А пока журнал проявил настоящую чуткость к читателю, который, подписавшись на журнал, тем самым имеет гарантию, что в его библиотеке будет «Улисс».

Да, о реакции на «Улисса» судить пока рано.

Что же касается того, что Джойс к нам пришел не вовремя, с этим трудно спорить, но с этим можно и не согласиться. А может быть, именно сейчас это и должно было осуществиться. Конечно, если бы полный текст романа был напечатан в тридцатые годы, многих, сейчас кажущихся нелепыми споров не было бы — все бы знали из собственного опыта, о чем же этот роман, кто же этот Блум, и имели бы собственные мнения о космополитизме, антисемитизме, мизантропии, аполичности Джойса и так далее.

За то время, пока мы не печатали «Улисса», мы худо-бедно успели напечатать многих западных писателей, которые, как они сами на то не раз указывали, были учениками и последователями Джойса. Это очень представительный ряд. Назову нескольких — Хемингуэй, Фолкнер, Томас Вулф, Борхес, Кортасар, Набоков, Апдайк и многие, многие другие, для которых Джойс был наставником, а «Улисс» — литературной Библией. Таким образом, многое уже известно, многое освоено, впитано всей литературой. И потому невозможно ждать от читателя того эффекта потрясения, которое было у читателей Джойса — французских, немецких, польских, когда эта книга вышла у них в переводе. Но у нас своя судьба...

Мы знаем: драм на пути русского «Улисса» было немало. Хочу повторить: я не думаю, что то обстоятельство, что Блум — еврей и все произведение может восприниматься как антисемитское (!), помешали публикации романа в 1937 году. Был арестован и репрессирован один из переводчиков Джойса — Игорь Константинович Романович. Его обвинили в космополитизме, и вскоре он погиб от голода в лагере под Воронежем. Из-за ареста Романовича была приостановлена не только публикация «Улисса», но даже такой «невинный», чеховский сборник рассказов, как «Дублинцы», в котором принимал участие Романович, вышел вовсе без указания фамилий переводчиков. И автор послесловия Иван Иванович Анисимов был вынужден скрыться под псевдонимом. Имена восстановили лишь спустя полвека, в 1982 году, когда приложение к журналу «Иностранная литература» осуществило переиздание «Дублинцев» к столетию Джойса.

Погиб очень талантливый ленинградский переводчик Валентин Стенич — трудно сказать, какую часть «Улисса» он на самом деле успел перевести. Погиб и его архив. Были «сложности» — и немалые — у Абеля Исааковича Старцева, одного из первых критиков Джойса, вдумчивые, фундаментальные работы которого важны и сегодняшним джойсоведам. Безвременно ушел из жизни Виктор Александрович Хинкис, который в начале 70-х годов решил полностью перевести роман.

Вот слова из его заявки, поданной в издательство «Художественная литература»: «Позволю себе начать эту заявку с необходимого краткого разъяснения: дело в том, что уже давно никем из ученых литературоведов, равно как и никем из издателей во всем мире, не оспаривается тот общепризнанный факт, что роман гениального ирландского писателя Джеймса Джойса под заглавием «Улисс» является величайшим художественным произведением XX века и одновременно одним из шедевров мировой литературы... Что же мы имеем на сегодняшний день? Наши советские издатели уже безнадежно отстали даже от своих коллег в братских социалистических странах. Причина, сколько могу судить, такова: у нас боятся ЖУПЕЛА. Мне доподлинно известно (потратил на выяснение этого уйму времени и сил), что у нас в стране, за исключением очень узкого круга специалистов, «Улисса» никто в оригинале не читал и прочесть не может. Наиболее прогрессивно мыслящие говорят так: «Ну что ж, вы валяйте, переведите полностью, а там по-

смотрим, постараемся издать». Ну что ж, я старался без малого пять лет. У меня сделано более половины работы без договора с кем бы то ни было...»

Завершить свой труд Хинкис не успел: бессмысленная борьба, болезнь, наверное и отчаяние, укоротили его жизнь. Может быть, он ощущал, что ему не суждено завершить дело своей жизни. Трудно без боли читать его завещание, датированное 11 сентября 1978 года, в котором есть такие строки: «Я, Хинкис Виктор Александрович... находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю... Все рукописи, машинописные и рукописные, которые прямо или косвенно относятся к роману Джеймса Джойса «Улисс», а также все книги на русском или иностранных языках, относящиеся к вышеупомянутому роману,— Хоружему Сергею Сергеевичу... доверяя ему их полностью при условии, что он сделает все возможное, дабы мой перевод был завершен любыми средствами и опубликован в любом из советских издательств; если же это окажется невозможным по тем или иным причинам до 1981 г. включительно, то уполномочиваю—сделать все возможное, дабы упомянутый перевод был опубликован на русском языке в любом другом издательстве, в чем переуступаю С. С. Хоружему свое авторское право. Даже если от меня последует из психиатрической больницы или какого-либо места заключения собственноручно мною подписанная отмена настоящего завещания, не признавать таковой отмены действительной. Все остальные машинописи и рукописи, в том числе стихотворные, прошу уничтожить».

Сергей Сергеевич Хоружий завершил перевод. Убеждена, что об этом первом русском полном переводе, на мой взгляд, хорошем, точном, честном, грамотном, художественно адекватном, будут спорить и у нас, и за рубежом. Будут написаны десятки статей, исследователи погрузятся в выяснение многих проблем. Но все же давайте вместе осознаем — это п е р в ы й полный, без купюр перевод «Улисса». Наверное, со временем появятся другие русские переводы (я знаю, что некоторые молодые переводчики уже дерзают — и это замечательно), но этот опубликованный в 1989 году журналом «Иностранная литература» будет в истории всегда первым.

Конечно, у переводчиков, у редактора было много сложностей. Одна из них — утраты современного русского языка: язык за семьдесят лет беднел. Другой, к слову, пример: «Лолиту» напечатали в СССР в 1989 году, а до этого многие эротические сцены из-за «нравственных» соображений часто вырезались из произведений зарубежных авторов, не рекомендовались отечественным. И потому отчасти язык оказался неподготовленным и для «Пенелопы» Джойса. И ему, языку (кстати, с помощью того же Джойса, которого, хочется надеяться, начнут читать и изучать наши писатели — ведь училась же у Джойса Анна Андреевна Ахматова!), нужно время на восстановление.

Теперь о содержании этой книги. Да, она трудная: думаю, что по-русски более легкая, чем по-английски. Но это книга для людей. Не верьте тем, кто скажет, что Джойс — мизантроп, космический пессимист, что его Блум мелкотравчат. Просто прочитайте эту книгу и вы обязательно будете потрясены ее правдой, часто обнаженной, обжигающей; минутами вы себя почувствуете как на исповеди — с собой. Прочитав, вы, наверное, согласитесь, что герой Джойса — еврей Леопольд Блум — обычный, не слишком счастливый человек, а в его проблемах узнаете свои. Конечно, Джойсу все важно: и что Блум — еврей, что он не раз крещен, важны все изобретательные пародии на «Одиссею», многочисленные ссылки на нее и на десятки других произведений мировой литературы. Но, мне кажется, Джойсу, эрудиту, полиглоту, великому шутнику и насмешнику, важно в первую очередь другое — самоценность личности, на которую никто и ничто не может посягать; свобода, вкус которой знают немногие. Джойсу важно движение, которое и есть суть жизни, конечно, движение не только внешнее, общественное, политическое, социальное, хотя и это он хорошо знал, но важно движение жизни внутренней. Ведь потому так важна «одиссея», так существен, судьбоносен сам путь. И этот путь проделывает всякий, кто прикасается к страницам романа Джойса. У этого пути нет конца, как, в сущности, нет конца у романа. Он просто формально, но и значимо, кончается словом «Да». Но завтра будет новый день, и чудо духовного рождения Стивена, Блума, Молли и сотен других героев романа повторится вновь.

Мне кажется, что с моей «высокой» оценкой романа согласен еще один посланник Джеймса Джойса на нашей грешной земле, переводчик «Улисса» Исраэль Шамир. Впрочем, у переводчика, человека, который по доброй воле выбрал себе участь долгого существования с Джойсом, и не может быть иной точки зрения — ведь переводчик, как никто другой, знает текст.

Правда, это текст особый: если угодно, он — ловушка, лабиринт, где так хочется обрести спасительную нить Ариадны и отнюдь не в виде помогающего что-то уяснить комментария. Нить в данном случае — это позиция по отношению к жизни. Нет, я никак не могу согласиться с глубокоуважаемым Дмитрием Михайловичем, что «Улисс» нам нужен, становится созвучен, «если в наших взглядах появились черты рассеянности, пессимизма, незнания того, что с нами будет завтра». Нам, жившим в аду, так долго обещали жизнь в раю, что, наконец, хочется пожить не в этих крайних точках вселенной, перестать ощущать себя в крайних, смертоносных или, напротив, героических ситуациях. Хочется нормальной, обычной жизни, когда можно будет задуматься над обычными, но по сути своей вечными проблемами. Ну, ведь об этом и есть «Улисс».

Так случилось, что мне довелось прочитать эту книгу не единожды. Но каждый раз, может быть, особенно в тот последний, когда она готовилась к печати, я ее читала по-новому. Убеждена, что этот ниспровергающий все авторитеты роман очень поучителен. Несмотря ни на что — натурализм, эротику, святотатство,— это светлая,

теплая книга, хотя знаю, многие со мной не согласятся.

За этим столом я не раз не сходилась во взглядах с Дмитрием Михайловичем. Но в одном я с ним согласна безоговорочно: публикация «Улисса» — факт исторический. Согласны с ним и наши английские, ирландские, американские коллеги. Совсем недавно мне довелось разговаривать с директором джойсовского фонда при Обществе писателей в Лондоне Ромой Вудкат. «Мы знаем, что роман печатается в журнале «Иностранная литература» и все равно не можем в это поверить». Рома Вудкат задала мне десятки вопросов, о том, как же осуществилась эта публикация века, а в конце беседы, несколько смущаясь, изложила просьбу: если возможно, подарить внуку Джойса, Стивену Джойсу, комплект журналов «Иностранная литература» с «Улиссом»: «Он собирает все, связанное с именем деда, в своей библиотеке. Русский «Улисс» в ней займет особое место».

Э. ТОЛЛ. Я тоже хочу рассказать о замечательном переводчике Викторе Александровиче Хинкисе, с которым меня свела судьба.

Осенью 1978 года я приехала в Москву, чтобы разузнать, как обстоят дела с переводом «Улисса».

Больше десяти лет прошло с тех пор, как Виктор впервые переступил порог моей комнаты в московской гостинице Академии наук. Что бросилось тогда в глаза: черная, слегка погнутая оправа очков, желтые от никотина пальцы, засаленный замшевый пиджак, явно не по фигуре. К нашей встрече я начала готовиться еще задолго и, как теперь вспоминаю, сначала была неприятно удивлена и несколько озадачена — правда, может быть, с тем же высокомерием отнесся бы к увиденному всякий иностранец, приехавший, как я, в Россию собирать фактический материал. Однако вскоре я и думать забыла о том, что нужно сохранять беспристрастность — так располагал к себе этот человек. И такой необычной, даже трагической, оказалась судьба его перевода.

Через несколько дней он пригласил меня в гости на ужин. Я захватила с собой привезенную из Америки магнитофонную запись с голосом ирландской актрисы Шигон Макенны, изумительно читающей последнюю главу «Улисса», где Молли Блум, жена главного героя, лежа в постели, вспоминает события своей жизни, свои увлечения. Это самый известный эпизод книги — отчасти из-за того, что земная, жизненная чувственность выражена в нем так поэтично,— любимейший мой эпизод еще со студенческих лет. Но магнитофона в доме не оказалось, и мы отправились к друзьям Виктора — Сергею Хоружему и его жене, англичанке Кейт.

Как увлеченно слушал Виктор монолог Молли! И сама я, кажется, утрачивала ощущение реальности происходящего — сказывалось позднее время (было далеко за полночь), выпитая рюмочка коньяку, волнение моих новых друзей, ликующее последнее «Да» в устах Молли и возникшее чувство собственной причастности к истории.

В последующие два месяца мы с Виктором виделись чаще. Не раз, перечитывая «Улисса», проделывала я неблизкий путь от станции метро «Октябрьская», что рядом с гостиницей, до «Краснопресненской», а затем до «Планерной», где находится дом, в котором он жил. Помню прогулки по Москве и бесконечные разговоры об «Улиссе» — за столиком в ЦДЛ или в «Национале», в кафе Дома журналистов, где мы беседовали с Александром Мулярчиком, который первым, в 1970 году, навел Виктора на мысль перевести «Улисса», с Наталией Волжиной, одной из тех, кто переводил Джойса еще в 30-е годы (от нее я узнала, почему им пришлось прекратить работу над переводом); те же разговоры и в «лавке» писателей, и в Литфонде, и в Ленинской библиотеке, и непременный рассказ о попытках Виктора заключить договор о том, почему «Улисса» до сих пор не напечатали и что мешает сделать это теперь.

Работа над «Улиссом» отнимала у переводчика много сил, продвигалась мучительно, с трудом, не только из-за сложности самого романа — Виктор не раз говорил, что перевод хуже каторги,— но и по причинам сугубо личным. Не имея возможности заключить договор на перевод романа Джойса, он брался и за другие переводы, ведь нужно было на что-то жить, поддерживать семью, и над «Улиссом» Виктор трудился в «свободное» время. Он обращался к разным ответственным лицам в издательствах и редакциях. В ответ выслушивал ободряющее: «Принесите рукопись — будет и договор» или сразу получал отказ. Иногда случалось и такое: одного редактора, вознамерившегося было прочитать рукопись, перевели в другое издательство, в следующий раз забрезжившая было надежда на публикацию угасла со смертью редактора. Правда, были такие люди в издательствах, которые пытались как-то помочь Виктору, но все их усилия ни к чему не приводили. Борис Сучков, в те годы возглавлявший Институт мировой литературы, мечтал опубликовать «Улисса»: «*Я издал Кафку, Гамсуна, Пруста. Я только еще хочу издать «Улисса» Джойса и больше в двадцатом веке мне делать нечего*» [1]. Но в 1974 году Сучков умер, и эта возможность также *отпала*. Одну за другой посылал Виктор заявки в некое солидное издательство, со всем красноречием стараясь убедить руководителей, что роман издать необходимо, пытаясь даже пристыдить их: «Улисса» знает весь мир, писал он, этот роман переведен на многие языки, мы плетемся в хвосте, так это выглядит в глазах наших недругов. Никакого ответа. Выслушивали, обсуждали — но дальше дело не шло. «*Издатели хотят, но им не позволяют инстанции,*— констатировал он,— *досадно*». И Виктор сидел над своим переводом, в полном одиночестве, по ночам — *ведь он работал с трех часов утра!* — и при этом не был уверен, что труд его когда-либо будет опубликован. И после того как в 1978 году соответствующие инстанции не дали разрешения на издание книги ранней прозы Джойса, пессимизм Виктора еще

[1] Здесь и далее выделенные курсивом слова были произнесены Эмили Толл по-русски.

больше укрепился. «И так будет еще лет тридцать пять», — *сокрушался он.*

Многое, конечно, зависело и от состояния здоровья Виктора: он страдал маниакально-депрессивным психозом. Сам по себе этот недуг — уже трагедия, но Виктор, зная его циклический характер, понимал, что пройдет месяц-другой — и период маниакального возбуждения, когда он способен работать до изнеможения, почти без отдыха и сна, сменится долгими неделями и месяцами депрессии, когда он будет лежать пластом и не сможет продолжать работу. Кроме того, здоровье его подтачивалось и неумеренным употреблением спиртного (в активные периоды болезни он прибегал к его помощи особенно часто) и снотворных, без которых просто не мог заснуть.

И последнее: несколько раз Виктор сталкивался с КГБ. Он протестовал против суда над Даниэлем и Синявским, против исключения Солженицына из Союза писателей и знал, что должен вести себя очень осмотрительно, чтобы не потерять работу. Поэтому на людях он был сдержан; правда, у меня в гостиничном номере не осторожничал. Как-то раз он пришел ко мне совершенно пьяный; оказалось, только что с ним «провели беседу» сотрудники КГБ и предупредили: нельзя критиковать советский строй в разговоре с иностранцами. В мою память врезалось, как он сидит на моей кровати — крупный, сутулящийся — и, потрясая кулаком, повторяет: *«Я не боюсь, я не боюсь!»*

Спустя два с половиной года, в мае 1981-го, Виктора не стало. Вечером вышел из дому и не вернулся. Он умер от сердечной недостаточности в пятьдесят один год, и дело всей его жизни осталось незавершенным.

Виктор Хинкис был одним из тех молодых, кто вступил в пору творческой зрелости в 50 — 60-е годы и был полон сил и надежд открыть для России завесу над западной культурой XX века. Он выбирал сложнейших писателей, таких как Апдайк, Фолкнер, Джойс, представляющих определенные трудности как для перевода, так и для усвоения русской культурой. Измученный болезнью, тупостью бюрократов, их страхами, инертностью, он ушел из жизни так рано... Но при любых обстоятельствах он старался высоко держать голову, сохраняя внутреннюю свободу и достоинство. «Улисс» стал его душой, его плотью и кровью; он жил этой книгой и любил ее так, как никто другой в России. Благодаря ему она теперь приходит к читателю. Так будем же помнить о нем.

А. ЗВЕРЕВ. Не знаю, как других, а меня ничуть не удивила почта журнала в связи с публикацией Джойса. Скорее удивило, что все же прозвучали голоса тех, кто рад долгожданному появлению у нас этой книги.

Думаю, никто не ожидал, что «Улисса» будут читать с той же жадностью, как когда-то читали в этом журнале «Триумфальную арку» или, допустим, «Глазами клоуна». Джойс по самой природе дарования никогда не станет популярным прозаиком. Ориентацию на узкий круг читателей, которых сложность и даже некоторая герметичность изображения не отпугивают, а напротив, восхищают, часто вменяли Джойсу в вину, полагая, что он-то и несет ответственность за элитаризм, ставший весьма реальным явлением художественной жизни нашего века. Распространенность, в некотором роде обыденность этого явления,— действительно черта новейшей эпохи, однако не могу согласиться с мнением Дмитрия Михайловича, что прежде для писателя вообще была немыслима осознанная установка на затрудненность восприятия, на малый читательский круг.

Этому противоречат факты истории литературы. Помнится, Жуковский выпускал книжечки, не без вызова озаглавленные «Для немногих». Сложно представить себе, чтобы не сознавал, как трудно будет современникам читать его книгу, Стерн, работая над «Тристрамом Шенди»; сложно представить себе Новалиса, мечтающего о широком успехе, или Стендаля, старающегося стать близким читателям, которых у него при жизни практически не было. Блейк, в наше время — признанный гений, при жизни не мог продать ни одного экземпляра собственноручно им награвированных «Пророческих книг», но продолжал их создавать, прекрасно понимая, что они обречены пылиться у него на чердаке. У Эмили Дикинсон есть стихотворение, начинающееся строкой «Публикация постыдна»... — и это ничуть не поза, просто американская поэтесса сознавала неготовность тогдашней публики увидеть в ее крайне необычных стихах новаторский художественный факт, а оттого напечатала всего восемь стихотворений, и то под нажимом своего литературного опекуна.

Такие примеры можно множить и множить, но и приведенных, надеюсь, достаточно, чтобы убедиться в беспочвенности взглядов на Джойса как художника, который впервые решил обособиться от рядового читателя. Тут он только наследник традиции, имеющей давние и прочные корни. Эта традиция кому-то может показаться очень несимпатичной, однако нельзя не принимать во внимание, как много по-настоящему ценного она дала мировой культуре.

«Улисс» для меня входит в тот же аксиологический ряд. Вся грандиозность созданного Джойсом полотна открывается лишь при очень вдумчивом чтении, и, разумеется, он предполагал читателя, не обделенного хотя бы интересом к искусству резко нетрадиционному. Когда во фрагментах эта книга начала у нас появляться, такой читатель отыскался. Теперь, конечно, уже никто не восстановит реакцию подписчиков довоенной «Интернациональной литературы» на помещенные в ней главы из «Улисса», но решусь утверждать, что она не была такой по преимуществу негативной, как сегодня. Потому что тогда, в 20-е и 30-е годы, наши читатели сумели по достоинству оценить и Хемингуэя, и Андре Жида, и Хаксли, которые должны были казаться столь же непривычными, как Джойс.

А о том, что этих писателей оценили по достоинству, свидетельствуют не только критические отклики, которые при всей —

временем предопределенной — идеологической прямолинейности содержали в себе много проницательного и тонкого (сошлюсь хотя бы на замечательные статьи Ивана Александровича Кашкина о Хемингуэе). О том же самом говорит устойчивое читательское внимание ко всем названным авторам в глухую пору официального запрета на них. Полистайте в библиотеках старые издания «Фальшивомонетчиков» Жида или «Контрапункта» Хаксли — они зачитаны буквально до дыр.

И вот, памятуя обо всем этом, я спрашиваю себя: что же произошло, отчего «Улисс», проделавший столь трудную и долгую дорогу к нашему читателю, встречен прохладно, а весьма многими — если уж быть совсем откровенным — едва ли не враждебно. Видимо, здесь сказались два фактора.

Первый очевиден: «Улисс» появился у нас не ко времени. Поддерживая общую оценку романа, которую здесь отстаивала Екатерина Юрьевна Гениева, критик, столько сделавший, чтобы русское издание «Улисса» стало реальностью, не разделяю только ее убеждение в том, что это издание именно сейчас и должно было осуществиться. Мне-то представляется, что даже три-четыре года назад отношение к Джойсу могло бы быть в известной мере другим. А сейчас, нравится нам это или нет, мы должны признать факт крайней, в чем-то явно избыточной политизации сознания, которая на глазах нарастает в нашем обществе. От мала до велика едва ли не все захвачены политикой и вовлечены в политику отнюдь не метафорически, а в самом прямом смысле. До Джойса ли тут, к политике вполне равнодушного, без остатка поглощенного работой художника, который прокладывает новые пути, словно бы и не замечая, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе»?!

На самом деле он, разумеется, лучше многих знал, что́ за «тысячелетье» выпало на его долю, и катастрофичность как определяющая черта этого времени передана у него неизмеримо глубже, полнее, чем у любого из его европейских современников, исключая разве что Элиота. Однако никаких опознаваемых и наглядных знаков этой эпохи крушения миропорядка, казавшегося прочным в сравнительно благополучном и беззаботном XIX веке, вы у Джойса не найдете, как не найдете на поверхности лежащих провидений последующего опыта, тем более отечественного, со всей русской спецификой. А состояние умов ныне таково, что без подобных соотнесений, хотя бы непроизвольно возникающих, западному автору не пробиться к нашей аудитории, настроенной только на актуальное, злободневное, наболевшее и продолжающее болеть.

В споре за читателя у Джойса сейчас нет ни единого шанса ни против «Огонька», ни против «Нашего современника», даже против областной газеты, если она с тех или иных позиций затрагивает волнующие общество вопросы. Подразумеваю не тех, кто, кроме газет, ничего и не читает, а именно круг людей, приобщенных к настоящей литературе. Если кто-то укажет мне человека, который, выключив телевизор, когда идет трансляция со Съезда, погрузится в чтение «Улисса», буду признателен. С оригиналами, с чудаками всегда интересно.

Но эта погруженность в политику, думаю, все-таки явление преходящее. Придет пора, когда мы вновь снимем с полки отложенных до более спокойных дней классиков. А уж кстати, обратимся и ко всему новому или долго не переиздававшемуся и примемся наверстывать упущенное.

Вот тогда, надеюсь, начнется истинная русская судьба Джойса. Пока же оценим сам факт, что «Улисс» появился по-русски. Согласен, факт исторический, хотя и совсем не в том смысле, который разумеет Дмитрий Михайлович. Историческим это литературное событие становится оттого, что открылась проза совершенно нового — для нас — качества, ломающая не только устойчивые и достаточно предвзятые мнения о характере литературы XX века, но в какой-то мере даже понимание художественности, ее возможностей и границ.

Здесь-то и заявляет о себе второй фактор, определивший преобладающее восприятие книги Джойса: неготовность, а главное, нежелание всерьез в ней разобраться. И это фактор, так сказать, длительного действия. Вряд ли положение коренным образом изменится даже при условии, что в обществе спадет нынешняя напряженность и взбудораженность, временно отодвинувшая на второй план все относящееся к культуре, верней, связавшая проблемы культуры с политическими проблемами слишком жестким узлом. Допустим, общественная жизнь как-то стабилизируется, а вызываемые ею волнения улягутся — расположит ли это нашу публику к чтению «Улисса» и вообще так называемой «трудной» литературы? Боюсь, что нет.

Не надо только путать ажиотаж с интересом, а тем более — пониманием. На авангардистские выставки стоят очереди, в кинозал, где демонстрируется фильм Феллини или Бергмана, не попасть, но тут действует просто инерция запретности: десятки лет нас не подпускали к такому искусству. А вот насчет понимания, хотя бы желания понять... Конечно, сразу понимание не придет, но, чтобы это случилось, необходима по меньшей мере непредвзятость, готовность вникнуть и осмыслить, прежде чем вершить поспешный суд. К сожалению, я что-то совсем не чувствую такой настроенности.

Наоборот, упрекают журнал, который, опубликовав Джойса, восполнил зияющий пробел в нашем литературном образовании, за то, что он высокомерно пренебрегает читательскими запросами и рассчитывает на одних снобов. Вот когда печатали «Челюсти» и «Мертвую зону», все было замечательно...

Меж тем журнал сделал максимум возможного, чтобы облегчить аудитории странствие по вселенной «Улисса»: в каждом номере давались комментарии, помещен большой цикл статей о романе, раскрывающий самые разные грани его содержания. Думаю, это освобождает меня от задачи предлагать сейчас свое толкование; на нескольких страницах этого и не сделаешь.

Мне наиболее близка интерпретация Элиота в статье «Улисс», порядок и миф»[1]. Мне тоже представляется, что главный урок этой книги — укрощение хаоса, неизбежно возникающего, когда рушится привычный порядок вещей, но такое укрощение, которое заведомо исключает искусственную облегченность, поверхностную гармоничность, в каких бы формах она ни проявлялась.

Еще добавлю, что «Улисс», по моему ощущению,— не только радикальный шаг в истории романа как литературного жанра, это новый художественный код, о чем здесь очень убедительно говорил Вячеслав Всеволодович. Старший современник Джойса Реми де Гурмон — он был поэтом и одним из ведущих теоретиков французского символизма — писал, что «подлинное произведение словесного искусства можно узнать по обилию новых метафор; но смысл любой новой метафоры темен, неясен, следовательно, каждое новое произведение искусства темно; искусство анормально, алогично, непостижимо». Последнее утверждение, я думаю, опровергнуто хотя бы историей символизма, который для сегодняшних читателей Верлена, Метерлинка или раннего Блока ничего «непостижимого» в себе не заключает. Но сама мысль, что истинная новизна и художественная значительность произведения определяются «обилием новых метафор», думаю, глубоко верна. И роман Джойса, имевший множество очень прихотливых отголосков в прозе XX столетия,— лучшее ее подтверждение.

Следует ли из всего сказанного, что этому роману суждено так и остаться «темным» для нашей читательской массы? Не знаю и не хочу гадать. Знаю другое: мы утратили — или почти утратили — давнюю и замечательную традицию русской интеллигенции, умевшей и в науке, и в философии, и в искусстве ценить новое слово, как бы поначалу странно оно ни звучало. Мы приучены к стереотипам и все, отклоняющееся от них, встречаем недоверчиво, настороженно, а еще чаще — просто игнорируем, чтобы не обременять себя трудом размышления. Эта ностальгия по стереотипам — зашатавшимся, когда общество охватили перемены,— по-разному, но выразительно проявляется и в политике, и в идеологии, и в обыденной жизни. А в искусстве напоминает о себе косностью вкуса, нелюбовью к новизне и сложности, требованиями, чтобы книгой мы наслаждались, как земляникой со сливками, и чтобы она знаменовала отдых, а не стимул для мысли.

Я не виню читателей, приславших в «ИЛ» письма, где выражены подобные настроения. Сегодняшнее неприятие «Улисса» — законный итог издательской, критической деятельности, направляемой прежде всего стремлениями представить картину мировой литературы выборочно, однобоко и одномерно, создав впечатление торжества убого понятого реализма. Сопротивлявшиеся таким стремлениям недостаточно энергично, мы платим за эти свои слабости нерадостным ощущением, что громадная работа, какой потребовала публикация «Улисса», пропала, мне кажется, почти втуне. На сегодняшний день. Но верю: эта работа еще принесет свои плоды. Из-за причуд и вывихов литературной политики недавнего прошлого получилось так, что мы сначала познакомились с писателями, испытавшими сильное воздействие Джойса — их назвала только что Екатерина Юрьевна,— а сам их наставник оставался мистической фигурой. Так вот, лет двадцать назад в «ИЛ», после бурных дебатов, решились опубликовать «Шум и ярость». Вспоминаю, что и тогда посыпались негодующие отклики (непонятно! смутно), и по заданию редакции я написал статью, где пытался объясниться с читателями, в меру сил растолковать логику фолкнеровских художественных ходов. Недавно я отыскал и перечел эту статью, с радостью подумав, что сегодня в ней уже не было бы надобности. Фолкнер — в том числе «темный» Фолкнер первых его книг — прочно вошел в наш читательский обиход. И в нашей литературе он присутствует впрямую. Напомню только о признании Алеся Адамовича, мучительно искавшего способ повествования, когда им были задуманы «Каратели», и нашедшего единственно верный ключ в монологе Бенджи из «Шума и ярости».

Сегодня Фолкнер — безусловный классик, и не из тех, кого почитают, не читая. А ведь прошло не так уж много лет с той поры, когда читатели в большинстве своем его искренне не принимали.

Бог весть, произойдет ли схожая перемена в отношении к Джойсу. Поживем — увидим. А пока хорошо и то, что незнание Джойса кончилось. Он больше не тайна за семью печатями, он открыт и доступен каждому, кто даст себе труд внимательно прочесть двенадцать журнальных книжек с его главным произведением. Истинное постижение Джойса нам еще только предстоит.

Н. КОРНУЭЛ. Здесь уже о многом говорилось. И об истории советских переводов Джойса, и о первой критической публикации, автором которой был не кто иной, как Евгений Замятин. Исследования ширились, набирали силу и глубину, хотя были порой весьма противоречивы. Увы, споры и последовавшее затем огульное отрицание модернизма, узкая трактовка понятия «социалистический реализм» нанесли советской джойсиане непоправимый урон. А сталинские «чистки» и вовсе загубили все исследования на корню. Теперь эти факты известны советскому читателю.

Медленно, с оглядкой возвращали Джойса людям в послесталинский период. Перевод романа «Портрет художника в юности» Богословская-Боброва завершила еще в 1936 году, но опубликовали его лишь в 1976-м[1]. А сборник «Дублинцы» (с именами переводчиков, работавших над ним в 1937 году) переиздали, как здесь упомянули, лишь к столетию Джойса.

Реабилитировать европейский модернизм в Советском Союзе мог только «Улисс». Однако попытки перевести роман — начи-

[1] Опубликована в «ИЛ». 1988. № 12.

[1] См. «ИЛ». 1976. № 10—12.

ная с 20-х и вплоть до 80-х годов — оказались связаны единой цепью человеческих и культурно-политических трагедий. И полный русский текст романа смог появиться лишь в 1989 году. Не родился русский «Улисс» и в эмиграции, в отличие от «Дублинцев» и «Портрета...», переведенных в 60-е годы Виктором Франком, сыном философа Франка.

Гласность, открытость в литературе проявляются в СССР разнообразно. Поощряются новые современные течения, приходят к читателям запрещенные или доселе не публиковавшиеся произведения русской, советской литературы и литературы русского зарубежья — всех волн эмиграции. Важнейшим признаком «открытости» литературы является и публикация в переводах ведущих западных авторов. Советские читатели и, разумеется, советские писатели вправе чувствовать себя полноправными наследниками мировой литературы, полноправными участниками новейших опытов и достижений мирового литературного процесса. Много полезного сделано в этом отношении за последние 20 — 30 лет, но все же остается множество «белых пятен»; кроме того, что ни день появляются новые, прекрасные книги, также достойные публикации.

Вышли в свет «Доктор Живаго», замятинский роман «Мы», читатель узнал Гроссмана и Платонова, абсурдиста Хармса; наших современников — Войновича и Владимова; начинает появляться и Солженицын; в советских журналах можно прочесть Оруэлла, Кёстлера, Хаксли, Виктора Сержа и великое множество современных западных писателей. Имена западных критиков и литературоведов тоже потихоньку проникают в советскую прессу (публикуют Ролана Барта, эмигранта Романа Якобсона и других). Работы здесь — непочатый край. Надеюсь, все это получит свое продолжение. Разумеется, если речь идет о современной западной прозе, отставание — пусть недолгое — неизбежно, поскольку перевод — дело не одного дня; есть авторы попросту трудные для перевода (Джойс, например). Но где, скажем, русские переводы Рушди?[1] Будут ли «Сатанинские стихи» опубликованы в Советском Союзе? Откликнутся ли у вас на поток «женской» литературы и критики?

Вероятно, придется подождать: не получить нам ответы на все вопросы сразу. Впрочем, для почитателей Джойса на Западе и для советских читателей публикация «Улисса» несомненно является важнейшим шагом для реального утверждения гласности в литературе. Это значительное литературное событие порождено перестройкой, свершилось благодаря ей. Но справедливости ради отмечу, что перевод на русский язык не мог возникнуть в одночасье; как мы знаем теперь, это — результат борьбы и длительной кропотливой работы над словом. Литературоведческая основа публикации тоже готовилась не год и не два, и главная заслуга тут принадлежит Екатерине Гениевой, ее научно-критическим трудам. Журналу «Иностранная литература» удалось познакомить с этими материалами широчайшие читательские круги, весь текст романа снабжен сносками и обширным комментарием, не говоря уже о предисловии такого крупного ученого, как Дмитрий Сергеевич Лихачев. Теперь мы с нетерпением ждем «Улисса», изданного отдельной книгой.

Н. КИАСАШВИЛИ. Я тоже считаю, что трудно переоценить значение публикации перевода полного текста «Улисса». Все переводы этого, пожалуй, самого значительного произведения нашего столетия на многие языки мира в той или иной мере и форме воздействовали на литературу народов, говорящих на этих языках. Нет сомнения, что новый русский перевод в этом отношении также сыграет свою роль.

Что же касается его достоинств, в первую очередь хотелось бы отметить, насколько я могу судить по опубликованным эпизодам, безусловную компетентность переводчиков, прекрасное знание ими современной научной литературы о Джойсе. Я в основном имею в виду многочисленные комментарии к тексту, которые должны быть доступны переводчикам. Тут следует отметить бесценное участие в научной публикации «Улисса» Екатерины Юрьевны Гениевой, автора первой русской диссертации о Джойсе, в обсуждении которой я имел удовольствие участвовать в качестве одного из оппонентов. Ее предисловия и примечания к этому роману во многом облегчают читателю восприятие сложнейшего текста.

Что же касается замечаний, которых не сможет избегнуть ни один перевод, то сейчас я бы ограничился только следующими соображениями.

Для переводчика, пытающегося создать — по мере возможности — адекватный эффект потока сознания, не может быть мелочей. Все важно, и все значительно — стилистика всех восемнадцати эпизодов, каждый из которых предлагает читателю как бы новую точку отсчета, новый ракурс ви́дения современного мира, подобно гомеровскому многоплановому восприятию эпохи; и их основная символика, пародийно-иронический, параболический язык и так далее. Важна даже на первый взгляд «безобидная» ремарка: «сказал он». Каким бы заманчивым ни представлялось подчинение инерции традиционной необходимости, как видим в этом переводе, разнообразить диалог стилистическими и смысловыми нюансами — «бросил он», «вызвался он», «тянул он», «повторил», «заметил», «поторопил», «продолжал», «объявил», «молвил» и тому подобное,— по моему глубокому убеждению, все-таки следует помнить одну из многих особенностей джойсовской прозы: за весьма редким исключением автор «Улисса» предпочитает в своих ремарках быть совершенно свободным от «флоберовского комплекса» стилистической изощренности и изящества, оставаясь «сухим», «объективным» повествователем. Достаточно сравнить диалог из романа любого «традиционного» писателя со страницей из «Улисса», чтобы убедиться, что это является элементом джойсовской поэтики.

[1] Роман С. Рушди «Стыд» опубликован в «ИЛ», 1989, № 8, 9.

Ну, а о сложном «поединке» переводчика с джойсовским текстом лучше всех, пожалуй, высказался норвежский переводчик «Улисса» Могенс Бойсен: «Перевод этой книги оставляет неизгладимый след в душе переводчика. После этого ты становишься совершенно другим: ты улиссизировался. То же самое, наверно, можно сказать обо всех тех, кто прочтет эту книгу должным образом, целиком, несколько раз, с пристальным вниманием и терпеливо. Что же касается переводчика, то он будет одержим ею всю свою жизнь... Вам требуются примеры? Детали? Объяснение того, как надо переводить «Улисса»? Или же как я старался это сделать? Невозможно! В таком случае я должен был бы написать несколько увесистых томов, чтобы передать все ужасы и прелести этого тяжелейшего испытания».

Я. ЗАСУРСКИЙ. Думаю, что публикация романа Джойса «Улисс» в журнале — дело очень полезное и серьезное. Я был одним из тех, кто ратовал за это, и считаю, что поставленная задача выполнена.

Решение, как вы понимаете, было принято не без споров. Здесь правильно отмечали, что споры о Джойсе идут уже более пятидесяти лет, но это споры о романе, который, как здесь говорилось, наши писатели и читатели не могли прочитать на русском языке, а на английском языке прочитать роман не просто даже тем, для кого английский язык является родным.

Здесь говорилось о проблеме читателей. Конечно, у романа «Улисс» не будет много читателей. Их относительно немного и на родине Джойса — в Ирландии,— и в Англии, в Соединенных Штатах. Он писал не для массового читателя.

Думаю, однако, что на русском языке у Джойса будет больше читателей благодаря переводу. Я имею в виду прежде всего интерпретационный аспект перевода. Многие сложные моменты романа в переводе на русский интерпретируются, облегчая его понимание. Перевод помогает читателю пробиться к писателю.

В этом смысле «Улисс» не уникален. Я хотел бы напомнить, что роман Фолкнера «Шум и ярость», о который спотыкаются студенты американских университетов, легко прочитывается советским читателем благодаря переводчикам, которые помогают понять то, что в английском оригинале должны одолеть, додумать читатели. Это относится ко многим аспектам романов Фолкнера, который несомненно испытал влияние Джойса. Прежде всего это проблема внутренней речи и специфики английских глагольных форм, которые на русский язык переводятся лексически, проясняя смысл.

Я обратил внимание на то, что письма читателей об «Улиссе» показывают, что роман сам по себе не вызвал у них раздражения или отрицательного отношения. Они хотели бы получить вместо этого романа другую, более простую и скорее всего развлекательную литературу. Что ж, наверное, журнал должен быть разнообразнее и давать более широкое представление о литературе за рубежом. Но, повторяю, ни один из авторов писем не отверг Джойса: в худшем случае жалуются на трудности его восприятия.

И здесь возникает проблема трудного писателя и отношения к этому трудному писателю. Мне кажется, что нам нужно учить читать и трудную литературу. И конечно, Джойс задает читателям сложный урок.

Если говорить о причинах, которые побудили меня отстаивать мысль о публикации романа в журнале, хотя это далеко не журнальная вещь, то я исходил прежде всего из нашей практики, в условиях которой роман Джойса, выйди он в издательстве, мог не попасть в руки тех, для кого предназначен, а попал бы в первую очередь к тем, кто имеет доступ к дефициту на полках книжных магазинов. Журнал же «Иностранная литература» доступен широкому читателю, его выписывают и историки зарубежной литературы, и писатели, и преподаватели литературы. Он имеется во всех библиотеках. Таким образом, опубликовав роман в журнале, мы сделали его доступным каждому советскому читателю, что, на мой взгляд, важно, учитывая место и роль этого произведения в культурной жизни XX века.

В очень интересном выступлении Дмитрий Михайлович Урнов говорил, что «Улисс» — плохой роман. С этим едва ли можно согласиться не столько потому, что так не думает большинство критиков, но и потому, что роман этот изначально носил экспериментальный характер. Добиваясь реализации своего замысла, Джойс проявил большое писательское мастерство. Другое дело, каков был этот замысел, его можно оценивать по-разному, но он получил, на мой взгляд, адекватное воплощение в тексте. Это классика модернизма, и, как любая другая литературная классика XX века, она должна быть известна нашему читателю.

В оценках модернизма обычно немало эмоционального. Мне кажется, от этого давно следует отказаться. Есть слабые произведения модернизма, и есть классика модернизма.

Мы много спорим о модернизме, часто не опираясь на тексты. Публикация романа Джойса дает возможность перевести эти споры в практический или, если употребить наше любимое слово, реалистический план.

Интересные мысли были высказаны о взаимодействии Джойса и русской литературы, скажем, Белого и других писателей. Мне кажется, речь идет не столько о воздействии текста Джойса на писателей, сколько об общности проблем, которые возникали перед ними и одновременно по-разному решались. С этой точки зрения интересно, что «Дублинцев» сравнивали с рассказами Чехова, которых Джойс тогда явно не читал.

Можно по-разному оценивать творчество Джойса. Это сложный писатель, из тех, кто пишет не столько для читателей, сколько для писателей, открывая новые возможности для литературы. Я думаю, что теперь многие мифы, связанные с «Улиссом», в котором использованы многие мифы, развеются. У наших писателей появилась реальная возможность учиться у Джойса, они могут его прочитать, если захотят. Впрочем,

я далеко не уверен, что каждый наш писатель еще к тому же и активный читатель.

Что же касается приведенных здесь примеров о знакомстве с «Улиссом» Джойса из вторых и третьих рук, то это обычное явление для литературы XX века. Все признают огромное влияние Фрейда на американских писателей, но мало кто из них читал Фрейда.

В творчестве Джойса для наших читателей и писателей будет интересно многое. Мифотворчество по-новому осмысливается сегодня в литературе. Два крупнейших писателя современности — далекие от модернизма Габриэль Гарсиа Маркес и Чингиз Айтматов,— каждый по-своему, по-новому, опираются на мифы. Я думаю, что советского читателя привлечет многослойность прозы Джойса, ее многоплановость. Здесь говорили о реалистическом и даже натуралистическом стиле Джойса. Но за этими реалистическими и натуралистическими описаниями скрываются весьма сложные иносказания, которые и делают роман Джойса образцовым произведением модернистской литературы.

Я не говорю уже об искусстве иронии и самоиронии, столь характерном для модернистской прозы, или о проблеме музыкальности в архитектонике, в композиции и в приемах изображения внутреннего мира человека.

Конечно, Джойса трудно читать. Но для того, чтобы понимать современную зарубежную литературу, необходимо эти трудности преодолеть. И задача журнала состоит не столько в том, чтобы снабжать советскую публику легким чтивом, но в том, чтобы дать возможность понять все многообразие современного литературного мира, творчество писателей, близких нам, и писателей, от нашей литературной традиции отдаленных.

◆

К 100-летию со дня рождения Бориса Пастернака

ОКТАВИО ПАС

О ПАСТЕРНАКЕ

■

Вступление и перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

Чем примечательна публикация, которую журнал предлагает сегодня читателям? Почему из моря зарубежных работ о Борисе Пастернаке выбрана именно эта?.. Перед нами эссе, где о прозе большого русского поэта размышляет замечательный мексиканский поэт. О романе, долгие годы остававшемся под запретом у себя на родине, пишет автор, чьи произведения практически не издавались на русском языке. Не символично ли такое перекрещение судеб? Между тем Октавио Пас принадлежит к числу наиболее значительных представителей современной латиноамериканской культуры. Его стихи, философско-публицистические эссе, а также книги, посвященные проблемам эстетики, истории и теории литературы, хорошо известны во всем мире и удостоены многих и многих международных премий. Одна из постоянных тем творчества Октавио Паса — трудные пути русской, советской культуры. Как ни парадоксально, отчасти именно поэтому на протяжении многих десятилетий его книги были закрыты для нас.

Эссе «О Пастернаке» Пас написал в 1958 году. Подход к теме был настолько неординарным, что выступление вызвало острую дискуссию. За тридцать лет сильно изменился мир, иначе воспринимается «Доктор Живаго». Но мысли Октавио Паса о романе звучат сейчас не менее актуально, чем в конце 50-х.

В годы минувшей войны я впервые (кажется, благодаря Виктору Сержу) прочитал несколько стихотворений Пастернака. Позднее в руки мне попали другие стихи, том рассказов и эссе и, главное,— автобиографическая книга «Охранная грамота». Я прочитал все это, и у меня возникло впечатление, что русский поэт предлагает читателю не столько произведение, сколько эстетику, то есть размышление о произведении. Естественно, его стихи — произведения (и из самых высоких в современной русской поэзии), но тогдашние переводы лишь в некоторой мере позволяли судить об их качестве. «Охранная грамота», напротив, поставила меня лицом к лицу с духом пламенным и сдержанным, с подлинным и большим поэтом — хотя стихи его и были мне недоступны. Много лет спустя появился «Доктор Живаго». Предчувствие меня не обмануло. Я читал эту книгу так, как уже давно не читал ни одной художественной вещи. Закрыв ее, закончив чтение, сказал себе: «Отныне и навеки Живаго, Лариса и Антипов будут жить со мной; они более реальны для меня, чем большинство людей, с которыми я здороваюсь на улице». Обещанное «Охранной грамотой» сбылось.

Неделю назад газеты сообщили, что Борису Пастернаку присуждена Нобелевская премия. Это меня не обрадовало. Мне казалось, что разбивалось что-то очень хрупкое, предавалась незримая дружба. Боялся я и другого. То, что случилось позднее, подтвердило мои опасения. Живаго и Лариса, их любовь и страдания, их самые сокровенные слова и мечты превратились в «аргументы» — «за» либо «против» той или иной тенденции. Поэтическая сопричастность обернулась политической громогласностью, тайна, доверенная искусству, дала почву для идеологических обвинений. Художественное произведение было низведено до

уровня сектантского памфлета. Лариса пропадает в концлагере, пропаганда оскверняет ее могилу и швыряет горсть праха этой женщины в лицо противнику. А тот отвечает плевками и бранью. Книга, предсказанная смутной прозой «Охранной грамоты», вымоленная и означенная столькими восхитительными стихотворениями, книга, написанная как завещание и акт веры, книга, в которой речь идет о самой нашей жизни, потому что она — непревзойденное объяснение стона, плача и поцелуя, эта книга превращена в еще один эпизод «холодной войны». Таково духовное состояние современного общества. Итак, дальше.

Роман Пастернака не есть произведение «сторонника», или «приверженца», чего-либо. Это не обвинение и не защита. Это воспоминание о любимых тенях и воссоединение с ними, воскрешение тех страшных лет. (В стихотворении, написанном в 1921 году, Пастернак говорит: «Мы были людьми. Мы эпохи».) И в то же время это размышление, раздумье о смысле тех жизней, о смысле тех лет. Воспоминание, воскрешение, размышление: ни одно из этих слов не имеет полемического привкуса, ни одно из них не намекает на сегодняшние распри, в них — поэзия, философия, религия. Но подобная позиция сама по себе является вызовом: современные боги — государство, партия — недоверчивы, все, что не вращается на их орбите и желает существовать независимо, вызывает подозрения и должно быть уничтожено. Если ты хочешь остаться в стороне, говорит современная диалектика, ты уже тем самым принимаешь чью-то сторону. Подобное неуважение к действительности, подобный софизм могут обмануть людей, но действительность не изменят. Произведение искусства — не боеснаряд, оно не должно служить ни тем, ни этим. Я понимаю, что роман Пастернака почти непреднамеренно, воплотил в себе и величие и ужас — два эти слова не исключают, а лишь дополняют друг друга — советской системы. Но что гораздо важнее: он явился критикой, также невольной, «духа системы» и в этом смысле критикой тоталитарности современного мира.

Современное общество представляет собой совокупность систем, каждая из которых несовершенна и каждая из которых претендует на мировую гегемонию. Одна хочет пожрать другую, как сказал бы Мачадо. Системы противопоставляют одну половину человечества другой, одну половину населения — другой; и в каждом сознании также сосуществуют две половины, два получеловека, которые противоборствуют между собой, так как оба считают себя целым и единственным человеком. В результате образуется пустота: мы начинаем отрицать самих себя. «Дух системы» означает преклонение перед разобщенностью. Его плоды — охваченная раздором планета, разделенный на части человек: фрагмент человека. Система жаждет половинчатую правду провозгласить правдой всеобщей, а добиться этого можно лишь одним способом — отвернуться от неугодной половины действительности. Подлинная универсальность состоит в признании конкретного существования других людей, в приятии их, пусть и отличных от нас; абстрактная универсальность жаждет упразднить других. Дух системы — аболютизм.

«Властители ваших дум,— говорит доктор Живаго партизану Ливерию,— грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит».

Навязать свободу, сделать счастье принудительным! Никогда еще политические деятели не были столь виртуозны, никогда они не были столь жестоки.

Пастернак смотрит на мир глазами поэта, ему чужда точка зрения системы. Его самая главная поэтическая книга называется «Сестра моя жизнь». А в природе жизни нет ни системности, ни пристрастности. Ни одному из своих проявлений — будь то червяк, звезда или человек — жизнь не предначертала олицетворять диктатуру добра или монополию справедливости. Никто не может считать себя хозяином будущего, никто не обладает исключительным правом на ключ к шкатулке с сюрпризами истории. В одной из своих повестей — «Детство Люверс» — Пастернак пишет:

«Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же».

Именно это происходит в сегодняшнем мире, и как раз этого нет в романе Пастернака. Он не лист, не ветка, не корень, а все вместе — дерево. Живой организм есть сопряжение различных элементов, управляемых единым смыслом, он объединяет их и вынуждает полностью отдавать себя целому. Произведение искусства также, по-своему, есть целое. И художник не может не быть, должен быть, носителем этой целостности. Его точка зрения должна одно-

временно быть выражением и почти безграничного разнообразия жизни, и ее конечного единства.

«Доктор Живаго» — не политический роман, но и не философский трактат. Его уже успели назвать произведением эпическим, продолжающим традицию Толстого. Но достаточно вспомнить «Войну и мир», чтобы понять, что подобное сравнение и поверхностно, и поспешно. Толстой рисует портрет эпохи, воскрешает определенное общество, человеческий коллектив. У Толстого, как и у Бальзака, как и у Переса Гальдоса, широкий и уверенный мазок, экономное расходование сил, равновесие в изображении огромных, хорошо выписанных масс. У Толстого нет ничего лишнего. У Пастернака лишнего много. Его рисунку недостает уверенности, он теряется в деталях, не умеет увидеть все разом. Пастернак — не настоящий романист, а «Доктор Живаго» — не великий роман. Но как раз то, что мешает Пастернаку в подлинном масштабе воссоздать октябрьские дни и годы гражданской войны, позволяет дать нам очень свежее и чистое видение природы всего и выразить самые высокие мгновения поэтического мировосприятия. Нет, эпическим талантом Пастернак не наделен. Его книга не столько портрет определенного общества и определенной эпохи, сколько образ индивидуального мироощущения. Он — из племени лирических поэтов, а не романистов. «Доктор Живаго» — просто-напросто роман о любви. Живаго и Лариса принадлежат к разным мирам. Он мельком видит ее в юности и не может забыть. Проходят годы, и когда оба уже утвердились в жизни, доверились иллюзорной надежности домашнего очага, война столкнула их лицом к лицу. Революция их соединила, и та же революция, с той же неистовой силой, их разлучила.

Живаго — поэт, в нем все вопрос: кто я? кто ты? что мы есть? Лариса — вся ответ, загадочный ответ жизни, которая только повторяет: я существую, ты существуешь... Живаго — погруженный в себя, рассеянный, стремительный — больше не спрашивает: ему достаточно знать, что он живет, и окружает его тоже жизнь. По мере того как политика, абстрактные устремления обесчеловечивают людей, любовь возвышает в Живаго человеческое. В партизанском отряде его единственным собеседником (с кем он может просто разговаривать, а не спорить об исторических судьбах и о чертах грядущего) становится дерево. «Она (рябина.— *Н. Б.*) была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Ларисы, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня:

— Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка».

Влюбленных связывает не «страсть», заполнившая страницы сегодняшних романов, не чувственность, не инстинкт, голос крови, тоска или одиночество... Любовь — соединение душ: «Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги». В одном старом стихотворении Пастернак говорит о капле воды — «огромной капле агатовой»,— которая падает на склоненные друг к другу головы целующихся влюбленных:

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучаться, хоть режьте[1].

Система, верная своему механизму, разделяет любящих, вдребезги все разбивает. Разделяя, она их «режет», но не «разлучает».

«Доктор Живаго» не только рассказ о несчастной любви, но и роман о неумирающей любви, о постоянстве жизни. Не биологической жизни, а исторической. История, которая на протяжении всей книги действует как бесчеловечная фатальность, открывает нам свою тайну в последней главе. Христина Орлецова, дочь пропавшего в лагере священника, чувствуя себя, вероятно, в чем-то виноватой, превращается в фанатичную коммунистку. Студентка университета терроризирует своих преподавателей, вечно боящихся совершить «идеологическую ошибку». Неожиданно она влюбляется в одного из них — на него она нападала больше, чем на других,— старого товарища ее отца по заключению. И любовь делает ее человечней. Некоторое время спустя Христина, сражаясь против нацистов, героически погибает. Государство хочет воздвигнуть ей памятник. Церковь причисляет к лику святых. Тоня, прачка, девочка, потерянная родителями в годы революции, в финале узнает, кто она, обретает дом, Тоня и Христина — «дети страшных лет России», говорит Пастернак, повторяя Блока. Какой во всем этом смысл?

[1] «Душистою веткою машучи...». Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Советский писатель». 1965, с. 122. (*Прим. перев.*)

История сама по себе не имеет смысла: это сцена, по которой проносятся сменяющие друг друга призраки. История бесчеловечна (именно в этом ее бессмысленность), потому что ее единственный персонаж — абстрактная общность, человечество. Во имя человечества разлучают любящих, выносят приговор инакомыслящим, уничтожают людей. История, понятая таким образом, выступает как череда актов: феодализм, капитализм, коммунизм. Каждый акт сам по себе и для себя самого может иметь смысл, но общее, пьеса в целом, смысла не имеет: это представление без конца, бесконечный кошмар. Есть, однако, и иная концепция истории. В ней персонажами являются не системы, а сами люди. Не христианство, а христианин, не феодализм, а рыцарь, не диктатура рабочего класса, а рабочий. История — испытательный стенд. Через историю и в истории каждый человек может найти самого себя, перестать быть абстрактным существом, которое принадлежит к определенной социальной, идеологической или расовой категории,— и стать личностью, единственной и неповторимой. И этот человек может сообщаться с другими людьми и таким образом стать братом себе подобных, похожих, но — иных. Для Пастернака такая концепция истории называется христианством. В ее основе — идея свободного человека и идея жизни как самопожертвования... Идея любви к ближнему. История — место встречи людей, диалог душ. Нет нужды быть верующим, чтобы принять эти идеи. Думаю, действительно история — место очищения, подлинное чистилище. И еще она — место примирения с другими и с нами самими. Кто выдерживает испытание, выходит измененным: он — хозяин своей души и может идти к причастию.

Совершенно намеренно я несколько раз употребил в этой статье слово «душа» вместо слов «совесть», «инстинкт», «разум», «чувственность», «ego», «личность» или «индивидуальность». «Душа» — слово, вышедшее из моды, звучащее несколько двусмысленно, еще влажное от первобытных земли, дождя и света. Через это темное слово люди начинали познавать свою сущность. Узнав, что у них есть душа, они ощутили, что их бытие уникально, неповторимо и в некотором роде священно. Душа — самое личное, что у нас есть, самое наше и в то же время — самое далекое, то, что приближает нас к другим, к другим душам. Возможно, лишь тот, кто страдал и любил по-настоящему, кто прошел через чистилище истории, обнаружил для себя: у нас есть душа. Большинство современных людей души не имеет. У них есть «психология». Книга Пастернака вновь нам напоминает о существовании души, открывает ее. Подобную миссию не однажды — от Пушкина до Блока, Есенина и Маяковского — выполняла в западном мире русская поэзия: она напоминала, что человек всегда остается вне любой системы, даже если добровольно подчиняется ей. И поэзия всегда будет выражением души, а не защитой системы.

◆

ВАДИМ РАБИНОВИЧ

СОКРУШЕНИЕ НАДЕЖДЫ

Приотворяя «Врата рая» [1] Ежи Анджеевского

Их было восемь, получивших свои номера святых воинств — ради Иерусалима средь безводия пустыни и с гробом Господним в сердцевине великого города, в коем черно от неверных добрую тысячу лет. Восемь разгневанных боговдохновленных ратей, рваной раной, и поныне не зарубцевавшейся, отметивших свои века — XI—XIII. Но посередине — меж четвертым и пятым — дни были без числа, а походы без номеров. Стыдливо неоприходованные, так и остались в немногословии считанных хронистов.

Как это было?

Взятие Константинополя в 1204 году окрылило и потому взъярило еще более. На очереди Иерусалим, который заслуживает крестоносного исступления в полной мере.

1212 год. Французскому пастушку двенадцати лет от роду было видение: сам Иисус указал ему истинный путь к святой земле и для достоверности дал сновидцу собственноручную грамотку. Соумышленников-сверстников собралось немало. Поговаривают, тридцать тысяч отроков и отроковиц вкруг «малого пророка», пастушка, составивших непорочное воинство, кому гроб Господень, в придачу с Иерусалимом, непременно дастся. На то они и безгрешны, чтобы так оно и сталось. Папа Иннокентий III авторитетно уверил в сем свою немудрящую, подстегнутую проголодью и нищетой крестьянскую паству. К детям примкнули и взрослые: городские и сельские бедняки, фанатические чернецы, тамошний люмпен. Но основная «сила» — дети. Двинулись к морю в расчете на вещее видение: море отступит. И тогда — посуху — прямо к цели.

Не отступило, когда все это воинство из Вандома через Тур и Лион дотопало до Марселя. А там нашлись «выручалы»: семь кораблей, груженные юными рыцарями, отправились в путь. Два из них вскорости угодили в бурю и близ Сардинии нашли вечную пристань на средиземноморском дне. Оставшиеся пять прибились к берегам Египта.

Владельцы судов продали детей в рабство. Правда, кое-кого из этих негодяев потом, тогдашней правды ради, повесили.

В Германии в те же времена случилось похожее. Но об этом не стану, потому что французский почин по выполнению «интернационального долга», понятого тогда, в начале тринадцатого, почти по-нынешнему, для нашего сюжета сейчас важнее. Замечу: всем, кто чудом уцелел, этим маленьким тот же папа дал отсрочку до совершеннолетия. Так сказать, отложил призыв на действительную...

Вот и вся история в ее, как сказали бы теперь, цифрах и фактах. Но... тридцать тысяч!

Помните? Фридрих Шлоссер в своей «Всемирной истории», зная это и несмотря на это, патетически отметит: «Сколь могуче и всеобъемлюще было религиозное воодушевление, свидетельствует удивительный крестовый поход детей...»

В зазоре меж «всеобъемлющим воодушевлением» и суховатой хроникой, собственно, и должен поместиться мой комментарий, никоим образом не предназначенный исчерпать многомерное пространство повести Ежи Анджеевского,— его наш читатель должен хорошо помнить по «Пеплу и алмазу» вкупе с Анджеем Вайдой, создавшим киноверсию этого романа. Впрочем, столь же полно относится этот продуктивный артистический союз и к «Вратам рая».

Пусть об этом скажут они сами.

Из записей Ежи Анджеевского (от 26 ноября 1957 года):

«Вайда сказал, что хотел бы когда-нибудь сделать фильм по мотивам крестового похода детей. Придется мне в ближайшие дни посмотреть, какие есть материалы, касающиеся этих событий». Далее пересказывается заметка из Ларусса о пастушке из

---

[1] Повесть Ежи Анджеевского «Врата рая» опубликована в этом же номере, стр. 85. *(Прим. ред.)*

Клуа близ Шартра, о немецком мальчике Николасе, о том, что сталось с детьми. А в конце записи: «Какой захватывающий сюжет!»

Иной интерес, не исторический, захватил Анджеевского. Повесть пишется быстро — всего за месяц (сентябрь 1959 года). Он сам сочиняет и сценарий для Вайды. Режиссер излагает его так: сценарий Анджеевского «более политический, нежели религиозный... В нем показано духовенство, стоящее перед выбором: отправлять ли детей на верную смерть или уберечь их. Но они не думают о принципах морали... Дела церкви важней. Они готовы принести детей в жертву. Зато эта жертва всколыхнет мстящий гнев, а гнев — сила». В повести этого нет. Нет также и того, что есть в некоторых хрониках: а не дьяволово ли это дело?

В Польше фильм снимать не разрешили. Вайда снял его в Югославии спустя восемь лет после опубликования «Врат рая».

Однако богоугодная цель — Иерусалим, гроб Господень, невинные души, которые, может быть, обратят на путь истины мусульман,— в повести живет, свидетельствуя о прошлом; но более — о веке XX в его трагических сколах и срезах: с его Освенцимами и Треблинками, тоталитаристскими неправдами во имя «светлого будущего», у себя ли в стране или в ближних странах, когда жизнь одного, тысяч, миллионов — небыль и прах. Ничто.

Достоевская «слезинка ребенка» и в самом деле — пустяк среди бессчетно убиенных.

Все крайне современно. И тогда средние века только повод? А может быть, зловещий отсвет из дня нынешнего в тьму минувшего? И тогда, может быть, история и впрямь преподаст нам какой-нибудь особый урок, противясь пусть благой, но все-таки модернизации?

Восстановим исторический контекст, проследив за взором очевидцев событий восьмивековой давности.

Каким видится им четвертый поход взрослых дядь, незадолго до похода их детей и внуков? Во что претворялось это самое воодушевление? Проглядывает ли синева небес в телесном и плотском?

Рауль Канский:

> Всякий рыщет за тем, в чем имеет нужду...
> Одежды — нагой, жаждущий — чашу к вину добывает,
> К сокровищам алчный спешит...
> Душит старцев один, другой отбирает младенцев,
> Многих заботит, как бы из мочек ушей, украшенья повырвать.
>
> *(«Деяния Танкреда»)*

Только материальное, способное сгодится в дело!

А теперь пусть говорит Никита Хониат, наблюдавший братьев-христиан, когда они разрушали ничуть не менее христианский Константинополь:

«Целыми днями латиняне пировали и пьянствовали. Одни налегали на изысканные блюда, другие приказывали подавать себе пищу отцов, которая состояла из разваренных в котле бычьих спин, кусков свиной солонины, сваренной с мучнистыми бобами, а также чесночных приправ и соусов из различных соков, острых на вкус.

Когда же они делили добычу, не было для них разницы между мирской утварью и священными сосудами: равным образом все использовали они для своих плотских нужд, не заботясь ни о боге, ни о правосудии. Даже из божественных изображений Христа и святых они делали сиденья и скамейки для ног» («История»).

Что латинянин Рауль Канский, что византиец Никита Хониат — и тот и другой равно объективны. Но византиец идет дальше: даже священные предметы — и те для практической пользы. Духовное приспособлено для ублажения усталого тела, добредшего до цели, спервоначалу возвышенной и одухотворенной в славословных «агитках» духовников, всевластных над душами и телами послушных мирян. Коржавость небес в наждачной шершавости земного...

И тогда «Врата рая», может быть, и в самом деле врата «в натуре» — с засовом, с обитыми жестью (если уже была тогда жесть) уголками, с Петром-ключником, у которого вполне настоящие ключи от вполне обжитого рая? И священный город Иерусалим — тоже земной и настоящий, а Иерусалим как идея и мечта — где-то там, за поворотом? И сарацины — те самые, из I века, супостаты Христа, хотя точно известно, что они из начала XIII? Но времена спрессованы в миг настоящего в предстоянии будущего (вечного). (Этот сдвиг времен хорошо исследовал Арон Гуревич, толкуя в книге «Категории средневековой культуры» о чувстве времени в европейские средние века).

А дети? Чем они не те же взрослые, столь же земные и столь же грешные?! И здесь мы совсем близко подошли к тому, что отличает эту повесть от прямых претворений истории в повод для скорого и немудрящего сведения счетов с современностью.

Но прежде — поэтика фразы в ее синтаксическом невероятии.

Поразительно: достаточно пространная повесть ушла в одно предложение, вместившее многие жизни, прихотливые судьбы, трагические перекрестия земных чувств и небесных упований, перекликания внутренней и внешней речи взаимодействующих и взаимно слушающих персонажей; а если точнее, реальных людей, живущих в одном времени и в одном пространстве — в турбулентном, но и не выходящем все же из своих берегов потоке сознания — потоке жизни. Нескончаемая кантилена поступков, поступей, жестов, облаченных в слова, и слов, облаченных в действия. Но в странной неразличимости слов и дел; реалий и иносказаний, сакральных уподоблений этих реалий. Средневековая непрерывность сознания и вовсе не средневековая его нерасчлененность на земное и небесное, его сплошность. И тогда жизнь — вся естественна; для сверхъестественного места не остается. А это уже иные — не средневековые — времена. Новые времена.

Внимательный читатель поправит, обнаружив еще одно предложение в этой повести: «И они шли целую ночь». Но именно это короткое предложение оформляет неоформляемое: одевает в гранит времен и круже-

во пространств поток жизни, делает ее предметом обдумывания, в ходе медленного, а может быть, и неоднократного чтения этой трудной, как и сама жизнь, повести.

Сполохи удивительно точных метафор высвечивают кромешную ночь движущейся толпы с ее художественно предусмотренной неразличимостью: «шарканье двух с лишним тысяч ног»; «плотное скопище светлых и темных детских голов»; «громадное ослепшее стадо, ослепшее потому, что никто в толпе не видел ни неба, ни земли, ничего, кроме голов и плеч идущих впереди»...

И в самом деле: кресты, хоругви и образа сливались в одно целое с несметным множеством голов. Не различались даже святыни.

Таков исходный материал.

Из средних ли это веков? И да и нет.

Принято считать: человек средневековья чужд каким бы то ни было новациям. Ведь все раз и навсегда дано. Он — как все, как хорошо пригнанная деталь слаженного механизма: или, говоря в терминах живого, особь в стаде. Это — очевидно, если только оставить не раскрытыми, а лишь названными привычные характеристики средневекового человека.

Растворенный в субъекте коллективном, средневековый человек проявляет свою особость лишь постольку, поскольку ощутил себя частицей субъекта всеобщего. Только тогда собственный вклад в дело личного спасения приобретает характер общезначимого и вместе с тем особенного. Привносится свой узор в общий рисунок ковра, который *ткут* все ради всех. Средневековый человек ищет опоры в традиции. Ему, обретшему свое маленькое *свое*, жизненно необходим авторитет соборности. Такое оказывается возможным в условиях жизни христианства как религии *коллективного спасения*.

Но *Собор* — не толпа. Это тоже индивид, только всеобщий, тождественный богу — индивиду индивидов, личности личностей. Тогда *коллективное спасение* в христианстве есть *спасение* глубоко личное. Тогда же осознание себя в авторитариой традиции есть личное, индивидуальное дело. Дело индивида—личности.

Вот почему стадо, не видящее ни неба, ни земли,—образ для средних веков неточный и потому — не для средних веков, а для несметных скопищ населения, обработанного харизматическими вождями-гипнотизерами не из тринадцатого, а из двадцатого столетия. Даже если это сонмы детей—живых, но, по Анджеевскому, еще не одушевленных тел.

Столь же радикальному переосмыслению подвергается незыблемая христианская триада — *Вера, Надежда, Любовь.*

«...всемогущий Боже, которого никогда не было и нет... существующий лишь потому, что существуют наши несчастья». Они, человеческие страданья, реальны только в этой жизни — вне посмертного воздаяния.

Если другая жизнь отринута, иной предстает и надежда:

«...не ложь, а правда сокрушает надежду».

Автор настойчиво повторяет, варьируя на разные лады, это свое открытие, словно пригоняя его почти к заклинательному автоматизму.

Но ложь — еще разного рода иллюзии, иносказания, провиденциальные видения. И тогда, при сомнении в существовании Бога (относительном безверии), надежда— сама из области видений помраченного разума:

«...мою руку направляет не Бог, а призрачная надежда, будто в юности можно отыскать смысл и порядок мирского бытия».

Но юность здесь — дети: обездушенные, похотливые, грешные. Они порочны всю эту длинную ночь, которой предшествовала столь же темная, но только еще не выявленная, сокрытая до часа исповеди, жизнь.

Стало быть, в жизни без веры нет и надежды. Но потребность в надежде неизбывна. Она, эта потребность, и есть последняя надежда.

И наконец, то, ради чего все христианское жизнедействование — Любовь. Она же — «торопливость и ожиданье». Но любовь не к богу и даже не к ближнему. К телу, похоти, вожделению устремлено это великое чувство, ставшее желанием, страстью, алчной в их бездуховной материальности, ибо «удовлетворенное желание порождает сотню новых».

Так все фундаментальные категории средневековой христианской духовности предстают у Анджеевского десакрализованными. Вера, Надежда, Любовь восстают из повествовательной плоти призраками, но плотскими призраками — в мертвенно-телесной плотности. Они — привидения; видения в духе средневекового реализма. Охранить и спасти человека — сирую былинку — они уже не могут. А в парадигму человеческого самостоянья — Свободу, Равенство, Братство — они еще не пресуществились, потому что до нового поворота в истории европейского свободомыслия еще далеко — едва ли не шесть веков.

К тому же и автор «Врат рая», писатель XX столетия с его чудовищными геноцидами, достаточно поколеблен в надежности этой революционной триады, но ее можно, вновь поверив, вновь и полюбить.

А пока — лишь выцветшие видения...

И промельков таких видений в повести немало. Они — слабые блики в крестоносной темени описываемых времен (как мы бы сказали сейчас — эпохи развитого феодализма). Их необходимо отметить как очень важную особенность поэтики Анджеевского.

Но прежде: что же такое видение как жанр литературы времен крестоносцев?

Видение назначено в сиюминутном полнокровии настоящего заставить лицезреть чаемое будущее, быть которому вечно сияющим («зияющим»?), и никаким иным.

Настоящее же — мерзкое и отвратительное — встраивается в сюжет сна и потому как бы становится литературно дозволенным, обретая очертания универсальных форм зла в единоборстве с добром.

И в этом его — может быть, единственная — польза. Отсвет надежды.

А что в повести? «...Лишь перед теми, чьи мысли чисты и поступкам сопутствует чистота, могут открыться врата Иерусалима». Но перед теми, чья любовь плотски

темна, врата Иерусалима закрыты, причем собственноручно теми, кто темен.

И тут же: «...высочайшее назначенье — далекий город Иерусалим и в нем — одинокий Иисус Христос, который — и это позор всех христиан и несмываемый позор каждого христианина — долгие годы пребывает в руках нечестивых турок».

И что же? Чистый и нежный! Бери в руки оружие и выходи на нечестивых: грабь, громи, убивай!

Натуральность видения трансформирует его в лозунг, призыв, кликушество. И тогда богоугодное — в замысле — шествие превращается в «поход... безумия и лжи».

Первородно средневековое обращено в безродно нынешнее, близкое, недавнее, могущее случиться в сей миг в Пномпене, Фергане, Сумгаите, на стадионе в Сантъяго, Куропатах, Бабьем Яре, Гернике — везде...

При этом оправдание злодейства предельно просто. «...Я совершил это страшное злодеяние,— объясняет один из старших,— поскольку, исполненный веры, и надежды, считал, что если на нас плащи крестоносцев и мы дали обет пожертвовать всем ради освобождения гроба Христа из-под ига неверных, то и все, что мы делаем, правильно и необходимо, ибо служит этой единственной и высочайшей цели». И вера и надежда здесь не христиански средневековые. Модернизирована и сама фигура оправдания. Телесность не одухотворена, а дух приземлен, материализован.

Иерусалим географически натурален [1]. Речь об Иерусалиме духовном, утраченном крестоносцами «Врат рая». Это и есть самое непоправимое сокрушение надежды — без веры и без любви. Все в этой повести — иное, не средневековое, потому что выведено в день нынешний, а минувший — средневековый — только повод?

Неужели только повод и ничего больше? Не слишком ли бедно поступил автор с таким многосмысленным материалом? Неужто лишь в этом только и состоит человеческая надоба в истории?..

Еще раз перелистаю повесть для уразумения вместе с читателем еще одной — может быть, самой важной — особенности поэтики Анджеевского, романиста XX столетия, в виду приближающегося завершения этого столетия.

Эпицентр повествования — исповедь и покаяние всех участников похода перед лицом неминучей... И прежде всего — пятерых из этого несовершеннолетнего воинства: Жака из Клуа, Алексея Мелиссена — единственного не из Клуа родом, Бланш — дочери колесника, Робера — сына мельника, Мод — дочери кузнеца.

Всеобщая исповедь?.. Полнейшая бессмыслица — с точки зрения христианских средних веков, потому что исповедь — глубоко личное, в высочайшей мере интимное таинство. А покаяние как ее фермент — тем более во много раз. А здесь она всеобщая, на виду и на слуху, с ослабленным, вымороченным покаянием.

«...Добрый милосердный Боже...— плачет дочь кузнеца,— не любовь к тебе повелевает идти к твоему далекому гробу, нет, иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела».

До покаяния—всецелого и полного—еще далеко. Да и будет ли? Быть ему несостоявшимся, потому что любовь телесная и есть для нее вся любовь целиком.

Не состоится и исповедание — и не только потому, что оно всеобще. Оно не состоится по той же причине: любовь здесь *только* земная.

Но... в повести как чаянии одинокой души есть и такое: «...усилие должно быть внутри тебя». И здесь же, неподалеку: «...если я существую, то лишь затем, чтобы, нелюбимый сам, всем собой утверждать потребность в любви».

Но какой любви? К богу, ко всем. Любви формотворящей, образующей того, кто любит, утверждающей его в его бытийственной жизненности перед лицом смерти.

И жизненной почвы в повести предостаточно. Есть почти все для самостояния личности. Почти... На чем стоять — есть: Земля. А стоять — некому, потому что пружина — «внутри тебя» — ослабла. Усилие изошло. И потому — мреет и влечет иная исповедь, иной ее автор и ее субъект: тот, с которого и начинается во всей своей полноте человек христианской культуры — человек в исповедальном жанре, поэт и плакальщик по себе самому, философ и конструктор самого себя, блаженный Августин, епископ из Гиппона, к XIII — кризисному для средних веков — веку зыбко вспоминающийся. Повесть Анджеевского — вся из нашего дня, а смотрит в еще более ранние, чем время ее героев, дни: в IV—V века — в начало средневековой жизни.

Вернемся и мы к этому началу — вслед за неясными томлениями детей земли, страждущей плоти, нагой похоти и фанатического чада.

«Господи... ты обращал мой взор на меня самого»; «Ты извлек меня из-за спины моей, куда я давно запрятал сам себя, не желая внимать себе»; «Ты поставил меня теперь лицом к лицу самого перед собой, чтобы я разглядел свою мерзость, уродливость и нечистоту, свои пятна и язвы»; «...наг стоял я перед самим собой...»

Вывести себя из себя самого; поставить себя самого себе же на вид; объективировать себя для собственных глаз — услышать себя же собственными ушами. Стать хорошим — очень хорошим — совсем хорошим. То есть начать подлинно *быть*. Но в мучительном борении с самим собой обрести это подлинное бытие: «...велась страшная борьба, на которую я вызвал свою душу». Взор пристальный и неумолимый — на самого себя, в собственную душу. Исход схватки с самим собой — только в тебе самом!

---

[1] Это не Иерусалим еврейской диаспоры с ее веселым и эйфорически обнадеживающим — «Встретимся в Иерусалиме». Евреи, встретившиеся в Иерусалиме географическом, осуществив свои эмигрантские упования на «историческую родину», уже не смогут сказать друг другу двухтысячелетнее «Встретимся...». Душа этого народа, творчески вольная лишь в мечте о вечном городе как регулятивном принципе (если выразиться учено), навсегда оставит этот народ. Это будут уже иные — «оседлые» — евреи, утратившие свою культурологическую особость и тем самым обеднившие многонациональный узор Земли еще на один завиток.

А где все иные? Во вне только Бог. К нему и обращен голос Августиновой мятущейся души: «Господи, доколе ты все гневаешься? Перестань вспоминать наши прежние неправды!»

Исповедальное слово мучительно. Оно — речь неуравновешенного сознания; но оно же организует хаос сознания, вносит в него порядок и строй, лад и гармонию культуры: средневековой и всей европейской культуры, преодолевающей смертность конечной человеческой жизни представленностью ее в недвижности и самодостаточности вечности — в блаженном ужасе Страшного суда. Самосознание личности — самосознание культуры... Их отождествление — чаяние и мучение августиновского человека на рубеже языческой и христианской эпох, трудно вышедшего из самого себя собственной, сознательной волей.

«Всеобщая исповедь» «Врат рая» площе, потому что она вовсе не интимна и вызывающе телесна. А может быть, поэтому же она ближе к нашим временам?

Но... две удивительно августиновские фразы — «усилие должно быть внутри тебя» и равное истошному «Доколе?!» обращение исповедника к детям, несущим крест: «Милые мои дети, поверните, пока не поздно, назад и возвращайтесь домой...» Теперь уже вовне не только Бог, но все ближние, ставшие близкими.

Так уплощенная и упрощенная христианская триада — Вера, Надежда, Любовь,— зато адаптированная к дню нынешнему, настоятельно требует восстановления собственного начала: исповедального слова как слова авторского в полнокровии и полнозвучии всех средневековых моральных максим, пережитых лично и потому ставших нравственными. И это, при исторической дальности Августина, оказывается действительно актуальным для разъятого сознания человека кануна третьего тысячелетия, обязанного, если только он хочет выжить, собрать самого себя в Человека мучительно цельного, в его томлении и тоске по самостоянию — здесь, на этой земле.

Правда и в самом деле сокрушает надежду. Зато поразительно точная метафора Ежи Анджеевского — «беспомощен, как слеза» — уже неприменима к тому, кто лично выстрадал правду об этой *правде*.

◆

ЖИЛЬ ПЕРРО

КРАСНАЯ КАПЕЛЛА*

Документальный роман

Перевод с французского В. ЖУКОВОЙ

Часть I

Разведывательная сеть

Пост подслушивания в Кранце был предназначен для перехвата подпольных радиопередач. В ночь с 25 на 26 июля 1941 года дежурный, как обычно, настроил свой приемник на частоту норвежского передатчика. Однако вместо норвежских позывных радист записал неизвестные группы знаков: KLK от PTX, KLK от PTX, KLK от PTX. Затем было передано сообщение из нескольких цифрогрупп. Дежурный составил донесение о том, что обнаружена новая подпольная радиостанция, и указал, на какой частоте ведутся передачи. Так началась история, которая превратилась в подлинный кошмар для рейхсфюрера Гиммлера и адмирала Канариса, начальников двух немецких секретных служб, история, из-за которой Адольф Гитлер 14 мая 1942 года вынужден был признать: «Большевики сильнее нас только в одном: в области шпионажа». Хотя в то время фюрер не знал и о сотой доле грандиозных дел, совершенных «Красной капеллой».

Начало пути

Герой этой истории Леопольд Треппер, польский еврей, родился 23 февраля 1904 года в местечке Новы-Тарг, неподалеку от Закопане. Его отец, коммивояжер, работал до изнеможения, чтобы прокормить семью, где было десять детей. Надорвавшись, он умер, когда Леопольду еще не исполнилось и двенадцати лет. Поскольку мальчик отличался редкой живостью ума, родственники решили сделать все, что было в их силах, лишь бы помочь его продвижению по социальной лестнице.

В то время в Польше в силу вековых традиций антисемитизм был распространенным явлением; страна находилась под сапогом военной диктатуры, обескровленная войной и экономическими встрясками. В столь неблагоприятных условиях надежды Трепперов могли не оправдаться. Словно пассажиры плота Медузы, они готовы были пожертвовать последними крохами одному из собратьев, лишь бы он, набравшись сил, сумел подняться на вершину мачты.

Леопольд учился во Львове, затем поступил в Краковский университет, где слушал курсы лекций по истории и литературе. Тогда, в восемнадцать лет, он еще верил, что перед ним прямая дорога, ведущая наверх. Получая небольшую стипендию и скромную денежную помощь от семьи, Треппер кое-как сводил концы с концами. Профессора были им довольны. Через год Польшу поразил новый экономический кризис, и уделом краковского студента на долгое время стала борьба с голодом. В этой борьбе Голод победил.

Студент оставил учебу и стал каменщиком, затем слесарем. Кризис добрался даже до мастеровых, и, соскользнув по «мачте» вниз, юноша оказался на земле и даже под землей: в катовицких шахтах. Два года спустя он выбрался наверх и стал чернорабочим на литейном заводе в Домброве. Но по-прежнему голодал. Вся Домброва голодала. Рабочие, доведенные нищетой до отчаяния, взбунтовались, но польские уланы очень быстро усмирили их. Одного из организаторов движения протеста звали Треппер. Его арестовали и бросили в тюрьму. К тому времени Леопольду исполнилось двадцать два года и он по-прежнему голодал.

Одна из фотографий подпольной коммунистической ячейки, к которой принадлежал Треппер, уцелела, несмотря на полицейские, а затем и гестаповские обыски. Человек десять совсем молоденьких, наголо остриженных парней с непроницаемыми лицами. На фотографии все похожи друг на друга, все одержимы единой страстью, и эта одержимость придает их чертам одинаковую суровость. Непримиримые и потерявшие надежду. Если бы группа этих бритоголовых была одета в летную форму, а не в кургузые куртки, их можно было бы принять за японских камикадзе. Треппера легко найти на фотографии. Даже после того, как годы и пережитое изменят это лицо и придадут ему

* Журнальный вариант.

гранитную твердость, его все же можно будет узнать по светло-серым глазам. В таких глазах можно прочесть и непоколебимую решимость, и неожиданную нежность.

Треппер провел восемь месяцев в застенках диктатора Пилсудского, где пытки, которым подвергались члены коммунистической партии, превосходили в изуверстве те, что будет применять гестапо, — самой обычной из них была пытка водой, заимствованная из средневековья; затем Треппер был освобожден — его даже не удосужились отдать под суд. Он уехал в Варшаву. Четыре первых буквы названия Домброва он «увез с собой». Домб — это будет его псевдоним на ближайшие десять лет. Позднее он станет «Большим шефом» — так станут называть его товарищи и агенты гестапо.

В Варшаве для юноши, который принимал участие в домбровском мятеже, никакой работы не нашлось. Он стал добиваться иммиграционной визы во Францию, однако в этом ему было отказано — французские власти вовсе не горели желанием принять у себя рабочего-бунтовщика. Но Треппер понимал, что жить в Польше он уже не сможет; здесь его ничего не ожидало, кроме голодной смерти.

Организация «Гехалуц» была его единственным спасением. Он постучал в ее двери; ему открыли, и наконец Трепперу удалось выбраться за пределы Польши. «Гехалуц», сионистская организация, финансируемая богатыми американскими евреями, оказывала помощь собратьям, эмигрирующим в Землю обетованную. Палестина еще находилась под властью англичан, и им преотлично удавалось запрещать въезд в страну массе обездоленных, которым через несколько лет суждено будет принять смерть в печах Освенцима, — правда, в то время англичане, конечно, не могли предположить, что этим людям уготована такая участь.

«Гехалуц» занималась отбором тех счастливчиков, перед которыми английские власти ежегодно приоткрывали двери Земли обетованной. Как истинные американцы, финансисты из «Гехалуц» следовали принципу рентабельности и потому борьбу с коммунизмом стремились сочетать с активной сионистской деятельностью. Таким образом предпочтение отдавалось кандидатам, которые казались легкой добычей для вербовщиков организации. Леопольд Треппер, обманувшийся в своих честолюбивых надеждах, с грузом тяжелого прошлого и неопределенностью в будущем, подходил им со всех точек зрения. Ему предоставили кое-какую денежную помощь и посадили в поезд, который через Вену и Триест прибыл в Бриндизи, откуда пароходом Треппер отправился в Палестину. Тогда ему было двадцать четыре года, и он не предполагал, что Голод последует за ним и в это путешествие.

Он снова обрел этого верного спутника, ступив на пристань Хайфы. Сначала Трепперу пришлось дробить булыжники для мощения дорог, затем стать сельскохозяйственным рабочим в киббуце. Самой приятной должностью, которую он занимал в Палестине, было место ученика на заводе электроприборов.

Казалось, жертвы семьи Трепперов были напрасны и Леопольду никогда не подняться на вершину мачты. Но по некоторым сведениям в 1929 году он стал членом Центрального комитета Коммунистической партии Палестины, и, значит, не родственники его, а финансисты из «Гехалуц» зря потратили свои доллары...

Как бы то ни было, детищем Треппера стала группа «Единство». Убежденный коммунист, он стремился добиться единства действий евреев и арабов в борьбе против английских оккупантов. В 1930 году полиция добралась до Треппера и его людей, бросила их в тюрьму. Предупрежденный о том, что арестованных собираются выслать на Кипр, Треппер организовал голодовку протеста. Сначала к этой акции не отнеслись всерьез, но участники голодовки не сдавались. Английская пресса подняла шум, были сделаны запросы в палате общин. Представитель британской короны в Палестине решил освободить узников, причиняющих столько неприятностей. Поскольку они так ослабели от голода, что не могли идти, их на носилках вынесли за ворота тюрьмы и оставили там.

Через несколько недель Треппер нелегально переправился во Францию. Он был мойщиком посуды в одном марсельском ресторане, затем переехал в Париж, где устроился маляром. Этой работе суждено было стать последней в длинном ряду случайных ремесел , за которые приходилось браться Леопольду Трепперу. Настал момент, когда он обрел свое настоящее призвание. Будущий Большой шеф делал первые шаги на новом поприще.

В то время во Франции действовала советская разведывательная сеть, которая отличалась большой эффективностью при поистине поразительных по простоте методах работы. В своей деятельности она опиралась на систему рабкоров — советский термин, означающий «рабочий корреспондент». Идея принадлежала самому Ленину. Революция обрекла на изгнание большинство русских журналистов — выходцев из буржуазных кругов, и за неимением профессионалов, которые могли бы их заменить, к этой работе стали привлекать дилетантов. В деревнях, на заводах простые труженики стали выступать в роли самодеятельных корреспондентов и заполнили советские газеты статьями, посвященными местным проблемам, и разоблачительными материалами о предателях и саботажниках. Органы внутренних дел использовали эти материалы в своих интересах. По тому же принципу была организована работа за рубежом, но в данном случае эту систему в своих целях использовали советские секретные службы.

В 1929 году во Франции насчитывалось три тысячи рабкоров; некоторые из них работали на французских военных предприятиях или на заводах, выпускающих продукцию стратегического назначения. Статьи, которые они посылали в коммунистические печатные органы, разоблачали тяжелые условия труда на предприятиях, но для этого поневоле приходилось рассказывать более или менее подробно о работе как таковой. Статьи, содержащие наиболее полную информацию, не публиковались. Их передавали советскому посольству в Париже, откуда они попадали в Москву. Если сообщение казалось особенно интересным, к

рабкору посылали агента, которому он мог рассказать все, что знал.

Эта эффективная система работала безотказно в течение трех лет. В феврале 1932 года кто-то донес о ней французской полиции. Несмотря на такую удачу, комиссару, занимавшемуся расследованием — у него была довольно смешная фамилия Фо-Па-Биде [1], — понадобилось более полугода для того, чтобы обезвредить сеть. В своих отчетах он не скупился на похвалы в адрес шпионов, которых ему предстояло арестовать. В частности, их шеф отличался исключительной способностью уходить от слежки и избегать «мышеловок», видимо, он располагал полным списком парижских домов, имевших два выхода. Доведенные до исступления, но восхищенные, полицейские дали ему прозвище «Фантомас». Когда его наконец поймали, оказалось, что это польский еврей, попавший во Францию через Палестину. Ему было двадцать восемь лет, и звали его Исайя Бир. Его двадцатисемилетний заместитель также был польским евреем, перебравшимся во Францию из Палестины. Его звали Альтер Стром.

Их профессиональная подготовка поразила французских полицейских. Арестованный «Фантомас» казался самым обыкновенным «человеком с улицы». Он жил в захудалом отеле, не получая никакой корреспонденции и никого не принимая. Контакты с организацией осуществлялись главным образом через молодую женщину, которую все считали его любовницей. Это был незамысловатый, но эффективный прием. Конспирация внутри группы была такой строгой, что это позволило большинству ее членов ускользнуть от полиции. В том числе Леопольду Трепперу, другу детства Альтера Строма. Работа с «Фантомасом» была для Треппера хорошей школой. Гестаповцы, которым через несколько лет пришлось вести за ним охоту, могли бы в свою очередь найти немало полезного для себя в досье, собранном Шарлем Фо-Па-Биде, но, судя по всему, они туда не заглядывали. Они знали, кто такой Леопольд Треппер, но о существовании Лейбы Домба даже не подозревали.

Трепперу было двадцать восемь лет, когда он, прыгнув в поезд, ускользнул из ловушки, расставленной полицией. Приехав в Берлин, он сразу же установил контакт с советским посольством. После нескольких дней ожидания ему было приказано отправиться в Москву поездом; по прибытии на станцию назначения он должен был, оставаясь в своем купе, дождаться, пока схлынет поток пассажиров: за ним придут. Так и произошло. Треппер не представлял себе, какое будущее ему уготовано, но, без сомнения, надеялся очень скоро получить новое задание. Он прождал его четыре года. Несмотря на свое богатое событиями прошлое, целую серию пережитых испытаний, несмотря на опыт работы под началом «Фантомаса», для Москвы он все еще оставался не более чем многообещающим подмастерьем.

Через восемь лет после того, как он покинул Краковский университет, Треппер вновь сел за парту.

[1] Спотыкающаяся лошадка *(франц.)*. *(Прим. перев.)*

Так прошла первая часть жизни Большого шефа. Мы бегло изложили ее, переносясь из Польши в Палестину и из Парижа в Москву — так переходят речку, перескакивая с камня на камень.

Но рассказать вкратце о двадцати годах жизни человека проще, чем донести до читателя во всей полноте и подлинности какую-нибудь четверть часа из этой жизни. Возьмем, к примеру, то памятное мгновение, когда Треппер встретил Жоржи де Винтер. Это произошло в Брюсселе в 1939 году. Жоржи — дочь чрезвычайно безалаберного и очень красивого американца, являвшего собой нечто среднее между Гари Купером и Кэри Грантом. Он работал художником-декоратором в павильонах студии «Парамаунт» в Голливуде и осваивал актерское ремесло.

Вернувшись с матерью в Бельгию, Жоржи живет как типичная девушка из хорошей семьи, обучается классическому танцу. Ей двадцать лет, и она очень хороша собой. По фотографиям можно судить о ее великолепной внешности, осанке, блеске глаз, прекрасной фигуре. Через двадцать лет, когда оставшиеся в живых станут рассказывать свою историю, они будут вспоминать Жоржи как некий оазис красоты и свежести во время ужасного путешествия.

Трепперу в это время тридцать пять лет. Красивым его не назовешь. Довольно привлекательное лицо, хорошей формы голова, белокурые вьющиеся волосы и пронзительный взгляд, но роста он среднего и склонен к полноте. Его неотразимость — в другом, в сочетании силы и нежности. «Настоящий хозяин! — утверждает художник Билл Хоорикс. — Треппер обладал мощью и жизненной силой быка». «В нем ощущалось какое-то внутреннее напряжение», — дополняет типографский рабочий Миньон. Но мадам Кейри, служащая конторы, говорит: «Это был славный человек! Лучший из людей!» А писатель Клод Спаак отмечает: «Он был бесконечно добр к людям». Треппер обладает внутренней силой, которая успокаивает и ободряет. В его присутствии все становится проще. Он бы мог быть великолепным духовником.

Жоржи входит в кондитерскую. Расплачиваясь, она роняет перчатки. Треппер быстро наклоняется и подает их. Его предупредительность нравится ей, разговор вызывает интерес, и она соглашается увидеться с ним еще раз.

Они встречаются. Жоржи, разумеется, видит в Треппере только делового человека, за которого он себя выдает и на которого действительно похож. Могла ли она подозревать, что этот приятный полноватый мужчина был когда-то бунтовщиком в Домброве, дробильщиком булыжников в Палестине, тайным сообщником «Фантомаса»? И откуда ей знать, что он приехал из Москвы, и тем более, что он там делал?

А действительно, что?

С 1932 по 1934 год он учится в университете Мархлевского [1]. В 1935 году ведет рубри-

[1] Коммунистический университет национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского — с 1921 по 1936 г. готовил политические кадры из представителей западных национальностей, населяющих СССР. *(Прим. перев.)*.

ку по проблемам культуры в газете «Эмес», которая издается для русских евреев. Но в то же время он является слушателем военной академии, где генерал Орлов читает специальный курс будущим разведчикам.

В 1937 году друг Треппера Стром, входивший в группу «Фантомаса», приезжает из Франции, отбыв срок тюремного заключения. Он ставит под сомнение признанную версию событий, приведших к уничтожению сети. По всеобщему убеждению, виновником провала был некий Рикье, редактор газеты «Юманите». Но Стром заявляет, что не уверен в его предательстве, и предлагает послать Треппера в Париж, чтобы прояснить обстоятельства дела. Через пять лет после бегства из Франции Треппер возвращается в Париж с поддельным паспортом на имя Соммэ. Выдавая себя за родственника Строма, он прежде всего встречается с двумя основными адвокатами на том процессе: с Ферручи и Андре Филипом, известным деятелем социалистической партии. Затем он проводит досконально расследование и через несколько месяцев приходит к убеждению, что Рикье невиновен. Это имеет большое значение, ибо с коммунистической партии снято обвинение в том, что она пригрела на своей груди доносчика. Но Треппер делает значительно больше: он находит настоящего предателя. Им оказался голландский еврей, бывший руководитель советской разведывательной сети в Соединенных Штатах. Этот человек, арестованный и завербованный ФБР, продолжал поставлять информацию американским службам даже после того, как Москва перебросила его во Францию. Сигнал, полученный французской полицией, исходил от ФБР. Треппер едет в Москву с отчетом, но на этот раз использует люксембургский паспорт на имя Майериса. Он сообщает своим шефам, что в Париже продолжается сбор документов для окончательного установления истины. Через пять месяцев он возвращается во Францию и вывозит из страны толстую связку бумаг. Это фотокопии писем, которыми обменивались голландец-предатель и американский военный атташе в Париже.

Делец, которого Жоржи встретила в брюссельской кондитерской, находится в Бельгии для того, чтобы организовать здесь подпольную сеть, и на этот раз он станет ее шефом, Большим шефом.

Они встречаются, нравятся друг другу. Это могло бы стать красивым началом, даже если неизбежен ужасный конец. Но Жоржи, при всем своем изяществе, уже на пятом месяце беременности по вине улетучившегося любовника. А Треппер, при всей своей доброте, готов предать Любу, подругу дней суровых. Он повстречал ее в Палестине. Люба была членом группы «Единство». Они однолетки; так же как Треппер, Люба — польская еврейка, их юность окрашена в одинаково черные тона: нищета, подпольная борьба в Польше. В то время, когда он еще верит, что сможет подняться на верхушку мачты, она работает на шоколадной фабрике, а по ночам учится, собираясь стать учительницей. Активистка коммунистического движения, Люба является членом ячейки, которой руководит совсем юный парнишка Ботвин. В то время некий польский агент-провокатор провел ряд операций по разгрому подпольных коммунистических организаций. Были подготовлены два покушения на него, но оба потерпели неудачу. Тогда еврейская ячейка Ботвина решает свести счеты с провокатором, и ей это удается. Люба вынуждена бежать в Палестину, где она работает вместе с Треппером. Во время одной запрещенной коммунистической демонстрации ее арестовывают, приговаривают к тюремному заключению, и только благодаря фиктивному браку с палестинским гражданином не высылают из страны. И наконец, чтобы попасть к Трепперу во Францию, она использует паспорт сирийского араба, выдав себя за его жену.

Согласитесь, что пара, закаленная в горниле таких испытаний, не вписывается в схему буржуазного водевиля с его пикантными адюльтерами. Впрочем, Треппер очень скоро представит Жоржи Любе. Он, видимо, конспиратор во всем, кроме любви. Но в данный момент он пока еще только поднимает перчатки в кондитерской, а Люба с двумя детьми ждет его в роскошной брюссельской квартире. Их первый сын родился в Париже в 1931 году, но родители, нелегально приехавшие во Францию, не смогли его официально зарегистрировать; второй сын родился в Москве в 1936-м. Их имена не известны ни одному из свидетелей, не указаны ни в одном документе. Ребенок, который сыграет определенную роль в этой истории, не имеет отношения ни к Любе, ни к Трепперу: это дитя, которое Жоржи еще носит в своем чреве.

Все исторические произведения, рассказывающие о деятельности разведок, обычно перенасыщены деталями и описаниями жизненных эпизодов. Это выглядит забавным парадоксом, если задуматься, что такого рода подробности труднее всего узнать. Так, например, большинство произведений, посвященных Рихарду Зорге, смело представляют нам детальный отчет о его действиях и даже мыслях; приводят слова, которые он произнес в тот момент, когда находился с любовницей, описывают жест, которым сопровождал ту или иную фразу.

Сравнение с Зорге здесь не случайно. В 1939 году, когда Треппер создает свою организацию в Бельгии, сеть Зорге уже действует в Токио. Большой шеф скоро наверстает упущенное. По мнению всех специалистов в области шпионажа, с которыми консультировался автор, Треппер был равен Зорге во всем, что касается сбора важной информации, и был значительно сильнее его в организационной работе. Однако личные судьбы этих двух мэтров шпионажа совсем не похожи. Судьба Зорге абсолютно прямолинейна: он шпионил, был арестован и повешен. А у Большого шефа все сложилось по-иному...

«Странная война»

...Леопольд Треппер, он же Адам Миклер, приезжает в Брюссель осенью 1938 года. Он сразу же налаживает связь с Леоном Гроссфогелем, коммерсантом, евреем по национальности, с которым познакомился в Палестине. Гроссфогель — выходец из буржуазной семьи, несколько поколений которой прожило в Страсбурге. После короткой и романтической поездки в Палестину он снова занялся бизнесом, возглавив в Брюсселе торго-

вую фирму «У резинового короля», имевшую множество филиалов и занимавшуюся сбытом разнообразных плащей. Пламенный коммунист, Гроссфогель безоговорочно принимает предложение Треппера. Большой шеф располагает десятью тысячами долларов. Их вложат в экспортное предприятие, которое будет служить «крышей» для подпольной сети. Так появилась фирма «Форин экселент треч-коут», торгующая все теми же плащами. На должность директора принимают бельгийца лет шестидесяти, жизнерадостного, розовощекого толстяка с седыми усами, любителя вкусно поесть и выпить — Жюля Жаспара. Это великолепный ход. Жаспары — одна из крупнейших буржуазных династий в Бельгии. Брат Жюля был премьер-министром; в Брюсселе есть улица, носящая его имя. А он сам долгое время был бельгийским консулом в Индокитае, затем в Скандинавских странах. Фирма, во главе которой стоит такой человек,— вне подозрений. Само собой разумеется, добрейший Жюль Жаспар совсем не подозревает о тайнах, скрывающихся под его плащами.

1939 год уходит на организацию подпольной сети и отработку механизма ее деятельности. И когда разразилась вторая мировая война, Большой шеф уже мог выполнять приказы, поступавшие из России.

Март 1940 года — кульминационный момент в реализации условий германо-советского пакта. Гитлер и Сталин, объединив усилия, сломили Польшу и теперь налаживали деловое сотрудничество. Сотни тысяч тонн русского зерна были отправлены в Германию, восполнив перебои в обычных поставках, которые возникли в связи с морской блокадой, объявленной англичанами. Но значительно важнее русского зерна, русских фосфатов и хлопка — русская нефть. Это нерв блицкрига, главная забота командования вермахта. Чтобы Сталин не перерезал питательную артерию, протянувшуюся от Кавказских гор к немецким танкам, Гитлер приносит ему поистине неслыханные жертвы, если учесть, что к тому времени он уже принял решение о войне с Россией. В обмен на свои поставки Сталин получает артиллерию, истребители, бомбардировщики и бесчисленное количество станков. 30 числа того же марта месяца фюрер заявляет: поставкам военной техники русской армии надлежит отдавать приоритет даже по сравнению с заказами самой немецкой армии; он передает Сталину тяжелый крейсер «Лютцов» и собирается продать русским чертежи броненосца «Бисмарк», самого крупного военного судна в мире. В обмен на русскую нефть Гитлер поставляет оружие, сознавая, что в скором времени это оружие повернется против него. В истории отыщется немного примеров подобной «щедрости».

Русская нефть находится в Баку. Генерал Вейган — в Сирии, и с ним, как предполагают, сто пятьдесят тысяч французских солдат. По прямой линии Сирию от Баку отделяет тысяча километров. Вопрос: если Вейган решится на отважную операцию и двинется на Баку, чтобы разрушить там нефтяные скважины, найдет ли он в горах Карадага проезжую дорогу, которая позволит ему достичь цели?

Треппер, однако, может успокоить Кремль. Действительно, премьер-министр Даладье поручил генеральному штабу изучить вопрос о возможности нападения на русский нефтяной район. Но идею сухопутного рейда главнокомандующий Гамелен даже не рассматривает. Вместо этого он обращается к англичанам с предложением подготовить совместную морскую операцию и собирается направить французский и английский флот в этот сокровенный угол Черного моря. Для этого необходимо, чтобы Турция пропустила флот через Дарданеллы, то есть согласилась бы поставить на карту свой нейтралитет. Военные поручают дипломатам убедить турецкие власти. Когда части вермахта вступят в Париж, во французских архивах будет найдено досье этих неудавшихся переговоров.

Мы ничего не знаем о донесениях Большого шефа, относящихся к тому периоду. Судя по его последующей работе, которая нам хорошо известна, эти сведения должны были быть точны, документально обоснованы, исчерпывающи. Если когда-нибудь откроется доступ к кремлевским архивам, быть может, станет понятнее, почему происки достопочтенного Чемберлена долгое время внушали Сталину бóльшие опасения, нежели планы фюрера.

Планы, о которых в Москве почти ничего не было известно. Гестапо расправилось с Коммунистической партией Германии и парализовало деятельность советской разведки. Подписав договор с Гитлером, Сталин готов выполнить его условия: он запрещает создавать новую разведывательную сеть. Руководители советских секретных служб понимают, что, не подчинившись приказу, рискуют головой. Они нарушают его, но действуют осмотрительно. Ограничиваются созданием опорных точек для будущей деятельности.

Англия же, напротив, плотно «опутана» нитями Большого шефа. Он сам поселился в Брюсселе по юридическим и географическим соображениям. Бельгийское законодательство отличается чрезвычайной мягкостью по отношению к шпионам; наказание предусматривается лишь в тех случаях, когда их деятельность направлена непосредственно против Бельгии. А задача Треппера — с бельгийской территории подобраться к Британским островам. Это один из примеров характерной для русских секретных служб кропотливости в работе. Когда абверу понадобится проникнуть в тайны англичан, немцы просто-напросто сбросят над пригородом Лондона несколько несчастных агентов, которых англичане сразу же арестуют и повесят. Русские же прежде всего начинают стягивать вокруг противника свою широкую сеть. Весь 1939 год Треппер плетет паутину в семи крупных портах, связанных с Англией: Осло, Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге, Вильгельмсхафене, Остенде, Булони. В большинстве этих городов он создает филиалы фирмы «Форин экселент треч-коут», куда внедряет своих агентов. Связи Жюля Жаспара, бывшего консула в Скандинавских странах, в значительной мере облегчают дело.

Итак, Германия «чиста», а сеть Большого шефа работает против Англии. Советская разведка на Западе в это время напоминает считающиеся неприступными крепости-порты — Сингапур и прочие, — которые в скором времени будут взяты с суши, так как крепостные орудия могут стрелять только в

сторону моря. Фюрер уже принял решение бросить трехмиллионную армию против России, но все «батареи» Большого шефа, от Булони до Осло, нацелены на Лондон.

Короче говоря, плохое начало.

10 мая 1940 года вермахт начинает наступление на Западном фронте.

Для молодых нацистов прогулочный марш по территории Франции не был неожиданностью: фюрер обещал им его. Но Францу Фортнеру, ветерану Вердена и участнику других ожесточенных боев, он казался чудом. Лейтенант танкового корпуса Франц Фортнер за один час преодолел расстояние, на которое в прежней войне понадобилось шесть месяцев, к тому же полгода спустя захваченную территорию пришлось оставить. Его танк не вязнет в зловонных траншеях, а катит по шоссейной дороге с открытым люком, и командир греет на солнце свои старые раны. Всякая война непохожа на предыдущую, и на сей раз ощущается значительный «прогресс» по сравнению с тем, что было раньше...

Фортнер участвует в прорыве французского фронта, затем в стремительном продвижении к морю. Под Дюнкерком он получает чин капитана и становится командиром танковой роты. Его танки мчатся по дорогам, забитым пленными, догоняют толпы беженцев, которым приходится сбрасывать в кювет свои перегруженные тележки. В этом горестном людском потоке движется гражданский автомобиль, но на его крыше нет матраса, а в приоткрытом багажнике — птичьей клетки; вероятно, сидящие в нем пассажиры — не беженцы. Машина, между прочим, не удаляется от поля боя: она как бы сопровождает армейские части, проскакивая между танковыми колоннами, объезжая командные пункты, вырываясь на передовую вместе с транспортом, подвозящим горючее; машина попадает под обстрел то пулеметов немецкой авиации, то орудий союзников. Если бы Фортнер увидел этот автомобиль, обратил бы он на него внимание? Наверное, нет. Фортнер — боевой офицер, и его непосредственно не касаются проблемы безопасности. Пока не касаются. К тому же, когда полевая жандармерия останавливает машину для проверки документов, жандармы тут же вытягиваются в струнку и жестом показывают, что можно ехать. За рулем — Дуров, болгарский консул в Брюсселе; этот дипломатический представитель пользуется особым уважением, поскольку его страна заигрывает с Германией. Рядом с ним — Гроссфогель. На заднем сиденье — Большой шеф.

Между Кнокке-ле-Зут и Брюсселем, обгоняя колонну эсэсовцев, автомобиль выходит из строя. Чрезвычайно любезный полковник СС предоставляет в распоряжение консула Болгарии автомобиль и приказывает молодому лейтенанту перенести в него багаж трех пассажиров. Можно себе представить, как невозмутимо и одобрительно глядел Треппер на лейтенанта-эсэсовца, осторожно укладывавшего в багажник чемодан с радиопередатчиком...

Судя по всему, Дуров не имел отношения к разведывательной сети. Он был приятелем Гроссфогеля. Точнее, последний поддерживал деловые контакты с болгарином по фамилии Петров, который и познакомил его с Дуровым. Через несколько дней после вторжения немцев в Бельгию Гроссфогель поведал Дурову о своих коммерческих неприятностях. Филиал фирмы «У резинового короля» в Остенде разрушен немецкой бомбой, и он хотел бы знать, в каком состоянии остальные магазины. Дуров предлагает поехать и осмотреть их. Официально консул отправится в путь, чтобы узнать, какова судьба выходцев из Болгарии, находящихся в районе боевых действий. Странный человек, подвергающий себя смертельной опасности по пустому поводу...

В поездку отправились 19 мая, в самый разгар бельгийской кампании. Большой шеф, спаливший свой канадский паспорт, присутствует при седанском прорыве, затем наблюдает бой под Абвилем. Вместе с танками Фортнера он подъезжает к Дюнкерку, и на его глазах происходит сдача города. В кармане Большого шефа записная книжка, заполненная пометками. Особое внимание он уделяет передвижению подкреплений вермахта, роли, которую играют самолеты «Штука», тактике ведения танкового боя при штурме противотанковых сооружений противника. Когда трое приятелей завершат свою поездку, Большой шеф отправит в Москву донесение на восьмидесяти страницах о новой стратегии, разработанной и опробованной Гитлером: блицкриге.

Это донесение, как и все предыдущие, будет передано по назначению через советских дипломатов. Дипломатические чемоданы пока избавляют Треппера от необходимости использовать радиоканалы, но он предчувствует, что связь с Москвой в скором времени будет осуществляться только таким путем; именно потому в разгар боевых действий он и предпринял эту поездку: надо было забрать передатчик, спрятанный на одной из вилл в Кнокке-ле-Зут.

В тот самый момент, когда Молотов поздравляет Гитлера с «замечательным успехом вермахта», Большой шеф уже готовится к будущей войне Германии с Советским Союзом; по собственной инициативе он поворачивает свои батареи на сто восемьдесят градусов. Они будут теперь нацелены не на Англию, а на Германию.

После подписания перемирия с Францией немецкая армия обновляет свои ряды и удаляет старых офицеров из фронтовых частей. Сорокасемилетний Франц Фортнер вынужден расстаться со своими танками. Его переводят в абвер, и он получает назначение в Бельгию, в контрразведку. Главным противником, конечно же, считается «Интеллидженс сервис»; задача Фортнера — охранять тайну операции «Морской лев», так называется план высадки в Англии. Но летом 1940 года он получает странную телеграмму: из Берлина ему сообщают, что в Брюссель прибыла советская делегация из тридцати человек. Конечно, официально Россия — дружественная страна, но все же... Насторожившись, Фортнер не сводит с гостей своего бдительного ока. Он не замечает ничего подозрительного и после отъезда комиссии посылает в Берлин обнадеживающий отчет.

Через несколько недель в Бельгию приезжает новая группа визитеров. После тща-

тельной проверки их снабдили пропусками, которые обычно выдавались с большой осторожностью, но эти люди не вызывают никаких опасений у абвера. Речь идет о дипломатах и старших офицерах из нейтральных, но прогермански настроенных государств: Венгрии, Болгарии, Испании, Румынии... Их хотят обольстить, продемонстрировать непобедимость вермахта и убедить присоединиться к лагерю победителя. Ошеломленную делегацию провозят по полям недавних сражений. Штабные офицеры, демонстрируя карты и фотографии, рассказывают о своих победах. Чтобы все было абсолютно ясно, каждому гостю вручают дополнительное досье. Среди присутствующих — скромный и незаметный, как и подобает приглашенному в последний момент, человек, который не отходит от болгарского консула ни на шаг: это Большой шеф.

Латиноамериканцы в Брюсселе

Сентябрь 1965 года. Бельгийский художник Гийом Хоорикс, по прозвищу Билл, принимает меня в своей мастерской на улице Эмиля Золя в Париже. Это невысокий, очень худой человек с живыми черными глазами — на вид не старше пятидесяти лет. А ему шестьдесят шесть и за спиной застенки гестапо, затем концлагерь Маутхаузен.

«Спасаясь от немцев в 1940 году, я добрался до Тарба. Затем вернулся в Брюссель и пошел навестить жену. Видите ли, мы хотя и разошлись, но оставались по-прежнему добрыми друзьями; я часто заходил к ней. И вот однажды, придя к жене — это было перед войной, — я познакомился с уругвайцем, которого звали Карлос Аламо. Это был очень красивый и приятный парень, и я быстро понял, что этот человек — не обычный красавчик из породы танцоров танго, а нечто значительно большее. Два-три раза мы обедали вместе. Жена жила с Аламо. Они рассказали мне, что, спасаясь от немцев, какое-то время пробыли в Остенде. У Аламо был там магазин. Кажется, речь шла о торговле плащами.

Примерно в это же время я познакомился с неким Раухом из Чехословакии. Он был представителем одной бельгийской фирмы в этой стране, фирма занималась взрывчатыми веществами. Мы трое — Раух, Аламо и я — вместе проводили свободное время.

Довольно скоро Раух стал выяснять, каковы мои политические убеждения. Удостоверившись в моих антифашистских настроениях, он рассказал, что работает на «Интеллидженс сервис», и просил помочь ему. Я, разумеется, согласился. Раух объяснил мне, что добытые им разведданные в Лондон передает Аламо, у него есть передатчик. Я присутствовал при нескольких сеансах связи.

Дело в том, что я прекрасно говорю по-английски. Но язык, на котором говорили обитатели виллы, был далек от совершенства. Это обстоятельство встревожило меня, и я поделился своими сомнениями с Раухом. Он ответил: «Да это не англичане, а американцы. И нужно этому радоваться, потому что Америка — нейтральная страна и, работая с американцами, мы в большей безопасности».

Аламо действительно утверждал, что он американского происхождения и что его мать до сих пор живет в Нью-Йорке, но мне все это казалось неправдоподобным. Однажды, перед тем как распрощаться со мной, он сказал, что идет в уругвайское консульство. Я проследил за ним. Он действительно направился в сторону консульства, но поравнявшись с входной дверью, вдруг пересек улицу и удалился. Я понял, что он наверняка не американец, очевидно и не уругваец, так что ситуация становилась довольно загадочной. Самое главное, я не понимал, почему Раух рассказывает мне небылицы.

Разумеется, я передавал им все сведения, которые удавалось добыть. Зачастую это было не бог весть что, но я делал все что мог.

В то время — то есть осенью 1940 года — я довольно часто виделся со своим шурином, который занимался поставкой сухофруктов в Антверпен. Его предприятие было реквизировано вместе со всеми складами. Два-три раза в неделю он должен был доставлять грузовик сухофруктов на антверпенский аэродром, который, разумеется, был оккупирован частями люфтваффе. Однажды я попросил его доверить грузовик мне. Доставив груз, я пошел в столовую и затеял разговор с немцами. Я спросил у них: «А куда вы денете эти сухофрукты?» Мне ответили: «Это для Англии. — Как так? — Да, мы готовимся к вторжению. Когда оно начнется, наши пилоты будут почти все время находиться в воздухе и не смогут здесь обедать, им будут выдавать сухофрукты». Я передал этот разговор Рауху.

В другой раз все там же, в Антверпене, я заметил в небе английский самолет. Помнится, погода была великолепная. Самолет пролетел над заводом «Дженерал моторс» и, сбросив несколько бомб, скрылся. Одна бомба попала в мастерские по изготовлению кузовов для автомобилей: загорелись склады краски; за несколько минут весь завод охватило гигантское пламя. В тот же день я был свидетелем демонстрации на главной площади Антверпена: женщины шли, неся впереди черный флаг. Я спросил, что означает это черное знамя; мне ответили, что с незапамятных времен это символ голода и что женщины протестуют против отправки в Германию запасов картофеля. Я вернулся в Брюссель после полудня и рассказал оба эпизода Рауху и Аламо. Они как раз готовились к передаче, так что могли включить в нее мои сведения. Затем мы пообедали, поговорили. Около полуночи стали слушать передачи московского радио на заграницу, как это часто делали. В этот вечер было два диктора, мужчина и женщина, которые по очереди передавали новости. Я уже не помню, женщина ли рассказала историю с английским самолетом, а мужчина говорил о демонстрации, или наоборот; во всяком случае, я был потрясен! Я посмотрел на Аламо и Рауха. Они были смущены. Затем Аламо встал, выключил радио и сказал мне чрезвычайно угрожающим тоном: «Если ты когда-нибудь проговоришься, тебе крышка!»

На следующий день я отправился к Рауху и потребовал объяснений. Он ответил: «Послушай, я действительно работаю на «Интеллидженс сервис» и слежу за этими русскими. Будь осторожен: мы оба рискуем головой! Эти ребята намного опаснее немцев!»

Это, конечно, происходило до нападения немцев на Россию; германо-советский пакт был все еще в силе.

Декабрь 1965 года. Прибыв в Брюссель в одиннадцать часов вечера, я решил попытать счастья, несмотря на поздний час: лучше уж сразу узнать, зря ли я проделал весь этот путь. К телефону подошла сама Маргарет Барча; она согласилась принять меня. Я стал спрашивать, какой у нее распорядок дня, но она перебила меня: «А почему бы не поговорить сейчас? Я всегда ложусь очень поздно, или слишком рано, если хотите». В эту ночь я слушал ее до четырех часов утра.

В 1940 году Маргарет было двадцать восемь лет. Высокая, белокурая, стройная, подчеркнуто экстравагантно одетая, она привлекала всеобщее внимание, в том числе со стороны гестапо. Ее прекрасные глаза выдержали испытание временем и тяжелыми болезнями, которые обрушились на нее. Маргарет говорит быстро, с заметным брюссельским акцентом.

«Мой первый муж Эрнест Барча был на семнадцать лет старше меня. Мы жили в Чехословакии — я тоже оттуда родом. В 1932 году родился мой сын Рене — мне тогда только что исполнилось двадцать лет. У нас была очень легкая, очень приятная жизнь. Моя семья разбогатела на экспорте хмеля. Короче, я была дочерью миллионера, а затем стала женой миллионера, и мне казалось, ничто не может изменить эту жизнь. Но после мюнхенских соглашений и аннексии Судетов Германией мы вынуждены были уехать в Прагу. Через год, накануне вступления гитлеровских войск, мы покинули Прагу и перебрались в Бельгию. Забыла вам сказать, что мы — евреи.

В Брюсселе наша семья поселилась на проспекте Беко, 106. Мы с мужем занимали квартиру на седьмом этаже, а родители жили на шестом. Конечно, жили совсем по-другому, и нашим главным развлечением стала игра в бридж с соседом по лестничной клетке, очень милым бельгийским чиновником.

15 марта 1940 года мой муж, поиграв в карты, как обычно, лег спать и ночью умер. Полтора месяца спустя Бельгия была оккупирована. Начались воздушные тревоги, и нам приходилось спускаться в подвал. Там я познакомилась с жильцом с пятого этажа. Это был уругвайский студент по имени Винсент Сьерра. Он был не особенно красив: ниже меня ростом, белокурый, с большими толстыми губами. Но очень услужливый, предупредительный молодой человек — море обаяния! При этом великолепно одет; кроме того, у него было много денег, и он умел их тратить, что нечасто встречается. Короче говоря, это была любовь с первого взгляда, настолько сильная, что я отказалась бежать во Францию вместе с родителями.

Мы поселились в великолепной квартире на проспекте Слежер. В ней было двадцать семь комнат, семь из них — спальни. Одну из комнат мы превратили в спортивный зал, и каждое утро после гимнастики к нам на дом приходил массажист. У нас был также загородный дом. Снова началась красивая жизнь. Почти каждый вечер мы куда-нибудь непременно ходили, много танцевали. Винсент был замечательным танцором: мы вдвоем выиграли немало конкурсов. Мне особенно запомнился сочельник с 40-го на 41-й год: мы провели ночь в казино Намюра, и это было поистине чудесно.

В марте 1941 года Винсент решил оставить учебу и заняться бизнесом. Он основал импортно-экспортную фирму «Симекско». Самое трудное было найти предусматриваемое законом число акционеров.

Кстати, наше импортно-экспортное предприятие оказалось подлинным спасением для господина Рауха. Это был старый друг нашей семьи; мы познакомились с ним в Чехословакии, а потом встретили в Брюсселе. Война лишила его возможности заниматься своим делом — не помню, каким именно. Короче, он находился в стесненных обстоятельствах. Я познакомила его с Винсентом, который стал давать ему переводы. Затем принял на работу в качестве коммерческого директора фирмы или что-то в этом роде».

В рассказах Билла Хоорикса и Маргарет Барча фигурирует одно и то же имя: Раух. Воздадим должное храбрости человека, которому случай помог вступить в контакт с двумя агентами «Красной капеллы». Поздравим в его лице разведчиков из «Интеллидженс сервис», которые определенно умеют проникать повсюду. И сделаем это поскорее, потому что Рауху предстоит вскоре удалиться со сцены — мягко, но твердо его вытеснит Большой шеф.

«Немцы нападут сегодня ночью»

Треппер приехал в Париж в августе 1940 года вместе с Жоржи. Люба с двумя детьми была уже в России, в безопасности; их переправили туда через Марсель с помощью советского посольства в Виши. Таким образом, накануне приближающейся великой битвы на душе у Треппера было спокойно. Он не сомневался, что настоящая борьба еще впереди, а врагом будет Германия и ее армия, захлестнувшая Европу своим мутным потоком. Брюссель был удобен для работы против Англии, но деятельностью разведки, направленной против Германии, пожалуй, лучше руководить из Парижа. Треппер размещает здесь свою штаб-квартиру и приступает к созданию организации, необходимой для выполнения задач, поставленных перед ним в связи с новым назначением: по решению Центра Треппер предстоит возглавить советскую разведывательную сеть в Западной Европе.

Всегда рядом с ним два его лучших помощника. Прежде всего — Леон Гроссфогель, лишившийся состояния после введения оккупантами антисемитских законов. К услугам Треппера его коммерческое чутье и организаторские способности. В течение нескольких недель Гроссфогель решит финансовые проблемы сети и снимет в Париже с десяток квартир, которые будут служить местом встреч или убежищем для агентов Треппера; он наберет людей, предназначенных на роль «почтовых ящиков» с тем, чтобы наладить быструю внутреннюю связь, не нарушая при этом драконовских правил конспирации. Вся материально-техническая база организации создана Гроссфогелем. Он — гарант ее финансового обеспечения. При этом его социальный «фасад» очень внушителен: ну, разве

можно хоть в чем-то заподозрить этого солидного господина, настоящего «крупного буржуа», страстного поклонника классической музыки, всегда так строго одетого? Гроссфогелю совсем несвойствен сомнительный романтизм в духе детективных романов. Он занимается шпионажем с той же спокойной педантичностью, как и торговлей плащами; изменился товар, только и всего... У Гроссфогеля задатки хорошего начальника штаба: ему указывают цель, он обеспечивает средства.

Что сказать о Хиллеле Каце? Если бы Треппер приказал ему отправиться в гестаповское логово и выдать себя, Кац подчинился бы, не задавая вопросов. Я преувеличиваю? Терпение... Он молод, невысок и очень хрупок, носит очки в пол-лица. По общему мнению, похож на среднего француза. Но так же как и Треппер, Кац — польский еврей; они встретились в Палестине и вместе проводили ту знаменитую голодовку, затем приехали во Францию, где Кац устроился работать каменщиком. Всегда веселый и жизнерадостный, Хиллель Кац станет правой рукой Большого шефа. Безоглядная преданность и полное самоотречение — вот что такое маленький Кац. Люди, созданные из такого теста, как правило, становятся настоящими мучениками, жертвами, всегда попадают в руки врагов и гибнут с чистой совестью. Вы уже догадываетесь, что малыш Кац умрет под топором нацистского палача.

Леон Гроссфогель и Хиллель Кац — еврейская «старая гвардия» Большого шефа.

Бельгийская сеть законсервирована. Радисты, как обычно, выходят на связь с Москвой, но информацию, которую они передают, обеспечивают «статисты» вроде Хоорикса. Настоящие «источники» пока еще не задействованы, а сеть «заморожена». Во главе ее — двое русских: оба моложе тридцати лет.

Треппер, как и все остальные, симпатизирует Михаилу Макарову, он же Карлос Аламо. Во-первых, Макаров — герой. Он — лейтенант, служил в авиационных частях, хотя и не в летном составе. Его направили в Испанию к республиканцам. Однажды франкистам удалось прорваться, и возникла угроза нападения с тыла. Республиканская пехота попросила срочно начать бомбардировку с воздуха. Ни одного летчика на земле не оказалось. Макаров бросается к самолету и взлетает. У него нет диплома летчика, а его знания о пилотировании ограничиваются элементарными понятиями, которые невольно приобретаются теми, кто живет среди самолетов. Он обнаруживает франкистов, сбрасывает бомбы, строчит из пулемета и, возвратившись, благополучно приземляется. Его встречают как героя. История в стиле Макарова.

Весной 1939 года Треппер впервые встречается с ним в Бельгии и приглашает в кафе. Макаров заказывает коньяк. Официант приносит большие пузатые бокалы и наливает обычную порцию. Макаров делает ему знак, что надо налить еще. Изумленный официант послушно наполняет бокал до краев. Довольный Макаров наблюдает за ним, не понимая, почему Треппер под столом бьет его ногой по щиколотке. В конце концов, рассердившись, он восклицает: «Ну что такое? У меня есть чем заплатить!» Это тоже в стиле Макарова.

Он покупает автомобиль. Большой шеф считает, что разведчик не должен иметь машины: неизбежны контакты с полицией, особенно при автокатастрофах. У Макарова же своеобразный способ вождения — педаль газа вжата в пол. Однажды, ведя машину, в которой находится и Треппер, он теряет управление и врезается в дерево. Треппер выбирается из-под обломков и молча глядит на разбитую машину. Макаров, вне себя от злости, кричит: «Ну как ты можешь быть таким спокойным. Это же ненормально!» Треппер тихо отвечает: «А что тебе сказать, идиот?» Тоже история в стиле Макарова.

Ему поручают руководство остендским филиалом фирмы «У резинового короля». Он ничего не смыслит в бизнесе, путается в счетах, совсем не появляется в магазине, жалуется, что ему смертельно скучно.

В июне 1940 года, в самый разгар бельгийского отступления, Треппер приказывает ему ехать в Кнокке-ле-Зут за спрятанным там радиопередатчиком и привезти его в Брюссель. Но у Макарова нет времени: он остается в Остенде, где наслаждается любовью мадам Хоорикс. Трепперу приходится самому отправиться в Кнокке...

Он вынужден доложить об этом в Москву. В конце лета глава советской разведки телеграммой приказывает Макарову, доказавшему свою полную несостоятельность, вернуться на родину. Макаров умоляет Треппера: «Моя карьера кончена! Ты же знаешь, что означает недоверие к офицеру...». И заговаривает о самоубийстве. Треппер великодушно выручает его, добивается, чтобы ему предоставили последний шанс. Михаил Макаров очень нравится ему: это герой.

Как ни странно, капитана Гуревича, который великолепно справляется с работой, наоборот, никто не любит. Он прибыл в Брюссель 17 июля 1939 года из Монтевидео. Его паспорт за № 4643 был выдан в Нью-Йорке 17 апреля 1936 года. По паспорту Гуревич — Винсент Сьерра, родившийся 3 ноября 1911 года и проживающий в Монтевидео на улице Колумба, 9.

Треппер доволен Гуревичем. В отличие от Макарова—Аламо Гуревич—Сьерра легко внедряется в брюссельское общество. Он живет на широкую ногу, закатывает роскошные приемы, завязывает многочисленные знакомства; он трудолюбив и хитер. Вне всякого сомнения, Сьерра — первоклассное пополнение.

Но он никому не нравится — за исключением Маргарет, конечно, которая по нему с ума сходит. Его считают гордецом, хвастуном, очковтирателем. Все ветераны «Красной капеллы» единодушно повторяют: «Кент? О! Преотвратный тип...»

Да, Гуревича—Сьерру будут называть Маленьким шефом после того, как он сменит Большого шефа во главе бельгийской сети, но для всех окружающих, даже для Москвы, он — Кент.

Аламо и Кент: русская «молодая гвардия» Большого шефа. Только испытание покажет, из какого металла они сделаны.

А время испытаний близится. Это известно в Вашингтоне и Лондоне, в столицах нейтраль-

ных государств, газеты которых помещают подробные — на пять колонок — сообщения о том, что вермахт сосредоточил войска вдоль реки Буг и готов ринуться на Восток; об этом знают и в Женеве, откуда советский резидент Шандор Радо шлет в Москву одну за другой тревожные телеграммы; знают в Токио — Зорге с опережением на несколько недель сообщает дату нападения немцев: 22 июня 1941 года...

Известно это и в Париже. Еще в конце апреля Большой шеф предупреждал Кремль о том, что концентрация войск свидетельствует об агрессивных планах Гитлера. Он знаком с немецким офицером инженерных войск Людвигом Кайнцем. После завершения польской кампании Кайнц участвовал в строительстве оборонительных сооружений вдоль Буга. В апреле 1941 года его вновь направляют туда на короткое время. Он сразу замечает, что все изменилось — идет подготовка к наступлению. Вернувшись в Париж, Кайнц уверяет, что война начнется еще до конца мая, и предлагает Трепперу пари на ящик шампанского. Пари проиграно. Но Кайнц утверждает, что наступление всего лишь отложено на месяц: задержка вызвана тем, что Гитлер вынужден был вмешаться в военные действия на Балканах, — немцы не могли допустить разгрома армии Муссолини, завязшей в Албании и Греции. Настаивая на июне, Кайнц заключает новое пари на два ящика шампанского.

Это не единственный источник информации Большого шефа. Значительная часть оккупационных войск покидает Францию: известно это из сотен донесений от французских железнодорожников. Направление — на восток, в Польшу. И наконец, в июне, присутствуя на одной из многочисленных попоек эсэсовцев в парижском кабаре, Большой шеф получает окончательное подтверждение: компания старших офицеров СС отмечает свой отъезд в Польшу, и Трепперу предлагают выпить за скорую победу над Россией.

Треппер дважды предупреждает Москву. Он передает свои донесения в Центр через советского военного атташе в Виши генерала Суслопарова, с которым в принципе ему запрещено вступать в контакт. Но Треппер встревожен: роковой час близится, а он не готов для борьбы — ему нужны передатчики. Нарушив инструкцию, резидент решается потревожить атташе. Благодушный генерал пытается успокоить его, уверяя, что время терпит...

Вечером 21 июня, приехав в Виши, Треппер сразу же направляется к Суслопарову: «Вот важнейшее донесение, передайте немедленно!» Генерал спрашивает, чем вызвано такое волнение. Нынешней ночью, объявляет Треппер, вермахт нападет на Россию. Генерал хохочет: «Ты с ума сошел, старина! Это немыслимо! Просто невозможно! Я отказываюсь отправлять телеграмму, над тобой ведь будут смеяться!» Треппер настаивает так энергично, что генерал в конце концов уступает. Телеграмма отослана немедленно.

Большой шеф, падающий от усталости, проведет эту ночь в гостинице. На следующее утро его разбудят вопли хозяина: «Мсье! Свершилось! Они напали на Россию!»

Через два дня из Москвы в Виши окружным путем возвращается заместитель Суслопарова. Треппер спрашивает его, было ли принято во внимание его сообщение: «Я был у Директора (начальника разведуправления Красной Армии) в тот самый вечер, когда была получена твоя телеграмма. Он рассказал, что ее немедленно показали Хозяину (Сталину). Хозяин был очень удивлен. «Обычно, — заметил он, — Треппер присылает нам ценные сведения, делающие честь его политическому чутью. Неужели он сразу не понял, что это грубая провокация со стороны англичан?» [1]

Словом, Москва вплоть до первого орудийного выстрела не признавала неизбежности войны, о которой сообщали из Женевы, Токио и Парижа, не говоря уже о Лондоне и Вашингтоне. Что это, антибританский психоз Сталина? Конечно. И вместе с тем — очевидная ошибка в политическом расчете. Уже давно Сталин заявлял, что предоставит возможность капиталистическим и фашистским государствам истреблять друг друга. Красная Армия вмешается только тогда, когда настанет время пожинать плоды в Европе, то есть после того, как противники выдохнутся. Весной 1941 года Сталин полагал, что урожай еще не созрел, что Англия и Германия еще не обескровлены, что Гитлер в любом случае не пойдет на риск наступления на Востоке, пока не одержит победу на Западе.

Он ошибся. Известно, какой ценой придется заплатить за это его стране.

Треппер допускал, что германо-советский пакт, быть может, был необходим, чтобы дать отсрочку Красной Армии. Но сколько мук и сколько усилий понадобилось, чтобы заглушить свое внутреннее ощущение и не слушать голоса разума! Необходимо понять, что Треппер и его «старая гвардия» не являются в полном смысле профессионалами в области разведки; они ничуть не похожи на суперменов из детективных романов, располагающих сложнейшей аппаратурой и выполняющих любое задание любого клиента; они отличаются и от современных разведчиков, коммунистов и не коммунистов, у которых профессиональная страсть заменила утраченную веру. Если бы их назвали шпионами, они отвергли бы это определение: Треппер и его помощники считают себя революционерами. Представитель их поколения Отто Браун так скажет о своих товарищах и самом себе: «Мы были не конспираторами по должности, а романтиками революции».

День 22 июня 1941 года для подпольной сети означает начало беспощадной борьбы, где каждый рискует жизнью и страшится пыток, которые могут заставить презирать самого себя. Однако опасности значат немного по сравнению с огромным облегчением, которое испытывают эти люди, избавившиеся наконец от двусмысленности своего существования. Несмотря на официальную «линию», несмотря на германо-советский пакт, подпольщики Брюсселя и Парижа уже многие годы знают, что нацизм — враг номер один. И в послед-

[1] В действительности Сталин говорил не «Треппер» а «Отто» — под этим псевдонимом Большой шеф числился в Москве. Для Жоржи он был Эдди, для Каца — Рене, для Спаака —Анри. Известны и другие его клички: Генерал, Жорж, Дядя, Бауэр, Жильбер, Эрбер, Соммэ и т. д. В целях упрощения автор позволил себе отказаться от большинства этих псевдонимов. Если бы он этого не сделал, читателям было бы так же трудно разобраться в них, как и гестапо. Нельзя было подвергать их такому испытанию. *(Прим. автора.)*

ние восемнадцать месяцев, с начала оккупации Бельгии и Франции, они находят подтверждение этому в желтых листках объявлений о смертных приговорах, в запахе бойни, который доносится с польской земли, где большинство из них оставило свои семьи, они чувствуют теперь сердцем то, что уже давно понятно было их разуму.

Для таких людей 22 июня 1941 года — праздник.

И кроме того, Треппер — еврей. В начале своего расследования автор не считал необходимым указывать, что тот или иной из его героев — еврей, так же как ему не пришло бы в голову сообщать читателям, что он овернец. Он полагал, что с художественной точки зрения совмещение риска, которому подвергается тайный агент, с теми опасностями, которые подстерегали еврея, покажется не слишком убедительным. Со временем автор понял, что это довольно близорукий подход. Большого шефа однажды спросят, почему в его сети было так много евреев; Треппер ответит: «Потому что у них особые счеты с нацистами».

Гиммлер придерживается того же мнения. Полицейским, которым поручено «стереть с лица земли эту еврейскую гниль» («Красную капеллу»), он отдаст письменный приказ использовать любые средства, чтобы добиться признаний. Насколько нам известно, это единственный случай, когда рейхсфюрер осмелился поставить свою подпись на документе, разрешающем применение пытки вплоть до смертельного исхода.

Франц Фортнер объявляет войну

На жаргоне немецких секретных служб руководитель разведывательной сети зовется «дирижером»; он обеспечивает согласованность действий «музыкантов», руководит их игрой. Главным солистом в этом ансамбле является «пианист». То есть радист, который «стучит по клавишам» своего передатчика, также имеющего особое название — «музыкальная шкатулка».

Когда станция подслушивания в Кранце обнаружила «пианиста», использующего позывные РТХ, в руководстве абвера, и даже функабвера — службы, специализирующейся на перехвате и обезвреживании подпольных передатчиков, не придали этому особого значения.

Через несколько дней после перехвата позывных РТХ станция подслушивания в Кранце уловила сигналы нового передатчика. Специалисты, работавшие в контакте со своими коллегами из Бреслау, попытались определить, где он находится. После нескольких проверок они передали отчет в Берлин, а там, прочитав его, только пожали плечами. Специалисты снова взялись за работу и проверили свои первые расчеты. По их утверждению, сомнений быть не могло: подпольный передатчик, приемы работы которого совпадали с «почерком» РТХ, функционировал в Берлине. Получив сообщение, абвер содрогнулся, как от электрошока. То, что на теле оккупированной Европы то там, то сям появляются отдельные фурункулы, не представляло опасности, считалось почти нормальным. Со временем с ними разберутся. Но «пианист» в Берлине, следовательно, и шпионская сеть, без которой немыслима его деятельность,— это похоже на ужасную раковую опухоль в самом центре нацистской империи.

Если бы нынешнее советское руководство узнало, что в трехстах метрах от Кремля работает подпольный американский передатчик, оно, наверное, было бы не так потрясено, как немецкое командование, прочитавшее донесение функабвера. И в самом деле, все прекрасно знали, что Коммунистическая партия Германии разгромлена гестапо. От этой в свое время самой многочисленной партии в Европе не осталось ничего, кроме нескольких малочисленных изолированных ячеек, в которых было полно осведомителей. Советская разведка до этих пор чувствовала себя в коммунистической среде как рыба в воде; лишившись ее, сеть поневоле должна была задохнуться. Кроме того, фашисты были уверены, что Сталин после заключения германо-советского пакта играл честно. Разве ГПУ не доставило гестапо утонченную радость, передав из рук в руки многих немецких коммунистов, укрывшихся в России? Конечно, со временем идиллия была слегка омрачена. То ли с негласного одобрения Сталина, то ли по собственной инициативе руководители советских секретных служб попытались восстановить в Германии что-то вроде разведсети. Но какие это были жалкие попытки! В Берлине над ними смеялись от души.

Нацистской полиции всегда и везде удавалось распутывать советские козни, агентов Москвы арестовывали и забирали вместе с передатчиками. Накануне начала войны против России Гейдрих дал гарантию Гитлеру, что Германия чиста, как новая монета.

Но как быть с донесением специалистов из Кранца? Поверить ему — значит поставить под сомнение точность доклада Гейдриха. Некоторые сотрудники абвера решили прислушаться к мнению специалистов по подслушиванию, но многие другие отказались поверить в существование берлинского «пианиста», ссылаясь на недостаточную точность приборов, использованных для определения местонахождения передатчика. В конце концов оба лагеря — и верившие донесению, и не верившие ему — сошлись на том, что необходимо срочно усовершенствовать технику и точно установить, находится «пианист» в Берлине или нет.

Немецкая радиотехника — лучшая в мире; специалисты сумели создать необходимую аппаратуру. Прежде всего функабверу нужны приборы по пеленгации на расстоянии, чтобы приблизительно установить местонахождение передатчика. Служба Кранца, например, утверждает, что РТХ может находиться в зоне, включающей следующие территории: северная Германия, Нидерланды, Бельгия, северная Франция. Почему не Патагония? Для того чтобы начать охоту, необходимо по меньшей мере определить город. И тогда можно подключить аппаратуру ближней пеленгации, позволяющую установить, из какого дома ведется передача.

После того как в конце июня обнаружен так называемый берлинский передатчик, он

работает еще в течение трех недель, затем умолкает, к вящему удовольствию тех, кто всегда считал, что в Кранце произошла ошибка. В начале августа передачи возобновляются и продолжаются примерно пятнадцать дней, затем — полная тишина. Эти странности в конце концов выводят из себя шефов функабвера. Они блуждают в потемках, имея перед собой всего один ориентир, один пророчащий катастрофу намек: РТХ, то есть первый передатчик, обнаруженный в Кранце. К 7 сентября уже было перехвачено двести пятьдесят донесений, которые службы дешифровки пытаются прочитать. Конечно, неритмичность работы передатчика раздражает, но в Берлине, пожалуй, предпочли бы эту нерегулярность непредсказуемости блуждающего передатчика. Не имея возможности сразиться с «пианистом», который, возможно, скрывается в Берлине, решили искать его усердного собрата. Радист из Кранца утверждает, что РТХ связывается с Москвой. Однако ритм его позывных, выбор частот и время связи напоминают работу предполагаемого берлинского передатчика, видимо, оба «пианиста» воспитывались в одной школе. Арестовав одного, может быть, удастся напасть на след другого.

Специалисты из Кранца медленно зажимают тиски. Прежде всего они исключают Германию и Францию. Затем Нидерланды. Остается Бельгия. Трудно определить с большей точностью, но специалисты считают, что РТХ должен находиться на побережье, скорее всего в Брюгге. По следу пускают местного представителя абвера Франца Фортнера.

Фортнер подготовился. В его распоряжении сеть осведомителей, которой руководят два фламандца, еще во времена первой мировой войны работавшие на немецкие секретные службы. Он приказывает им внедриться в среду «экстремистов» Брюгге и посещать популярные кафе. Разве в телеграмме из Берлина не сказано, что передатчик работает на Москву? По здравому и с его точки зрения достойному похвалы размышлению, Фортнер будет преследовать «дичь» в тех местах, где она вынуждена скрываться: среди бельгийских коммунистов. Он убежден, что его осведомители, раскрыв пошире свои огромные уши там, где надо, очень скоро обнаружат ниточки, которые приведут к «пианисту».

Когда Москва прислала в помощь Большому шефу Михаила Макарова, он же Карлос Аламо, резидент поступил следующим образом. Прежде всего надо было сделать так, чтобы новичок мог воспользоваться «крышей», которой являлась фирма «У резинового короля». В распоряжении Макарова было десять тысяч долларов. Треппер советует ему поместить в бельгийской газете объявление о том, что южноамериканский предприниматель готов вложить деньги в процветающий торговый бизнес. В это же самое время жена Гроссфогеля осаждает мужа просьбами найти ей заместителя, снять с нее часть обременительных забот. Большой шеф советует Гроссфогелю просматривать объявления. Предложение Карлоса Аламо попадает бельгийцу на глаза, и он обращается в газету. Макаров докладывает об этом Большому шефу, который признает, что торговля плащами — хорошая «крыша».

Сделка заключена. Макаров берет под свою ответственность филиал в Остенде. Ни Макаров, ни Гроссфогель не подозревают, что принадлежат к одной разведывательной сети. Русский убежден, что участием в делах обыкновенной торговой фирмы обрел для себя «крышу». Бельгиец же полагает, что сторговался с безобидным латиноамериканцем. Даже под страшнейшими пытками Гроссфогель и Макаров не смогут выдать друг друга.

Такова сеть, которую славный Фортнер надеется обнаружить с помощью упомянутых выше методов. Мы знаем, что Фортнер уже сталкивался с Большим шефом, но, по всей видимости, ему еще нужно научиться узнавать его.

Посещения кафе в Брюгге позволяют осведомителям собрать лишь обрывочные сведения. По их утверждению, местные коммунисты абсолютно бездеятельны; подавленные серией немецких побед в России, убежденные в том, что Москва скоро падет, они хотят, чтобы о них забыли. Франц Фортнер послал отчет в Берлин. Ему сразу же ответили телеграммой, что передатчик, видимо, находится в Кнокке-ле-Зут. Его молодчики побывали во всех кафе Кнокке, выпили множество бутылок, но так и не услышали, чтобы кто-нибудь из клиентов весело спрашивал хозяина, хорошо ли прошла последняя передача. Через сорок восемь часов из Берлина пришла новая телеграмма, и агентам Фортнера пришлось переместиться в бистро Гента. Решив сражаться до последней капли спиртного, осведомители нахлынули в Гент, затем Фортнер отослал в Берлин обычный отрицательный рапорт.

Однако о том, чтобы закрыть дело, не могло быть и речи. Обзаведясь приемником, Фортнер каждую ночь сам слушает подпольные передачи. Он, конечно, не в состоянии определить, где находится радиоточка, поскольку у него нет пеленгатора, но эта деталь, видимо, недостаточное основание для того, чтобы его шефы умерили свои требования. Разъяренный Берлин жаждет заполучить «пианиста». Фортнера атакуют телеграммами и грозными звонками; к нему посылают эмиссаров со строжайшими указаниями; требуют результатов. Функабвер уже не решается уточнять, в каком городе спрятан передатчик. Фортнеру достаточно знать, что он на бельгийской территории.

Кашу, заваренную в Берлине, должны расхлебывать его осведомители, а в Бельгии такое количество маленьких кафе...

Дилетант из абвера

Кажется, тогда шел снег — это было в феврале 1965 года, — и мы, издатель Константин Мельник и я, сидели в холле мюнхенской гостиницы «Дойчер кайзер».

Мы приехали в Мюнхен в поисках ариадниной нити, ведущей к Францу Фортнеру. Нашим «связующим звеном» был полковник Хискес, бывший начальник немецкой контрразвед-

ки в Голландии. Он, без сомнения, знает адрес Фортнера, но захочет ли он дать его?

Теперь Хискес — респектабельный пожилой господин, его седина прекрасно сочетается со свежим цветом лица, и кажется, что он высечен из розового гранита. Он живет незаметно, как простой пенсионер, в домике на берегу маленького озера, расположенного в Большом Мюнхене. Хискес тепло встретил нас. Предложил сесть и сразу же объявил, что к нам скоро присоединится Райле — это было для нас сюрпризом. Из своей штаб-квартиры, разместившейся в отеле «Лютеция» в Париже, полковник Райле в течение четырех лет руководил немецкой контрразведкой на территории оккупированной Франции. Таким образом, при наличии Хискеса Голландского и Райле Французского, бывших «королей» контрразведки, собравшихся в этом обитом плюшем салоне, вполне можно было провести «встречу на высшем уровне»; не хватало только человека, след которого мы и приехали разыскивать: Фортнера Бельгийского...

Через пятнадцать дней мы уже были в Западном Берлине и звонили в дверь Фортнера.

Предупрежденный о нашем посещении Фортнер заявил, что готов рассказывать. Но до каких пределов? Когда у него вырвалось имя Клода Спаака, его жена бурно запротестовала и упрекнула мужа в неосторожности. Ей казалось, что упоминать о причастности к делу людей такого ранга опасно. Для нас не было ничего нового в том, что Клод Спаак, брат известного государственного деятеля Бельгии, работал с Большим шефом. Задав несколько вопросов, на которые мы охотно ответили, Фортнер решил, что мы о нем знаем достаточно и он может без обиняков рассказывать остальное, условившись тем не менее, что его настоящее имя не будет упомянуто в книге[1].

Франц Фортнер — дилетант; он всегда им был. После Дюнкерка его отозвали из танковой части и приказали отправиться по определенному адресу в центре Гамбурга. Он входит в указанное здание и стучит в дверь, на которой висит табличка с надписью: «Служба абвера». Ему предлагают войти. Он представляется и спрашивает, в чем будет состоять его новая работа. Но разве вы не видели табличку? Да, и ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что никогда не слышали об абвере? Не так уж много! Хорошо, вы будете работать в контрразведке. Я? Но я же ничего в этом не смыслю. Вы говорите по-английски? Немного... По-французски? На том же уровне... Очень хорошо, мы вас пошлем в Брюссель.

Перед отъездом его ознакомили с документацией. Такую подготовку, конечно, нельзя сравнить с углубленным курсом обучения, пройденным Треппером в академии Красной Армии, но это все же лучше, чем ничего.

Итак, офицер контрразведки начинает охоту за подпольной сетью. Арест агента — всего лишь одно оборванное звено, а задача Фортнера — разорвать всю цепь одним ударом. Для этого надо установить слежку за обнаруженным агентом, засечь его встречи и, может быть, даже завербовать — но арестовывать его, конечно, следует только в том случае, если нельзя поступить иначе.

Фортнеру еще далеко до этого. В настоящий момент он разыскивает свою добычу в бельгийских кафе. Ему еще многому надо научиться. Ну так он научится, и ничего не поделаешь, если упущено время, если немецкие секретные службы не смогли противопоставить опытным агентам Большого шефа никого, кроме этого исполнительного дилетанта.

Фортнер изучит свое новое ремесло, но останется «типичным воякой». По-человечески это похвально. С профессиональной точки зрения — чревато провалом. У Большого шефа уже были противники поопаснее Фортнера. Жестокая польская полиция. Английские полицейские в Палестине. Агенты французской контрразведки, охотившиеся за «Фантомасом». Да, сражаться с ними было нелегко. Ну, а его собственные начальники, разве не оказались они опаснее всех прочих?

Когда Треппер, решив загадку предательства в группе «Фантомаса», садится в поезд, отправляющийся в Москву, он, вероятно, размышляет о том, что его ждет в конце пути: дом на Знаменке, где расположен Центр — штаб-квартира военной разведки, или же тюремные подвалы на Лубянке, где по воле Сталина происходит настоящая бойня? Одновременно с ним с тревогой в душе в Москву возвращаются десятки руководителей разведывательных групп; они знают, что их, быть может, убьют, и спрашивают себя: почему?..

Разделит ли Треппер их судьбу, или его возвращение связано только с тем, что он завершил свою миссию?

Неизвестно, но не это главное. Суть в том, что, вернувшись в Москву, где льются потоки крови, Треппер не сможет остаться в стороне, не попасть в мясорубку. Мы знаем, что он пользовался покровительством шефа военной разведки Яна Берзина и тот возлагал на него большие надежды; Берзин и его заместитель Александр Корин казнены. Мы знаем также, что впоследствии Треппер признавался: «Я видел, как один за другим исчезают все мои друзья, и понимал, что неизбежно придет и моя очередь. Отправка в Брюссель спасла мне жизнь».

Неудача в Берлине

В конце сентября 1941 года, когда в папках абвера накопилось уже немало донесений Фортнера, вновь засечен берлинский передатчик. Он работает в непредсказуемом ритме, периоды молчания чередуются с лихорадочной активностью, но на этот раз сомневаться не приходится: «пианист» находится в Берлине.

Функабвер получает категорический приказ положить конец скандалу.

«Пианист» играет роль оленя, которого травят. Но он не обладает спасительной подвижностью этого животного, ибо, как правило, ведет передачи всегда из одного и того же места. Зато, затерявшись в большом городе, он становится почти так же неуловим, как олень в густом лесу. Необходимо, чтобы собаки взяли след оленя, почувствовали его запах, услышали его крики; запахи и крики радиста—это, разумеется, волны, которые он посылает в эфир.

---

[1] Автор, естественно, выполнил его желание. Фортнер — вымышленная фамилия. *(Прим. автора.)*

Жестокая охота, поскольку «травят» человека. Каждый раз, когда какой-либо из радистов Большого шефа будет садиться за передатчик, вы прочтете на его лице напряжение—ведь он чувствует погоню, страх, он чувствует, как сжимаются тиски. Радист так же не защищен, как солдат, поднявшийся из окопа под обстрелом вражеских пулеметов. Он знает, что свора напала на его след; он представляет себе грузовички, двигающиеся на малой скорости; видит мысленным взором притворно безучастных прохожих, приближающихся к дому; он уже слышит выстрелы по замочной скважине его двери. Мужество его состоит в том, чтобы не вставать с места и продолжать передачу. Это, несомненно, труднее штыковой атаки. И если я расскажу вам, что Москва, несмотря на убедительные просьбы Большого шефа, в скором времени обяжет «пианиста» РТХ каждую ночь вести передачу *по пять часов кряду* — безрассудный приказ, равнозначный смертному приговору,—вы поймете, что «пианист» совершал бóльший подвиг, чем солдат, которого оставили прикрывать отступление с приказом погибнуть, но задержать врага. Лейтенант Макаров, или Карлос Аламо, вы были способны на блестящие и возвышенные порывы, но ваши беспрерывные пятичасовые передачи восхищают нас гораздо больше, чем история с самолетом, который вы подняли в небо Испании.

В берлинской сети, структура которой, по представлению немецкой контрразведки, была четко отработана, а руководители обладали дьявольской смекалкой, царили беспорядок и путаница. Организация создавалась второпях. Как только началась война, советских дипломатов отозвали в Россию, обменяв их на персонал германского посольства в Москве. Перед отъездом они разбросали несколько зерен в немецкую землю, но наспех, через плечо, как позволили события, подталкивавшие их в спину. В сфере разведки так действовать нельзя, здесь сильнее, чем где бы то ни было, время мстит, если с ним не считаются.

Непонятны периоды молчания берлинского передатчика? Функабвер считал, что они часть плана, предусмотренного для того, чтобы затруднить обнаружение. В действительности же перерывы были вызваны неопытностью «пианиста». По ошибке он включил не в ту розетку рацию, переданную ему служащим советского посольства, и вывел ее из строя. Когда же передатчик починили, «пианист» запутался в лабиринте инструкций, которые на него посыпались. Эти указания, чрезвычайно полезные для виртуоза, оказались не по плечу дебютанту.

Пришлось искать выход. Московский разведывательный центр решает сбросить с парашютом над Германией опытных радистов. Но чтобы эти агенты могли ускользнуть от слежки, их необходимо хорошо подготовить. Кроме того, Германия довольно далеко от русских аэродромов; надо просить англичан взять на себя осуществление операции, что предполагает переговоры в высоких инстанциях. Подготовка радистов и переговоры требуют времени. Но в октябре 1941 года немецкое наступление все еще сохраняет первоначальную силу и сокрушает на своем пути человеческую стену, которую ему противопоставляют русские. Немцы опрокидывают, окружают, уничтожают советские дивизии одну за другой; дорога на Москву открыта. Для Красной Армии, близкой к разгрому, сведения, передаваемые разведкой, имеют такое же значение, как кислород, поддерживающий жизнь умирающего. Никто в Центре не собирается оставлять берлинскую сеть в бездействии, пока готовится операция. 10 октября зов о помощи передан Кенту. Мимоходом воздадим должное посланию, которое радист Центра доверил эфиру: оно предшествует появлению в этой истории человека в форменном сюртуке, белых перчатках и цилиндре—немецкого палача; ведь именно из-за этих нескольких фраз, которые равнодушно «отстучал» радист, десятки мужчин и женщин будут повешены или обезглавлены.

«От Директора Кенту. Лично.

Немедленно отправляйтесь Берлин трем указанным адресам и выясните причины неполадок радиосвязи. Если перерывы возобновятся, возьмите на себя обеспечение передач. Работа трех берлинских групп и передача сведений важнейшее значение. Адрес: Нойвестэнд, Альтенбургер аллее, 19, третий этаж справа. Коро.— Шарлоттенбург, Фредерициаштрассе, 26-а, второй этаж слева. Вольф.—Фриденау, Кайзерштрассе, 18, четвертый этаж слева. Бауэр. Вызывайте «Ойленшпигель». Пароль: Директор. Передайте сообщения до 20 октября. Новый план (повторяю —новый) предусмотрен для трех передатчиков».

Через три дня, 13 октября, берлинская сеть получает из центра следующее сообщение:

«От Директора—Фредди, для Вольфа, который передаст Коро. Кент прибудет из Брюсселя. Задача восстановить радиосвязь. Случае провала или новой потери связи переправить весь материал Кенту для передачи. Скопившиеся сведения также вручить ему. Попробуем возобновить прием информации 15-го. Центр на связи с 9.00».

Итак, Кент едет в Берлин решать проблему поломки передатчика. Он уже установил контакт с немецкой сетью в апреле во время поездки на лейпцигскую ярмарку, из-за чего прекрасная Маргарет так настрадалась, что похудела на несколько килограммов. На этот раз он встречается с двумя руководителями сети в берлинском зоопарке. В течение нескольких дней достает еще один передатчик для берлинского «пианиста» и связывает его с ветераном-коммунистом, который до войны учился на курсах радистов в Москве. Он будет давать «пианисту» уроки мастерства. Из Берлина Кент направляется в Прагу. В пути он встречается с супругой Рауха, агента «Интеллидженс сервис». Нам это известно из телеграммы Кента, сообщающей Марии Раух, что он встретится с ней на перроне в Рауднице, где его поезд остановится на несколько минут, он назначает ей свидание около вагона-ресторана. Что касается миссии Кента в Праге, то мы

ничего точно не знаем о ней, но сама поездка доказывает, что у «Красной капеллы» определенно были «музыканты» повсюду. Он возвращается в Брюссель в начале ноября с сознанием выполненного долга. Но здесь его ожидает плохая новость: берлинский «пианист» больше не может «играть». 21 октября, сразу после отъезда Кента в Прагу, команды функабвера начали охоту. Берлин вынужден замолчать. В соответствии с приказами Москвы все сведения, добытые берлинской сетью, должны быть переданы через Брюссель. Предусмотрительный Кент принял меры предосторожности на этот случай: система курьерской связи между Германией и Бельгией уже разработана. Конечно, в Брюсселе работы прибавится. Бедняга Аламо, прикованный к передатчику, все еще вспоминает о прекрасной поре, когда воевал в Испании.

Встреча в Сталинграде

Действительно ли так важны сведения, собранные берлинской сетью, которой не удалось передать их надлежащим образом?

Судите по документам:

«Коро — Директору. Источник: Мария.
Тяжелая артиллерия из Кёнигсберга движется к Москве. Орудия береговых батарей погружены на суда в Пиллау. Место назначения то же».

«Коро — Директору. Источник: Густав.
Потери бронетанковых подразделений и боевой техники достигают размеров оснащения одиннадцати дивизий».

«Коро — Директору. Источник: Арвид.
Гитлер отдал приказ о взятии Одессы до 15 сентября. Затянувшиеся бои на южном направлении причиняют серьезный урон атакующим группировкам немецкой армии. Информация получена от офицера ОКВ[1]».

«Коро — Директору. Источник: Мориц.
План II вступил в силу три недели назад. Возможная цель операции — выход на линию Архангельск — Москва — Астрахань до конца ноября. Все передвижения частей осуществляются в соответствии с этим планом».

«Коро — Директору.
Машины пропагандистских команд с 19 октября находятся в Брянске в ожидании намеченного на 20 октября вступления немецкий войск в Москву».

«Коро — Директору. Источник: ОКВ через Арвида.
Восточный фронт. Численность большинства немецких дивизий, понесших тяжелые потери, ниже штатной. Процент солдат, прошедших полную воинскую подготовку, минимален. Пополнение — новобранцы, прошедшие четырех-, шестимесячную подготовку».

Можно было бы привести множество других примеров, поскольку донесения исчисляются сотнями. Берлинская сеть в курсе наступательных планов вермахта, ей известно, как распределяется боевая техника и каков численный состав подкреплений; она может заранее указать районы, где приземлится воздушный десант, сообщает Москве информацию о потерях врага в живой силе и технике. Но это не все: сеть располагает точными данными о немецком производстве топлива и химических веществ, о количестве самолетов, выпускаемых ежемесячно заводами рейха, у нее есть «уши» в руководстве нацистской партии и даже в ОКВ, о планах и внутренних раздорах которого она осведомлена. Сеть получает подробную информацию об интригах тайной дипломатии Риббентропа и по дням может проследить за передвижениями Гитлера.

В соответствии с новыми распоряжениями эту важнейшую информацию впредь будет передавать Кент.

Одновременно Центр засыпает Брюссель требованиями о передаче разведданных.

«От Директора Кенту.
Необходима информация о швейцарской армии в связи с предполагающимся немецким наступлением. Численность армии в случае всеобщей мобилизации. Характер существующих укреплений. Качество вооружения. Тактико-технические данные самолетов, бронетанковой техники и артиллерии. Техническое оснащение различных родов войск».

«От Директора Кенту.
Выясните производственную мощность немецких химических заводов (по БОВ). Доложите о подготовке саботажа на упомянутых заводах».

«От Директора Кенту.
«Источники» Шнайдера, кажется, хорошо информированы. Попросите его проверить общую цифру немецких потерь на сегодняшний день по родам войск и отдельным операциям».

Сведения, собранные во Франции, Большой шеф тоже передает в Москву через Брюссель. Они разнообразны, многочисленны и точны, так же как донесения, поступающие от берлинской сети, и свидетельствуют прежде всего о столь широком проникновении в немецкую среду, какого во время второй мировой войны даже отдаленно не достигла ни одна из разведок союзников. Несколько примеров.

«Источник: Сюзанна.
Верховное командование предлагает перед зимовкой немецкой армии к началу ноября занять позиции по линии Ростов — Изюм — Курск — Орел — Брянск — Дорогобуж — Новгород — Ленинград. Гитлер отклонил это предложение и отдал приказ о шестом наступлении на Москву с применением всей имеющейся в резерве техники. Если операция захлебнется, отступающие немецкие части окажутся без материально-технического обеспечения».

«Источник: Нинетт.
Немцы стягивают суда в болгарские порты перед наступлением на Кавказ».

«Источник: Берлин.
В кругу старших офицеров распространено мнение: отныне полная победа исключена вследствие провала блицкрига на Востоке. Ощутима тенденция склонить Гитлера к переговорам с Англией. Влиятельные генералы из ОКВ считают, что война про-

[1] Верховное командование вооруженных сил. *(Прим. перев.)*

длится еще тридцать месяцев, а затем надеются на компромиссный мир».

«Источник: Жак.
Немцы потеряли отборные части своей армии на Восточном фронте. Превосходство русского вооружения бесспорно. Штаб обескуражен постоянными изменениями, которые вносит Гитлер в стратегические и тактические планы».

«Источник: Полетт.
Немецкий офицер сообщает о нарастающей враждебности итальянских военнослужащих к нацистской партии. Серьезные инциденты в Риме и Вероне. Военные власти саботируют партийные инструкции. Возможность государственного переворота не исключена, но в ближайшее время маловероятна. Немцы группируют войска между Мюнхеном и Инсбруком для возможного вмешательства».

«Источник: Мария.
Со слов старшего офицера немецкой армии, возвращающегося из Берлина. Влиятельные военные круги настроены скептически в вопросе об исходе войны на Востоке. Даже Геринг сомневается в победе. Немецкие гарнизоны и казармы пустеют. В Берлине поговаривают о том, что в случае смерти Гитлера, возможно, установится военная диктатура».

«Источник: Пьер.
Общий потенциал немецкой армии: 412 дивизий, из них 21 дислоцирована сейчас во Франции — большей частью резервисты. Численность личного состава постоянно сокращается из-за частых переброс войск. Войска, находившиеся на юге и в окрестностях Бордо у «Атлантического вала», отправлены на Восток. Это примерно три дивизии. Личный состав люфтваффе — примерно миллион человек, включая персонал наземных служб».

«Источник: Хосе.
В девяти километрах к западу от Мадрида немецкий пост перехвата передач английских, американских и французских (включая колонии) радиостанций. Замаскирован под торговую фирму «Штюрмер». Испанское правительство в курсе дела и оказывает содействие. Один офицер и пятнадцать человек в штатском. Филиал в Севилье. Прямая телеграфная связь с Мадридом и Берлином через Бордо и Париж».

Так что же такое Брюссель?

Прежде всего — это центр организации, действующей в Бельгии и Голландии и передающей информацию об этих странах, полученную от групп Сопротивления. Но главное— это сердце огромного разведывательного механизма «Красной капеллы». Оно «всасывает» сведения, добытые десятками агентов, разбросанных по Европе, и «перегоняет» эти данные в Центр по главной «артерии» — радиоканалу.

Отсюда же в штаб Красной Армии поступает множество сведений тактического значения. Но советские генералы, которым враг не дает передышки, не успевают ими воспользоваться: немецкое превосходство столь велико, что русские, даже зная о готовящемся ударе, не могут противостоять натиску. Им еще не удалось оторваться от противника на расстояние, позволяющее перегруппировать силы, чтобы можно было эффективно использовать данные разведки. Но 12 ноября 1941 года время поможет тому, чему не помогло расстояние, и радиограмма из Брюсселя не затеряется в корзине для бумаг какого-нибудь полевого штаба, а войдет в Историю. 12 ноября 1941 года, в тот самый день, когда начальники немецких штабов трех армейских соединений Восточного фронта соберутся в Орше, чтобы разработать план окончательного прорыва к русской столице, которую от передовых бронетанковых частей отделяют не более двадцати пяти километров, Центр получает из Брюсселя следующее донесение:

«Кент — Директору.
Источник: Коро.
Осуществление плана III, имеющего целью Кавказ, первоначально назначенное на ноябрь, перенесено на весну 1942 года. Переброска частей должна быть закончена к 1 мая. Материально-техническое обеспечение операции начинается 1 февраля. Линия развертывания для наступления на Кавказ: Лозовая — Балаклея — Чугуев — Белгород — Ахтырка — Красноград. Штабквартира в Харькове. Подробности позднее».

Москву взять не удастся. Сталин смог подтянуть к столице свежие дивизии из-за Урала, потому что агент Рихард Зорге убедил его: Япония не ударит в спину России со стороны Сибири. Русский солдат еще сражается под стенами Москвы, а «Красная капелла» своей исторической радиограммой от 12 ноября уже назначает ему встречу с немецкой армией через девять месяцев на далекой Волге, в Сталинграде.

Зорге помог избежать поражения под Москвой, Треппер и его люди сделают возможной победу под Сталинградом.

После неудачи в Берлине функабвер отмечает, что РТХ сильно активизировался. Судя по числу переданных радиограмм, «пианист» РТХ возложил на себя обязанности своего берлинского собрата, вынужденного замолчать. Благодаря скрупулезной работе специалистов в Кранце и Бреслау было окончательно установлено, что передатчик находится где-то в Брюсселе. Функабвер посылает к Фортнеру спецгруппу, автомобили с радиопеленгаторами и два чемодана с пеленгационным устройством. При такой мобилизации сил возможность неудач исключена. Охота за РТХ на этот раз действительно началась.

Облава на улице Атребат

Рассказывает Фортнер: «Официально я по-прежнему отвечал за контрразведку в Генте, но по приказу из Берлина мне пришлось заняться историей с подпольным передатчиком. Когда выяснилось, что он находится в Брюсселе, я поселился в великолепной квартире на бульваре Бранд Уитлок, брошенной ее хозяйкой-англичанкой. Между прочим, после войны я получил от нее письмо с благодарностью за то, что оставил все в полном порядке. Консьержка, разумеется, не догадывалась, чем я занимаюсь; она полагала, что я торгую на черном рынке, и чтобы

не разубеждать ее, я время от времени дарил ей кусок мыла.

Прибытие бригады функабвера все изменило. До их появления каждую ночь мне приходилось слушать РТХ по своему приемнику, но предпринять я ничего не мог. Технический сотрудник, работающий с переносным пеленгатором, произвел на меня особенно сильное впечатление. Это был чрезвычайно амбициозный и самоуверенный унтер-офицер. Он сразу же заявил мне: «Я возьму его».

С помощью пеленгаторов дело продвигалось быстро. Я вспоминаю, что мы даже погрузили один аппарат на самолет и пролетели над городом. Нам очень помогало то, что ночью передатчик работал по пять часов подряд. Очевидно, русские ничего не опасались. Да и чего им было бояться? Они не могли знать, что мы располагаем столь точной аппаратурой, переносной пеленгатор, например, был техническим чудом, в мире не существовало ничего подобного; даже старые профессионалы были потрясены. Я уверен, что за пределами Германии им воспользовались впервые.

В конце концов мы добрались до улицы Атребат. Мой унтер-офицер был убежден, что передатчик находится в одном из трех домов: 99, 101 или 103. Я незаметно проверил всех жильцов. В доме 99 жила фламандская семья, известная своими прогерманскими настроениями. В 101-м поселились латиноамериканцы; соседи рассказали мне, что они сотрудничают с немецкими экономическими учреждениями. В доме 103 никто не жил. Я предполагал, что передатчик скорее всего спрятан в нежилом доме, но нам нужна была абсолютная уверенность. За этими тремя домами в том же квартале находился реквизированный особняк, который занимали два человека из «Организацион Тодт». Об этом сообщили нам в брюссельском жилищном управлении. Командующий оккупационными войсками в Бельгии, по моей просьбе, запретил этим людям выходить на улицу в течение нескольких дней. Мы ввели их в курс дела; они обещали никому ничего не рассказывать, сидеть дома. Мы разместились в особняке, и в течение четырех или пяти ночей унтер-офицер мог работать в непосредственной близости от трех подозрительных домов. В конце концов он заявил мне, что передачи ведутся из среднего дома № 101, где живут латиноамериканцы. Настало время действовать.

Мы были готовы нанести удар. Налет был назначен примерно на 2 часа ночи с 12-го на 13 декабря.

Большой шеф прибыл в Брюссель 12 декабря и отправился к Кенту, где для него всегда была приготовлена комната.

Он приехал в Брюссель, чтобы повидать Макарова.

Они должны были встретиться на улице Атребат на следующий день, 13 декабря.

Фортнер:

«12 декабря около 10 часов вечера я, унтер-офицер и еще трое офицеров абвера расположились в доме служащих «Тодта». С нами было еще шесть полицейских, остальные прятались в доме № 97, рядом с жилищем фламандцев. Солдаты территориальных войск оставались в казарме, готовые блокировать улицу. Они были вооружены автоматами, и я велел им натянуть толстые шерстяные носки поверх сапог: подозрительный топот не должен вызвать тревогу.

Мой план прост: внезапное нападение. Я и двое полицейских врываемся в дом фламандцев; один из офицеров с двумя полицейскими отправится к латиноамериканцам; то же самое предусмотрено и для нежилого дома. Третий офицер будет командовать солдатами на улице Атребат. Мы взяли с собой фонарики, топоры и даже пожарные лестницы на тот случай, если придется лезть на крыши.

К двум часам ночи люди уже были расставлены. Через полчаса все было готово, и я отдал приказ начинать.

При виде меня и двух полицейских фламандцы так возмутились, что я сразу понял — передатчика здесь нет. С правой стороны от дома 101 донесся крик офицера абвера: «Сюда! Это здесь!» Раздалось три выстрела. И я вижу, что полицейские стреляют в человека, выбежавшего из дома. Солдаты бросаются за ним вдогонку.

Я же врываюсь к латиноамериканцам. На первом этаже я вижу женщину в ночной рубашке — она спала здесь на походной кровати. Красотка, не старше двадцати пяти; по виду еврейка, типичная еврейка. На втором этаже над еще теплым передатчиком уже колдует мой унтер-офицер. На третьем — еще одна женщина в кровати. Высокая, миловидная, лет двадцати пяти — двадцати восьми, ярко выраженная еврейка. Услышав крики: «Попался! Попался!» — я спускаюсь на первый этаж. Беглец попытался спрятаться в подвале дома напротив, но был пойман. Он сопротивлялся и его избили так, что наш арестованный весь в крови. Его латиноамериканский паспорт в абсолютном порядке. Что же касается женщины с первого этажа, то она предъявила мне удостоверение личности на имя француженки Софи Познанской. Я заметил ей, что для француженки она слишком плохо говорит по-французски, с этой минуты Познанская и рта не раскрыла. Избитый вел себя точно так же: не произнес ни слова! Надо было снова идти на третий этаж. Я поднимаюсь по лестнице, а снизу полицейский кричит мне, что Познанская просится в туалет. Конечно, говорю я, пусть идет, но при условии, что ее будут сопровождать. Она отказывается.

Женщину с третьего этажа зовут Рита Арну. Всхлипывая, она говорит мне: «Я рада, что все кончилось. В подпольную организацию я вступила против желания, любовник заставил». Я заговорил с ней на французском, но она прервала меня: «Послушайте, давайте перейдем на немецкий, так будет проще.— А вы знаете немецкий?— Конечно, я — немка, родилась во Франкфурте». Она готова все рассказать. Я велю принести две бутылки вина, чтобы выпить с ней.

Рита Арну, признаться, меня растрогала. Я был уверен, что она оказалась замешанной в дело случайно. Попала в ловушку под давлением обстоятельств. Я пытался облегчить ее участь, не отправил в тюрьму, поселил в гостинице, успокоил ее мать. Более того, через несколько месяцев, уезжая в командировку в Испанию, в Сан-Себастьян, я предложил Рите уехать со мной и остаться там.

От ее ответа у меня кровь в жилах похолодела. Рита сказала мне обреченно: «Зачем? Я — предатель, и советская разведка найдет меня, где бы я ни оказалась». Довольно скоро ее расстреляли.

Вот так... Но вернемся к 13 декабря. Во время нашего разговора Рита как бы вскользь роняет фразу: «Будьте повнимательней там, внизу.— Повнимательней к чему? — Спуститесь, вы наверняка найдете». Я опять спускаюсь на первый этаж и приказываю полицейским обыскать все как следует. Один из них стучит по перегородке, за кроватью Познанской: глухой звук! Познанская уже снова улеглась. Я приказываю ей встать. Она отказывается. Ее поднимают, отталкивают в сторону и вышибают дверь, замаскированную перегородкой. За дверью — маленький, слабо освещенный красной лампой кабинет. Я велю сменить лампу: стало посветлее. Что же мы видим? Мастерскую по изготовлению фальшивых документов! Здесь есть все необходимое: чистые паспорта, печати, бланки! А на полочках расставлены пузырьки с какими-то жидкостями и полные стаканы кристаллов. Поскольку Рита уверяла меня, что это яд, мы отослали пузырьки и кристаллы в лабораторию Кёльна для анализа. Руководитель лаборатории сообщил мне, что из этих компонентов изготавливают невидимые чернила чрезвычайно высокого качества, их практически невозможно обнаружить.

В этой комнате я определенно пережил одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Судите сами: там оказались чистые бланки наших разведывательных служб, попавшие сюда из Берлина! Это было немыслимо. Значит, мы столкнулись с гигантской сетью, имевшей сообщников повсюду. В довершение всего мой унтер-офицер приносит со второго этажа полусгоревшие бумаги, которые он нашел рядом с передатчиком: все на немецком языке! Я не мог прийти в себя... Спрашиваю Риту, и она абсолютно спокойным тоном отвечает: «Ну, конечно, здесь вся работа шла на немецком». Это было просто поразительно.

В кабинете мы нашли также две фотографии — их, видимо, не успели наклеить на фальшивые документы. На одной из них, утверждала Рита, человек, которого называли Большим шефом, на другой — Маленький шеф. Снимки были очень хорошие, четкие. Рассматривая их, я испытал странное чувство, будто где-то уже видел обоих этих людей. О Большом шефе Рита совсем ничего не знала; зато ей было известно, что Маленький шеф живет где-то в районе бульвара Бранд Уитлок, то есть в том же квартале, что и я, у него есть любовница — блондинка, выше его ростом, и они часто гуляют вместе, держа на поводке большую собаку: достаточно точные сведения, чтобы найти этого парня в течение дня.

Мы ушли с улицы Атребат примерно в половине седьмого утра, но я оставил на месте полицейского и переводчика и приказал арестовывать всякого, кто попадет в мышеловку. А сам немедленно отправился к начальнику брюссельской службы абвера с докладом о нашем успехе. Он, конечно, пришел в восторг и немедленно приступил к составлению рапорта в Берлин. Но какое кодовое название выбрать для этой сети? Как вам известно, у нас в абвере шпионскую сеть называют «Kapelle». Например, была «Арденнская капелла», которая действовала в районе Бастони. Шеф предложил: «Русская капелла». «Нет,— сказал я ему.— «Красная капелла» будет еще лучше».

Мы знаем только псевдоним человека, которого арестовали и избили: Камилл. Он — палестинский еврей, бывший боец интербригад, женатый на француженке и живший в Париже. Познакомившись с ним, Треппер стал готовить его к работе, направил на улицу Атребат постигать искусство «пианиста». Камилл — храбрый, деятельный, восторженный человек. Он умрет, не сказав ни слова.

Софи Познанская — шифровальщица сети. Она — ас в этом тонком деле. Если бы Софи выдала код Фортнеру, то нанесла бы жестокий удар «Красной капелле». Софи Познанская не заговорит. В скором времени она покончит с собой в камере тюрьмы Сен-Жиль, куда бросит ее Фортнер.

Рита Арну, которую всячески обхаживают в номере отеля, готова говорить. Но сразу видно, что она не посвящена в тайны организации. Она варила суп и убирала постели...

Но благодаря ее показаниям за несколько часов удается напасть на след Маленького шефа. А главное, на улице Атребат уже расставлена ловушка, в которую, как с полным основанием рассчитывает Фортнер, агенты попадутся сами...

Первый посетитель назвался хозяином дома и заявил, что пришел получить плату за квартиру. Полицейский и переводчик попросили его предъявить документы и позвонили в жилищное управление Брюсселя. Человек действительно оказался хозяином дома 101; его отпустили.

Вторым был оборванный, небритый мужчина, от которого плохо пахло. Он держал в руках корзину, где копошилось несколько кроликов. Мужчина просил позвать хозяйку, заявив, что всегда продает ей кроликов. Ему объяснили, что хозяйки нет, но поскольку тот не отставал, его прогнали, поддав пинка.

Чуть позже раздался третий звонок в дверь. Визитера впустили и проверили его документы. Они были выданы на имя Карлоса Аламо. Обыскав посетителя, полицейский обнаружил у него в карманах несколько шифровок. Щелкнули наручники. Карлос Аламо знает большинство членов организации и код, который использовался на улице Атребат.

С четвертым посетителем было труднова-то. Хриплым голосом он спросил, когда открывается гараж, расположенный неподалеку на улице Атребат. Какой гараж? Тот, что реквизирован немцами. Ему приказали войти и предъявить документы. У него оказался специальный пропуск, выданный «Организацион Тодт». Озадаченные полицейский и переводчик решили все же задержать его, но он устроил скандал, кричал, что им здорово достанется от военных властей, если они немедленно не позвонят начальству. Полицейский позвонил в абвер и сообщил о пропуске. «Немедленно отпустите его!» — закричал офицер. Что и было сделано[1].

[1] Сотрудники абвера так до самого конца и не узнали, что «человеком из «Тодта» был Большой шеф — об этом рассказал впоследствии сам Треппер. *(Прим. перев.)*

Вечером 13 декабря Кент и Маргарет провожали Треппера на вокзал, но, выйдя на перрон, они увидели лишь удаляющийся красный огонек парижского поезда. Все трое отправились на проспект Слежер. Но путь им преградил полицейский кордон, а у дома Кента стояло несколько машин. Он позвонил из кафе: подошедший к телефону человек ответил по-немецки. Кент и Маргарет укрылись у одного из бельгийских друзей. Треппер уехал следующим поездом.

Сердце подпольной сети — Брюссель — было разбито.

Планомерное отступление

Париж — это не тыл, а тыловая база, откуда Большой шеф руководит боевыми действиями. По возвращении из Брюсселя он приступает к ликвидации бреши, пробитой Фортнером.

Первоочередная проблема: Кент. Этот парень, великолепный работник в мирное время, когда агент рискует только своей свободой, не обладает закалкой, необходимой для того, чтобы рисковать жизнью. После облавы на улице Атребат нервы его сдают. Нет ничего заразнее паники. Поскольку Кент вызывает опасения, его следует удалить. Треппер отправляет его в Марсель, в неоккупированную зону. Он снова встретится там со славным господином Жаспаром, бывшим директором «Форин экселент тренч-коут». Почему бы им вдвоем не создать там местную подпольную сеть со своим собственным передатчиком? Свободная зона — подходящая для этого территория, ведь здесь, конечно же, не так строго следят за людьми, как в других районах. Однако Большой шеф не питает особых иллюзий. Кент оценен по заслугам и признан ненадежным. Правда, если захочет, в Марселе он сможет заново проявить себя, но пока он — в запасе.

Ну, а Маргарет Барча? Треппер считает, что она оказывает пагубное влияние на Кента: он так страстно ее любит, что боится за нее больше, чем за себя; Маргарет расслабляет его и отрывает от дела. Треппер предлагает Кенту переправить ее в Швейцарию, где она спокойно дожидалась бы конца войны и более благоприятных для их любви времен. Кент отказывается: без Маргарет он не поедет в Марсель. Большой шеф вынужден уступить.

Опасность угрожает еще одному члену бельгийской сети: Исидору Шпрингеру (прозвище — Ромео), любовнику Риты Арну. Большой шеф отсылает его в Лион в безопасное место.

Вторая проблема: арестованные. Будут ли они молчать? А если заговорят, что расскажут? Будущее сети — в их истерзанных, скованных железом руках, и Треппер не может вести игру, не зная, какие козыри уже выпали противнику. Он создает специальную группу с единственной целью — собирать для него информацию о заключенных: Аламо, Софи Познанской, Камилле, Рите Арну... Люди Треппера подкупают нескольких охранников из тюрьмы Сен-Жиль. Благодаря своим агентам Треппер узнает, как часто происходят допросы, сколько времени продолжаются, в каком моральном и физическом состоянии узник попадает назад в свою камеру; они сообщают ему о показаниях Риты, о молчании Аламо и Камилла, самоубийстве Софи Познанской, следят за домом, где разместился абвер, и отмечают, что там идет обычная работа: при первых признаках небывалой активности они будут знать, что кто-то из заключенных заговорил.

Итак, бреши ликвидированы, остается реорганизовать бельгийскую сеть. Но Кент и Аламо уже вне игры, а место Треппера — в Париже. Кто же возглавит работу в Брюсселе? Ответ из Москвы: капитан Константин Ефремов.

Ефремов приехал в Бельгию из Швейцарии в сентябре 1939 года с паспортом № 20268, выданным в Нью-Йорке 22 июня 1937 года на имя Эрика Йернстрёма, финского студента, родившегося 3 ноября 1911 года в Ваасе.

Ефремов довольно красив: рост примерно метр восемьдесят, белокурые волосы, голубые глаза, лоб мыслителя и печальный взгляд; он несколько напоминает поэта-романтика. В действительности Ефремов — военный инженер в чине капитана, химик по специальности. Приехав в Брюссель, он поступает в Политехнический институт и живет как прилежный студент.

Треппер и Ефремов встречаются в Брюсселе на квартире одного из членов подпольной сети. Большой шеф вводит своего нового помощника в курс дел, которые на него возлагаются, вручает ему сто тысяч бельгийских франков на текущие расходы и советует быть осторожным. Сеть заморожена на шесть месяцев. Два передатчика, не попавшие в руки Фортнера, должны молчать до нового приказа; связные максимально сократят свои передвижения, строжайшая конспирация обязательна для всех. Ефремов подчиняется этим указаниям. Он очень сговорчив. Пожалуй, даже слишком. Короче говоря, Треппер считает его мягкотелым. После Аламо, мечтавшего только о том, как бы ввязаться в драку, после Кента, содрогавшегося при мысли о потере своих пятидесяти костюмов, Москва посылает теперь к нему этого приятного парня, который выслушивает распоряжения с покорностью и безразличием папиного сыночка, принимающего бразды правления семейным заводом.

Молодая гвардия определенно не чета старой.

Они сильны, очень сильны

После облавы на улице Атребат Москва по отношению к «Красной капелле» оказалась в положении прохожего, который, прилипнув к окну дансинга, наблюдает за происходящим внутри, не слыша музыкантов: движения танцующих столь же несуразны, сколь смехотворна деятельность агентов, донесения которых не поступают.

Берлинская сеть? Парализована непрофессиональной работой «пианистов» и попала под наблюдение функабвера. Брюссель? Машины с пеленгаторами постоянно курсируют по улицам. Париж? У Большого шефа нет передатчика. Генерал Суслопаров, отозванный на родину вместе с советским посольством, уехал, не оставив ему радиотехники, которую он столько раз запрашивал.

Что делать?

Последняя надежда, единственное спасение: Французская коммунистическая партия. В принципе Треппер не имеет права вступать в контакт с коммунистами. Золотое правило советских секретных служб гласит: разведывательные сети и местные коммунистические партии должны быть разделены непроницаемой перегородкой. Как у всякого правила здесь бывают исключения. Между резидентом и представителем партии происходят ежегодные встречи. Их всегда готовит Центр. Места этих встреч Трепперу сообщены заранее. Если ему присылают открытку с изображением Монблана, это означает, что он должен ждать представителя партии в таком-то пункте; вид старого марсельского порта указывает на другое место и т. д. Дата встречи? Чтобы вычислить ее, надо прибавить условленную заранее цифру к числу, указанному на почтовом штемпеле; время всегда одно и то же.

Если потребуют обстоятельства, партнеры могут договориться о более частых встречах —раз в месяц, например, но для этого нужно согласие Москвы. Такие вещи просто не делаются.

Только в феврале 1942 года, через два месяца после провала на улице Атребат, Треппер, чтобы не оказаться в изоляции, вступает в контакт с партией. Вполне возможно, что предварительная встреча произошла еще до 13 декабря и что собеседники договорились встречаться чаще.

В феврале представитель партии приходит на место встречи, держа в руках, как условлено заранее, малочитаемую в Париже газету. Он довольно молод, брюнет, среднего роста, очень элегантен. Псевдоним: Мишель. Треппер излагает ему свои просьбы. Во-первых, партия должна взять на себя передачу в Москву донесений, собранных за два месяца. Обычно это не делается, но необходимость вынуждает использовать партийный канал. Чтобы такое не повторялось — иначе можно свести на нет необходимую конспирацию,—разведывательную сеть очень срочно надо снабдить новым передатчиком.

Через несколько дней Мишель приносит Трепперу ответ из Москвы. Директор приказывает ему, как уже было сказано, связаться с Ефремовым и поставить его во главе бельгийской сети. Он разрешает в исключительных случаях передавать через коммунистов двести—триста групп цифр в неделю— это немного, но радиоканал партии уже перегружен. Что же касается нового передатчика, необходимого Трепперу, технические специалисты партии займутся этим.

На сцену выходит Фернан Порьоль. Это своего рода «пианист»-виртуоз в партии, специалист по «музыкальным шкатулкам», настоящий мэтр в сфере радиосвязи. Как он достиг этого? Мы не знаем. Порьоль — журналист, бывший главный редактор «Руж-миди», корреспондент «Юманите» в Марселе. Брюнет с правильными чертами лица, серьезного и открытого одновременно, он молодо улыбается, смотрит доброжелательно. Этот человек вручает Трепперу передатчик собственного изготовления. Самодельная рация не обладает необходимой мощностью для связи с Москвой, но вести передачи на Лондон может; радисты советского посольства, приняв информацию, будут передавать ее в Центр.

Оставалось лишь найти «пианиста». Это легче, чем достать передатчик. Камилл, которого Треппер надеялся использовать в Париже, видимо, в тюрьме; но Суслопаров, хотя и не обеспечил Большого шефа рациями, назвал ему людей, которые могли бы передавать шифровки,— это супруги Сокол, коммунисты русско-польского происхождения. Они обращались в советское представительство с просьбой о репатриации. Профессия: радиотехники. Это обнадеживало.

Большой шеф, однако, не стал пороть горячку (он никогда этого не делал) и через своего «партнера» от партии запросил подробные сведения о Соколах. Сбор данных обернулся неожиданной стороной: супружеская пара, приехавшая из Бельгии, неизвестна французским коммунистам. Тогда запросили информацию у Коммунистической партии Бельгии — видите, как тщательно проводилась проверка? Пришел положительный ответ: абсолютно преданные борцы, изгнанные из Бельгии за политическую деятельность. Но что за причуда — назвали себя радиотехниками! По утверждению бельгийцев, Херш Сокол — врач, его жена Мира — социолог, доктор наук! Блажь? Нет, хитрость, невинная ложь, чтобы не оказаться в положении «перемещенных лиц» и облегчить себе возвращение на родину.

Они обращались с просьбой о репатриации в Россию за год до окончания учебы. Отказано под предлогом того, что их негде поселить в Москве. В 1935 году новое обращение с той же просьбой, и новый отказ. Поскольку им не удалось вернуться на социалистическую родину, они приобщаются к политической деятельности там, где живут, и вступают в Коммунистическую партию Бельгии — до этого они уже состояли членами левоэкстремистских студенческих организаций.

В 1938 году Соколов выдворяют из страны, и они находят убежище во Франции. На следующий день после объявления войны Херш вступает в Иностранный легион. Когда военная кампания провалилась, его демобилизовали. Что делать в оккупированной Франции еврею, коммунисту, без средств и ремесла? Попытаться уехать. Херш и Мира в третий раз обращаются с просьбой о репатриации в советское представительство в Париже. Но поскольку на этот раз речь идет о жизни и смерти, в графе «профессия» он пишет: мастер по ремонту радиоаппаратуры. Поскольку России не хватает технических специалистов, для радиомастера, может быть, скорее найдут жилье, чем для дипломированного врача или специалиста-обществоведа. Вот когда был подписан их смертный приговор.

Треппер ищет встречи с Соколами. Он разглядел в Мире, угадал в Херше три редких качества, которые еще реже соединяются в одном человеке: ум, храбрость, веру. Нельзя оставлять эту пару на обочине дороги, эти люди имеют право на борьбу. Из них сделают «пианистов».

Несмотря на ошибки берлинской группы, несмотря на провал в Брюсселе, «Красная капелла» продолжает исполнять свою симфонию с Хершем Соколом у рояля.

Берлин в ярости от этой «музыки». Захват передатчика на улице Атребат? Удар мимо

цели. Нужно было «накрыть» все три брюссельских передатчика сразу, вместо того чтобы поднимать тревогу, которая только насторожила двух других «пианистов» — они ведь снова примутся за дело, как только пронесется гроза. И что толку от захвата рации, если организация продолжает существовать? Фортнер не выдержал и набросился на наживку, вместо того, чтобы терпеливо распутывать клубок. Он знал, что дом 101 по улице Атребат — одна из явок сети; почему же он не устроил напротив наблюдательный пункт, откуда можно было бы фотографировать подозрительных посетителей? Почему не установил слежку за связными, чтобы добраться до главарей? Итог его операции: Рита Арну готова говорить, но почти ничего не знает; Аламо и Камилл молчат, Познанская покончила с собой. Жалкие трофеи... Поскольку люди скрылись, остается одно — расшифровывать радиограммы РТХ, записанные в последние несколько месяцев немецкими службами радиоперехвата. Радиограммы приводят в отчаяние криптографов вермахта, которым вручил их функабвер. Советская сеть использует чрезвычайно сложную систему: с ее помощью можно зашифровать до пяти тысяч радиограмм, прежде чем появятся первые повторы, которые обратят на себя внимание. Иными словами, партия проиграна заранее.

Функабвер не сдается. Поскольку вермахт отступился, этим займутся их собственные дешифровщики. К работе привлекают специалиста в этой области Клудова [1] и примерно пятнадцать студентов, математиков и филологов, которых Клудов обучит своему искусству. Но перехваченные радиограммы находятся в Брюсселе. Функабвер требует немедленно возвратить их. Брюссель бодро отвечает, что их бросили в огонь: не было никакого смысла хранить радиограммы, не поддающиеся расшифровке. Тьфу, пропасть! Значит, все потеряно? Нет, ведь немецкие станции подслушивания в принципе обязаны хранить копии перехваченных радиограмм в течение трех месяцев. Функабвер в панике: одного из офицеров посылают обследовать все четыре станции, слушавшие РТХ. В Гётеборге он находит двенадцать радиограмм; другие были использованы как бумага для записей. В Лангенаргене ему сообщают, что все тексты были посланы в Штутгарт, где находится школа шифровальщиков; офицер устремляется в Штутгарт и находит несколько радиограмм. В Ганновере — скудный урожай: почти все уничтожено. В Кранце офицера ведут в подвалы, где хранятся огромные мешки, набитые радиограммами; их приготовили для сдачи в макулатуру; потратив несколько дней на разбор этих бумаг, офицер возвращается в Берлин с добычей. Он спас от гибели около трехсот радиограмм. Этого недостаточно для того, чтобы дешифровщики могли продолжить работу с надеждой на успех.

Однако Клудову передают документы, найденные около передатчика на улице Атребат. Камилл бросил записи в печку, но один полицейский выхватил их из огня. Клудов изучает полусгоревшие листки. Через несколько дней упорной работы ему удается разобрать одно слово. К счастью, это имя собственное, имя героя книги, которую использовала Софи Познанская. Советская разведка действительно применяет этот способ шифровки, один из экземпляров книги находится в Центре. Перед функабвером забрезжила победная заря. Во-первых, известно, что радиограммы шифровались на улице Атребат; во-вторых, в книге, которую использовали для шифровки, должно быть прочитанное Клудовым имя. Вывод: достаточно забрать оставшиеся на улице Атребат книги и тщательно просмотреть их, чтобы обнаружить ту, которая служила для шифровки. После этого сохранившиеся радиограммы очень скоро раскроют свои секреты.

Отвечая на звонок из Берлина, Фортнер несколько смущен. Он объясняет, что засада, устроенная на улице Атребат, длилась только несколько дней, затем его люди ушли оттуда. После этого появились двое неизвестных с тележкой и увезли библиотеку. В доме не осталось ни одной книги...

Проклятый Фортнер!

Ну, а Рита Арну? Уж она-то наверняка обмахивала книги своей метелкой? Может быть, она запомнила их названия? Рита подтверждает, что на столе Познанской лежало множество книг, но она помнит только пять названий. Четыре из них найдены в немецких и бельгийских книжных магазинах, но пресловутого имени собственного там не оказалось. Чтобы купить пятую книгу — «Чудо профессора Вольмара» Ги де Терамона, в Париж специально посылают человека. Есть! В начале июня 1942 года Клудов и его бригада могут приступить к расшифровке трехсот радиограмм РТХ.

Удача начинает поворачиваться к ним лицом. Берлину, однако, не до ликования. Напротив, все здесь удручены, да это и понятно, ведь обнаруженные факты свидетельствуют о надвигающейся катастрофе. Сначала — призрачный берлинский передатчик. Затем — немецкие документы, найденные на улице Атребат, и в довершение всего эта девушка, Рита Арну, спокойно заявляет: «Ну да, конечно, работа шла на немецком». Следовательно, в самом сердце рейха существует шпионское гнездо, которое обводит вокруг пальца все полицейские службы. Именно в этот период фюрер признает: «Большевики сильнее нас только в одном: в области шпионажа».

Сотрудники абвера и эсэсовцы из гестапо часто со знанием дела шепчут друг другу: «Русские сильны, очень сильны...»

СС приходит на помощь

Вальтер Шелленберг: «По приказу Гитлера Гиммлеру было поручено наладить тесное взаимодействие моей разведки за границей с гестаповской службой безопасности Мюллера и контрразведкой Канариса. Координировал эту работу—операция получила кодовое название «Красная капелла»—сам Гейдрих».

Здесь (впрочем, как и во всем византийском строении нацистского государства) все перемешано, но все основательно. Об этом можно судить хотя бы по перечислению имен: рейсхфюрер СС Гиммлер, самый могущественный после Гитлера человек в Германии; Гейдрих, шеф СД, то есть всех немецких по-

[1] Псевдоним, придуманный автором. *(Прим. автора.)*

ицейских служб; Мюллер, получивший прозвище «гестапо-Мюллер», поскольку держит гестапо в своем железном кулаке; Шелленберг, начальник разведки СС; адмирал Канарис, глава абвера, службы разведки и контрразведки вермахта.

Шелленберг завидует Мюллеру, а тот ненавидит его, но ведет себя с ним осторожно, ведь Гейдрих, хотя и покровительствует ему, но временами и угрожает в зависимости от того, сильна или слаба его собственная позиция в отношениях с Гиммлером. Последний восхищается Гейдрихом, а значит, побаивается его и, не смущаясь, использует против него Мюллера и Шелленберга, которые в одинаковой мере ненавидят Гейдриха и т. д.

Но Гейдрих, Мюллер и Шелленберг сходятся по крайней мере в одном: в ненависти к Канарису. А как же обстоит дело с их соперничеством между собой? Это всегда лишь слабые стычки на фоне священной войны, которую они ведут против адмирала, сталкивая таким образом все службы СС с кадровыми военными абвера.

По приказу, отданному в конце 1941 года до крайности раздраженным фюрером, эти непримиримые враги вынуждены будут сотрудничать. Создается смешанная зондеркоманда «Красная капелла», на которую возложена задача ликвидировать организацию Большого шефа. Вряд ли возможно более яркое доказательство эффективности работы резидента, чем беспрецедентное объединение всех немецких спецслужб для борьбы с противником, которого они считают слишком опасным для того, чтобы преследовать его по отдельности. Но сколько опасностей сулит это ему...

Фортнер часто приезжал с отчетами в Берлин. Он приобрел здесь определенную известность; в офицерской столовой на него указывали пальцем, коллеги называли его «дирижером» «Красной капеллы». Все это было довольно забавно. Но однажды начальство вызвало его, чтобы сообщить поразительную новость: ему придется сотрудничать с СС.

Фортнер пребывал в угрюмом расположении духа, отправляясь на встречу, назначенную гауптштурмфюрером СС Карлом Гирингом, начальником зондеркоманды «Красная капелла». Это оказался очень высокий и худой мужчина с мертвенно-бледным лицом. Он, улыбаясь, протянул ему руку и хриплым голосом произнес: «Видите ли, я—старый полицейский, а не эсэсовец: согласны ли вы работать со мной?»

Они перешли на «ты».

Гиринг—один из лучших полицейских Германии, многие говорят: лучший. Всякий раз, когда совершалось покушение на жизнь Гитлера, именно ему доверяли почетную миссию вести расследование.

Его заместитель и доверенный Вилли Берг —человек того же склада: родственные души, если можно так выразиться. Берг, телохранитель Риббентропа во время знаменательной поездки в Москву, был очевидцем подписания германо-советского договора. Низкорослый и полноватый, он выглядел комичным антиподом устремленного ввысь шнуроподобного Гиринга. Эти Дон Кихот и Санчо Панса входят в нашу историю рука об руку, глядят нагло и ухмыляются; они ни во что не ставят разглагольствования бравого Гиммлера по поводу «еврейской мрази», которую они должны истребить, но все же немного ослеплены открывшимся перед ними широким полем деятельности.

Интересная деталь: Гиринг обречен и знает это. Его хриплый голос—следствие раковой опухоли, разъедающей ему горло. Любопытно, что врачи рекомендовали ему только два способа лечения: кофе и алкоголь. Он потребляет и то, и другое в неограниченных количествах. Каждый раз, когда в нашем рассказе будет всплывать образ начальника зондеркоманды, не нужно забывать о бутылке коньяку на его столе и кофейнике на плите или портативной плитке. Надо также помнить, что между Гирингом, который должен уничтожить «Красную капеллу», и раком, который уничтожает его, идет борьба за выигрыш во времени.

Аламо, без сомнения, самый важный агент, попавший в ловушку на улице Атребат. Он ничего не сказал Фортнеру. Гиринг приказывает отправить арестованного в Берлин. Его могли бы подвергнуть пытке, ведь в зондеркоманде есть мастера этого дела. Гиринг в принципе не против пыток, но считает, что они должны быть эффективными. Он оценивает своего пленника: это человек чистый, восторженный, жаждущий принести себя в жертву, стать героем. Если ему представится возможность умереть в муках с пением «Интернационала», все пропало. Значит, его надо гладить по шерстке, приручать. С ним разговаривают за бутылкой коньяку. Аламо случайно упоминает, что служил в Испании. В каких войсках? Что за вопрос! Конечно же, в авиации. Когда речь заходит о самолетах, Аламо становится сам не свой. Щелчок в мозгу Гиринга. В тот же вечер заключенного выводят из камеры и поселяют в квартире начальника зондеркоманды. Его знакомят с высоким меланхоличным молодым человеком, бывшим пилотом люфтваффе, которому недавно ампутировали ногу: это сын Гиринга. Все последующие дни они увлеченно разговаривают друг с другом, размашисто жестикулируя, как это делают все летчики, вспоминающие о своих воздушных дуэлях. Неглупый ход. Но Аламо ограничивает свои излияния разговорами об авиации: он не выдает ни кода, ни организационной структуры брюссельской сети. И поскольку хитрость Гиринга не удалась, пленника снова отсылают в тюрьму Сен-Жиль. Тем не менее мы убедились, что за дело взялся настоящий мэтр сыска.

Франц Фортнер отыскивает след

Фортнер работает все профессиональнее. Пока что ему предоставляют свободу действий в Брюсселе. Гиринг понял, что Рита Арну—их единственная надежда, только ее показания позволят развернуть новую операцию в Бельгии. Кстати, Фортнер с самого начала обращался с Ритой так же, как Гиринг с Аламо, правда, не из хитрости, а потому, что искренне к ней расположен. И поскольку девушка оказалась сговорчивее русского...

Она выдала подпольные клички, насторожившие немцев: Большой шеф, Маленький шеф, Профессор и т. д., сообщила некоторые приметы. Адреса своего любовника Ромео Шпрингера она не знает, но ей известно, что он часто появляется на брюссельской бирже. Фортнер напрасно разыскивает его там: птичка улетела, не оставив следа. Но к нему поступает донос, облегчающий поиск: если Фортнер интересуется Шпрингером, ему советуют проследить за женщиной, заведующей машинописным бюро на бирже. Фортнер обнаруживает в официальной корреспонденции телеграммы, адресованные ею одной служащей парижского отделения бельгийской Торговой палаты. Значит, у сети есть ниточка и во Франции? Фортнер снимает фотокопии с этих телеграмм и отсылает их по назначению. Парижская корреспондентка, видимо, играет роль «почтового ящика». За ней устанавливают наблюдение.

Он расспрашивает Риту и об агенте, работавшем в прекрасно оборудованной мастерской по подделке документов на улице Атребат. Она описывает его внешность, сообщает, что это польский еврей, но ни адреса, ни мест, где он появляется, не знает. Сведений маловато, но Фортнер не новичок в подобных делах. Настоящим мастером по подделке документов за один день не станешь, и пока набиваешь руку, вполне можешь привлечь внимание полиции. Немало таких «мастеров» Фортнер упрятал за решетку, когда был следователем. Он обращается в бельгийскую полицию и в ее архивах находит сведения о том, что некий Абрахам Райхман, польский еврей, перед войной был заподозрен в том, что снабжал подпольный коммунистический аппарат фальшивыми банкнотами. Описание внешности, приведенное в его карточке, совпадает с приметами, названными Ритой. Но как найти Райхмана? Именно здесь судьба впервые улыбнулась Фортнеру. Один из его заместителей, Вайгельт [1], сообщает, что знаком с бельгийским полицейским, который может снабжать абвер фальшивыми документами. Это интересно, поскольку осведомители Фортнера вынуждены часто менять личину, а бельгийская полиция в целом не настолько надежна, чтобы пользоваться ее услугами. Сколько он просит? Тысячу франков за удостоверение личности. Фортнер кривится; но когда Вайгельт объясняет ему, что полицейский связан с коммунистическим подпольем и может быть полезен вдвойне, он требует встречи с ним.

Полицейского инспектора зовут Матьё; человек, через которого он связан с коммунистами,—Абрахам Райхман.

Треппер с уважением относится к Райхману-специалисту, но не доверяет Райхману-человеку; он тщеславен, неосторожен, часто высокомерен. Невозможно отказаться от услуг такого мастера, но чтобы его не занесло, приходится держать этого человека в узде. Пока шеф находится в Брюсселе, все идет хорошо. Но когда он, уезжая в Париж, знакомит Райхмана со своим заместителем Кентом — этим молокососом,— Райхман недоволен: «Что? Кент будет моим шефом? Но он же ничего не смыслит в этих делах». После облавы на улице Атребат Кента сменит Ефремов. Еще один профан, в сравнении с многоопытным Райхманом ничего собой не представляющий. Однажды он сообщает Ефремову, что познакомился с инспектором бельгийской полиции, который связан с Сопротивлением. Матьё сказал ему: «Вы делаете фальшивые документы? Зачем? Я вам буду доставать настоящие». Ефремов докладывает об этом Большому шефу и ждет распоряжений. Ответ получен немедленно: «Плохие «сапоги» [1], но свои, лучше новых, предложенных неизвестно кем. Прервите контакты». Ефремов слишком молод, чтобы заставить Райхмана подчиниться. Связь не прервана.

Брюссельская служба абвера выбирает для Матьё псевдоним Карлос: разве организация, с которой они имеют дело, не кишит так называемыми латиноамериканцами?

По инициативе Райхмана организация нашла очень надежный тайник для передатчика: дом Матьё. Инспектор предлагает спрятать его у себя в гараже. Осмотрев место, Райхман дает свое согласие. Для обследования передатчика из Берлина прибывает группа специалистов. Предусмотрительно натянув перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев, они разбирают его и фотографируют каждую деталь отдельно. По словам Фортнера, качество приемника их удивило. Этот передатчик русского производства оказался лучше немецкой радиотехники и даже лучше тех, что использовали английские агенты.

После осмотра передатчик снова положили в тайник. Абвер, предвкушая удачу, будет ждать, когда за ним придут. В следующий раз, когда в Брюсселе снова объявится «пианист», чтобы арестовать его, не придется прибегать к услугам специалистов функабвера.

Но Брюссель пока молчит. А у рояля «Красной капеллы» все тот же «пианист»— Херш Сокол.

Большой шеф боится за него. Опасаясь провала, подобного облаве на улице Атребат, он умоляет Москву принять во внимание угрожающую ему опасность, протестует против драконовского закона Центра: сначала разведданные, а безопасность агентов потом; настаивает, чтобы сеансы радиосвязи Сокола длились не более получаса. Напрасно: директор продолжает засыпать «пианиста» длиннющими радиограммами с вопросами, тогда как Большой шеф максимально ужимает свои донесения, чтобы сократить продолжительность передач.

Хорошо еще, что ему больше не приходится сообщать весь набор сведений, добытых берлинской сетью. Берлинский передатчик нерегулярно, но работает, несмотря на технические неполадки и страх перед функабвером. Большинство сообщений курьеры доставляют в Амстердам, а отсюда они попадают в Москву с помощью передатчика, которым располагает голландская сеть «Красной капеллы». Брюссельские «пианисты» снова примутся за дело, как только закончится их вынужденный «летаргический сон».

[1] Псевдоним, придуманный автором. *(Прим. автора.)*

[1] На профессиональном жаргоне «сапоги» — поддельные документы, «сапожник»— специалист по их изготовлению. *(Прим. перев.)*

Несмотря на это, Сокол завален работой: французская сеть «Красной капеллы» так разрослась, что для передачи потока собранной информации необходимо иметь несколько «пианистов». Херш Сокол слишком умен, чтобы не понимать, насколько неизбежна его гибель. Но этот стоик продолжает сидеть на стуле в наушниках, не отрывая указательного пальца от ключа. 3 июня 1942 года терпеливый поиск с помощью радиопеленгаторов увенчался успехом: гестапо взламывает дверь его дома в Сен-Жермен и оттаскивает радиста от передатчика. Мира арестована вместе с ним.

Сначала немцы решили, что арестованные—члены французской организации. Но когда обнаруживается их принадлежность к «Красной капелле», Гиринг приказывает переправить их в Берлин. Они попадают к Фортнеру, который пытается выяснить у Сокола, как тот стал радистом. Ответ: «Я сидел на террасе одного кафе и машинально постукивал пальцами по столу. Один из посетителей, сидевший рядом со мной, с улыбкой проделал то же самое, затем подошел ко мне и спросил, не хочу ли я стать радистом, так как у меня, кажется, есть дар для такой работы».

Фортнер был взбешен: «Хоть вы и педиатр, нечего разыгрывать из себя ребенка!» Сокол не отвечает, но палачи из зондеркоманды «Красная капелла» приложат все усилия, чтобы развязать ему язык.

Его арест для них—непредвиденная удача, которая поможет продолжить в Париже расследование, застопорившееся в Брюсселе. На допросах применяются самые изощренные пытки. Сокол молчит. Палачи остервенело набрасываются на Миру. Она молчит. Убедившись, что пытками от них ничего не добиться, зондеркоманда прибегает к своему излюбленному приему: к виску Херша приставляют дуло револьвера и предупреждают Миру, что он будет убит на ее глазах, если она не заговорит. Мира называет один из псевдонимов Треппера: Жильбер.

Больше Соколы ничего не сказали, хотя знали, каким шифром пользовался Большой шеф и были связаны с его ближайшим помощником Хиллелем Кацем.

Оба брюссельских передатчика, не попавшие в руки функабвера, в основном бездействовали, если не считать нескольких коротких сеансов связи, необходимых для того, чтобы не потерять контакт с Москвой. После ареста Соколов Большой шеф приказывает Ефремову начать работу с одним из этих передатчиков. Шесть месяцев прошло с момента облавы на улице Атребат: Треппер имеет полное основание предполагать, что брюссельская земля уже не так сильно горит под ногами.

Охота продолжается

В Берлине Клудов и его студенты, не отрываясь, работают над расшифровкой радиограмм. Из трехсот текстов, которыми они располагают, девяносто семь зашифровано по книге Терамона «Чудо профессора Вольмара». Функабвер так никогда и не узнает, что «Тридцатилетняя женщина» Оноре де Бальзака служила для шифровки остальных радиограмм.

Уже с июня 1942 года бригаде Клудова удавалось расшифровать ежедневно по два-три сообщения РТХ. Их содержание? Клудова и его людей это мало интересует. Как правило, дешифровщики, слишком пристально вглядываясь в слова, не обращают внимания на их смысл. Их задача — пробить «броню» радиограмм, прочесть скрытый под нею текст; то, что эти радиограммы свидетельствуют о провалах немцев, их не касается.

Это дело разведки. И шефы абвера пришли в ужас. Они отправлялись на службу, замирая от страха при мысли о текстах, которые добродушный Клудов вручит им с торжествующей улыбкой. Существование подпольных передатчиков в Берлине вызывало тревогу. Показания Риты Арну и немецкие документы, найденные на улице Атребат,—удручающие факты. Но расшифрованные радиограммы указывали на то, что катастрофа превосходит все допустимые размеры. Фактически не осталось ни одного участка в политической, экономической и военной области, который не был бы известен русским во всех подробностях. Третий рейх—одно из самых грозных полицейских государств всех времен—уподобился стеклянному дому, в который заглядывает Москва.

В середине июня из Кранца сообщают, что снова заработал какой-то брюссельский передатчик. Абвер настроен решительно: плевать на скрупулезное расследование, которое когда-нибудь позволит добраться до сердца сети, времени нет. Через несколько дней—28 июня 1942 года—танковые дивизии вермахта двинутся в решающее наступление. Операция «Голубая линия» должна вывести их к Сталинграду и открыть доступ к нефтяным скважинам Кавказа. После неудач зимней кампании, после того как потоки немецкой крови пролились на русский снег, в Берлине каждый знает, что все зависит от предстоящего наступления: исход войны будет решен между Воронежем и Сталинградом. Нельзя допустить, чтобы в эфир проскочили донесения, быть может раскрывающие Москве тайны жизненно важной «Голубой линии». Франц Фортнер рассказывает:

«Когда из Берлина поступило сообщение, что в Брюсселе снова заработал передатчик, для нас, естественно, это было неприятным сюрпризом. За передатчиком, спрятанным в гараже Матьё, никто не пришел, значит, наша ловушка не сработала и надо было начинать с нуля, как на улице Атребат.

Бригады технических специалистов вернулись в Брюссель, и я снова встретился с унтер-офицером, работающим с переносным пеленгатором; он был по-прежнему уверен в себе. В первые дни функабвер проводил проверку по различным районам города. Это может показаться невероятным, но передатчик работал всю ночь, как на улице Атребат, что, конечно, облегчало нашу задачу. Признаюсь, я никогда не понимал поведения русских... Неужели радисты были так перегружены работой? «Пианист», редко выходящий на связь, все же нужнее «пианиста» арестованного. Мне кажется, они просто не предполагали, какого уровня совершенства достигла наша пеленгационная техника. Я не нахожу другого разумного объяснения. Если, конечно, радистов не приносили холодно в жертву...

Передатчик продолжал работать ночью, как обычно, по пять часов подряд, и мы в

конце концов обнаружили дом, где он был спрятан. Это было высокое здание, расположенное между лавкой торговца дровами и и каким-то магазином. По мнению работавшего со мной специалиста, передатчик, судя по всему, находился на одном из верхних этажей. Ему было трудно определить это с большей точностью. В любом случае мне надо было действовать.

Я назначил операцию на три часа ночи 30 июня.

В три часа мы начинаем. На каждом этаже — по два полицейских, остальные — в резерве. Бегом поднимаемся по лестнице. Вдруг с чердака доносятся крики: «Сюда! Сюда! Это здесь!» Бросаюсь на чердак. Он разделен на маленькие отсеки. Бегу туда, где горит свет, вижу двоих моих полицейских—и больше никого! Я приказываю им обыскать все отсеки и быстро осматриваю помещение. На маленьком столе—еще не остывший передатчик. Около него—стопка документов на немецком языке. Вокруг валяются десятки почтовых открыток, присланных из разных немецких городов. Такое вполне могло сразить наповал. На полу—куртка и пара ботинок. Этот тип, видимо, чувствовал себя в полной безопасности: удобно устроился. Но как он мог ускользнуть? Я поднимаю голову и вижу приоткрытое слуховое окно. Просовываю голову, чтобы осмотреть крышу. Паф! Выстрел! Я молниеносно отстраняюсь и слышу крики с улицы: «Осторожно! Он засел у трубы!»

Спускаюсь вниз, захватив документы. Мои ребята заняли улицу, но укрылись в подворотнях: беглец их обстреливает. Отчетливо видно, как он перепрыгивает с крыши на крышу. В каждой руке у него по револьверу, и перед очередным прыжком он стреляет. Я чувствую, что моя молодежь теряет терпение, что радиста вот-вот убьют, но я предупреждаю: «Главное, не убивайте его! Надо взять его живым».

Мужчина уже на крыше последнего дома, дальше бежать некуда. Но он разбивает слуховое окно и исчезает. Слышно, как какая-то женщина зовет на помощь. Мы кричим ей с улицы: «Что там такое?» Она отвечает, что какой-то человек ворвался в ее комнату и выбежал на лестницу. Мы бросаемся к дому и осматриваем все этажи: никого! Я уже начинаю терять надежду. Но мои ребята спускаются в подвал, приподнимают перевернутую ванну и находят спрятавшегося под ней человека. В пылу и ярости они начинают избивать его прикладами. Я приказываю им прекратить и отвожу арестованного в одно из помещений тайной полиции.

Через некоторое время я объявляю, что должен допросить его и установить его личность. Он беспокойно поглядывает на полицейских, находящихся в моем кабинете. Я приказываю им выйти, снимаю с него наручники и говорю: «Начнем, нам никто не мешает, мы одни, и вы можете быть абсолютно откровенны». Явно расслабившись, он сообщает мне, что его зовут Иоганн Венцель и что он родился в 1902 году в Данциге. Немец? Но он продолжает: «Предупреждаю вас, я не из тех, кого можно сломить. Не ждите от меня никаких признаний, никаких доносов!» «Ну-ну,—отвечаю я,—это неблагоразумно!» Но ни слова от него добиться уже не удалось. И я решил посадить его в тюрьму Сен-Жиль.

После того как увели Венцеля, я отправился с докладом к начальству. Новость немедленно передали по телефону в Берлин. Через двадцать минут—ответный звонок из Берлина, и нам с необыкновенным восторгом объявляют: «Вы арестовали крупнейшего деятеля довоенной компартии Германии, одного из руководителей подпольного аппарата Коминтерна». Его арест казался им такой огромной удачей, таким чудом, они никак не могли поверить, что речь идет именно об этом человеке.

Чтобы завершить рассказ о Венцеле, добавлю, что через несколько дней гестапо приказало доставить его в Берлин. Он страшно испугался, ведь у гестаповцев наверняка были с ним старые счеты. В Берлине Венцель попал в руки Гиринга и его парней.

Но вернемся к той памятной ночи 30 июня. Я пришел домой около семи часов утра, совершенно разбитый. Документы, найденные рядом с передатчиком, я взял с собой. Это были радиограммы—одни Венцель собирался передавать, другие только что принял. Они были очень длинные и, разумеется, зашифрованные, но две или три радиограммы были записаны открытым текстом. Несмотря на усталость, я не смог сдержать любопытство и заглянул в них. В одной упоминался очень важный берлинский адрес, который немцы не должны были никоим образом обнаружить. Москва не употребляла слова «немцы», а называла нас «фрицами», или «бошами», или как-то еще. Когда я прочел остальное, мне было уже не до сна. Невероятно!

Здесь были приведены очень точные данные о производстве немецких самолетов и танков, о наших потерях и резервах. Последним ударом была радиограмма, описывающая в мельчайших подробностях план наступления на Кавказе. Наши войска только что выступили, они сражались еще за сотни километров от намеченной цели, а все планы операции были уже изложены, при этом указано число задействованных дивизий, рода войск, уровень их материально-технического обеспечения—короче, там было все. Настоящая катастрофа».

Радиограмма с берлинским адресом произвела на руководство абвера и гестапо сильное впечатление. Это был адрес одного высокопоставленного военного из люфтваффе. Действительно ли он был указан там? По некоторым сведениям, все было сложнее. В радиограмме приводились чрезвычайно секретные данные о немецких самолетах, которые могли быть известны только трем офицерам министерства авиации; быстрое расследование помогло бы разоблачить виновного. Со своей стороны, Фортнер настаивает на том, что адрес в радиограмме был.

В конце концов это не столь существенно: известно, что радиограмма привела гестапо туда, куда нужно. Да и сам текст не так уж важен: через несколько дней Клудов нанесет берлинской сети более сокрушительный удар.

Сначала дешифровщики работали над донесениями, которые Кент передавал в Москву. То ли устав от удручающих «открытий», которых становилось все больше, то ли про-

сто-напросто он был похитрее других, но один из руководителей абвера посоветовал Клудову расшифровать радиограммы, принятые Кентом, в надежде, что обнаружатся сведения о структуре подпольных организаций.

14 июня 1942 года Клудов разрушает берлинскую «Бастилию» советской разведки — он расшифровывает роковую радиограмму, полученную Кентом от Директора 10 октября 1941 года: «Встреча срочно Берлине трем указанным адресам» и т. д.

Зондеркоманда «Красная капелла» начинает охоту.

Набег на Амстердам

Расследование не завершено, но конец уже очень близок: хотя после облавы на улице Атребат Фортнер потерял нить и оказался в тупике, теперь у него появился новый «шанс» в лице Райхмана. Брешь, образовавшаяся в сети, вовсе не затянулась.

Как обычно, начало было неудачным. У Венцеля нашли письма Жермены Шнайдер. Когда немецкая тайная полиция арестовала ее, Жермена заявила, что ее отношения с Венцелем носят исключительно интимный характер. Ей поверили, отпустили, и она скрылась. В скором времени обнаружится, что Жермена Шнайдер, **она же** Бабочка и Одетта, так же как Венцель и Райхман, была деятелем Коминтерна и, так же как они, работала на «Красную капеллу». Ей тридцать девять лет, она замужем за швейцарцем Францем Шнайдером, который принимает посильное участие в подпольной работе. Жермена живет в Брюсселе с 1920 года. В 1929 году ее выслали из Бельгии за участие в политических выступлениях, но очень скоро она вернулась в страну нелегально. Ее квартира была своего рода «перевалочным пунктом» для приезжих коммунистических лидеров: здесь побывали Морис Торез, Жак Дюкло, Дорио и другие. С начала войны она выполняет обязанности курьера между Бельгией и Германией. Большинство сведений, собранных в Берлине, было переправлено в Брюссель с помощью этого главного «винтика», который немецкая полиция так глупо упустила.

После исчезновения Жермены Шнайдер было ясно, что немцы поднимут тревогу, и необходимо принять меры безопасности...

Но для Фортнера и это обернулось удачей. Получив сообщение о последнем ударе, нанесенном брюссельскому филиалу организации, Большой шеф приказывает Ефремову скрыться под новым именем. Русский обращается к Райхману, а тот — к инспектору Матьё, который доносит об этой просьбе абверу.

Франц Фортнер:

«Понадобилось удостоверение личности для одного студента. Матьё, естественно, попросил фотографию и показал ее мне. Это был молодой белокурый парень: очень открытое и невероятно симпатичное лицо с тонкими чертами. Матьё обещал сделать удостоверение и условился, что сам передаст его студенту, Райхман назначил встречу на 30 июля, от полудня до часа дня, на мосту, протянутом над Ботаническим садом, в самом центре Брюсселя.

Надо ли говорить, что мы тоже отправляемся туда на двух машинах, набитых полицейскими. Мы следуем за Матьё на расстоянии и через несколько минут ожидания видим, как к нему приближается худой и очень высокий молодой человек — по меньшей мере метр восемьдесят ростом: это был он. Молодой человек подходит к Матьё посреди моста, и инспектор протягивает ему удостоверение личности. Именно в этот момент вмешиваемся мы. Он не пытался убежать; да ему это никак бы не удалось.

Ефремов признался нам, что сменил Кента в качестве главы брюссельской сети. Мы его специально допрашивали по поводу радиосвязи. У него было три передатчика: один находился у Венцеля, другой был спрятан у Матьё и третий, резервный, в Остенде. Ефремов выдал нам «пианиста»; им оказался один специалист, служивший в бельгийском флоте. Мы его арестовали, передатчика не нашли; арестованный утверждал, что не знает, где он находится. Из трех передатчиков, запеленгованных функабвером, только этот не попал к нам в руки, не считая, конечно, хранившегося у Матьё — тот так никогда и не заработал. Два других мы обнаружили на улице Атребат и на чердаке у Венцеля. По словам Ефремова, у организации не было никакого запасного «пианиста» для работы с передатчиком в Остенде. Итак, мы все же покончили с подпольными передатчиками, и, естественно, это было огромным облегчением.

Ефремов выдал нам и своего «связного», работавшего с голландской сетью. По правде говоря, мы даже не подозревали о существовании этой организации. Курьером между Брюсселем и Амстердамом оказался низкорослый еврей, — еще один! — имевший подпольную кличку «Очкарик». Он был арестован благодаря Ефремову. Очкарик дрожал от страха и сразу же предложил мне свои услуги. Я сказал ему, что мы поедем в Амстердам, и если он будет вести себя хорошо, его освободят, но за малейшую попытку к бегству он прямиком отправится на расстрел. Очкарик обещал быть послушным.

Итак, я поехал в Голландию вместе с Очкариком и тремя полицейскими. Начальником контрразведки был там Хискес из абвера. Я рассказал ему о признаниях Ефремова и спросил, известно ли ему что-нибудь об этой сети. Он ответил: «Да, я знаю, что у меня здесь есть передатчик, но признаюсь, не было времени им заняться: я по горло завяз в «Операции Северный Полюс».

Остановимся на этой фразе и понаблюдаем, как полковник Хискес перебирает свою коллекцию бутылок виски, которую я увижу на его камине через двадцать лет. Он занимается тем, что абвер называет «функшпилем» или «радиоигрой». Эта хитроумная операция, захватывающая головоломка, в каком-то смысле венчает охоту за «пианистом» — это ее апофеоз. Вместо того чтобы уничтожить пойманную жертву, ее завербовывают и используют как приманку. Благодаря контакту с противником, установленному таким образом, выведывают его секреты, разоблачают организацию, арестовывают ее посланцев. За несколько месяцев функшпиль позволит Хиске-

су добиться внушительных успехов в «охоте»: пятьдесят три агента арестованы сразу по прибытии из Англии, восемнадцать человек, связанных с Лондоном, завербовано, захвачены тысячи единиц оружия, сброшенного англичанами... Значит, триумф? Самая результативная в истории радиоигра? Не совсем. Беда в том, что в этих делах ни в чем никогда нет уверенности. Действительно ли удалось обмануть противника?

Да, он посылает оружие, деньги и прежде всего людей, но секретные службы не боятся запачкать руки: таково их ремесло. Может быть, жертва принесена умышленно. Какова же цель этого извращенного маневра? Одурачить противника. Если Лондон задает завербованному «пианисту» вопросы о голландской прибрежной полосе и немецких оборонительных сооружениях, Хискес решит, что союзники собираются высадиться в Голландии,— и ошибается. Кроме того, функшпиль необходимо «подкреплять», ведь если переметнувшиеся «пианисты» перестанут передавать разведданные, их Центр заподозрит неладное и игра расстроится. Поэтому им вручают тщательно взвешенные тексты: немного достоверного, много ложного. Но если противник не попался на удочку, он извлекает пользу из функшпиля: ложь иногда открывает правду — ведь по тому, в чем стремятся вас убедить, можно понять, что хотят скрыть.

Третья причина, заставляющая делать вид, что тебя провели: функшпиль обходится дорого, если учесть затраты времени и труда. Работа Центра, притворяющегося, что его обманули, — проще некуда: достаточно направлять переметнувшимся «пианистам» обычный набор вопросов. Но для того, кто ведет радиоигру, какая головоломка! Эта бочка Данаид, которую приходится без конца наполнять, вынуждает его «валяться в ногах» у официальных организаций, чтобы добыть крохи сведений, которые могли бы «сойти за правду». Поскольку военные и служащие не всегда понимают тонкости функшпиля, поскольку невозможно посвятить их в суть игры, не поставив под угрозу секретность операции, они не желают поставлять информацию, считают, что и так сказано слишком много, и заявляют с глубокомысленной миной, что незачем было вербовать радистов только для того, чтобы за них выполнять ту же работу... Бесконечные и, конечно же, изнуряющие конфликты между прижимистыми официальными лицами и ведущим функшпиля, который опасается, что его «игра» «умрет от истощения». Можно себе представить терзания несчастного полковника Хискеса, которому надо обеспечить «пищей» восемнадцать передатчиков, не говоря уж об организации псевдопокушений и псевдосаботажей, о «комитетах по приему», которые приходилось создавать каждый раз, когда Лондон сообщал о парашютном десанте, о наблюдении за несколькими десятками оставленных на свободе агентов, которых надо заставлять плясать под свою дудку так, чтобы они ни на секунду ничего не заподозрили... И сверх того надо еще заниматься русским передатчиком? Хискесу не до этого: все его время и все его люди поглощены «Операцией Северный Полюс».

Он арестовал пятьдесят три агента, заброшенных из Лондона. Но сколько немецких солдат убито на Восточном фронте по вине советского «пианиста», передававшего информацию? Хискес подобрал тридцать тысяч фунтов взрывчатки, сброшенной англичанами на парашютах, три тысячи автоматов, пять тысяч револьверов, триста ручных пулеметов, две тысячи гранат, пятьсот тысяч обойм, семьдесят пять радиопередатчиков, а также много денег. Но сколько танков, грузовиков и самолетов уничтожено Красной Армией благодаря разведданным, добытым в Берлине, переданным в Амстердам, а затем в Москву? В конце концов была ли «Операция Северный Полюс» триумфом абвера или же немецкая контрразведка в Голландии слепо набросилась на грандиозную наживку?[1]

Существует и четвертая причина, вынуждающая заниматься функшпилем, но ее называют как бы между прочим и не делают на ней упора, судя по всему, она не имеет особого значения для профессиональных разведчиков, ведь чувствительность не самая сильная — точнее, слабая — их сторона. Благодаря функшпилю сохраняются человеческие жизни. Переметнувшихся «пианистов» нельзя казнить и на их место посадить немецких радистов, потому что у каждого из них своя особая манера вести передачи, свой «почерк», если прибегнуть к профессиональному жаргону, и Центр знает его. До тех пор пока Хискес думает, что обманывает Лондон, его пятьдесят три пленника в безопасности; они умрут только после окончания функшпиля, когда будут абсолютно не нужны.

«Операция Северный Полюс» нас не интересует. Но Иоганн Венцель в скором времени будет «играть» для немцев. И было небесполезно рассказать, что такое функшпиль.

Фортнер: «Хискес предоставил мне свободу действий, я расположился в штаб-квартире гестапо и выпустил Очкарика в город. Разумеется, одного. Он, конечно, мог воспользоваться этим и убежать, но, как говорится, кто не рискует — не выигрывает. А я больше полагался на его страх, нежели на заверения в преданности.

Он знал множество «почтовых ящиков» в Амстердаме, но большого интереса это не представляло. Моей целью был арест руководителя сети, с которым он был связан. Итак, Очкарик отправляется на квартиру, где обычно встречался с ним, но безрезультатно: нужного человека там не оказалось, и консьержка сообщила, что его нет уже несколько дней. Очкарик докладывает мне об этом и сообщает, что ему известен другой адрес, где бывает шеф. Я немедленно отправляю его туда, но снова неудача: никого. «Все пропа-

[1] По имеющимся сведениям, Лондон недолго оставался в неведении относительно мистификации, задуманной Хискесом, но продолжал поддерживать игру. Разумеется, это делалось не для того, чтобы спасти русский передатчик, о существовании которого англичане, вероятно, и не подозревали. Но британские службы в свою очередь обратили себе на пользу то, что их противники целиком увязли в «Операции Северный Полюс»: они организовали за спиной у Хискеса новую сеть, которая так и не была обнаружена до конца войны. С другой стороны, нет почти никакого сомнения в том, что Лондон воспользовался «Северным Полюсом» для дезинформации Берлина по поводу места высадки. Перечни вопросов, переданных переметнувшимся «пианистам», позволяли предположить, что фронт будет открыт в Голландии. *(Прим. автора.)*

ло, — размышляю я. — Очкарика видели в моей машине и забили тревогу». Я сам прихожу в квартиру по второму адресу и обнаруживаю передатчик. Это было уже кое-что. Я приказываю Очкарику снова пойти в дом, где он уже был, и оставить у консьержки записку для шефа с просьбой о встрече в тот же день, в пять часов в одном амстердамском кафе, название его не помню.

Я отправляюсь на эту встречу с двумя полицейскими в штатском и начальником гестапо Амстердама. Эти трое располагаются внутри кафе, а я остаюсь на улице, в достаточно тревожном состоянии, судорожно сжимая рукоятку верного маузера, который всегда ношу в кармане.

Около пяти часов появляется Очкарик и садится за столик, уже занятый какой-то парой. Я вхожу вслед за ним и усаживаюсь за соседний столик. Голландцам пришлось потесниться, чтобы дать мне место: кафе было забито людьми, и это могло усложнить дело. Очкарик заказывает кофе, я тоже. Мы неторопливо попиваем его, и вдруг Очкарик встает навстречу очень высокому и очень сильному мужчине с расплывчатыми чертами лица — этакий слабохарактерный великан; он садится за столик рядом с Очкариком, и между ними завязывается разговор, длившийся по меньшей мере пять минут. Что же делают мои помощники? Я сижу как на горящих угольях. В конце концов двое полицейских подходят и пытаются надеть наручники на великана. Он отбивается, зовет на помощь, и обстановка в кафе накаляется. Я вижу, что дела плохи, и на цыпочках выхожу, чтобы меня не узнали. А внутри — крики, шум, посетители встали на сторону арестованного и грозятся разорвать на куски моих полицейских, которым приходится достать пистолеты, чтобы проложить дорогу к двери. Тем временем на тротуаре собралась небольшая толпа, выкрикивающая угрозы, и достаточно было бы мелочи, чтобы все обернулось настоящей потасовкой. Клянусь вам, атмосфера действительно была накалена! В конце концов мы сумели вырваться и отвести арестованного в гестапо.

Здесь он отказался отвечать на мои вопросы. Гестаповцы стали его избивать, и поскольку не в моей власти было остановить их — в конце концов, они были здесь хозяевами,— я предпочел удалиться. Но позже я узнал, что гестаповцам удалось сломить арестованного. Его звали Антон Винтеринк. Он был ветераном Коминтерна, перешедшим в «Красную капеллу». Винтеринк выдал всю свою группу и даже согласился участвовать в функшпиле».

Последний удар в Брюсселе

Через восемь дней после ареста Ефремов уже давал советы «охотникам» зондеркоманды: «На вашем месте я бы действовал так-то и так-то: я хорошо знаю их и уверяю вас, они попадутся в ловушку...»

Первоочередная задача — не допустить, чтобы подпольная сеть узнала о предательстве Ефремова. Ему велят написать письмо Райхману, в котором он объясняет, что оживление деятельности немецкой контрразведки после ареста Венцеля вынудило его скрыться, но как только все войдет в норму, он покинет свое убежище.

Задача номер два: с помощью Ефремова как можно быстрее уничтожить сеть, не оставив Большому шефу времени на реорганизацию терпящего крах подполья.

Жермена Шнайдер представляет особый интерес для зондеркоманды, через нее можно добраться до Треппера. Услужливый Ефремов просит Райхмана устроить ему встречу с ней; просьба удовлетворена, и Ефремов говорит Жермене: «Сеть — на грани провала, зачем закрывать на это глаза? Будь уверена, Большой шеф сумеет выпутаться, а расплачиваться за него придется нам, стрелочникам. Не лучше ли договориться с немцами? Ты можешь быть им полезной. Твой муж их тоже интересует». Жермена просит время на размышление и немедленно предупреждает Большого шефа. Он приказывает ей прервать контакты с Ефремовым и уехать в Лион. Поскольку у Жермены нет документов, удостоверяющих личность, она не может сразу покинуть Бельгию и скрывается на одной из конспиративных квартир, неизвестных Ефремову.

Возможно, так бы все и осталось, не будь Райхмана. Он встречается с инспектором Матьё и просит у него удостоверение личности для агента, которому надо бежать. На фотографии, которую он принес, — Жермена Шнайдер. Матьё обещает достать бланк удостоверения и убеждает Райхмана в необходимости устроить ему встречу с этим агентом. Сцена в Ботаническом саду, оказавшаяся роковой для Ефремова, будет разыграна снова.

Но Райхман как орудие провокации в конце концов исчерпал себя. Фортнер и Матьё напрасно ждут Жермену Шнайдер в условленном месте: туда является сам Райхман. Не потому ли, что Большой шеф сумел предупредить Жермену? Или она сама в последний момент что-то заподозрила? Нам это неизвестно. Зондеркоманде тоже. Но немцы сделали вывод, что Матьё, видимо, раскрыт. И коль скоро сеть больше не доверяет Райхману, он становится ненужным; его арестовывают.

«Это был гадкий преступник, — рассказывает Фортнер. — Низкая, черная душа, — одним словом, еврей! Он сразу же вызвался работать на нас. Угодлив был до омерзения, и я вас уверяю, мы все презирали его. Но, сами понимаете, нашу работу не делают в перчатках: он мог быть нам полезен и приходилось его использовать...»

«Поскольку Райхман был беспринципным евреем, — отмечается, в частности, в рапорте гестапо, — он сразу же выдал свою любовницу Мальвину Грубер, которая также предложила нам свои услуги».

Агент, состоящий на службе у русских с 1934 года, знает многих. Райхман-заключенный, несомненно, будет так же полезен, как в те времена, когда, не сознавая того, служил орудием в руках Матьё. Быть может, с его помощью можно будет добраться и до Большого шефа, который в ходе расследования стал для зондеркоманды врагом номер один, навязчивой идеей.

Что же касается Мальвины, раздобревшей матери семейства, чешки по происхождению,

то для немцев она тоже первоклассная добыча. Любовница Райхмана, курьер сети, осуществляющий связь с группой советских агентов, работающих в Швейцарии, признается, что множество раз пересекала франко-швейцарскую границу. Сразу после ареста она сообщает зондеркоманде важнейшую информацию, касающуюся Маленького шефа. Мало того, что Кент не послушался Треппера и не согласился на отъезд Маргарет в Швейцарию после облавы на улице Атребат, он не захотел, чтобы его возлюбленная с сыном ехали в Париж без провожатых; он отправил вместе с нею Мальвину. Неосторожная Маргарет рассказала своей спутнице, что конечная цель ее путешествия — Марсель. Зондеркоманде нетрудно будет отыскать там любовников, заставив их поплатиться за свое легкомыслие.

Но прежде чем браться за Париж и Марсель, надо до конца очистить Брюссель.

Франц Фортнер:

«Одержав победу над Францией в 1940 году, власти рейха обратились к нейтральным странам с очень выгодными предложениями о создании коммерческих предприятий на оккупированных территориях. Нам была нужна всякого рода фурнитура, разнообразные товары, и мы еще не знали, в какой мере можно рассчитывать на сотрудничество французских, бельгийских и голландских дельцов. У нейтралов, наоборот, не было никаких оснований проявлять сдержанность в торговле с нами. Кроме того, на них можно было положиться с большим основанием, нежели на любого гражданина побежденной страны.

В Брюсселе, так же как в других местах, этим фирмам были предоставлены всевозможные льготы. Они могли связываться по телеграфу и телефону со всей Европой; руководство получало необходимые для передвижения «аусвайсы». По сути дела, они работали так, будто военного положения не существует.

Мы, конечно, были осторожны и незаметно проводили проверку. Однажды мне пришлось собирать обычную информацию о фирме «Симекско», директором которой был латиноамериканский бизнесмен. «Симекско» являлась одной из крупнейших компаний Брюсселя; она заключала крупные торговые сделки с вермахтом, и ее руководство без конца разъезжало. Меня насторожило необычное множество телеграмм, которыми фирма обменивалась с Берлином, Прагой, Парижем и т. д. Я рассказал об этом начальнику службы абвера, занимающейся наблюдением за телеграфно-телефонной связью. Он отреагировал абсолютно спокойно. «Симекско» — одна из солидных фирм, и нет никаких оснований лишать ее привилегий.

Этого было недостаточно, чтобы рассеять мои подозрения. Я решил повидать начальника интендантской службы Брюсселя, под контролем которого осуществлялись все торговые сделки с вермахтом. Когда я спросил, каково его мнение о фирме «Симекско», он воскликнул: «О! Очень достойные, деловые люди! Если бы все были такими... Они работают безупречно и к тому же очень хорошо к нам относятся. Изо всех здешних дельцов только с ними у нас по-настоящему налажен личный контакт. Очень часто они приглашают нас на обеды и приемы и, должен сказать, принимают по-королевски...»

Меня же эти личные контакты скорее встревожили. Пировать со своими клиентами у сотрудников интендантской службы было не принято: такое не допускалось. Фирме «Симекско» определенно пришлось приложить немало усилий, чтобы приучить их к этим вольностям. Но с какой целью?

Я попросил моего собеседника рассказать кое-что о руководителях фирмы. Он сообщил, что латиноамериканец уехал во Францию, а его сменил бельгиец Назарен Драйи, но что самым главным лицом в фирме, по-видимому, является другой бизнесмен, живущий в Париже. Он нередко приезжает в Брюссель, в частности, для того, чтобы забрать прибыль «Симекско», и мой интендант очень часто встречался с ним. Он расхваливал парижанина напропалую, утверждал, что это необыкновенно энергичный и деятельный человек, безоговорочный сторонник рейха. Тогда я попросил описать мне его. Поскольку вы уже поняли, о ком шла речь, незачем говорить, что, слушая это описание, я обливался холодным потом. В конце концов, достав из бумажника одну из двух фотографий, найденных на улице Атребат, я спросил: «Это он?» Увы, это был действительно он — Большой шеф... Что же касается латиноамериканца, то, разумеется, речь шла о Кенте...

Представьте себе мое изумление и ужас. Конечно, с розыском советских шпионов в пригородных кафе покончено, но обнаружить их в кругу высокопоставленных немцев в Брюсселе... Тем более в таком великолепном наблюдательном пункте, как интендантская служба! Благодаря «Симекско» и сделкам, которые эта фирма заключала с вермахтом, они знали все о численности немецкой армии в Бельгии, ее оснащении, о сооружении «Атлантического вала» (фирма принимала активное участие в этих работах) и т. д. Кроме того, работникам интендантской службы по характеру своей деятельности приходилось много ездить, встречаться с людьми, они были в курсе очень многих дел. И напитки Кента, должно быть, развязывали языки...»

По некоторым данным, не чутье Франца Фортнера погубило «Симекско», а предательство Ефремова. Когда Треппер инструктировал его, он рассказал о существовании «Симекско», настоятельно рекомендуя держаться подальше от фирмы: поскольку во главе ее долгое время стоял Кент, дело это было опасным. Ефремов вполне мог выдать «Симекско», наряду со всем остальным.

Как же поступят с разоблаченной «Симекско»?

«Мы навели справки об акционерах фирмы, — рассказывает Фортнер. — Это были бельгийские бизнесмены, явно не подозревавшие, в какое осиное гнездо они попали. Я отправился в «Симекско» под видом офицера интендантской службы, желающего закупить почтовую бумагу для оккупационных войск. Меня принял коммерческий директор Назарен Драйи. Ничто в его поведении не вызывало подозрений: он беседовал со мной, как обычный торговец с обычным клиентом.

К тому же почтовой бумаги у него не оказалось, и сделка не состоялась. Чтобы узнать побольше, мы решили никого пока не арестовывать и понаблюдать за фирмой, в частности, подключив их телефон к системе подслушивания. Но я должен рассказать вам о последнем — невероятном! хотя их было немало — сюрпризе расследования...

Приехав в Брюссель, я решил, что мне не стоит располагаться в штаб-квартире абвера; противник очень скоро вычислил бы меня. Лучше обзавестись какой-нибудь конторой, где под вымышленным именем я принимал бы безо всяких опасений своих осведомителей. Итак, я снял на имя Рьепера помещение под экспортно-импортную контору в торговом доме № 192 на улице Руайаль. А знаете, где находилось бюро фирмы «Симекско»? На улице Руайаль, дом 192. Они располагались на той же лестничной клетке, что и моя контора, в смежном помещении, разделенном такой тонкой перегородкой, что мы слышали друг друга, находясь в своих комнатах. Вполне возможно, что они установили микрофоны, чтобы записывать мои разговоры... Вы, может быть, помните, что, найдя на улице Атребат фотографии Большого и Маленького шефа, я испытал странное ощущение, что где-то их видел? Еще бы: я десятки раз сталкивался с ними на лестнице! Встречал на лестничной площадке, и мы раскланивались! Добавлю, что после операции на улице Атребат они все же остерегались появляться на улице Руайаль, иначе я наверняка узнал бы их. Но ведь это невероятно, не так ли? Действительно фантастическая история! Если бы такое прочитали в романе, сказали бы, что автор напридумывал слишком много...»

В самом деле, удивительная история, и даже больше, чем думает Фортнер. Ведь если ему до конца не было известно, что такое «Симекско», работники фирмы точно так же не догадывались, что скрывается за табличкой «Рьепер, импорт-экспорт». Несколько месяцев агенты советской разведки находились на одной лестничной клетке с немецкой контрразведкой, но и те, и другие не подозревали об этом!

Случай — фантастический режиссер, но актеров, достойных его таланта, не оказалось...

Любовная история

Василий и Анна — два русских эмигранта из дворян, разоренных коммунизмом; Париж кишит такими. Но Максимовичи не имеют ничего общего с отбросами из числа бывших аристократов — таксистами или балалаечниками, сходящими с ума от ностальгии. Они принадлежат ко второму поколению эмигрантов, распрощавшемуся с прошлым и устремленному в будущее. Поскольку старый генерал Павел Максимович умер в бедности, заботу о детях взял на себя монсеньор Шапталь, покровитель эмигрантов всех рас и национальностей, волею судеб попавших в Париж. Благодаря ему Василий поступает в Центральную школу[1] и становится горным инженером; Анна изучает медицину и специализируется по неврологии.

[1] Центральная школа гражданских инженеров в Парнже. *(Прим. перев.)*

После объявления войны полиция отправляла в лагерь Верне подозрительных иностранцев. Василия Максимовича взяли через несколько месяцев, но Анна избежала интернирования благодаря своей профессии: душевнобольные — и тихие, и буйные — нуждались в ней и ее клинике.

Лагерь Верне был расположен в Арьеже, в тридцати километрах от Пиренеев и испанской границы. После массовых облав в сентябре 1939 года на пятидесяти гектарах земли, огороженных колючей проволокой, устроили нечто вроде огромной резервации, куда свозили всех подряд. В Верне попали тогда и испанские республиканцы, и русские эмигранты (монархисты, социалисты, фашисты), французские коммунисты, уголовники, а также сотни немецких эмигрантов, чудом избежавших гестаповских застенков или гитлеровских концентрационных лагерей. Французским властям было безразлично, что эти люди — самые ярые противники нацизма в мире. Власти с таким рвением ковали будущую победу, что не желали тратить время на пустяки, и предпочли без разбора засадить в лагерь всех, кто был на подозрении у полиции.

Барон Василий Максимович до семнадцати лет жил среди великолепия императорского Санкт-Петербурга. Покинув Россию и одновременно оказавшись вне Истории с ее встрясками, Максимович вновь столкнулся с ней, переступив порог Верне. В лагере он познал голод, холод и унижение. Увидел непреодолимую живучесть дикого парадокса: Франция, воюющая с Гитлером, сажала за колючую проволоку и морила голодом самых непримиримых его врагов.

Он пережил день неслыханного позора, когда гестапо, следуя по пятам за победоносным вермахтом, явилось в Верне за живым товаром; французские охранники послушно передали его им в тот самый момент, когда маршал Петен в своей сбивчивой речи объявил соотечественникам о заключении мира на почетных условиях.

Вслед за гестапо в Верне прибыла комиссия, которая должна была отобрать среди заслуживающих доверия заключенных работников для третьего рейха. Комиссию возглавлял полковник Ганс Куприан. Ему нужен был переводчик, Василий предложил свои услуги и не был отвергнут. Более того, он подружился с Куприаном. Полковник был офицером старой закалки, ярым монархистом; он считал, что Германия оказалась в руках невоспитанных узурпаторов, а барон Максимович, с его точки зрения, был изгнан из России бандой бесцеремонных проходимцев (которые, кстати, подписали пакт с бандой Гитлера — рыбак рыбака видит издалека); эти два человека были созданы, чтобы договориться между собой. Выполнив задание, Куприан освободил Василия и предложил встретиться в Париже: ему подыщут должность, соответствующую его талантам.

В августе 1940 года Максимович вернулся к сестре в опустевший к тому времени Париж.

«Загадочный славянин» Василий в скором времени решится на совершенно недвусмысленный шаг: он предложит свои услуги Большому шефу.

Треппер долго ломает голову, как отнестись к предложению Максимовича и, наконец, принимает положительное решение. Так, с не-

доверия и обоюдных сомнений, два шага вперед, шаг — назад, начинается сотрудничество, которое окажется плодотворным и обогатит историю сети одной из самых пикантных ее страниц. Ибо тридцатидевятилетний барон Василий Максимович, уже полноватый мужчина с распухающими от болезни ногами, предназначен судьбой на роль Казановы «Красной капеллы».

Маргарет Хоффман-Шольц, немка сорока четырех лет, далеко не красива. Вот уже четверть века она ждет своего волшебного принца. Личность Большого шефа достойна пера Бальзака (о, какой замечательный портрет этого человека создал бы писатель!); что же касается Маргарет, то она, пожалуй, могла бы стать героиней Делли. Она — из прекрасной семьи, живущей в Ганновере. Один из ее дядей, подполковник Хартог, бывший главный лесничий, служит в Париже в штабе генерала Генриха Штюльпнагеля, коменданта Большого Парижа. Отец Маргарет возложил на этого дядю заботы о его малышке-дочери, когда ее после зачисления на нестроевую службу вермахта перевели в Париж. Но чувствительности Маргарет не угрожают болезненные уколы со стороны солдатни: она — секретарь полковника Ганса Куприана, утонченного аристократа. Они из одного круга... Все эти чудесные обстоятельства не отменяют того факта, что ей уже сорок пятый год и она далеко не красавица. После победы перед ней торжественно распахиваются ворота Верне: Маргарет прибыла туда с комиссией Куприана. Но она не видит ни мерзости, ни страданий, ни уродства — ничего, кроме Василия Максимовича. Она ослеплена им. У бедняги слоноподобные ноги, наверняка изможденное лицо и одет он как пугало, но под рубищем Маргарет разглядела барона. Он удостаивает ее пристальным взглядом, быть может, даже заговаривает с ней. Этого предостаточно для девицы из Ганновера. Не будучи ни Бальзаком, ни Делли, автор не берется описывать бурю, потрясшую тогда сердце Маргарет. Покидая Верне, она буквально без ума от любви.

Вернувшись с Куприаном в Париж, Маргарет снова приступает к своим штабным обязанностям. Наверняка сердце ее не лежало к работе и сто раз в день в ее встревоженной душе возникал вопрос: «Приедет ли он?» Он приезжает, как обещал, но предложения немецкого Бюро труда не вызывают у него особого энтузиазма. Иное дело — престижная должность инженера на заводах Хеншеля в Касселе, которую ему подыскал Куприан. Маргарет ни жива ни мертва от страха... Но чудо! Василий отказывается. Обезумевшая от счастья Маргарет ни на секунду не сомневается: он сделал это, чтобы остаться рядом с ней. Бедняжка была бы разочарована, если б узнала, что ее возлюбленный следовал указаниям Большого шефа. Тот объяснил Максимовичу, что в Париже он будет полезнее, чем в Касселе. «Создайте разведывательную группу,— сказал он ему.— Вращайтесь в кругу белоэмигрантов, французских аристократов, католиков; завязывайте дружеские связи с немецкими офицерами; но, главное, как чумы избегайте французских левых». Для конспирации Максимовичу действительно лучше всего было оставаться тем, кто он есть: аристократом-эмигрантом, точно так же как Треппер следовало разыгрывать из себя бизнесмена, проворачивающего сделки на черном рынке, жить на широкую ногу и пировать с людьми из «Тодта» в подпольных ресторанах Парижа.

Идиллия продолжается. Василий получает постоянный пропуск в отель «Мажестик», штаб-квартиру немецкого командования. Каждый вечер он приезжает сюда за Маргарет. Она рассказывает ему, как прошел день. Поскольку на память не всегда можно положиться, Маргарет согласна, что проще передавать возлюбленному копии документов, которые проходят через ее руки. Она получает их также и от своих подруг. Все сверхсекретные донесения о лагерях во Франции попадают таким образом к Большому шефу. Когда сюжет исчерпан, Треппер поручает Максимовичу уговорить Маргарет поработать в другой сфере. Она переводится в службу расквартирования оккупационных войск во Франции. Когда Треппер получает полную информацию, ловкий советчик Максимович направляет Маргарет в третью сферу: она поступает на работу в секретариат немецкого посла Абеца. Ее рвение в работе внушает всем доверие и открывает доступ к самым секретным документам. Через нее Москва узнает о политических сделках с режимом Виши, настроениях французского народа, немецких планах и трудностях, с которыми сталкиваются оккупанты. Действительно ли Маргарет настолько глупа и не отдает себе отчета в том, что предает свою страну? Так думать нет оснований. Без сомнения, любовь заглушила все патриотические чувства. Непостижима тайна женского сердца, пылающего страстью...

Некоторые трезвомыслящие люди забеспокоились. Дядя Маргарет, например, не одобряет любовных отношений с Максимовичем. Но его предостережения остаются без внимания. Офицеры службы безопасности, работающие в штабе, встревожены, напоминают Маргарет, что идет война и ее работа требует соблюдения строжайшей тайны. Пустые слова. Даже самые скромные подруги Маргарет без ума от Василия: он изысканный кавалер, в нем угадывается утонченная натура; к тому же всегда приносит букет цветов для одной, коробочку конфет для другой — словом, настоящий барон. Ну как же можно не доверять барону?

Офицеры главного штаба также ни на секунду не сомневаются в нем. В большинстве своем это благородные, образованные люди, великосве.ские противники нацизма. Они презирают режим, который воюет против английских джентльменов и в то же время заключает договор о дружбе с проходимцами-большевиками. Они считают Василия человеком своего круга, откликаются на его приглашения, принимают его у себя и откровенно высказываются при нем. Однажды генерал фон Пфеффер, монархист, один из тех немецких офицеров, что подписали перемирие с Францией, разговорился в кругу почетных гостей: здесь были подполковник Хартог, доктор Зайффарт, доктор Хютгенс и другие. Война против России наконец началась, и эти господа поздравляют друг друга, но Пфеффер заявляет, что расправиться с русскими не удастся, если продолжится война с англичанами и американцами. Вывод: нужно с ними договориться, а затем бросить все силы вермахта против России. «Провести переговоры? — спра-

шивает Максимович.— А как же фюрер?» «С фюрером или без него» — парирует Пфеффер.

В общем, собеседники доверяют друг другу.

Анна множество раз чуть не натворила бед. Она так и рвалась в бой. Однажды предложила Большому шефу такое количество яда кураре, что можно было бы отравить тысячу человек: сверкая глазами, она объявила, что только сейчас или никогда представляется случай разом избавиться от немецкого штаба в Париже. Опасаясь ее непредсказуемых выходок, Треппер приказывает отказаться от подобных шекспировских замыслов. Ему пришлось также использовать все свое красноречие, чтобы отговорить Василия от намерения делать зажигательные бомбы: было бы безумием растрачивать на такие дела столь ценных агентов. Благодаря Василию Треппер проник в самое сердце немецкой штаб-квартиры. Через Анну он получает информацию о происках ватиканских политиков: к ней дружелюбно относятся монсеньор Шапталь, а также иезуитский священник Валансен, замешанный во все интриги. К тому же она очень часто встречается с доктором Даркье и от него узнает о закулисных действиях правителей Виши, марионеткой которых стал его брат.

Старожилы еще помнят больных, лечивших нервы в тиши этой окруженной лесом обители, а также часто приезжающих сюда подруг Маргарет Хоффман-Шольц и жен немецких офицеров, утомленных воздухом Парижа.

В их числе — Кэте Фёлькнер. В один из летних дней 1941 года она шла по длинной и великолепной аллее, ведущей к замку, но не для того, чтобы немного отдохнуть здесь: ей предстоит пройти очередное испытание.

Кэте Фёлькнер — немецкая гражданка, родилась в Данциге 12 апреля 1906 года в семье учителя рисования, социалиста. У нее самая обыкновенная внешность, несмотря на пышные пепельные волосы, зато мускулистое и чрезвычайно гибкое тело: она становится танцовщицей-акробаткой. Затем — жалкие гастроли по Европе с итальянцем-любовником и одновременно менеджером Поццальдо, от которого она рожает двоих детей. Однажды семейство приезжает в Ленинград без гроша в кармане. О них заботятся и даже предоставляют Кэте возможность учиться. Словом, ее обращают в свою веру. Наверняка именно тогда она и была завербована советскими секретными службами. Кэте снова разъезжает по всей Европе, но на этот раз уже по плану, составленному в Центре, и тщательно избегает нацистской Германии. В 1937 году ей приказывают ехать в Париж: она находит работу в одном кабаре и танцует там в течение двух лет. В 1939 году, после объявления войны, она вместе с любовником и детьми скрывается в одном доме в двадцатом округе, чтобы избежать интернирования, которое ей угрожало как гражданке воюющей с Францией страны. Весь долгий период «странной войны», находясь на нелегальном положении, Кэте и Поццальдо посвятили изучению стенографии и машинописи. В 1940 году Кэте уже не прячется, а предлагает свои услуги победителям-соотечественникам. Ее принимают на работу в Бюро труда «Организацион Заукель», которое разместилось в здании палаты депутатов. Поццальдо получает какую-то ничтожную должность, а Кэте становится секретарем директора парижского отделения этого ведомства доктора Клеефельда. Он полностью ей доверяет: разве она не немка и разве ей не пришлось прятаться почти целый год, чтобы не попасть в руки французских полицейских?

После возвращения из Верне Максимович приходит в палату депутатов, чтобы узнать, какую работу ему может предложить организация Заукеля. Он знакомится с Кэте, разговаривает с ней о том о сем, догадывается о происходящем в ее душе, приходит наконец к выводу, что эта женщина может стать новым и очень ценным агентом. А если он ошибся?

Василий устраивает ей приглашение в замок Бийерон. Пятнадцать дней толстая Анна и маленькая Кэте, болтая, гуляют по парку. После отъезда Кэте Анна говорит брату: «На мой взгляд, она подходит». Василий все еще сомневается. Он уже набрался кое-какого опыта с тех пор, как мечтал о зажигательных бомбах. В Париже Василий снова встречается с Кэте и опять отправляет ее в Бийерон, чтобы она погуляла под ручку с Анной. Анна вторично дает благоприятный отзыв, и Василий решает, что пора поговорить о Кэте с Большим шефом.

Разговор происходит после облавы на улице Атребат, когда Треппер проявляет звериную осторожность; он опасается провокаторов. Кэте, разумеется, не сообщила Максимовичу о своей прежней связи с советскими службами, ограничившись скромными намеками на свои антифашистские настроения. Со своей стороны Треппер, в силу обстоятельств, о которых мы вскоре расскажем, не запрашивает в Центре никаких сведений о ней. Да и сделай он это, ответ — конечно, положительный — не рассеял бы его опасений. Кэте исчезла в декабре 1939 года, оборвав контакты с Центром, и вновь появилась в июле 1940 года в бюро доктора Клеефельда. Что это — хитроумный ход, чтобы занять подходящее место для возобновления работы, или маскировка, за которой скрывается союз с победителем?

Если надо перепрыгнуть реку, Большой шеф обычно не колеблется, но прежде, чем совершить эффектный, но опасный прыжок, он всегда ищет брод. Поэтому вербовка Кэте сопровождается особыми мерами предосторожности. Во-первых, надо поглядеть на нее — но со стороны. Он велит Анне пригласить ее в ресторан, отделанный зеркалами. Сев за соседний столик, Треппер пристально вглядывается во все зеркала, надеясь заметить возможную слежку. Ничего подозрительного вокруг. Можно перейти ко второму этапу: встрече с Кэте. Она состоится на перроне метро с несколькими выходами. Кэте спрашивает Василия, как будет выглядеть ее собеседник и какой пароль она должна произнести. Василий не сообщает ни того, ни другого и объясняет, что партнер ее уже знает — девушка поражена. Но если Кэте окажется провокатором, она не сможет указать ищейкам гестапо на их жертву: ей придется ждать, пока Треппер сам не подойдет, ему ведь нужно время, чтобы осмотреть место встречи. Он велит Кацу проследить за Кэте, пройти за ней по пятам от дома до перрона. Если он заметит хвост, то незаметно предупредит шефа. В метро их агенты,

расставленные в стратегических точках, ведут наблюдение на случай, если появятся господа в удлиненных плащах и тирольских шляпах. Встреча проходит великолепно; Кэте изъявляет желание работать. Третий этап: испытание. Ей велят достать печати, штемпеля, образцы почерков. Она приносит. Теперь ее уже считают агентом сети и поручают серьезные дела. Кэте добывает документы, но передает их не Треппперу. Он посылает за ними свою помощницу. Ее подстраховывает Кац. Помощница встречается с Кэте в метро и получает от нее завернутые в газету донесения, составленные доктором Клеефельдом. Потом по меньшей мере шесть часов гуляет по улицам перед возвращением домой. И все это время верный Кац ходит за ней по пятам. После этого она должна хранить документы у себя дома в течение трех дней; затем ее муж относит их Большому шефу...

Слишком сложная механика? Верно. Но если бы все руководители разведывательных групп действовали таким образом, нацистские бойни не были бы так переполнены.

Через Кэте Москва узнает о трудностях с рабочей силой, которые мешают осуществлению гитлеровских планов, и о предусмотренном способе их преодоления: обращении в рабство оккупированной Европы. Клеефельду известно все: сколько рабочих рук потребуется от каждой страны, как их будут использовать в Германии и — ценнейшие сведения — на какие промышленные предприятия будут отправлять в первую очередь. Очень скоро он будет докладывать о трудностях, связанных с вербовкой в Германию и массовым бегством в маки. Это важные сведения.

Однажды Василий Максимович рассказал Треппперу о своем затруднении (нам даже известно, что при этом он нервно пощипывал бородку, которой недавно стал обрастать его подбородок): над ним начинают посмеиваться. Поскольку его отношения с Маргарет никак официально не обозначены и похожи на вульгарную связь, злые языки скоро заговорят, что эта любовь далеко не платоническая. Репутация Максимовича может от этого пострадать, не исключено, что в скором времени его перестанут принимать в высшем парижском обществе. Треппер велел ему жениться, но Василий, поглаживая бородку, заметил, что время полной и безоговорочной капитуляции еще не пришло — гибкое отступление позволит занять позицию, на которой можно продержаться по меньшей мере несколько месяцев: помолвка. «И слава богу, — заметил русский, — что в нашем кругу между помолвкой и бракосочетанием не может быть и речи о физической близости».

Надо было сообщить обо всем этом в Москву. Большой шеф запросил разрешения на помолвку у Директора. И поскольку тот охотно благословил жениха, великосветский Париж был завален пригласительными билетами с гербом Максимовичей. Прием был роскошный: самые красивые и знатные русские девушки-эмигрантки танцевали с самыми гордыми офицерами немецкого штаба в Париже; шампанское лилось рекой, и голубки получили поздравления от всех генералов из отеля «Мажестик».

«Сохраняйте хладнокровие»

Лето 1942 года ознаменовано провалом брюссельской и амстердамской сетей, но парижская цитадель, судя по всему, осталась неприступной. Недремлющие часовые и драконовские правила конспирации позволили ей выстоять.

Благодаря Гроссфогелю обеспечены условия ее существования. С десяток квартир или свободных комнат могут служить убежищем для подпольщиков: улица Эдмон-Роже, 3; набережная Сен-Мишель, 13; улица Варенн, 94; улица Фортюни, 6; проспект Ваграм, 78 и т. д.; есть еще домик в Везине и вилла в Вервье. Помимо этого существует даже тыловая база: замок Бийерон, куда приезжают больные или уставшие члены организации, чтобы собраться с силами, так что коммунисты-подпольщики и жены немецких офицеров бок о бок вдыхают здоровый воздух Берри. В то же время Бийерон, расположенный в нескольких километрах от демаркационной линии, для находящихся в опасности агентов является «дверцей» в свободную зону; местные проводники легко переправляют их туда. Между прочим, ферма Корбена, директора «Симекс» поставляет в изобилии птицу и яйца, а Тевене, акционер бельгийского отделения «Симекско», владелец сигаретной фабрики, продолжает обеспечивать Париж своей продукцией.

С точки зрения финансов дела идут превосходно. Чистая прибыль фирм «Симекс» и «Симекско» достигла 1 616 000 франков в 1941 году и 1 641 000 франков в 1942-м, с учетом того, что все затраты, связанные с деятельностью бельгийской, голландской и французской сетей, были включены в пассив этих двух компаний. Треппер ведет строжайший учет расходов, потому что, как любой глава советской сети, он знает, что должен представить финансовый отчет в Москве. Ему самому и его людям платят в долларах (доллар всегда был единицей денежных расчетов Центра). В 1939 году Большой шеф получал 350 долларов в месяц. Когда его жена с детьми вернулась через Марсель в Москву, эту сумму сократили до 275 долларов. Кенту, Аламо и Гроссфогелю платили сначала 175 долларов в месяц, затем 225. Но все агенты, независимо от ранга, с 22 июня 1941 года получают одинаковую зарплату в 100 долларов; идет война, и они считаются солдатами действующей армии. Разумеется, размеры служебных расходов не ограничены.

На первый взгляд эти расходы невелики. С 1 июня по 31 декабря 1941 года Брюссель обходится в 5650 долларов, а Париж — в 9421. С 1 января по 30 апреля 1942-го было затрачено 2414 долларов на французскую сеть, 2042 — на бельгийскую, тогда как Кент, находящийся в Марселе, получает на свою группу 810 долларов. С 1 мая по 30 сентября 1942 года расходы исчисляются во франках: 593 000 приходится на Францию, 380 000 — на Бельгию, 185 000 — на Кента.

Сюда входят лишь обычные расходы (зарплата агентов, аренда помещений и т. д.). Чтобы иметь точное представление о финан-

совом положении «Красной капеллы», следовало бы добавить суммы, предназначенные для подкупа немецких офицеров, оплату помолвки Максимовича, содержание замка Бийерон и т. д. Большой шеф мог тратить деньги без счета, поскольку суммы, переданные немцам, посредством «Семекс» и «Симекско» были вытянуты из немецких карманов. Третий рейх по сути содержит «Красную капеллу» подобно тому, как живой организм питает рак, его же разъедающий. И он содержит ее на такую широкую ногу, что в какой-то момент Центр подумывает о том, не назначить ли Большого шефа банкиром всех советских разведывательных групп на Западе...

Свои счета Треппер спрятал в стенных часах на вилле в Вервье. На квартире Каца в банках из-под варенья хранится 1000 золотых долларов — на случай финансового краха. Клод Спаак все это время держит у себя золотой слиток, доверенный ему Соколами. Даже если «Симекс» и «Симекско» будут раскрыты, в движущей силе войны не будет недостатка.

Обладая такой инфраструктурой, сеть осуществляет беспрецедентные операции. Мы уже знаем, какую роль играла фирма «Симекс»: проникновение в «Организацион Тодт» и сбор разведданных о важнейших мероприятиях, осуществляемых вермахтом на территории оккупированной Европы. Деятельность Василия Максимовича: проникновение в парижский штаб оккупационных войск, сбор информации о передвижении частей, служебном назначении офицеров, оценка морального состояния вермахта, антигитлеровские интриги в рядах армии, отношения с Виши. Задача Кэте Фёлькнер — проблемы с рабочей силой. Что касается Анны, то она сообщает о политических интригах Ватикана и французской внутренней политике. В Лионе Ромео Шпрингер устанавливает контакт с бывшим бельгийским министром Бальтазаром и американским консулом; от них он получает важную информацию.

Это не все.

Сеть завербовала двух агентов на немецкой телефонной станции в Париже. Они подслушивают разговоры между Парижем и Берлином и передают Большому шефу наиболее важные сведения.

Москва может быть довольна. Большой шеф своим упорным трудом и талантом с помощью французской сети достиг той главной цели, которая стоит перед любой разведкой, — проник в высшие эшелоны немецкой военной иерархии. Если бы Трепперу удалось внедриться в среду младших офицеров и только — этим, кстати, ограничилось большинство разведок союзников,— результат не вызвал бы особого интереса Кремля. Париж ведь не имел большого стратегического значения для рейха, и происходящее здесь напрямую не влияло на события в России. Но мы знаем, что донесения Максимовича об антигитлеровских интригах офицеров типа Пфеффера помогли Москве разработать пропагандистскую кампанию вокруг командования вермахта.

Разумеется, штаб Красной Армии также получает пищу для размышлений. Помимо общих сведений о планах вермахта и его основных стратегических замыслах он осведомлен о готовящейся переправке в Россию любой дивизии, находящейся в Европе, еще до того, как она «сложила чемоданы», а иногда даже раньше, чем об этой переброске узнает командующий дивизией генерал. Хорошая работа.

Центр получает не всю собранную информацию — и всех «пианистов» Франции на это не хватило бы,— но ее квинтэссенцию. И в частности, подробное описание каждого воинского подразделения, направленного на Восточный фронт.

Что еще можно сказать, кроме того, что в истории разведки редкая сеть приносила своему шефу столько удовлетворения, давала столько поводов гордиться ею, как французская группа «Красной капеллы» летом 1942 года...

Но так случилось, что именно с этим летом пришло время тревоги для Большого шефа.

Кремль не прислушался к тревожным сигналам Большого шефа о плане «Барбаросса», но Зорге в Японии, Радо в Швейцарии и другие резиденты в разных странах также получили от ворот поворот, и горькое сознание, что тебе не верят, стало повседневной болью шефа разведывательной сети.

Генерал Суслопаров не обеспечил Треппера передатчиками, которые он просил, но не следует обвинять бравого военного атташе: он ограничился запросом в Центр, а Центр не ответил, потому что отрицал возможность нападения. Когда же война началась, чрезмерная настойчивость, с которой Директор отдавал приказы, могла сравниться лишь с его прежней пассивностью. Несмотря на предупреждения Большого шефа — даже мольбы! — «пианисты» были прикованы к своим передатчикам по пять часов подряд, хотя и двадцатиминутная передача предоставляла большие возможности для ищеек функабвера. Аламо, Венцель и Сокол попали в гестапо, потому что выполняли приказ Центра. Но во время войны всегда бывает так: начальники любят из своих штаб-квартир отдавать приказы о том, чтобы люди умирали на боевом посту, хотя достаточно было бы передвинуть их немного в сторону, чтобы избежать огня. Руководитель разведки считает радистов своим атакующим подразделением, но он требует при этом, чтобы они хранили в течение двадцати четырех часов дубликат всех переданных радиограмм на случай, если Центр их плохо записал или не сумел расшифровать; можно себе представить, как это рискованно! Правда, эта неразумная требовательность характерна для всех разведуправлений мира.

Первая настоящая трещина возникла из-за пресловутой радиограммы, приказывающей Кенту отправиться по адресам трех руководителей берлинской сети. Поразившись, Большой шеф повторял одно и то же: «Это невозможно! Они с ума сошли!» В радиограмме указаны три основных адреса, а ее ведь могут перехватить, расшифровать — так и произошло... Почему бы не направить в Брюссель человека, запомнившего эти адреса наизусть и прихватившего с собой пилюлю цианистого калия? Если время так поджимало, по крайней мере можно было распределить адреса по трем радиограммам и использовать разные шифры, чтобы уменьшить риск перехвата. С этого дня, несмотря на недовольство Директора, Большой шеф уже не будет сообщать в Москву, кого он использует в качестве «ис-

точников» — кощунственное нарушение традиций советской разведки,— он даже будет скрывать подлинные имена большинства своих агентов (именно поэтому он предпочел не запрашивать никаких сведений о Кэте Фёлькнер). Более того, когда радиосвязь будет снова налажена, самые срочные донесения он будет передавать по каналам Французской коммунистической партии, может быть, потому, что они содержат важнейшую информацию или чтобы не ставить под удар существование всей сети, если радиограммы будут перехвачены. Эта мера предосторожности имеет еще одно преимущество: донесения, переданные по партийному каналу, читает не только начальник разведки, но и еще кое-кто... Так, например, информацию, доверенную Треппером Порьолю, тот передает коммунистическому лидеру Жаку Дюкло, затем в Москве ее принимают службы главы Коминтерна Димитрова, откуда она поступает во всемогущий Центральный Комитет и к начальнику разведуправления одновременно.

Но после радиограммы, адресованной Кенту, Большой шеф опасается только неосторожности Центра: он еще не утратил к нему доверия.

Затем произошел провал на улице Атребат, и Трепперу приходится срочно принимать меры безопасности: он отправляет Кента в Марсель, агентов, подвергающихся наибольшей опасности, перебрасывает в Лион, на шесть месяцев замораживает брюссельскую сеть. В Центре это вызывает возмущение, там уже начинают поговаривать о предательстве. Трепперу делают внушение: дескать, незачем волноваться из-за такой ерунды — и приказывают возвратить Кента в Париж. Большой шеф отвечает, что на месте ему легче оценить обстановку, чем начальнику разведуправления. Кент останется в Марселе, а Ромео Шпрингер в Лионе. Тогда Москва требует, чтобы немедленно возобновила работу бельгийская сеть во главе с Ефремовым. Треппер делает все наоборот: он составил свое собственное мнение о Ефремове: вся деятельность этого агента сводится к шатаниям по барам и записи номеров воинских частей, к которым приписаны немецкие солдаты, пьянствующие вместе с ним.

Ефремов схвачен Фортнером. Треппер немедленно оповещает об этом Центр. Ответ Директора: «Мы знаем. Он предупредил нас по радио, что у него неприятности, связанные с валютой, но все уладилось, и его освободили». Большому шефу это тоже известно, но он догадывается, какой «ценой» оплатил Ефремов свое «освобождение»: предательством. Как убедить в этом Центр? Гроссфогель и Порьоль едут в Брюссель, чтобы выяснить все до конца. Их вывод категоричен и подтвержден доказательствами: Ефремов — предатель. Треппер отправляет донесение в Центр. Начальник отвечает: «Страх застит вам глаза. Приказываю немедленно восстановить контакт с Ефремовым». Трепперу, Гроссфогелю и Порьолю ничего не остается, как смеяться сквозь слезы.

Арестован Венцель, Большой шеф предупреждает Центр. Ответ: «Вы ошибаетесь. Венцель продолжает передавать донесения и присылает нам великолепный материал».

Арестован голландец Винтеринк. Центр — Трепперу: «Вы с ума сошли. Он по сей день передает такую же ценную информацию, как и до мнимого ареста. Сохраняйте хладнокровие!»

Если Большой шеф еще и не сошел с ума, то чувствует, что близок к этому. Из ночи в ночь он ломает голову над загадкой немыслимых радиограмм из Москвы, старается отмести ужасное подозрение: в Центре есть один или несколько завербованных немцами предателей, их задача — подорвать работу разведки изнутри. Но тогда кому же верить и на кого надеяться? Если даже в самом Центре — враги, не все ли потеряно? Другое предположение: Директор, может быть, думает, что он, Треппер, попал в ловушку, расставленную Фортнером на улице Атребат. В конце концов, из Москвы уловка, благодаря которой он сумел избежать ареста, могла показаться слишком удачной, чтобы не вызвать подозрений. Если Директор считает, что Треппер находится в руках гестапо, тогда, конечно, все, что Центр получает от него, априори воспринимается как ложь. Но зачем же так открыто заявлять об этом? Почему не притвориться, что Центр попался на удочку гестапо хотя бы для того, чтобы выяснить намерения немцев? И кроме того, если Большой шеф пал так низко, что стал работать на гестапо, то, очевидно, он-то и выдал Ефремова, Венцеля и Винтеринка. Гипотеза не выдерживает критики. Ни одно из предположений, родившихся в изобретательном мозгу Большого шефа, не позволяет логически объяснить поведение Центра.

Одно несомненно: Москву ввела в заблуждение исключительная важность сведений, переданных перебежчиками. Треппер разгадал механизм функшпиля, понял, в чем состоит главная трудность операции: для ведения игры надо получить от властей разрешение передавать врагу достаточное количество подлинной информации, чтобы он поверил ложной. Те, кто обрабатывает Ефремова, Венцеля и Винтеринка, очевидно, получили такое разрешение: Москва по-прежнему довольна их работой. Хотя сведения, переданные этими тремя людьми до их ареста, были как удары ножом в спину вермахта. Цель функшпиля должна быть действительно из ряда вон выходящей, поистине грандиозной, чтобы немцы согласились «обеспечивать» его такой ценой. Большой шеф, без сомнения, гордится тем, что совершил, но ему кажется невероятным, чтобы мастера функшпиля стали затевать такую крупную игру только для того, чтобы покончить с сетью. Даже если это и было их единственной целью (люди, связанные с разведкой, понимают, какую важную роль она играет), им никак не удалось бы убедить профанов из вермахта, что игра стоит свеч.

Значит, за функшпилем скрывается что-то еще — но что?

Конец берлинцев

Это кажется неправдоподобным. Такое невероятное стечение обстоятельств, ускоривших провал берлинской сети, пожалуй, не пришло бы в голову даже романисту. Конец этой организации, видимо, был предопределен характером ее деятельности, фантастичным и запутанным.

С 14 июля гестапо идет по следу, обнаруженному Клудовом. Установлено, кто воз-

главляет сеть: офицер люфтваффе Харро Шульце-Бойзен; старший советник министерства экономики Арвид Харнак; известный писатель, автор пьесы «Тиль Уленшпигель», директор киностудии «Прага-филмз» Адам Кукхофф. Шульце-Бойзен и Харнак — люди солидные, известные в берлинском высшем обществе и поддерживающие дружеские отношения с высокопоставленными деятелями нацистского режима. Теперь ясно, каким образом самые сокровенные тайны рейха становились известны в Москве. Два гестаповских следователя, Панцингер и Коппков, берутся за дело. По сравнению с Гирингом они занимают более высокое положение, поскольку находятся в непосредственном подчинении у могущественного гестапо-Мюллера; оба — опытные специалисты по антикоммунистической борьбе. Это они ликвидировали подпольную немецкую компартию, отправили на казнь или в концентрационные лагеря ее членов, внедрили осведомителей в специально сохраненные на местах ячейки разгромленной организации, чтобы не допустить ее возможного возрождения. К их великому удивлению, с сетью «Красной капеллы» — этого пугала! — оказалось легче расправиться, чем с группой коммунистов из берлинского предместья. Разделения на изолированные группы не существовало; встречи назначались по телефону; телеграммы отсылались по почте; рядового коммуниста было труднее выследить, нежели этих супершпионов! И поскольку «черный список» пополнялся гестапо ежедневно, Панцингер и Коппков не собирались устраивать преждевременную облаву. В расставленную ловушку, как сладкий, но прогнивший плод в корзину, должна попасть вся группа целиком.

В субботу 29 августа в служебных помещениях функабвера — большая суета. Клудов и его молодые помощники перебираются на верхний этаж в более просторные комнаты. Переезжали, наверное, по-настоящему весело, по-студенчески. Но после того, как все разместились, Клудов вновь становится строгим начальником. Он объявляет, что на следующий день, 30 августа, в воскресенье, придется поработать, чтобы наверстать потерянное в субботу время. Подчиненные огорчены. За исключением, пожалуй, Хорста Хайльмана. Это дисциплинированный офицер, убежденный нацист, самый усердный работник в группе. Но он договорился с друзьями совершить в воскресенье прогулку на яхте по Ванзе, и ему нужно предупредить их о возникшем затруднении. Он берет трубку телефона, только что установленного в кабинете Клудова, и называет какой-то берлинский номер. Служанка отвечает: хозяев нет дома. Хорст просит передать, чтобы ему перезвонили как можно скорее. И поскольку его собственный аппарат в новом кабинете еще не подключен, называет номер Клудова.

В этот день в Берлине просто великолепная погода. Забыв о войне и не подозревая, что наступил ее поворотный момент, берлинцы, как в былое мирное время, отдыхают в лесах, окружающих столицу. Среди отдыхающих, разумеется, много женщин, детей и стариков, но также и получивших броню специалистов, офицеров берлинских штабов, выздоравливающих после ранения и находящихся в отпуске военнослужащих, которым кажется, что это сон наяву...

На Ванзе, рае для любителей парусного спорта, не так много лодок, как до войны; тем большее удовольствие получают яхтсмены. На теплых досках разлеглись загорающие, плещут волны, ударяясь о корму, тихо наигрывают гитары и губные гармоники, кто-то поет, и песню подхватывают то на одной, то на другой лодке; солнце, вода, мир — счастье.

«Но внимательный наблюдатель заметил бы...» — написал бы здесь Бальзак.

...что экипажи охотно перебираются с одной яхты на другую, и явно не ради развлечения; что у переносных печек, на которых женщины варят картошку, собравшиеся о чем-то оживленно шушукаются; что многие лодки одна за другой подплывают к катеру, которым управляет белокурый парень с властным выражением лица,— так в давно прошедшие времена парусные суда приближались к флагманскому кораблю, чтобы получить приказ...

Профессиональные разведчики, мастера конспирации, знающие, что такое тень и тайна, закройте лица серыми плащами: эти прогулки по озеру — лишь повод для проведения пленарного заседания, организованного Шульце-Бойзеном, рулевым флагманского корабля. Он собрал на Ванзе тридцать человек — членов своей сети.

Невозможно было бы в это поверить, если б данное событие не было зарегистрировано в рапорте гестапо и если бы один из оставшихся в живых его участников, Гюнтер Вайзенборн, не подтвердил его подлинность.

На следующий день, 31 августа, около девяти часов утра телефонный звонок оторвал Клудова от работы. Как рассказывает служащий функабвера Флике, Клудов поднял трубку и услышал следующие слова:

— У телефона — Шульце-Бойзен. Вы хотели поговорить со мной?

Клудов, которому руководство абвера под большим секретом сообщило подлинные имена тех, кого он помог разоблачить, просто оцепенел.

— Алло? Извините меня... я не расслышал...

— Это Шульце-Бойзен. Прислуга только что передала мне вашу просьбу. Вы просили, чтобы я срочно перезвонил вам. В чем дело?

— Алло?.. Ну... видите ли... да...

— Алло, я слушаю...

— Извините... в общем, не могли бы вы сказать мне, как пишется ваша фамилия, через «у» или через «ю»?

— Через «у», разумеется. Я, кажется, ошибся номером. Вы мне не звонили?

— Н-нет... нет... не припомню.

— Прислуга, видимо, ошиблась. Неточно записала номер. Извините меня.

— Пожалуйста.

Когда Клудов сообщил своим начальникам о только что состоявшемся разговоре с Шульце-Бойзеном, они решили, что напряженная работа доконала усердного профессора: ему стали мерещиться голоса... С ним заговорили об отдыхе и необходимости проветриться, но он упрямо отрицал слуховые галлюцинации. И в конце концов поборол скептицизм своих шефов, упомянув о вопросе — касающемся

Леопольд Треппер **Иоганн Венцель** **Винсент Сьерра (Гуревич)** **Карлос Аламо (Макаров)**

(Фотографии из архивов гестапо)

написания имени,— который задал Шульце-Бойзену. С тех пор как Клудов узнал, кто он такой, проблема «у» или «ю» была для него подлинным наваждением. В состоянии замешательства, в которое поверг его неожиданный звонок, вопрос невольно сорвался с его языка.

Это выглядело убедительным и означало катастрофу. Шульце-Бойзен, видимо встревоженный гестаповской слежкой, хотел прозондировать почву звонком в функабвер. И вопрос Клудова подтверждал, что его разоблачили.

— Узнав об этом, Коппков и Панцингер стали кричать, что им сорвали расследование. Паучья сеть, в которую они надеялись завлечь всю организацию, теперь разорвана. Они вынуждены отреагировать немедленно.

Харро Шульце-Бойзен был арестован после полудня. Коппков придумал незатейливую хитрость, чтобы выманить его из служебного кабинета в министерстве авиации, надо было избежать скандала. Его арестовали на улице, а среди его коллег распространили слух, будто он отослан с секретным поручением за границу. Его жену, Либертас, взяли через несколько дней, после ее возвращения из Бремена. Супругов Харнак арестовали 3 сентября на курорте, где они отдыхали.

Через неделю после начала облавы команды Панцингера и Коппкова бросили сто восемнадцать человек в подвалы тюрьмы на Принц-Альбрехтштрассе, где находилась штаб-квартира гестапо. Среди них — Хорст Хайльман, ценный сотрудник Клудова и активный деятель «Красной капеллы». Ибо Шульце-Бойзен, человек достаточно сумасбродный, чтобы проводить совещания под парусами на Ванзе, вместе с тем оказался способным внедрить агента даже в ряды абвера, более того — в самое сердце, в святая святых этого ведомства: службу дешифровки... Удивительный руководитель сети, и хвалить, и критиковать которого невозможно, не прибегнув к гиперболе! Но мы увидим, что Шульце-Бойзен был незауряден во всех проявлениях. За плечами молодого Хорста Хайльмана серьезный опыт политической борьбы. Он был членом организации молодых коммунистов, членом коммунистической партии, затем перешел на сторону нацистов и проявил фанатичную преданность: отсюда его назначение сначала на центральную радиостанцию абвера, затем в сверхсекретный отдел дешифровки. Но он знакомится с Шульце-Бойзеном, и снова поворот — последний, потому что он останется верен Шульце-Бойзену до конца. Он вербует для него еще одного сотрудника отдела дешифровки — Альфреда Тракcла. В течение целого года Тракcл поставляет ему чрезвычайно ценные сведения. Но разве он ничего не сообщил о группе Клудова и ее работе, о расшифровке роковой радиограммы? Вопрос спорный. Некоторые считают, что в субботу 29 августа во время переезда Хайльман узнал о том, что его шеф разоблачен. Своим телефонным звонком он, возможно, хотел поднять тревогу, а не просто предупредить, что не придет на назначенную встречу яхтсменов. Но разве мог тогда Хайльман ограничиться поручением, переданным прислуге? Разве не попытался бы любыми путями связаться с Шульце-Бойзеном в субботу вечером, а затем вечером в воскресенье, после работы? Проведя день на Ванзе, Шульце-Бойзен отправился к своему берлинскому другу Гуго Бушману, с которым проговорил до четырех часов утра. По словам Бушмана, он был «удручен, голоден и немного нервозен». Нормальное поведение, если он чувствовал, что гестаповская паутина медленно опутывает его. Но он попросил Бушмана устроить ему встречу с одним дипломатом, хорватом из Загреба: он не стал бы затевать этот разговор, если бы предполагал, что его вот-вот арестуют. Значит, Хайльман еще не успел его предупредить. Быть может, он не знал о том, что Шульце-Бойзен пойдет к Бушману и понапрасну прождал его у него дома? Опасность была так велика, что он просидел бы, ожидая его возвращения до четырех часов утра, или пошел бы в министерство к началу рабочего дня, если бы мог предположить, что Шульце-Бойзен не вернется домой после ночи, проведенной у Бушмана!

Константин Ефремов

(Фотографии из архивов гестапо)

Фернан Порьоль | Жоржи де Винтер | Харро Шульце-Бойзен | Хиллель Кац

Нет, Хайльман, конечно, знал о результатах работы Клудова, но ему, видимо, не было известно, какой решающий шаг сделал тот, расшифровав послание Директора Кенту; тайна еще не распространилась за пределы узкого круга — руководства абвера.

Сто восемнадцать человек арестовано. После первых же допросов Панцингер и Коппков узнают, что все здание держится на двух столпах: Арвиде Харнаке и Харро Шульце-Бойзене.

Биографическая справка об Арвиде Харнаке

Родился в 1901 году в семье, которая на протяжении многих поколений была связана с государственной и духовной деятельностью. Его отец, профессор Отто Харнак,— признанный авторитет в области литературы. Один из его дядей известен во всем мире как величайший знаток истории христианства. Многие близкие родственники занимают видные посты в правительственных учреждениях.

В 1931 году Арвид Харнак создает в Берлине «Кружок по изучению плановой экономики», в который входят несколько десятков человек прогрессивных взглядов. Деятельность группы носит исключительно научный характер. Но на следующий год, то есть в 1932-м, двадцать четыре члена кружка, и в их числе Харнак, в учебных целях совершают поездку, организованную русским посольством в Берлине. Во время этого путешествия Харнака принимают два лидера Коминтерна, Отто Куусинен и Осип Пятницкий. Его преданность коммунизму, его большие способности замечены наверху: согласен ли он работать на Москву? Он соглашается.

В начале войны Арвид Харнак занимает одну из важнейших должностей в министерстве экономики. Ему достаточно сделать запрос, чтобы немедленно получить подробнейшую информацию о любом секторе экономической жизни немцев, в том числе военном производстве.

Биографическая справка о Харро Шульце-Бойзене

Родился в 1912 году в аристократической семье, придерживающейся традиционно монархических убеждений. Внучатый племянник адмирала фон Тирпица, гордости немецкой нации. Его отец, капитан 2-го ранга, командовал кораблем во время первой мировой войны; во время второй был начальником штаба главнокомандующего оккупационными войсками в Голландии.

В семнадцать лет Харро вступает в «Юнгдойчер орден», консервативную националистическую организацию, направленность которой соответствует традициям и взглядам его семьи. Но во время учебы в университете он порывает с этой организацией и, отвергая нацизм и коммунизм одновременно, ищет «третий путь», ведущий к полной трансформации структур общества, которые он считает устаревшими.

В 1936 году он женится на Либертас Хаас-Хайе. Она из известной немецкой семьи, внучка князя Филиппа фон Ойленбурга, приближенного кайзера и злополучного героя одного связанного с гомосексуализмом скандала, потрясшего императорский двор. Маршал Геринг — их свидетель на свадьбе.

Очень скоро, благодаря лингвистическим способностям и прежде всего поддержке командующего люфтваффе, Харро Шульце-Бойзен поступает на работу в «Исследовательский институт Германа Геринга». Используя возможности, предоставленные новой должностью, с этого времени он начинает сотрудничать с советской разведкой.

В 1936 году Шульце-Бойзен начинает создавать свою сеть. Он вербует шестерых надежных друзей, будущее ядро берлинского отделения «Красной капеллы».

В 1940 году, сохранив доступ в «Исследовательский институт», он переходит в дипломатический отдел люфтваффе. По долгу службы он имеет возможность знакомиться с секретными донесениями, присылаемыми из

Херш и Мира Сокол

всех немецких посольств военными атташе. Читая курс в Академии иностранных дел, он собирает вокруг себя группу студентов, которые станут его безоглядно преданными помощниками.

Его жена Либертас работает в министерстве пропаганды, в отделе фильмов по проблемам культуры.

Когда начинается война Германии против Советского Союза, Харро Шульце-Бойзен имеет возможность передавать в Москву военные сведения чрезвычайной важности, в частности все, что касается люфтваффе. Можно сказать, что ни одна из служб этого ведомства не имеет тайн от него. Они с женой известны в высшем берлинском обществе, и светская жизнь позволяет им общаться с самыми видными деятелями рейха.

Итак, к концу лета 1942 года после Брюсселя и Амстердама немецкая контрразведка очистила Берлин. Но эти успехи не успокоили нацистское руководство, а лишь подхлестнули его ярость, свидетельствуя о масштабности и эффективности советской разведывательной сети: ее работа была организована так хорошо, что сведения, собранные в Праге, Берлине, Мадриде — повсюду! — передавались в Москву через передатчики, установленные в Брюсселе и Амстердаме, а руководил всей сетью суперразведчик, скрывающийся в Париже. И происходит это в то время, когда границы считаются неприступными, а на Европу обрушился неслыханный полицейский террор. Гестапо и абвер получают приказ любой ценой и в кратчайший срок поймать человека, создавшего разведывательную организацию, разработавшего ее структуру и осуществлявшего общее руководство ее деятельностью. Гитлер требует, чтобы Гиммлер ежедневно докладывал ему об этом деле. Члены зондеркоманды «Красная капелла» покидают свои брюссельские и берлинские квартиры и соединяются в Париже, чтобы начать охоту на Большого шефа.

Зондеркоманду возглавляет «мастер сыска» Карл Гиринг. Он привез с собой в Париж группу специально отобранных людей — около двадцати человек, к тому же ему гарантировали неограниченную помощь со стороны парижских служб абвера, гестапо, а также их помощников из французской полиции. Вот что отвечал на вопросы автора книги Франц Фортнер, представитель абвера в зондеркоманде:

— Кто такой Вилли Берг?

— Правая рука Гиринга. Ему было лет пятьдесят. Маленький такой, почти карлик. Но это был железный человек, способный на все. Настоящий живодер.

— Рихард Фосс?

— Внешне — полная противоположность Бергу: высоченный, широкоплечий, белокурый. Мясник.

— Отто Шваб?

— Ничтожество... податливый, уступчивый по натуре. Он предпочитал хитрость силе.

— Элла Кемпка?

— А, секретарша... довольно привлекательная блондинка... присутствовала на всех допросах и была абсолютно хладнокровна. Элла приехала из Берлина, где работала в штаб-квартире гестапо; там она и не такое повидала...

— Эрик Юнг?

— Высокий, худой, со спортивной выправкой. Со мной был очень любезен. С заключенными — другое дело... живодер!

— Рольф Рихтер?

— Жесток! Страшно жесток! Даже по отношению к женщинам был беспощаден.

Часть II
Большой шеф

Осада фирмы «Симекс»

В Париже зондеркоманда располагается на улице Соссе, в здании французской сыскной полиции С первого же дня Абрахама Райхмана, брюссельского мастера по изготовлению фальшивых документов, выпускают на свободу с заданием отыскать нити, ведущие к Трепперу. Райхман поселяется вместе со своей любовницей Мальвиной в городской квартире. Он абсолютно свободен в передвижениях, но каждое утро обязан отчитываться перед Фортнером. Обычно это происходит в кафе «Вьель», на бульваре Итальянцев; здесь они регулярно завтракают вдвоем.

Райхман посещает несколько известных ему «почтовых ящиков» сети. И везде оставляет записку с просьбой о срочной встрече с Большим шефом там-то и тогда-то. В назначенный день в условленном месте за несколько часов до указанного времени Гиринг расставляет полицейскую ловушку, надеясь поймать крупную рыбу. Но Треппер не появляется.

У зондеркоманды есть еще одна ниточка. Симона Фете, служащая парижского отделения бельгийской Торговой палаты, расположенной на улице Сен-Лазар. Благодаря ей и ее переписке с заведующей машбюро брюссельской биржи, бельгийская и французская сети имели не вызывающую подозрений официальную «крышу» для обмена сведениями, пока расследование дела Ромео Шпрингера не привело к разоблачению его помощницы с биржи, а затем и ее парижской корреспондентки. До сих пор зондеркоманда ограничивалась перлюстрацией писем, которыми они обменивались, но пришло время действовать. В письме, отосланном из Брюсселя, Симону Фете просят организовать встречу ее патрона с агентом, прибывшим из Бельгии,— им будет Райхман. Симона не догадывается, что это фальшивка. В ответном послании она назначает дату и час встречи в одном из парижских ресторанов. Но девушка приходит туда заранее, замечает, что за рестораном установлено наблюдение, и за несколько секунд до того, как шеф входит в зал, симулирует тяжелый нервный припадок. Посетители окружают ее. Появляется шеф, видит скопление народа и, почуяв опасность, скрывается. Это был Леон Гроссфогель.

Значит, «сребреники» за предательство, которые регулярно получает Райхман, выплачены напрасно? Конечно нет. Он плохо знает парижское подполье, поэтому его попытка проникновения туда не удалась. В Лионе, напротив, он будет творить чудеса: здесь собрались избежавшие ареста члены брюссельской сети: Жермена Шнайдер, Ромео Шпрингер и другие. Райхман знает их всех и сможет легко восстановить с ними связь. То, что Лион находится в неоккупированной зо-

не, уже не помеха для зондеркоманды, потому что месяц назад, в сентябре 1942 года, в ходе переговоров с правительством Виши было решено открыть свободную зону для немецкой контрразведки. Сам адмирал Канарис приезжал в Париж, чтобы уладить дело с посланцами Виши. Они оказались сговорчивыми, и 28 сентября 280 агентов абвера и гестапо, снабженные французской полицией фальшивыми документами, переходят демаркационную линию. Большинство оседает в Лионе в заранее снятых квартирах. Их основная задача — обнаружить и обезвредить около двух десятков подпольных раций, спрятанных в районе Лиона и передающих информацию в Англию. Но агенты воспользуются моментом, чтобы с помощью Райхмана расправиться с оставшимися на свободе членами брюссельской сети... В это же время группы, посланные в Марсель, будут охо́титься за Кентом и Маргарет Барча, которые, по утверждению Мальвины, скрываются в этом городе.

Но все это мелкие сошки по сравнению с Большим шефом! Что же все-таки известно о нем спустя пятнадцать месяцев после начала расследования? В руках контрразведки — его фотография, найденная на улице Атребат. Известен его псевдоним, Жильбер, названный Мирой Сокол. Венцель и Ефремов утверждают, что он живет в Париже. И больше ничего.

А не отыщется ли ниточка в «Симекс»?..

Дела Треппера плохи, и он это понимает. Вокруг его коммерческой «крыши» сжимаются тиски. В течение восемнадцати месяцев «Симекс» и «Симекско» открывали ему доступ в самые закрытые слои немецкого общества, позволяли получать «аусвайсы», чтобы по своему усмотрению пересекать границы, охраняемые гестапо; эти две фирмы, вероятно, сделали его самым богатым шпионом за всю историю разведки. Но пора закрывать лавочку

Треппер уже давно разработал стратегический план отступления марсельского филиала фирмы. Жаспар и Кент отправятся в Северную Африку и откроют новую контору в Алжире. Затем парижские служащие смогут присоединиться к передовому отряду и обретут надежное убежище. И действительно, 15 июня Жаспар получил визу в Алжир; но его отъезд затянулся. Кент также откладывает поездку под любым удобным предлогом: он не хочет покидать Марсель из-за Маргарет.

8 ноября в Алжире высадились американские войска. Путь к отступлению для «Симекс» закрыт. Свободную зону оккупировал вермахт

Через неделю Кент и Маргарет Барча были арестованы.

Где Жильбер?

Арестован и коммерческий директор фирмы «Симекс» Альфред Корбен. На допросе ему сотню раз задают один и тот же вопрос: «Во ист Жильбер? — Где Жильбер?» Он утверждает, что ему это неизвестно. Гиринг этому нисколько не верит.

Немцы очень искусно подвергают психологической обработке мадам Корбен. Да, конечно, они охотно верят в невиновность Альфреда Корбена. Беда в том, что он может пострадать из-за того, кто действительно виновен: из-за Жильбера. В военное время правосудие не вдается в детали! Им очень жаль госпожу Корбен. В сущности, она больше всех заинтересована в поимке Жильбера. Они же просто-напросто делают свое дело. И если потерпят неудачу, ничего страшного Но если Жильбер не будет схвачен, Альфред Корбен может поплатиться жизнью...

У измученной этими сетованиями и уговорами мадам Корбен нервы не выдерживают.

24 ноября в одиннадцать часов утра в ее памяти всплывает незначительная деталь. Однажды у них дома Жильбер пожаловался на зубную боль. Альфред Корбен дал ему адрес семейного дантиста, доктора Малеплата, его кабинет находится на улице Риволи, 13, около ратуши. Зачем скрывать это от охранников? Жильбер, с ее точки зрения, был всего лишь случайным деловым партнером Альфреда. Она убеждена, что он просто использовал ее мужа, который ничего не подозревал — если бы он об этом догадывался, если бы добровольно работал на Жильбера, она, его жена, была бы наверняка в курсе дела! Так почему же мадам Корбен должна колебаться, если речь идет о выборе между жизнью Жильбера и жизнью мужа?

Информацией, которую она сообщила, вероятно,— даже наверняка — мог поделиться и профессиональный разведчик. Зубы у Большого шефа болели более шести месяцев назад, и он, скорее всего, уже давно не ходит к Малеплату. Адрес врача? Незначащая пешка, которую шахматист может пожертвовать для спасения главных фигур. Один шанс из тысячи, что «съев» ее, гестапо поставит шах и мат.

«Утром 24 ноября,— рассказывает доктор Малеплат, ныне солидный седеющий мужчина со здоровым цветом лица и быстрым взглядом,— как обычно, я работал в больнице Лаэннек. Около полудня кто-то из дирекции позвал меня к телефону. Звонил мой зубной техник. «Вы немедленно должны вернуться домой»,— сказал он. Я хотел узнать зачем, но тот ответил коротко: «Ничего не могу вам сказать, но надо прийти». Я сразу же отпросился у патрона и поехал домой.

Их оказалось двое, в штатском. Один очень высокий, другой довольно маленький (Гиринг и Фортнер). Они попросили меня посмотреть книгу записей на прием и перечислить всех, кто придет на этой неделе. Что я и сделал. Они внимательно прослушали перечень имен, внешне никак не реагируя. В конце снова попросили: «Прочтите, пожалуйста, еще раз». Я снова стал называть фамилии, но и этого оказалось мало: «Еще раз, пожалуйста». И тут я обнаружил ошибку. Я сказал им: «На сегодня, на 2 часа дня я ждал мадам Лябейль, жену приятеля. Но она позвонила и предупредила, что не сможет прийти, поэтому я назначил прием другому клиенту. Я забыл вычеркнуть ее имя и записать другую фамилию — мсье Жильбера».

В какой бы город его ни забрасывали бесконечные дела, 24 ноября Большой шеф

всегда приезжал в Новы-Тарг — по крайней мере, устремлялся туда душой и сердцем: его отец умер 24 ноября. Время шло, но постоянная боль, связанная с этой утратой, не утихала.

Удар, нанесенный гестапо фирме «Симекс», разумеется, только усугубил обычную печаль этого дня.

Меланхолия, тоска; успехи советской армии на Дону, пожалуй, могли бы частично снять груз с души Большого шефа. Но даже счастливый поворот в ходе войны не заглушает его тревоги.

Центр просто обезумел. Через четыре месяца после ареста Венцеля, Ефремова и Винтеринка Москва продолжает верить их радиограммам. Предупреждения Треппера — пустой звук. Директор почти не скрывает своего недоверия к нему. К руководителю советской сети на Западе прислушиваются в Центре меньше, чем к эсэсовцу Гирингу.

Клюнуть на удочку «функшпиля» — уже опасно. Но за последние месяцы Треппер все более убеждается, что не «функшпиль» является целью зондеркоманды, что это всего лишь средство, платформа для осуществления более честолюбивых планов.

Недавно разоблачили Анну Максимович. Это тяжело, трагично — но и логично. Зондеркоманда попыталась склонить ее к сотрудничеству: это тревожный знак, не имеющий рационального объяснения, по крайней мере на первый взгляд. Треппер неизвестно, как удалось разоблачить Анну. Теперь мы это знаем. Максимовичи «попались» трижды. Во-первых, из-за досье, хранившихся в архивах французской полиции. Абвер запросил сведения о Максимовичах после того, как Маргарет Хоффман-Шольц в соответствии с установленными в вермахте правилами обратилась за разрешением вступить в брак с Василием, иностранным гражданином. Французская полиция указала, что Анна сочувствовала левым и оказывала медицинскую помощь испанским республиканцам. Клудов и его группа пробили вторую брешь, расшифровав телеграммы с кратким изложением многих донесений посла Абеца: этот след вел к Маргарет, а значит, к Василию. Наконец, в другой перехваченной радиограмме говорилось о некоторых результатах бомбежки немецкого города Хамма авиацией союзников; в частности, было указано следующее: «Наше доверенное лицо видело разрушения; их почти нет». Расследование абвера показало, что, запросив разрешение на брак, Маргарет поехала в Германию и проезжала мимо Хамма; когда ее допросили, потерявшая голову девица честно призналась, что поставляла информацию своему барону.

Треппер принял меры предосторожности. Жоржи укрывается в загородном домике в Везине. Два месяца назад он уговорил ее отправить Патрика в безопасное место. Сначала ребенка поместили в пансион в Сен-Жермен-ан-Лэ, но за ним там так плохо ухаживали, что скоро пришлось забрать его оттуда. Через подругу Жоржи, некую Денизу, они нашли тогда адрес супругов Кейри, славных людей, живших за городом, в Сюрене. Они приняли Патрика как родного сына: и казалось, зондеркоманде уже не добраться до него.

Что же касается самого Треппера, то через несколько дней он «умрет». Один врач из Руайа, с которым он познакомился во время лечения, выдаст ему свидетельство о смерти, и на надгробии, перед которым в удивлении застынут люди Гиринга, будет высечено его имя.

Но прежде чем уехать в горы Оверни — Большой шеф, подобно мальчику с пальчик, уже разбросал за собой белые камешки, чтобы те, кто пойдут по его пути, не сбились с дороги, — до того как уйти в глубокое подполье, как и положено «переселившемуся в иной мир», он решил долечить зубы, чтобы жить спокойно. Прием у Малеплата, на который он пойдет сегодня, завершает курс лечения. Большой шеф в последние недели был слишком занят и все время откладывал визит к врачу — вплоть до сегодняшнего дня, 24 ноября.

Позднее Треппер будет рассказывать, что, войдя к Малеплату, сразу же испытал какое-то неприятное ощущение. Что-то было не так. Приемная — пуста, за исключением одной старушки; обычно здесь бывает полно народу. Врач, как всегда, проводит его через регистрационную комнату в зубоврачебный кабинет, но вопреки обыкновению дверь, выходящая в коридор, закрыта.

«Я усадил его в кресло. Он был очень спокоен. Я подумал: «Бедняга, зачем сверлить ему зуб? Сейчас не время причинять ему боль». Рассказывая что-то, я делаю вид, что выбираю инструмент. А он говорит мне с улыбкой: «Ну, как дела? Вы слышали новость по радио?» Меня прошиб холодный пот: в этот момент за дверью в коридоре звякнули наручники, которые они готовили... Поскольку дело затягивалось, я положил пациенту вату в рот и начал прилаживать бор, но тут они наконец решились вмешаться. Ворвались и наставили на него пистолет. Жильбер поднял руки и сказал: «Я не вооружен». Он был очень бледен, но абсолютно спокоен. Что же касается немцев, могу вам сказать одно — они боялись!»

Фортнер подтверждает: «Дантист дрожал; мы с Гирингом очень нервничали. Да! Приходится признать, что спокойнее всех вел себя он. Даже глазом не моргнул! В тот момент, когда Гиринг надевал на него наручники, он заметил: «Браво! Вы хорошо справились с работой». Я скромно ответил: «Это итог двухлетних поисков».

Когда мы уходили, доктор Малеплат сказал арестованному: «Я хочу, чтобы вы знали, я здесь ни при чем». «Ну конечно!— ответил Треппер. — Поверьте, я на вас совсем не сержусь». Затем начались вежливые пререкания по поводу платы за прием, но врач отказался от денег. Большой шеф пожал ему руку, — запястья его были стянуты наручниками, — и вышел; с одной стороны его охранял огромный Гиринг, с другой — маленький Фортнер. Большой шеф оказался между гестапо и абвером.

Падение

Большой шеф заговорил.

«В машине, рассказывает Фортнер, он спросил меня, из абвера я или из гестапо. Я отве-

тил, что являюсь офицером немецкой армии. Он, кажется, вздохнул с облегчением и добавил: «Для меня все кончено. Кое-что я расскажу, но вам придется смириться с тем, что всего я открыть не смогу». Мы с Герингом, естественно, были поражены этим неожиданным заявлением. Если Большой шеф согласится сотрудничать с нами, значит, с советскими шпионами на Западе будет покончено. Поэтому с первого же разговора я старался установить с ним человеческий контакт. Мы говорили о его жизни, семье, попивая кофе и покуривая сигареты. Он очень свободно рассказывал обо всем. Что касается меня, то, должен признаться, я, без малейшего притворства, слушал его с удовольствием. Это был достойный человек, очень спокойный и сдержанный. Казалось, напротив меня сидит старый приятель, с которым мы предаемся воспоминаниям».

От автобиографии переходили к вечерней лекции. Перед изумленной зондеркомандой Треппер читал курс по искусству шпионажа. Основные принципы: строгая конспирация, постоянное использование псевдонимов, децентрализация (опасно, когда один человек держит в руках слишком много связующих нитей); полная изоляция «пианистов» — ведь их легче всего засечь — друг от друга и от остальных членов сети. Основные меры предосторожности: никогда не носить оружия, чтобы не угодить в лапы полиции во время обычной патрульной проверки; обходиться без машины; жить в пригороде, где заметить слежку легче, нежели на оживленных улицах в центре города; не получать слишком обильную почту и лучше условиться, чтобы вам присылали почтовые открытки, а не письма— ведь человек, получающий почтовые открытки, вызывает меньше подозрений; никогда не передавать документы из рук в руки, предварительно не закамуфлировав их (в ручки, спичечные коробки, газеты); организовывать встречи агентов преимущественно по воскресеньям или в праздничные дни, поскольку полиция в эти дни не так многочисленна и не особенно бдительна; назначать встречи в самых обычных и людных местах: библиотеках, аптеках, а также на спортивных площадках, озерах (прогулки на лодке), в бассейнах, но при условии, — рекомендует Треппер своим слушателям, а гестапо скрупулезно отобразит этот совет в своем рапорте, — при условии, что время года для этого подходящее... Наконец, технические тонкости, которые приводят в изумление Фортнера, а Гиринга и Берга, признанных «охотников» за активистами коммунистического подполья, убеждают в том, что они еще приготовишки на поприще контрразведки. Например, как с помощью телефонной книги, находящейся в будке, назначать встречи. О месте договариваются заранее, остается указать день и час. На определенной странице книги агент подчеркивает слово, стоящее в четвертой строке: встреча состоится в четыре часа; затем он отмечает скобками другое слово на шестой странице: это шестой день недели, то есть следующая суббота. При такой системе можно обойтись без предварительного прямого контакта между двумя агентами. С другой стороны, агент, назначающий встречу, заподозрив в чем-то партнера, может проверить, придет ли он в телефонную кабину один, без сопровождения или хвоста.

Именно после лекций Большого шефа в рапорте абвера, направленном руководству рейха, появятся строки, призванные задним числом оправдать затянувшиеся сроки расследования: «Весь опыт нашей предыдущей работы на Западе в данном расследовании не пригодился. Довольно скоро обнаружилось, что русские блестяще организовали работу сети. Абверу пришлось изучить теоретические установки, которыми руководствовались русские при подготовке и внедрении советских агентов; эти установки не были известны нашим офицерам».

Настал момент решающего выбора для Треппера.

Он может сколько угодно поражать зондеркоманду своим шпионским мастерством, но факт остается фактом — эсэсовец Гиринг держит его в своих руках. Что делать? Торговаться? Изворачиваться? Начать хитроумную игру? Но он ведь Большой шеф, и его противники не удовлетворятся несколькими пешками, коль скоро он может уступить им коня или ладью, а может быть и все фигуры!

Так кем же станет Треппер? Предателем или героем?

Кент не выдерживает испытаний.

«Они продержали меня четыре дня в камере тюрьмы Александерплац,— рассказывает Маргарет, — затем отвезли в гестапо. Винсент был там. Бедный мой, он пережил страшный удар: впервые увидел меня скверно одетой, ненакрашенной, растрепанной... Гестаповец, присутствовавший при этом, заметил его волнение и сказал: «Предлагаю уговор: вы остаетесь с ней на весь день, но ночью начнете говорить». Винсент согласился.

Итак, после каждого прощального поцелуя, подаренного Маргарет — вариант поцелуя Иуды, — Кент проводит ночи, предавая своих. Его признания всего лишь подтверждают то, что уже известно, но их выслушивают с интересом, ведь это свидетельствует о готовности Кента сотрудничать. К концу 1942 года, ознаменованного полной победой зондеркоманды над «Красной капеллой», шефы гестапо уже думают о будущем. На развалинах разгромленной организации они собираются создать шедевр контрразведки, перешедшей в наступление. Вечером 24 ноября Гиринг сообщил Гитлеру, которого знал лично, об аресте Большого шефа; фюрер благосклонно поздравил его. Гиммлер тоже восторженно отреагировал, когда Гиринг позвонил ему и своим пропитым голосом сообщил замечательную новость; беседа закончилась советом, от которого повеяло средневековьем: «...а теперь бросьте его в самый глубокий парижский подвал и наденьте на него цепи — главное, чтобы он не мог убежать!» Но это, конечно, были просто слова. Рейхсфюрер с помощниками уготовил для своего пленника роль, достойную его. Не для того они поймали шефа советской шпионской сети в Западной Европе, чтобы о-глупому гноить его в глубоком подземелье.

В последние дни декабря Кенту сообщили, что его отправят в Париж. Там Большой шеф и Маленький шеф, снова объединившись, станут вести самую необыкновенную в истории разведки радиоигру.

Кент соглашается. Треппер уже принял предложение.

Мученики

Берлинцы держатся лучше.

Сто восемнадцать человек брошено в берлинские застенки, главные агенты отправлены в гестаповскую тюрьму на Принц-Альбрехтштрассе. Молодежь и старики, рабочие и светские дамы, военные и студенты, коммунисты и реакционеры. Кого только не было в этой организации, казалось, каждый социальный слой и даже каждая группа направили туда своего представителя.

Большинство узников — участники движения Сопротивления.

Назовем вещи своими именами: стыд и позор, что руководитель советской разведки так запросто перечислил в радиограмме три роковых адреса, в результате чего Шульце-Бойзен и его окружение, которым по чистой случайности очень везло, в конце концов оказались жертвами неосторожности своих московских шефов.

Чтобы ищейки с Принц-Альбрехтштрассе добрались до них, понадобилось со Знаменки — из Центра — ткнуть в них пальцем.

«Сталин, только Сталин был виноват!» — пишет маршал Еременко, рассказывая о первых военных неудачах русских. Директор мог бы сказать то же самое по поводу катастрофы с берлинской сетью. Политическая слепота диктатора помешала советским секретным службам создать в Германии сильную организацию. А после того, как начал осуществляться план «Барбаросса», Центр, как и все, попал в водоворот, вызванный паникой. Радиограмма Кенту датирована 10 октября. Через несколько дней, 19 октября, связь между московской радиостанцией и десятками советских передатчиков, разбросанных по разным странам мира, была прервана; некоторые «пианисты», принимавшие в ту ночь инструкции из Москвы, потеряли связь, не дописав шифрованную фразу; только шесть недель спустя приемники заработали снова — московский радист, ничего не объяснив, продолжил передачу с той самой цифрогруппы, на которой ее прервал. А дело было в том, что немецкие танки рвались к Москве и был отдан приказ перевести радиостанцию в Куйбышев. О предстоящем переезде старшие офицеры были предупреждены за двенадцать часов, но подчиненных не предупредили вовсе. Если мозг находится в таком смятении, можно ли удивляться, что конечности теряют координацию?

Но первая встреча Кента с берлинской группой состоялась в апреле 1941 года, во время его поездки в Лейпциг, до «Барбароссы». У Директора хватило времени организовать встречу с учетом всех правил безопасности, передать условные знаки и пароль. Но почему же не воспользовались этим для разработки системы связи между брюссельскими профессионалами и берлинскими дилетантами: это и было ошибкой. Конечно, риск существовал: объединение двух сетей было чревато опасностью, ибо провал одной из них повлек бы за собой провал другой. Но мало ли технических приемов, которые позволяют воздвигнуть непроницаемые перегородки («почтовые ящики», живые или неживые, «предохранители» и т. д.). До мелочей продуманная система могла бы обеспечить безопасность.

Позже, конечно, на это уже не было времени. Все опытные разведчики, которых мы опрашивали, не задумываясь, однозначно оценивают радиограмму Директора: к черту правила безопасности, когда из Кремля видно немецкие танки! Имеет ли значение гибель берлинской сети, если жертва поможет спасти Москву?

Коппков и Панцингер отмеряют страдание по иерархическому принципу. Внизу лестницы — «салонные революционеры». Как принято в этой среде, они откровенно рассказывают все. Да, иногда слушали английское радио; да, иногда посмеивались над пьянчугой доктором Леем, над коротышкой Геббельсом и его любовницами, и даже — да, да, даже над фюрером. Но они никогда не входили ни в какую сеть. И не могли себе представить, что подобное могло существовать в Берлине. Клянутся, что не были агентами. Сущая правда: эти были всего лишь «источниками». Секреты, которые они выдавали, чтобы блеснуть в обществе? — ну как можно было предположить, что их передадут в Москву! Они понесут наказание за болтливость, так же как начальники и коллеги Шульце-Бойзена и Харнака, виновные в том, что позволили им совать нос в дела, к которым те не имели отношения. Значит, надо было остерегаться человека, которому покровительствовал Геринг? Или Харнака, образцового служащего, бывшего живым воплощением профессиональной чести? Изумлению нет предела.

А для участников движения Сопротивления — лампа, обжигающая глаза, раскаленная комната после ледяной камеры; наручники, затянутые так, что раздирают мясо, непрекращающиеся допросы с интермедией в виде избиения — для разрядки. Некоторые «ломаются»; большинство же держится стойко и отчаянно борется за жизнь.

Для членов же разведывательной сети — пытка, настоящая пытка.

Генрих Куммеров, не выдержав мук, проглатывает разбитое стекло своих очков; его спасают. Он вскрывает себе вены; ему вовремя оказывают медицинскую помощь. Ниткой он делает разрезы между пальцами ног и расковыривает глубокие раны, всеми силами пытаясь вызвать заражение; его спасают от гангрены. Он был одним из лучших инженеров фирмы «Лёве-Опта-Радио», откуда поступали искусно попорченные приборы для радиопеленгации. В активе Куммерова помимо добытых им важнейших сведений — планы системы наведения для ночных полетов истребителей и чертежи бомбы нового типа.

Вальтер Хуземан, слесарь-механик, бросился к открытому окну и, потянув за собой Панцингера, хотел прыгнуть вниз; его удержали в последнюю секунду.

Иоганну Зигу и Герберту Грассе удалось покончить с собой.

Фриду Везолек допрашивали, приставив дуло револьвера к затылку ее малолетнего сына.

Шульце-Бойзену и Харнаку жгли тело ультрафиолетовыми лучами, но они не заговорили.

Когда «научные» методы не помогли, прибегли к арсеналу средневековых пыток. Словарь Литтре дает такое определение пытке «сапоги»: «Название одного из видов пыток, когда ноги преступника зажимали между двумя деревянными досками и клиньями и ударяли по ним, чтобы сильнее сдавить». Гестапо модернизировало устройство, заменив клинья винтами, а также усовершенствовало всю процедуру, для большего эффекта зажимая предплечья одновременно с ногами. Два мученика, наверное, кричали от боли, но не заговорили.

Харро Шульце-Бойзен будет молчать под пытками, но он слишком много наговорил по телефону до ареста, а его номер был подключен к системе подслушивания.

Суд вынес одиннадцать смертных приговоров. Двум женщинам сохранили жизнь.

В принципе приговор должен был утвердить председатель Военного трибунала. Но в данном конкретном случае Гитлер сохранил это право за собой. Итак, судьба этих тринадцати находилась в его руках.

Посыльный отправился к Герингу с отчетом сразу же после вынесения приговора. По словам генерал-полковника Лемана, его реакция была очень бурной: «Услышав слова «тюремное заключение», он взорвался и закричал, что фюрер никогда этого не утвердит». Через несколько часов лично Гитлеру о приговоре доложил его адъютант адмирал Путткамер. Фюрер утвердил смертные приговоры, отменил тюремное заключение для женщин и приказал назначить новый суд.

22 декабря 1941 года одиннадцать приговоренных должны были умереть.

Восьмерых мужчин перевезли с Принц-Альбрехтштрассе в тюрьму Плётцензее во второй половине дня [1]. Прежде чем покинуть камеру, Харро спрятал в щель стены только что написанное им стихотворение. Он сказал об этом другому заключенному, который перед казнью передал это третьему. Последний выжил и после войны приехал, чтобы разыскать стихи среди развалин дома. Каким-то чудом стихотворение оказалось на месте. Оно заканчивается такими строками: «Веревка или нож — не последние аргументы, и не сегодняшние судьи будут судить на Страшном суде».

Их разместили в восьми камерах Третьего дивизиона. Двери оставили открытыми, чтобы надзирателям легче было наблюдать за осужденными. Каждому было предоставлено право написать прощальное письмо.

...Прокурор Рёдер вышел из помещения, где казнили заключенных, со словами: «Шульце-Бойзен умер как настоящий мужчина».

---

[1] Три женщины были отправлены на гильотину в тот же день.

(Окончание следует)

◆

Великобритания

«ОСКОЛОК РОМАНТИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО»

«Нескладная, быстротечная, занимательная от начала до конца семейная сага о войне и любви»,— так отзывается рецензент журнала «Тайм» Дж. Скоу о новом романе Энтони Бёрджесса «Всякое старое железо». Автор этого сатирико-философского произведения обращается к извечным темам смысла жизни и противоречивости человеческих желаний, составляющих, а чаще ломающих судьбу, отмечает на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью» писательница С. Ф. Шеффер.

Уже в самом начале повествования Э. Бёрджесс подготавливает читателя к погружению в литературный мир, где сотканы воедино история, мифология и жестокая реальность XX века. Своеобразным прологом к роману служит поведанное рассказчиком (и оспоренное им же) поверие валлийцев, согласно которому экспонируемый в Англии старинный стальной меч принадлежал не кому иному, как королю Артуру. По замыслу писателя, меч этот как основной символ в романе олицетворяет некую абсолютную истину. «Загадочная буква «А» на лезвии оружия, образно говоря, резонирует с начальной нотой музыкальной шкалы, которую гобой проигрывает для оркестра,— поясняет Бёрджесс-композитор.— Взять требуемую ноту, то есть отыскать абсолютную истину, и пытаются мои персонажи, но в основном безуспешно».

Сюжет этой во многом автобиографичной книги представлен довольно обычным мини-сериалом, в котором прослеживаются судьбы трех семей в период, охватывающий три войны. Важнейшие моменты европейской истории и события частной жизни мелькают со скоростью кинороликa, замечает «Тайм», «Герои романа не утомляют читателя долгим присутствием и не заставляют его дивиться возникающим по прихоти автора странностям в поступках и ситуациях»,— пишет журнал. «Сюжет и герои потеснились, уступив место философским размышлениям своего создателя»,— подчеркивает С. Ф. Шеффер. Похоже, Э. Бёрджесс — автор более 50 книг, толкователь «Улисса», постапокалипсический моралист и полиглот — безудержно стремится поделиться всем, что имеет. По ироничному замечанию Дж. Скоу, здесь, как и в предыдущих произведениях, «литературный корифей из Манчестера» не избежал соблазна вставить массу сло-

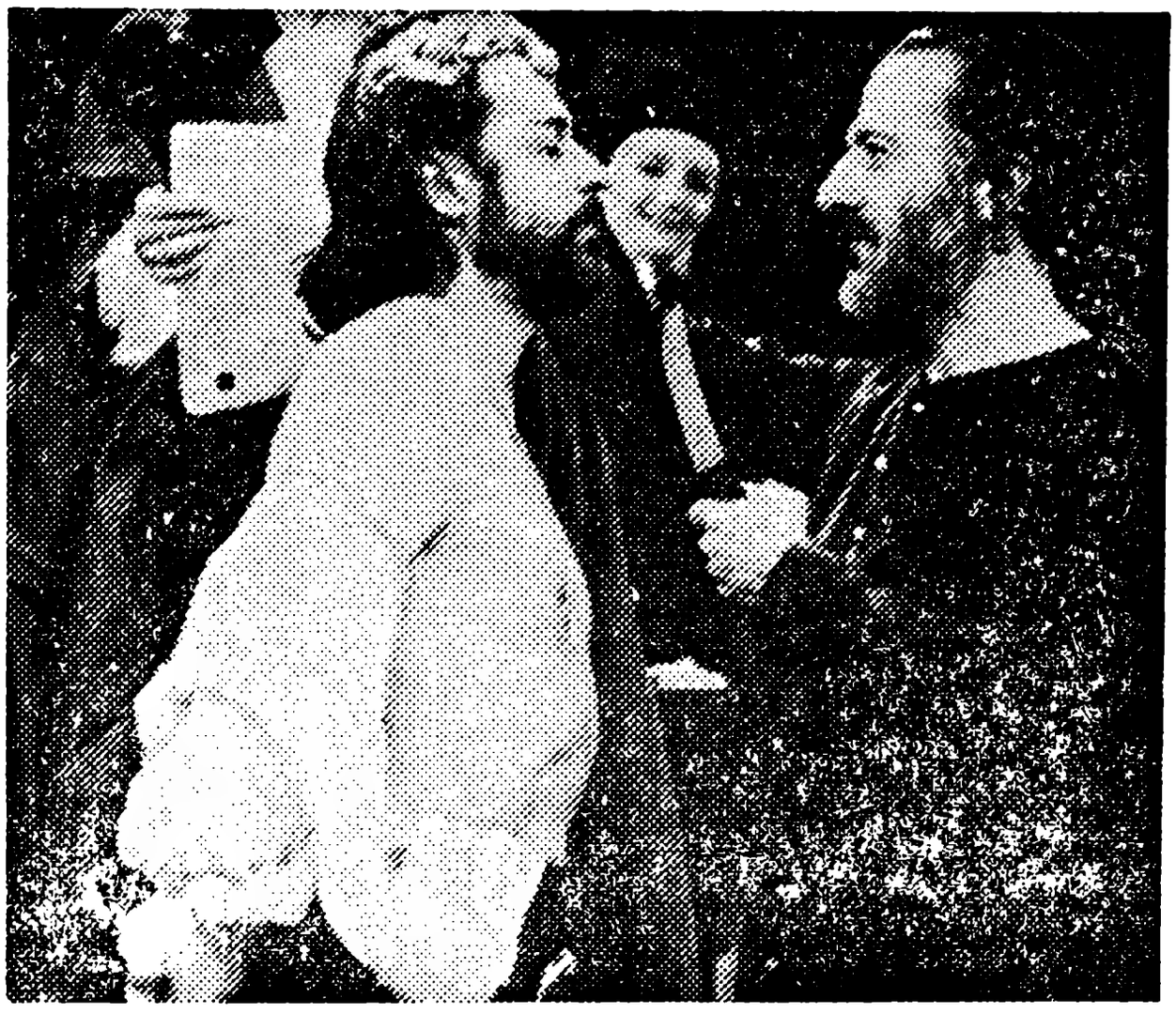
---

Ярчайшей премьерой театрального Лондона за всю историю Вест-энда можно назвать спектакль Питера Холла по «Венецианскому купцу» У. Шекспира, считает обозреватель журнала «Тайм» Уильям Генри: билеты раскуплены на четыре месяца вперед! Секрет подобного успеха классической пьесы прост — роль Шейлока исполняет прекрасный американский актер Дастин Хоффман. «Он уверенно строит свои выходы, искусно пользуясь знакомыми, но ничуть не надоевшими сценическими приемами: тут и робкая ухмылка, и сгорбленные плечи, и внезапно блеснувший взгляд, и тяжелые удары кулаком по столу — признак гнева, — продолжает У. Генри. — Игра Хоффмана — не просто выступление «звезды», она исполнена мысли, доверия к публике и трогательного чувства».

Американские продюсеры уже ведут с британскими коллегами переговоры о возможном показе спектакля на родине актера, в Соединенных Штатах.

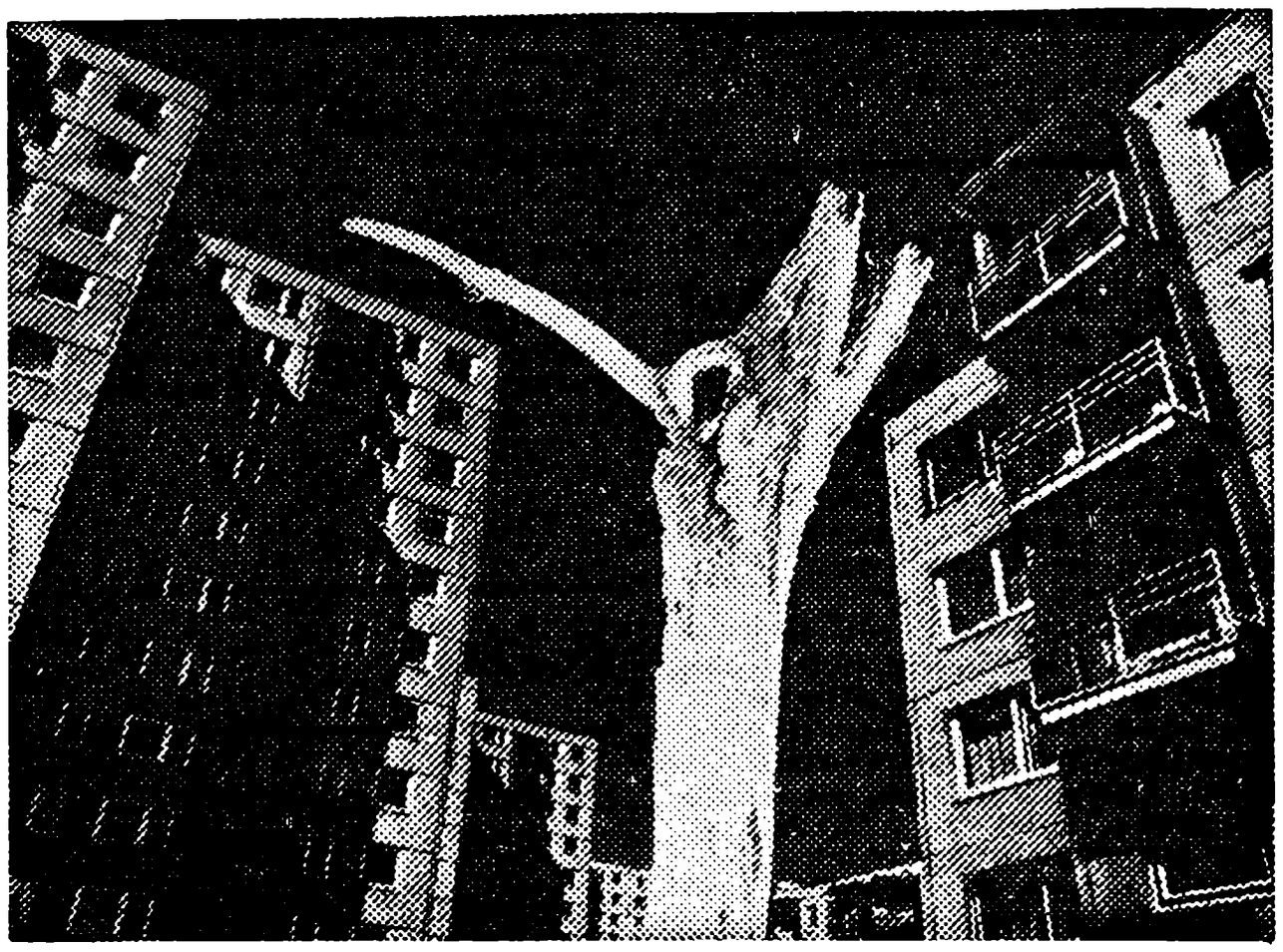
Дастин Хоффман в спектакле Питера Холла по «Венецианскому купцу» У. Шекспира.

(Журнал «Тайм»)



вечек, в большинстве без перевода, на всех известных ему языках (а их добрый десяток), в том числе и на русском. Содержат ли эти вкрапления некие аллюзии или просто создают звуковой колорит — остается лишь догадываться.

То же самое можно сказать и о символике одного из заключительных эпизодов, в котором герой бросает найденный меч в пруд, так объясняя свое решение: «Мне попался в руки осколок романтичного прошлого, но, увы, совсем ржавый!» Является ли это окончательным ответом на главные вопросы книги?» — спрашивает журнал «Тайм».



«Случилось так, что фотограф не только зафиксировал увиденное, но и сконструировал его. Он изменил соотношение объемов, нарушил пропорции, затемнил один план и высветил другой, освободил картину, открывшуюся его взору, от псевдоправдоподобия и — достиг цели: из глубины жилого квартала устремился к небу остов дерева, диковинный восклицательный знак природы, символ тревожного настоящего и еще более тревожного, безотрадного будущего, которое ждет нас, если мы будем бездействовать.

Сколько уже сказано учеными по этому поводу, и все напрасно. Но Маркович надеется. Он верит: может быть, сейчас, всмотревшись в этот символ, равнодушный городской житель, всю жизнь живущий там, где умирают деревья, прислушается к своему чувству. Именно к чувству, ведь объект сам по себе не важен, как сказал Пауль Клее, гораздо важнее чувство, которое объект возбуждает. И если разум, рассудок бессильны, тогда остается чувство».

Так комментирует венгерский поэт Михай Гера работу фотохудожника Ференца Марковича «Остов дерева», опубликованную на страницах журнала «Уй тюкёр».

Венгрия

АННА ЙОКАИ — О ДРАМЕ ОДНОЙ ТРАНСИЛЬВАНСКОЙ СЕМЬИ

«Венгерская литература Трансильвании вряд ли сможет сейчас рассказать об испытаниях, выпавших на долю венгров, живущих там, — писал осенью 1989 г. в журнале «Уй тюкёр» известный критик Бела Помогач. — Где те времена, когда Андраш Шутё мог посвятить целую книгу недавнему прошлому своего родного села, а марошвашарский или коложварский (венгерские названия городов в Румынии — Тыргу-Муреш и Клуж-Напока. Прим. ред.) венгерский театр мог открыто — декорации спектакля уносили зрителей в давние исторические времена — бросить вызов насилию. Сегодня о жизни трансильванских венгров рассказывают в основном венгерские писатели, как это сделала, в частности, Анна Йокаи в своем новом романе «Бедная Анна Шудар».

Героиня романа — простая венгерская женщина, которая живет в маленьком трансильванском городке и втайне от всех ведет дневник, где пишет о событиях своей жизни, о своей семье.

«Страсть приносит страдание», — напомнил читателям высказывание Гёте другой рецензент книги Анны Йокаи — Балаж Лендел (еженедельник «Элет ош иродалом»). Но Гёте, продолжает он, писал о любовной страсти, чувство, испытываемое к Ульрике фон Левецов обернулось для поэта горечью и болью. Бедная Анна Шудар тоже страстно влюблена... в маленького ребенка своего внука, и тоже мучительно страдает.

Маленький Балаж родился в Трансильвании, в смешанном браке (наполовину венгр, наполовину румын), но Анна Шудар хочет владеть им безраздельно, мечтает как бы воплотиться, продолжиться в нем и вопреки всему воспитать его венгром. Это желание настолько сильно в ней, что вытесняет из ее жизни все другие интересы. И хотя внешне она очень выдержанна, душевно щедра, готова к самопожертвованию, эта иссушающая страсть не может не привести к краху, так комментирует развитие событий в романе Б. Лендел. Драма осложняется тем, что за единственного внука — столь же настойчиво — борется и другая бабушка, носительница иного миросозерцания. Анна Шудар к тому же — верующая католичка, а румынская бабушка — воинствующая атеистка. Анна Шудар, отмечает критик, напрасно расточает перед пятилетним ребенком сокровища своей души: придумывает увлекательные игры, читает ему венгерские (и румынские) сказки, тщательно проштудировав педагогические методики, старается научить его писать по-венгерски (хотя бы печатными буквами). Мальчику уже надоели игры с бабушкой, надоели одни и те же сказки, он зевает над непосильными заданиями и рвется на улицу — играть с ребятами. Отчуждение все нарастает, а тут еще родители принимают решение — переехать в Бухарест. Бедная Анна Шудар понимает: осенью Балаж пойдет в румынскую школу и очень скоро забудет все, чему она его учила, и того, кто учил.

Роман написан в форме дневника, что позволяет Анне Йокаи, отмечает критика, подробно описывать события каждого дня. Анна Шудар стоит в очереди за куриными головами, зябнет в нетопленой комнате, подкарауливает минуту, чтобы бежать с ведром к крану, когда вдруг подключат воду, ее измученный муж страдает «болезнью нации» — язвой желудка, и она вынуждена расстаться с кольцом, доставшимся ей от матери, чтобы положить мужа в больницу, куда попасть можно только по протекции. «Анна Шудар отчаянно борется с каждодневными трудностями, как старик в повести Хемингуэя борется с морем», — пишет критик Ева Бозоки в журнале Кёнывилаг»

«Раньше обо всем этом мы слышали только от родственников, живущих там, теперь уже, слава богу, узнаем об этом и из газет», — отмечает Б. Лендел.

ГДР

ПОВЕСТЬ КРИСТЫ ВОЛЬФ

Издательство «Ауфбау» выпустило в свет новую повесть Кристы Вольф «Летняя пьеса». Это воспоминания о прекрасном лете 1975 года в мелкенбургской деревне, где собрались несколько друзей, чтобы отдохнуть от городской суеты, пожить на природе, подышать деревенским воздухом. Все герои книги причастны к искусству или науке, и за их вымышленными именами легко угадываются сама Криста Вольф, ее муж писатель Герхард Вольф и ряд других известных людей. Сюжета в обычном понимании слова в книге нет, она состоит из историй основных действующих лиц и историй деревенских жителей, с которыми они сталкиваются.

...Прекрасная жизнь в уединенном уголке, так радующая героев в начале, оказывается не очень-то идиллической. Проблемы, волновавшие их в городе, болезни и неразрешимые вопросы бытия не дают полностью отключиться, уйти от действительности, и лирическое повествование пронизано нотами глубокой грусти и тяжелых предчувствий. Для кого-то из отдыхающих, на первый взгляд беззаботных, лето это будет последним «светлым куском» жизни, а для кого-то и последним летом в жизни...

На новую повесть Кристы Вольф откликнулась пресса как ГДР, так и ФРГ (книга опубликована в обеих странах). Рецензенты отмечают значительность нового произведения писательницы, его несомненные художественные достоинства.

«Это книга об одиночестве человека и его отношениях с себе подобными, о жизни и смерти, о верности и предательстве, о мужестве и отчаянии», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

«Летняя пьеса» тесно связана со всем творчеством Кристы Вольф последних лет, особенно с книгой «Нет места. Нигде», в которой уже были некоторые наметки повести», — отмечает еженедельник «Зонntаг».

Рецензии помещены и в западногерманских журналах «Шпигель» и «Бухрепорт», в котором приводятся слова Кристы Вольф: «Я могу писать только о том, что меня глубоко волнует».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий за 1989 год. Премии получили писательницы Гедда Циннер «за творчество в целом», Хельга Кёнигсдорф «за воплощение актуальных проблем в литературе», писатель Ян Копловиц «за всю творческую деятельность». Премии присуждены также режиссерам и сценаристам Вальтеру Хайновскому и Герхарду Шойману за кинотрилогию «Третья кожа», режиссеру Райнеру Симону «за создание художественных фильмов», коллективу издательства «Миттельдойчер ферлаг», артистам, художникам, скульпторам, музыкантам и ряду творческих коллективов.

Испания

КАМИЛО ХОСЕ СЕЛА — О СЕБЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Камило Хосе Села — пятый испанский писатель, удостоенный Нобелевской премии. По мнению газеты «Паис», трудно найти сегодня в Испании другого столь же известного и почитаемого автора. Его перу принадлежат более ста произведений, тиражи которых побили все издательские рекорды. А первый, написанный в 1942 году, роман Селы «Семья Паскуаля Дуарте» по числу переводов на иностранные языки уступает лишь «Дон Кихоту».

«У человека столько жизней, сколько ему лет, — сказал Камило Хосе Села на встрече с журналистами, устроенной по случаю присуждения ему высокой награды. — И сегодня идет моя жизнь под номером 73». Он отдал литературе почти полвека, и с первых же шагов в ней начал мучительно мечтать о Нобелевской премии: «Я согласился бы стать карликом, слепым, глухим, безруким — лишь бы получить ее». И еще — увидеть хоть одно из своих произведений переведенным на латынь, на язык Горация. «Это оправдывает все усилия, ради этого стоило работать», — подчеркивает Села сейчас, когда обе высокие цели им достигнуты.

Писатель не уверен, что художественное творчество должно быть подчинено решению какой-то определенной задачи. «Возможно, человек пишет для себя, чтобы освободиться от чего-то, от какого-то груза. О себе я наверняка могу сказать одно: я никогда не стремился своими книгами исправить мир...» В целом, считает он, связь между литературой и действительностью весьма условна, как и связь между жизненным опытом автора и качеством его произведений. «Потерпевший кораблекрушение или охотник с удовольствием рассказывает о своих приключениях, но этого мало, чтобы стать романистом». Настоящим писателем, говорит Села, может стать лишь тот, кто «способен раствориться в череде нужных ему персонажей».

Села — смелый экспериментатор и реформатор романного жанра — называет своими учителями всех, кто писал по-испански до него,

Камило Хосе Села.

(Газета «Паис»)

а также многих зарубежных авторов. Он восхищается писателями XIX века, но убежден, что сегодня так, как они, писать нельзя. «Литература — эстафетная гонка, каждое поколение несет свой факел сколько может...»

Как работает Камило Хосе Села? Этот вопрос повторялся неоднократно. «Есть две вещи, которые я презираю, — ответил писатель.— Это — вдохновение и импровизация». Залог творческого успеха он видит в дисциплине и долготерпении: «Пусть в голову мне в какой-то момент ничего не приходит, я все равно не позволю себе встать из-за стола». Но самое важное для Селы — сохранить способность творить, как в молодости: стараться писать так, как если бы каждая строчка была первой в жизни. И не забывать главное: «Надо писать честно. Иначе — зачем писать?»

Италия

«НАДЕЖДА НА СТАЛИНА»

«Высланы, замучены до смерти, вынуждены признать себя шпионами Муссолини или Рузвельта. Расстреляны. Сколько итальянских коммунистов пострадало от Сталина? Впервые журналист из «Униты» рассказывает об их судьбах», — так журнал «Панорама» представляет книгу Ромоле Каккавале «Надежда на Сталина. Трагедия итальянских антифашистов в СССР».

Сейчас уже трудно назвать точное число итальянцев, пострадавших в годы сталинских репрессий, так как соответствующие документы ИКП хранятся в строгой секретности и ни разу не были опубликованы. Р. Каккавале проделал большую работу. Ему, единственному пока, удалось получить доступ к партийным архивам, ознакомиться с некоторыми уникальными

материалами. Кроме того, журналист встречался с теми, кто выжил после тяжелых испытаний, с родственниками погибших. В своей книге он называет имена репрессированных, многие из которых стали известны только сейчас. Всего в списке 180 человек.

На своих страницах «Панорама» публикует отрывок из книги Каккавале — биографию Леонардо Дамиано, одного из тех, кто на себе испытал сталинский террор. После десятилетий молчания он наконец решился обнародовать свои воспоминания: «Сначала я предполагал оставить мемуары для семьи. Думал — это мое личное дело. Но теперь считаю, что будет правильней, если Итальянская компартия воспользуется этими материалами». Действительно, с помощью записей Л. Дамиано стало возможным восстановить драматичные истории нескольких итальянцев, живших и работавших в Горьком на строительстве первого в СССР крупного автомобильного завода. В 30-е годы сюда направляли многих политэмигрантов, искавших убежище в стране социализма: здесь были американцы, поляки, немцы, болгары, итальянцы, финны, австрийцы. Все они жили своими небольшими общинами. Аресты начались в 1936 году. в апреле 1938-го настал черед и Леонардо Дамиано. Сначала ему было предъявлено обвинение как «итальянскому шпиону», но когда выяснилось, что он в восьмилетнем возрасте вместе с родителями уехал в Америку, его объявили агентом Рузвельта и приговорили к восьми годам работ в «Вятлаге». К счастью, через год дело пересмотрели (опять же без соблюдения положенных юридических формальностей), и он вернулся в Горький. Но многие его товарищи погибли на допросах во время следствия, другие были расстреляны или не вернулись из лагерей.

Ромоло Каккавале не первый, кто попытался приоткрыть завесу тайны над этими мрачными страницами. Списки пострадавших составлялись и ранее, но именно он, подчеркивает «Панорама», «очертил их политические биографии, выяснил, сколько же было убито и сколько томилось в тюрьмах и лагерях. Ему удалось ликвидировать позорное белое пятно в истории Итальянской компартии».

Польша

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЛЮДЕЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА»

Летом 1989 года «Солидарность» сумела не только добиться восстановления своего легального статуса, но и приняла участие в парламентских выборах, где одержала убедительную победу. Однако победе предшествовали долгих восемь лет подполья. Что же помогло профобъединению, запрещенному и гонимому, не только уцелеть, но и создать условия для нового, успешного выхода на внутриполитическую арену страны?

Попытка ответить на эти вопросы предпринята в книге американского журналиста Майкла Кауфмана «Безумные мечты, спасительные силы», рецензируемой в «Нью-Йорк таймс бук ревью» Я. Андерсом. Кауфман прибыл на работу в Польшу в 1984 году, когда военное положение официально было уже отменено, однако все виды неформальной общественной деятельности по-прежнему находились под жестким прессом властей. Руководство «Солидарности» в этот период, пишет рецензент, казалось, переживало период разброда и шатаний, внутренних расколов, утраты непосредственного влияния на массы. Однако личная популярность лидеров профобъединения была весьма высокой, и ходившие в народе рассказы о том, как ловко некоторые из них дурачили своих гонителей, во многом способствовали, по мнению Я. Андерса, «оздоровлению нравственного климата общества».

М. Кауфман в своей книге не ограничивается живым пересказом увлекательных приключений героев-одиночек. Он пишет и о менее ярких на первый взгляд, но на деле куда более значительных событиях тех лет: создании при костелах независимых клубов интеллигенции, широком хождении подпольных информационных бюллетеней, бойкотировании ведущими актерами и журналистами центрального телевидения, общественных кампаниях против скомпрометировавших себя политических деятелей, народной помощи жертвам репрессий. Автор показывает, что, хотя все эти действия не обрели черт целенаправленной политической борьбы, они в конце концов заставили правительство признать, что игнорировать настроения широких масс больше нельзя. Результатом, по мнению М. Кауфмана, стала беспрецедентная форма непрямого диалога противоборствовавших сил: «Правительство не вело разговора с оппозицией — каждая из двух сторон обращалась непосредственно к польскому народу, пытаясь опорочить противника и добиваясь для себя понимания, доверия и поддержки».

Автор пытается раскрыть и национально-психологическую подоплеку политической жизни современной Польши. Сегодня, считает он, молодые члены оппозиции перенимают у своих отцов-коммунистов не только опыт подпольной и тюремной жизни, но также неведомый «прагматическому Западу» душевный пыл и настойчивость, необходимые для того, чтобы поколебать основы того самого политического строя, который создавался старшим поколением с большими жертвами и надеждами. Журналист размышляет, почему «в Польше считается менее позорным быть алкоголиком, чем членом компартии», или зачем «правительство сначала арестовывало лидеров оппозиции с тем, чтобы устрашить народ, а потом отпускало их, чтобы заслужить его же благодарность».

«Книга «Безумные мечты, спасительные силы», — отмечает «Нью-Йорк таймс бук ревью», — точно и умело раскрывает мрачную притягательность судьбы Польши

«Солидарность» не сдалась: Лех Валенса среди участников митинга в Гданьске.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

с ее скрытыми духовными течениями, нерешенными проблемами прошлого и безответными вопросами о будущем».

...ПРИНАДЛЕЖАТ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Сегодня в Польше много говорится и пишется о «возвращенной литературе» — этим общим определением объединены все книги, которые долгое время не мог раскрыть польский читатель, книги писателей-эмигрантов. Сейчас, когда на съезде Союза польских писателей было прямо и ясно сказано, что все книги, написанные на польском языке, принадлежат польской культуре и не важно, где стояла пишущая машинка — в Варшаве, Париже или Риме, книги эти наконец возвращаются на родину.

Вот два автора, давно уже известных во всем мире.

Густав Хэрлинг-Грудзиньский (род. в 1919 г.) в начале войны участвовал в организации польского народного движения Сопротивления, в 1940 году был арестован НКВД и отправлен в лагерь, затем вместе с армией генерала Андерса покинул Советский Союз, прошел Ближний Восток и Италию, участвовал в битве при Монте-Кассино.

После войны жил в Лондоне, Мюнхене, затем переехал в Неаполь, где и живет сейчас.

Он автор многих книг прозы и эссе, постоянный сотрудник лондонских «Ведомостей» и парижской «Культуры». Его книга «Иной мир» — суровый, точный, спокойный рассказ о том, как автор — юноша, почти мальчик — попал в сталинский лагерь.

Впервые книга вышла в свет на английском языке в 1951 году с предисловием Бертрана Рассела, затем была переведена на многие языки, в том числе на немецкий, итальянский, испанский, шведский, китайский, арабский.

Критики видят в прозе Хэрлинга - Грудзиньского сильное влияние Достоевского, и сам автор не отрицает его: корни «Иного мира» уходят в «Записки из Мертвого дома», и эпиграфом стала фраза именно из этого произведения Достоевского.

Вот что пишет известный итальянский писатель Игнасио Силоне в предисловии к итальянскому изданию «Иного мира»: «... если книга опускается на дно страданий человеческих, если смотрит на них глазами милосердия и воссоздает средствами искусства... она становится частью общего духовного наследия, которое человечество передает от поколения к поколению. ...Несмотря на все ужасы, о которых рассказывает эта книга, она полна сострадания и надежды».

Юзеф Чапский (род. в 1896 г.) еще во время первой мировой войны занимался розысками и возвращением на родину польских офицеров, попавших в плен. А в сентябре 1939 года он сам был интернирован в лагере НКВД в Старобельске. После подписания договора между советским и польским правительствами в июле 1941 года Чапский вступил в польскую армию и, по поручению генерала Андерса, принял на себя миссию розыска польских офицеров и солдат, пропавших без вести на территории Советского Союза. Именно тогда он узнал о катыньской трагедии и первым опубликовал во французском журнале «Гаврош» статью «Правда о Катыни» (12 мая 1945 г.).

Эти поиски, свою судьбу и судьбы тысяч поляков Юзеф Чапский описал в книге «На нечеловеческой земле». Широкая историческая панорама, важнейшие политические решения, события — и отдельные людские судьбы; сотни персонажей — от Сталина, генерала Андерса до безымянного польского ребенка, который чудом добрался до Юнги-Юля (городок в Узбекистане, где в то время находился штаб армии Андерса) с запиской в руке: «Мы погибнем, но ребенка спасите»...

Ю. Чапский не замыкается в тематике «польской проблемы», многие страницы его книги посвящены судьбам и советских беженцев, и узбекам, и туркменам... всем жертвам войны и репрессий.

Отрывки из этих книг были опубликованы в журналах «Пшекруй» и «Панорама».

Издательство «Чительник» (его возглавил В. Садковский, ранее руководивший журналом «Литература на свете», польского эквивалента «Иностранной литературы») принимает активное участие в возвращении на Родину наиболее талантливых произведений эмигрантской литературы. В этом году в «Чительнике» выйдут и «Иной мир» Густава Хэрлинга-Грудзиньского, и «На нечеловеческой земле» Юзефа Чапского.

Румыния

«РОМАН НЕИСТОВОЙ САМОМИСТИФИКАЦИИ»

Так назвал критик Мирча Иоргулеску в еженедельнике Союза писателей СРР «Ромыния литерарэ» последнее произведение Раду Косашу «Ясная голова», в котором поднимается проблема взаимоотношений художника и власти. Главный герой романа (действие его разворачивается в начале 60-х годов) — реабилитированный, «прощенный» литератор, после нескольких лет запрета ему вновь разрешили публиковать свои работы. И он лихорадочно их публикует, получает крупные гонорары, ему прочат большое будущее. Герой опьянен успехом, примирился с жизнью, все «понял». Теперь он уже не тот, что прежде, теперь он — автор без «дури в голове» и дает то, что от него требуется. Покончено с благоглупостями, с «замашками интеллектуала», теперь он — «ясная голова», и когда пишет, постоянно думает о «товарище Чуческу» — редакторе издательства, пишет так, чтобы тот остался доволен, одобрил, «пропустил». В нем самом поселился маленький «товарищ Чуческу», который по сути водит его пером.

«Ясная голова», продолжает М. Иоргулеску, — повествование о «новом» авторе, появившемся на свет в результате некоего раздвоения личности. Р. Косашу, считает критик, последовательно и точно воссоздает процесс привыкания пошедшего на компромисс писателя к противоестественному порядку вещей. Герой забыл о сути своего призвания, его талант, ум подчинены теперь одной цели — публиковаться во что бы то ни стало. Правде жизни нет места в его новых работах, все делается в точном соответствии с недавно усвоенным кодом, причем радостно, без всяких сомнений, почти самозабвенно.

Горькое прозрение приходит не сразу, и лишь в финале книги незадачливому карьеристу от литературы удается преодолеть наваждение. Покаяние дается ему дорогой ценой, но только оно оказывается способным воссоединить героя с его подлинным «я».

«Ясная голова», по мнению М. Иоргулеску, — фарс, в котором таится подлинная драма. Бескомпромиссность, острый критический пафос, считает критик, — вот то, что делает роман заметным явлением в творчестве одного из крупнейших современных румынских прозаиков.

США

НЕ ОБКРАДЫВАЯ СЕБЯ И ДРУГИХ

«Подлинным произведением искусства» называет журнал «Тайм» опубликованную в США новеллу «Кража» всемирно известного писателя, лауреата Нобелевской премии Сола Беллоу.

«История весьма простая и вместе с тем необыкновенно оригинальная», — пишет рецензент журнала Пол Грей. Герои новеллы — типичные персонажи Беллоу, «живые, умные люди, которые настойчиво ищут свое и только свое место в этой сложной жизни». Примечательно, однако, следующее. Практически во всех книгах

Сол Беллоу.

(Журнал «Тайм»)

Сол Беллоу ставил в центр повествования мужчину, «восходящего к духовному совершенству», среди женщин как лиц второстепенных. А главная героиня «Кражи» — женщина, «что стремится честно и достойно жить в мире компромиссов». Таков своеобразный ответ С. Беллоу критикам, обвинявшим его в женоненавистничестве за предыдущий роман «От разрыва сердца умирают чаще». Это обвинение, по мнению автора, сделано лишь из желания потрафить феминисткам, ибо в романе едко высмеяны оба пола.

Есть и еще одна любопытная деталь, касающаяся Клары Вельде (так зовут главную героиню новеллы — сотрудницу преуспевающего нью-йоркского издательства), продолжает рецензент. Она четыре раза была замужем и имеет трех дочерей. Если вспомнить, что сам Сол Беллоу был четырежды женат и имеет трех сыновей, возникает соблазн провести определенную параллель. Не отрицая автобиографичности своих книг, писатель тем не менее говорит о невозможности полного отождествления жизни и литературы: «По законам беллетристики все части художественного произведения должны находиться в определенной гармонии друг с другом. Но жизнь — дело иное, у нее свои законы».

Проблемы человеческих отношений, их духовная ценность всегда волновали Сола Беллоу, выросшего в семье переселенцев из России, «где царила на редкость — по нынешним временам — теплая атмосфера взаимной преданности». С горечью отмечая всеобщий упадок нравов и культуры, семидесятичетырехлетний преподаватель Чикагского университета (как и героиня его новеллы) все же хочет жить без «нравственного обкрадывания» себя и других. Символическим выражением этой мысли является в новелле похищенное у Клары кольцо с изумрудом — подарок, увы, «несостоявшегося» жениха.

Клара сумела прожить отпущенные ей годы достойно. «Удается это и ее замечательному творцу», — считает «Тайм». Но каким образом? «Если у человека нет связи между внутренней и внешней жизнью, то он — варвар, дикарь. Хотя вид может иметь вполне цивилизованный. Я пытаюсь нащупать эту связь, чтобы соединить внутреннее с внешним. И нахожу ее в процессе творчества, в писательском труде», — это высказывание С. Беллоу в интервью газете «Санди таймс» (одном из весьма немногочисленных), возможно, и есть искомое объяснение.

«УДАР, ШОК, БОЛЬ...»

Известный французский философ Жак Деррида выпустил книгу под названием «Воспоминания о Поле де Мане» (издательство «Галилей»). В нее вошли тексты трех лекций, прочитанных автором в США в конце 1983 года, вскоре после смерти П. де Мана, а также обзор суждений де Мана о творчестве Гёльдерлина, Руссо, Ницше. Многие страницы этой книги, отмечает парижский журнал «Нувель обсерватёр», посвящены размышлениям Ж. Деррида о дружбе и о памяти: эти понятия для него почти равнозначны.

Появление подобных мемуаров именно сейчас примечательно. Дело в том, что недавно молодой бельгийский исследователь Ортвин де Грэф обнаружил около 120 статей, опубликованных Полом де Маном в 1940—1942 годах в двух пронацистских брюссельских газетах. Почти все статьи относятся к «безобидному» в политическом отношении разделу литературной хроники, однако посвящены прежде всего П. Дриё Ла Рошелю, Ж. Жионо, Ж. Шардонну; некоторые пассажи явно носят антисемитский характер. Сам факт возможности сотрудничества де Мана с нацистами вызвал бурную полемику в американских и европейских литературных, а также журналистских кругах, пишет журнал «Кензен литтерер».

Многие задаются вопросом, как такое могло случиться: ведь Пол де Ман впоследствии стал профессором Йельского университета, выдающимся теоретиком литературы, работал бок о бок с именитыми писателями и гуманитариями — и считался человеком безупречным в нравственном отношении... «Удар, шок, боль» — эти чувства испытал Жак Деррида, много лет друживший с П. де Маном. По мнению французского философа, «не все так просто, как кажется на первый взгляд, и он призывает журналистов, исследователей, литераторов к тщательному и объективному анализу фактов. Тем временем в одной из публикаций еженедельника «Таймс литерари сапплмент» проводится аналогия между «журналистикой военного периода» Пола де Мана и стремлением к «произволу и необузданности», присущим его дальнейшим работам в области критики.

По мнению обозревателей, споры вокруг прошлого Пола де Мана, вызванные находкой его соотечественника О. де Грэфа, будут продолжаться.

«ХРАМ БРАТА МОЕГО МЕНЬШЕГО»

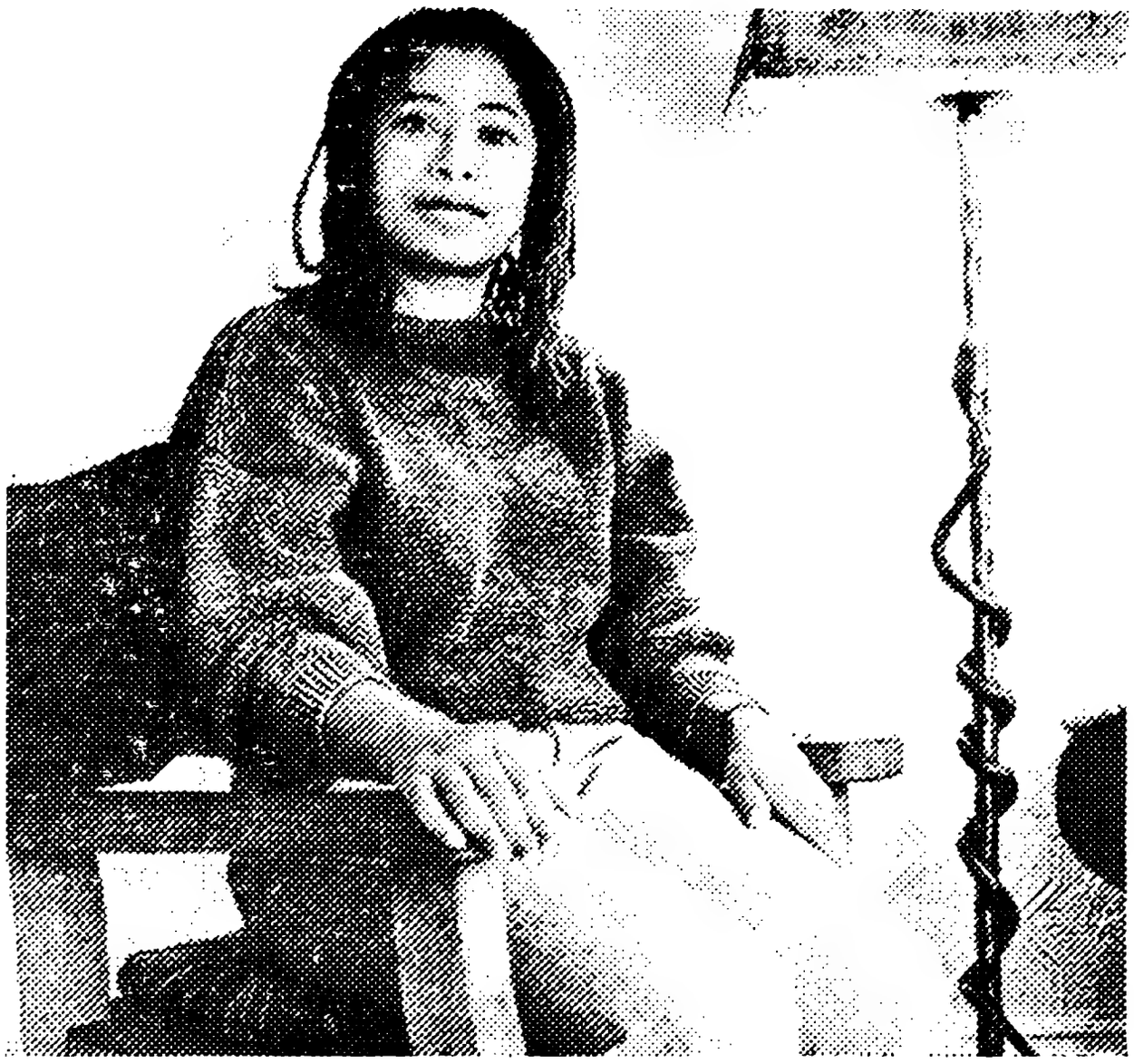
Так называется вышедший в издательстве «Харкурт Брейс Йованович» новый роман известной писательницы Элис Уокер. Начинавшая как поэт и эссеист на исходе бурного периода 60-х — начала 70-х гг., Э. Уокер завоевала широкую известность в США и за их пределами после выхода в свет ее третьего романа «Цвет багряный» (1982), удостоенного самой престижной в литературной Америке премии — Пулицеровской (о нем см. «ИЛ», 1984, № 4). Снятый по этой книге режиссером Стивеном Спилбергом одноименный фильм упрочил ее успех.

«Храм брата моего меньшего» вызвал разноречивые отклики в американской прессе. Сравнивая этот роман с «Цветом багряным», обозреватель журнала «Ньюсуик» пишет, что предыдущую книгу отличала «почти библейская простота», проза же «Храма...» — неизмеримо более сложна.

Преподаватель американской истории Суэло направляется из Калифорнии в Балтимор — похоронить дядюшку и продать оставшийся после его кончины дом. Помимо забот, связанных с похоронами, Суэло обуревают иные тревоги: его жена Фанни, увлекшись идеями феминизма, неожиданно объявила, что разводится с ним — чтобы эмансипироваться и вести самостоятельную жизнь. Старый художник Хэл и его подруга Лисси — балтиморские друзья покойного дядюшки — отвлекают Суэло от невеселых мыслей занимательными беседами.

Особенно поразительные истории рассказывает Лисси: она утверждает, что прожила бессчетное количество жизней, перевоплощаясь в различные существа. Монолог-воспоминания Лисси о прошлых своих существованиях составляет основу сюжета романа.

Временные рамки повествования вмещают события, происходившие на протяжении пятисот тысяч лет — едва ли не всей истории жизни на Земле. Устами своих рассказчиков, пишет рецензент журнала «Тайм», Э. Уокер сообщает «новую версию библейской книги Бытия, Христовых заповедей, а также читает серию



Элис Уокер.

(Журнал «Тайм»)

мини-лекций обо всем на свете — от Элвиса Пресли до ядерной катастрофы».

Но главное в книге — воспоминания Лисси о праисторической Африке, колыбели человечества, райском уголке планеты, который населяли красивые и сильные «дети солнца» с черной кожей и слабые «бледнолицые», сделавшие своим кумиром золото («потому что они утратили солнце»). В этом мифическом противостоянии Лисси видит корни современных расовых конфликтов, надвигающейся экологической катастрофы, нескончаемых локальных войн, подстегивающих гонку ядерных вооружений...

Мифологическая трактовка социально-политических коллизий конце XX века не вполне удовлетворила американских критиков, которые, подобно, например, обозревателю «Тайма», склонны оценивать роман скорее как «шокирующую пропаганду» радикализма, нежели как художественное произведение. Тем не менее новый роман Э. Уокер несомненно является одной из наиболее примечательных новинок американского книжного рынка.

«ФАНТАЗИЯ — ЭТО ВЕЛИКАЯ СИЛА...»

В США опубликован новый, седьмой по счету роман Эдгара Лоренса Доктороу «Билли Батгейт». Критики весьма высоко оценивают книгу. Рецензент журнала «Ньюсуик» Питер Прескотт считает, что это «лучшее произведение Э. Л. Доктороу». Известная писательница Энн Тайлер в «Нью-Йорк таймс» подчеркивает «удивительно живой язык на редкость цельного романа». Журнал «Тайм» характеризует голос главного героя — пятнадцатилетнего Билли — как «правдивый, завораживающий и просто незабываемый». «Билли — этот веснушчатый современный Гек Финн — самый привлекательный герой Доктороу»,— пишет на страницах «Интернэшнл геральд трибюн» Стефани Мэнсфилд.

Действие романа происходит в Нью-Йорке середины 30-х годов, в среде гангстеров. Волею судеб беспризорный подросток Билли становится подручным главаря крупной преступной шайки Голландца Шульца и оказывается свидетелем ограблений и даже убийств. «Преступность, ее влияние на характер человека всегда интересовали Доктороу»,— отмечает в связи с этим «Ньюсуик». По мнению журнала, писатель прекрасно справляется с нелегкой задачей отражения тем насилия и секса — «почти обязательных компонентов любого бестселлера».

Любопытно, что «Билли Батгейт» перекликается с другими произведениями Э. Л. Доктороу — в нем слышны отзвуки фраз и сцен из романов «Гагачье озеро», «Книга Даниэла», да и живописная фигура Голландца Шульца уже мелькали на страницах «Всемирной ярмарки». Кстати, этот гангстер — реальное лицо, и писатель тщательно изучил документы и прессу тех лет, разумеется добавив к этому образу много новых черт. Как отмечают критики, причудливое переплетение вымышленных и подлинных событий, людских судеб — характерная черта книг Доктороу.

«Фантазия — это великая сила... Считается, что писать надо лишь о том, что хорошо знаешь, то есть о своем жизненном опыте. Но ведь познавать мир можно по-разному, и один из путей — интуиция, догадка. Мир можно познавать и благодаря фантазии, ибо фантазия — это форма знания»,— сказал Доктороу в интервью корреспонденту «Интернэшнл геральд трибюн».

Успех нового романа Доктороу, по словам П. Прескотта, во многом объясняется «сосредоточенностью автора на деталях, остротой и точностью его метафор, неожиданными искорками юмора даже в самых мрачных эпизодах, плавным, богатым оттенками повествованием». «Все это в сумме дает редкое сочетание: необычайно занимательное литературное произведение «традиционного» типа»,— заключает «Ньюсуик».

Франция

О МИШЕЛЕ ФУКО — БЕЗ СЕНСАЦИОННОСТИ

Французская пресса сообщает о ряде публикаций, связанных с жизнью и деятельностью известного философа, историка, социолога и культуролога Мишеля Фуко (1926—1984). Основное внимание критика уделяет выпущенной в свет издательством «Фламмарион» новой биографической книге Дидье Эрибона, хорошо знавшего самого Фуко. «Разумеется, даже в этой подробной биографии автор не смог рассказать обо всем, но его нельзя ни в чем упрекнуть, ибо ему пришлось бы написать много томов», — замечает «Магазин литтерер». И в самом деле, разве можно в одной книге полностью осветить столь богатую на события жизнь?

Еще в коллеже Мишель Фуко получает награды за успехи в изучении истории, латыни, французского и древнегреческого. Увлекшись психологией и психиатрией, трудится психотерапевтом в клинике Сент-Анн. Преподает в Педагогическом институте и в Коллеж де Франс. Исследует творчество современных композиторов, открывая новые имена. Заинтересовавшись дзэн-буддизмом, изучает его в Японии. Активно участвует в деятельности французских культурных центров в Швеции, Польше и ФРГ, работает в Тунисе и США... И конечно, пишет книги, среди которых выделяется «История сексуальности» в нескольких томах, полностью еще не изданная.

Мишель Фуко.

(Журнал «Кензен литтерер»)

Биографическая книга о Мишеле Фуко представляет собой хронологию, основанную исключительно на фактах. Дидье Эрибон сознательно избегает оценок и комментариев, стараясь дать как можно более объективный портрет М. Фуко, отмечает журнал «Кензен литтерер». Поэтому книга лишена «пикантных» подробностей, хотя непростая жизнь М. Фуко, попытка самоубийства и трагичная смерть от СПИДа — благодатная почва для сенсационности. «Однако автор стремился рассказать прежде всего об интеллектуальной деятельности Фуко, исправив искажения, типичные для «черного» или «позолоченного» вариантов», — подчеркивает журнал.

Фуко-философу был посвящен международный симпозиум, состоявшийся в Париже по инициативе Центра Мишеля Фуко. Издательство «Сёй» выпустило в свет сборник материалов конференции, на которой прозвучало предложение «тщательно исследовать различные темы и идеи в трудах философа».

Кроме того, впервые достоянием общественности стали две кассеты с записями лекции «О власти», прочитанной М. Фуко в Коллеж де Франс в конце 70-х годов в рамках специального курса. Отрывок из лекции воспроизводит на своих страницах журнал «Магазин литтерер». Сейчас идет работа над выпуском всего цикла из 24 кассет, а издательство «Галлимар» готовит к публикации в 1990 году сборник статей и докладов Мишеля Фуко.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ЖЮЛЭДМОНА

Издательство «Лаффон» выпустило в свет знаменитый трехтомный «Дневник (1851—1896)» Жюля и Эдмона де Гонкуров. На протяжении почти полувека они изо дня в день вели дневник — сначала младший из братьев — Жюль, а после его ранней смерти — старший, Эдмон. (Как известно, он завещал все свое состояние на учреждение специальной премии, получившей название «Гонкуровской» и ежегодно, начиная с 1903 года, присуждаемой во Франции лучшему литературному произведению.)

«Удивительной смесью журналистики, искусствоведения, художественной прозы, социологии, эстетства и снобизма» называет дневник рецензент журнала «Магазин литтерер» Ж.-Ж. Брошье. «Необыкновенный документ, своего рода репортаж, порой неслыханно язвительный и колкий, но всегда — искренний», — откликается журнал «Кензен литтерер». В дневнике находят отражение многие политические, общественные события той эпохи, но главное место принадлежит, конечно, литературе и искусству. Братья Гонкуры делятся впечатлениями о Гюго, Тургеневе, Доде, Золя, Бальзаке, Флобере — всех не перечислить; причем пишут обо всех и всем тонко, умно, изящным слогом, давая меткие, живые характеристики. «Кензен литтерер» отмечает, что «некоторые литературные портреты писателей по красоте приближаются к живописным». И это понятно — ведь братья (особенно Жюль) прекрасно владели не только пером, но и кистью — время сохранило картины.

Некоторые из них воспроизводит на своих страницах «Магазин литтерер» в номере, почти полностью посвященном выходу в свет дневника. Литературоведы, историки, писатели размышляют о роли и месте де Гонкуров в жизни Франции второй половины XIX века, о их значении для сегодняшнего дня. Подробную хронологию представляет автор предисловия к «Дневнику», профессор Базельского университета Роберт Копп. Исследовательница Ванда Баннур помещает любопытную статью о «неразлучных братьях», которые и в самом деле практически всегда и везде были вместе, «я» твердо сменив на «мы» и называя себя не иначе как «Жюлэдмон». «Поступок их матери, на смертном одре соединившей руки сыновей, освятил эту необыкновенной силы привязанность», — пишет В. Баннур. Серия статей посвящена рассказу о богатой коллекции произведений искусства Гонкуров, а также их литературному салону, игравшему важную роль в культурной жизни Франции. Не обойдена вниманием и деятельность Гонкуровской академии — журнал поведал о первых ее членах.

«Бернар Франк как-то сказал, что многие книги были написаны лишь для того, чтобы автор их смог однажды создать одну хорошую. Гонкуры пошли еще дальше: похоже, что главная польза всех их романов в том, что благодаря им братья встречались с современниками — писателями и художниками — и создали свой удивительный 4000-страничный дневник», — считает «Кензен литтерер». «Они продемонстрировали лучшее, что оставил нам XIX век: подлинное чутье к культуре», — подытоживает «Магазин литтерер».

Эдмон и Жюль де Гонкуры.

(Журнал «Магазин литтерер»)

Авторы этого номера

ЖОРЖИ АМАДУ (JORGE AMADO; род. в 1912 г.) — бразильский писатель, академик, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Произведения Ж. Амаду в нашей стране издавались многократно на русском и других языках народов СССР. В «Иностранной литературе» напечатаны: повесть «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» (1963, № 5), романы «Мы пасли ночь» (1966, № 2, 3), «Лавка чудес» (1972, № 2—4), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1975, № 11—12), «Возвращение блудной дочери» (1980, № 7—10), «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» (1982, № 8, 9) и др.
Роман «Исчезновение святой» вышел в Бразилии в 1988 г. («O sumiço da santa». Rio de Janeiro, Editora Record, 1988). Печатается в журнальном варианте.

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС (DAVID HERBERT LAWRENCE; 1885—1930) — английский писатель, романист и новеллист, автор пьес, эссе, книг путевых очерков. Широко известен Д. Лоуренс и как поэт, ему принадлежит несколько книг стихов, в том числе «Птицы, звери и цветы» («Birds, Beasts and Flowers», 1923), «Анютины глазки» («Pansies», 1929), «Еще Анютины глазки» («More Pansiens»), «Последние стихи» («Last Poems»), вышедшие посмертно в 1932 г. В «Иностранной литературе» опубликована подборка стихов Д. Лоуренса и повесть «Дева и цыган» (1986, № 3), эссе «Порнография непристойности» (1989, № 5), сборник рассказов «Дочь лошадника» в «Библиотеке «ИЛ» (1985). В этом году в журнале будет напечатан его роман «Любовник леди Чаттерлей».
Предлагаемые переводы выполнены по тексту книги: D. H. Lawrence. Selected Poems. London, Penguin, 1972.

ЕЖИ АНДЖЕЕВСКИЙ (JERZY ANDRZEJEWSKI; 1909—1983) — польский писатель — прозаик и публицист, один из основателей Комитета защиты рабочих (КОРа) — неформальной общественной организации, созданной в 1976 г., осенью 1980 г. она влилась в независимое профобъединение «Солидарность». Е. Анджеевский автор повестей и романов: «Мир в сердце» («Ład sersa», 1938), «Пепел и алмаз» («Popiół i diament», 1948; рус. пер. М., 1975), «Мрак покрывает землю» («Ciemności kryją ziemię», 1957), «Он идет, скачет по горам» («Idzie skacząc po górach», 1963), «Апелляция» («Apelacja», 1967), «Уже почти ничего» («Już prawie nic», 1979), «Месиво» («Miazga», 1981), «Никто» («Nikt», 1983), нескольких сборников рассказов, пьес, «Дневников», публицистических работ.
Перевод повести «Врата рая» («Bramy raju», 1960) выполнен по изданию: Jerzy Andrzejewski. «Trzy opowieści». Warszawa, PIW, 1973. «Врата рая» войдут в двухтомник произведений Е. Анджеевского, готовящийся к печати в издательстве «Художественная литература».
В этом же номере см. статью Вадима Рабиновича «Сокрушение надежды», посвященную «Вратам рая».

УИЛЬЯМ ДЬЮИТ СНОДГРАСС (WILLIAM DEWITT SNODGRASS; род. в 1926 г.) — американский поэт. Автор сборников стихов «Игла в сердце» («Heart's Needle», 1959), «После опыта» («After Experience», 1967), «Бункер фюрера» («The Fuehrer Bunker», 1977) и др. По-русски отдельные его стихотворения печатались в «Иностранной литературе» (1966, № 9) и в антологии «Современная американская поэзия» (М., 1975). Публикуемые переводы выполнены по изданию: У. Д. Снодграсс. «Избранное. 1957—1987» (W. D. Snodgrass. Selected Poems. 1957—1987». New York, Soho Press, 1987).

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (FRIEDRICH DÜRRENMATT; род. в 1921 г.) — швейцарский писатель, драматург. Автор романов, повестей, рассказов, пьес, эссе. «Иностранная литература» познакомила читателей с произведениями Ф. Дюрренматта разных жанров, опубликовав повести «Авария. Одна из еще возможных историй» (1961, № 7), «Обещание» (1966, № 5), пьесы «Визит старой дамы» (1958, № 3), «Метеор» (1967, № 2), «Играем Стриндберга» (1973, № 4), роман «Правосудие» (1988, № 6), рассказы. На рус-

ском языке изданы также сборник «Комедии» (М., 1969), комедия в прозе «Грек ищет гречанку», роман «Судья и его палач», приключенческие повести «Операция Вега», «Подозрение» и др.
Новелла «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» вышла в Цюрихе в 1986 г. («Der Auftrag oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter». Zürich, Diogenes).

ЖИЛЬ ПЕРРО (GILLES PERRAULT; род. в 1931 г.) — французский журналист, писатель, сценарист. Юрист по образованию. Автор многочисленных произведений, большинство которых посвящено деятельности секретных служб и полиции, в том числе «Парашютисты» («Les Parachutistes», 1961; премия «Ожурдюи»), «Досье 51» («Le dossier 51», 1969), «Ошибка; от секретной службы к невидимому правительству (ЦРУ)» («L'erreur; du service secret au gouvernement invisible; la C. I. A.», 1971), «Долгая погоня» («La longue traque», 1975). На русском языке опубликована его книга «Красный пуловер» (М., 1985).
Книга «Красная капелла» издана во Франции в 1967 г. («L'orchestre rouge». Paris, Editions Fayard. Печатается с сокращениями.

РАБИНОВИЧ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ (род. в 1935 г.) — советский поэт, историк культуры и науки европейского средневековья, доктор философских наук. Автор нескольких сборников стихов, ряда монографий и работ по истории: «Алхимия как феномен средневековой культуры» (1979), «Образ мира в зеркале алхимии» (1981) и др.

Переводчики:

БОГДАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) — советский переводчик с испанского и португальского языков, кандидат искусствоведения. В его переводе изданы романы Жоржи Амаду «Капитаны песка», Марио Варгаса Льосы «Война конца света», повести Серхио Рамиреса «Ты боишься крови?», Франсиско Эррера Луке «Луна доктора Фауста», М. Варгаса Льосы «Кто убил Паломино Молеро» («Библиотека «ИЛ», 1988); переводил также стихи, рассказы и др. произведения.

ГРИБАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.) — поэт и переводчик, кандидат физико-математических наук.

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — советский переводчик с польского. В ее переводе публиковались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хороманьского, романы Т. Новака «Черти» («ИЛ», 1975, № 3, 4), «Пророк», В. Мысливского «Камень на камень» («ИЛ», 1986, № 7—9), рассказы и повести К. Филиповича, В. Терлецкого, Я. Парандовского, Т. Боровского и др.

КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.) — советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Пристань» (1954), «Возраст» (1967), «Надежда» (1988), «Музыка для себя» (1988), «Польза впечатлений» (1989). Переводил стихи Б. Брехта, В. Незвала, Ц. Норвида, В. Броневского, Аттилы Йожефа, П. Негоша, Д. Левертов и др.

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА — советский переводчик с немецкого и шведского языков. В ее переводах издавались произведения писателей ГДР, ФРГ, Австрии, Швеции, в том числе рассказ Анны Зегерс «Каменный век» («ИЛ», 1975, № 12), повесть «И снова встреча» («ИЛ», 1978, № 11), романы Ангелики Мехтель «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» («ИЛ», 1983, № 1), Д. Веллерсхофа «Победителю достанется все» (совместно с М. Рудницким; «ИЛ», 1986, № 6—8), рассказы З. Ленца, Ф. Фюмана, Р. Вернер и др.

ЖУКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА — советский журналист и переводчик с французского. В ее переводе опубликован роман Франсуазы-Малле Жорис «Дикки-король» (М., 1984), главы из книги Анри Аллега «SOS, Америка!» («ИЛ», 1986, № 6—7), книги Эрве Базена «Во что я верю» («Библиотека «ИЛ», 1984), Веркора «Плот Медузы» («Библиотека «ИЛ», 1988), сценарий Жака Превера «Баладар» («ИЛ», 1989, № 1), новеллы Маргерит Юрсенар, Ж. М. Г. Леклезио, Патрика Модиано и др.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ «ИЛ» 1989 ГОДА

В. ХИНКИС (посмертно), **С. ХОРУЖИЙ** и **Е. ГЕНИЕВА** — за публикацию романа Джеймса Джойса «Улисс», № 1—12.

Ю. ЯХНИНА — за перевод романа Жан-Поля Сартра «Тошнота», № 7.

Г. РУСАКОВ — за перевод стихов Андре Шенье, № 7.

Н. АСТАФЬЕВА — за перевод «Стихов о Варшавском восстании» Анны Свирщиньской, № 8.

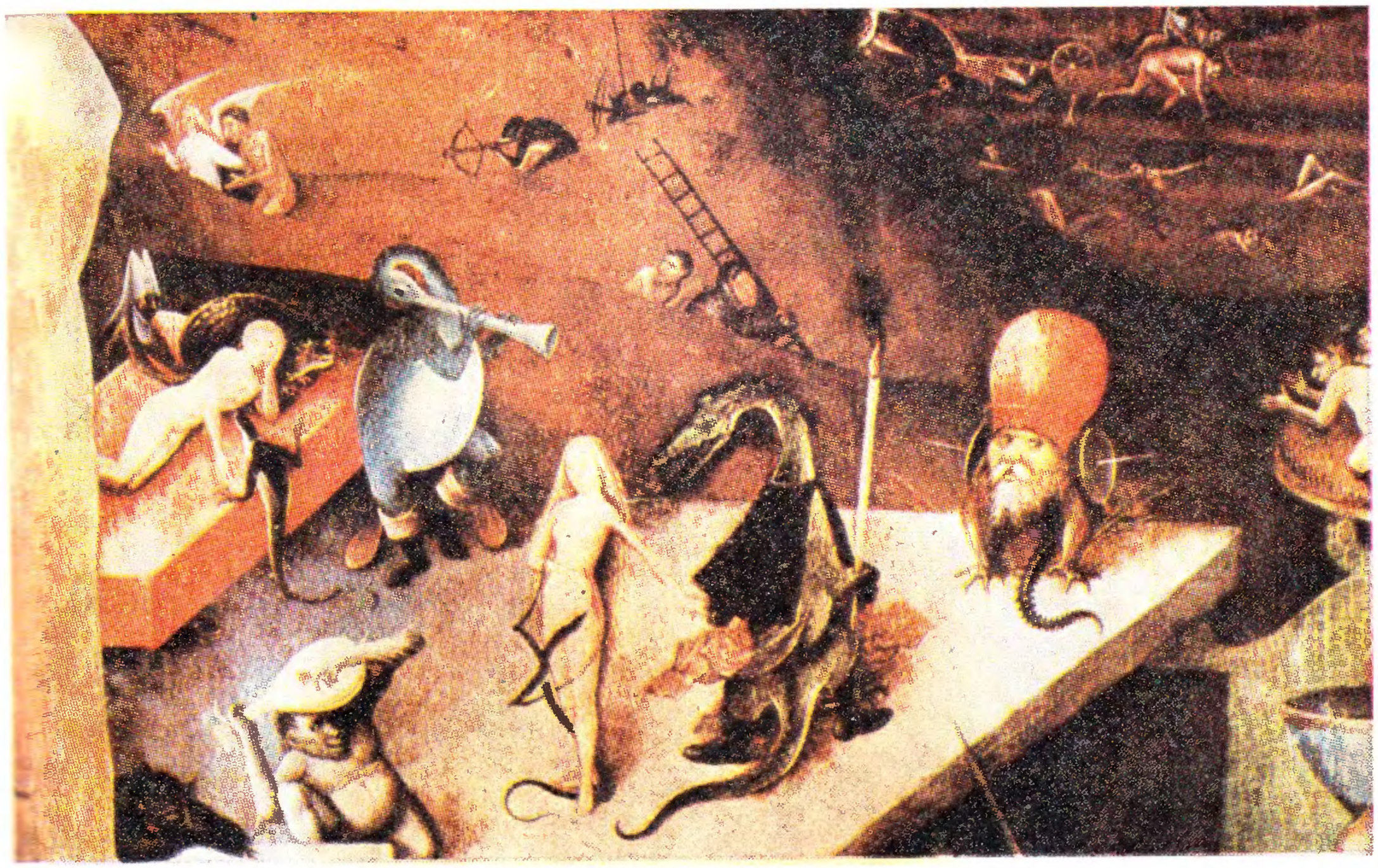
В. ЗОТОВ — за статью «Китай, истоки политического кризиса», № 11.

Г. ФРАНК — за статью «...И не только о гильотине», № 1.

М. САЛГАНИК — за статью «О благотворности сомнений», № 9.

А. МЕНЬ — за статьи «Трудный путь к диалогу», № 1, и «Камень, который отвергли строители», № 11.

15 ИЛ № 1 ЭО



Фрагмент триптиха «Страшный суд».

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394